ФАНТАСТИКА-82



ФАНТАСТИКА 82

ФАНТАСТИКА-82

Сборник научно-фантастических повестей,
рассказов и статей

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1982



НАШИ АВТОРЫ:

ЗОЯ ТУМАНОВА, ЮРИЙ ГЕРАСИМЕНКО, НИКОЛАЙ СОВЕТОВ, ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ, ПЕТРОНИЙ АМАНУТИ, ВЛАДИМИР МАЛОВ, ВИКТОР ПОЛОЖИЙ, ИГОРЬ РОСОХОВАТСКИЙ, АЛЕКСАНДР ТЕСЛЕНКО, ГЕННАДИЙ РАЗУМОВ, ГЕННАДИЙ МАКСИМОВИЧ, АБДУХАКИМ ФАЗИЛОВ, ЛЮДМИЛА ЖУКОВА, ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ, ОЛЕГ КОРАБЕЛЬНИКОВ, МИХАИЛ ШАЛАМОВ, СЕРГЕЙ СМИРНОВ, ВЛАДИМИР ЯНКОВ, ВЛАДИМИР ЗАЯЦ, ВЯЧЕСЛАВ МЕШКОВ, ВАСИЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ, СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ, ФЕЛИКС ЗИГЕЛЬ, МАРИЯ МАМОНОВА, ЮРИЙ ЯРОВОЙ, СЕРГЕЙ ЛУКОНИН, ВЛАДИМИР ФАЛЕЙ, ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ, КИРИЛЛ АНДРЕЕВ, АННА МИРЛИС.



ФАНТАСТИКА-82

84(2)7
Ф22

Составитель ИВАН ЧЕРНЫХ
Художник РОБЕРТ АВОТИН

Фантастика-82: Сборник науч.-фантаст. повестей, рассказов и статей /Сост. И. Черных. — М.: Мол. гвардия, 1982. — 384 с., ил.

Ф 22

1 р. 80 к. 150 000 экз.

Традиционный молодогвардейский сборник научно-фантастических повестей, рассказов, очерков и статей советских авторов. Сборник рассчитан на молодого читателя.

Ф $\frac{4700000000-260}{078(02)-82}$ Без объявл.

ББК84(2)7
С62

© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЗОЯ ТУМАНОВА

В ТО УТРО ВЫПАЛ ИНЕЙ

БЭАМ не мог ошибиться. Он этого просто не умел.

И все-таки попробуйте поверить, что такая вот рожица, круглотой и размером с циферблат будильника, и неумелая улыбка в половину рта, и беспокойные пальчики, хватающие воздух, — все это принадлежит Величайшему Поэту всех Времен!

●

Был очередной день Избрания.

В этот день молодые родители узнают, какой путь жизни следует выбрать тому маленькому, беспомощному, бесконечно дорогому существу, что зовется их ребенком.

Этот день приходит не сразу.

Сначала собирается документация: специальные службы обращаются в архивы, получают подробные данные о прямых предках по линиям отцовской и материнской — в обозримом прошедшем, суммируют сведения об их занятиях, дарованиях, хобби; затем в работу включаются психогностика, геноаналитика, органография, аллергология и прочие разветвления медицины; изучаются результаты всевозможных анализов, кардио- и энцефалограммы, графики биотоков, анкеты вкусов и пристрастий, психотесты и прочее; при надобности выясняется, к примеру, имел ли прапрапрадедушка вредную привычку вдыхать дым сжигаемого в бумажной оболочке табака и в самом ли деле прапрабабка была несравненной кружевоплетельщицей...

Собранные сведения переводятся на перфокарты. БЭАМ — Большой Электронный Автономный Мозг — анализирует их и в считанные секунды выявляет способности, заложенные в младенце природой, определяет оптимальный вариант будущей его профессии и выдает взволнованным родителям Прогноз.

Давно уже на планетах Солнечного Ареала нет деления профессий на ведущие и отстающие, на очень престижные и не очень. Кто у вас? Будущий астроагроном? Водитель космостата? Генный инженер? Все родители ликуют одинаково.

Но вот те двое... Папа и мама Величайшего!

Смотрите-ка, сели на скамеечку. Кормят своего — страшно выговорить кого! — из термостата с соской...

На них поглядывают с почтением, завистью. Подумать, какая на людях ответственность! Ведь это не просто талант. И даже не гений. А самый... самый... самый...

Что-то он напишет?!

Все шло своим чередом.

В обычные сроки будущий Величайший начинал агукать, гулить, обзаводиться первым зубом, учился сидеть и ползать. И вот он выговорил Слово...

Событие было зафиксировано. Вскоре родителей пригласили на СВУП — Совет Выдающихся Умов Планеты.

Председатель СВУПа, моложавый академик ста семи лет, чемпион африканского региона по фигурному дельтапланеризму, начал свою речь без вступлений: время каждого из присутствующих в зале и сидящих у видеофонов было одной из величайших ценностей Планеты.

— Зачитываю анкету БЭАМа, серия тысяча сто пятнадцать, номер триста пятьдесят, призвание — поэзия, возможный уровень достижений — наи-наи-наи... — Усмехнувшись, академик объяснил: — Операторы решили, что машину заело, но техник сказал, что все в порядке. После проверки еще десять «наи» и потом уже «высший». Сами понимаете, результат небывалый, в виде исключения, прогноз был продублирован, БЭАМ повторил его без отклонений!

Академик сделал паузу и, словно взяв разбег, продолжал:

— Всем ясно: высочайший уровень достижений всего лишь возможность. История знает гениев, не раскрывшихся вполне и вовсе не явленных миру. Такое случалось в прошлом, у нас не должно! И наша задача — создать режим, оптимально благоприятный для того, чтобы великая возможность, дарованная природой, осуществилась на уровне совершенства. Как этого добиться? Какие методы воспитания и обучения должны применяться?

На пульте вспыхнула зеленая искра, Председатель нажал кнопку, осветился экран видеофона — появилось лицо Профессора.

Человек этот, фанатично преданный литературе, пренебрегал ради нее даже спортом и в свои шестьдесят пять выглядел уже немолодым: контактные линзы поблескивали на его глазах, шевелюра на висках отступила.

Он тоже говорил кратко:

— Не может быть двух мнений: будущему гению лирики должно дать дисциплинирующее воспитание, чтобы ввести разлив его эмоций в русло и гармонизировать музыку души; образование, естественно, сугубо литературное. С детских лет погрузим его в океан Поэзии! Сонеты гениев былого — его колыбельная. В играх ни шагу без мелодического, рифмой окрыленного слова!

Таково мое мнение и, надеюсь, многих единомышленников.

Новое сверкание зеленой искорки. Встал Главный Психолог Северного полушария:

— Только не мое! Должен предупредить: при таком индексе восприимчивости, какой отметил БЭАМ у Сергея Петрова,

все это чужое может быть принято и осознано как свое! И мы вместо гениального Создателя вырастим Интерпретатора! Вместо нового, неслыханного Слова прозвучит еще один вариант классических образцов. Я предупредил!

— Нет, нет и нет!

Это выкрикнул, не прося слова, порывистый и кипучий Поэт, Лауреат обоих полушарий. Не обращая внимания на предостерегающий жест Председателя, он продолжал запальчиво, словно ставя восклицательный знак после каждого слова:

— Было, знаем! Обрушатся... всей громадой... тысячелетия! Гений за гением! И ты — вечный ученик! А вернее — копиист! Подражатель, вольный или невольный! А потом еще напичкают теорией — законы, правила! Три единства! Ружье, висящее в первом акте, должно выстрелить в третьем! Разъяснят, дожуют до полной потери вкуса! И получается — у литературно образованных — не свое, цельное, а лоскутное одеяло из обрывков чужого! Из расхожих образов и затрепанных слов!

Председатель нажал кнопку, раздался мелодичный звон. Поэт хмуро замолк.

— Что вы предлагаете, конкретно? — спросил Председатель.

Оратор снова оживился:

— Хватит с нас литературы — от литературы! Не нужно ему никакого стиховедческого образования! Пусть останется взвихренным и угловатым! Пусть в ритмах его стихов отзовутся валы моря и порывы ветра! И мы услышим первозданное слово Поэта — кристалл жизни!

ИЗ ДНЕВНИКА ПРОФЕССОРА ПЕДОКОРРЕЛЯЦИИ (ППК).

Запись первая

«Ура, ура и еще раз ура! Никак не могу опомниться — за что такая честь? Именно я назначен Воспитателем Величайшего! Разумеется, все многообразие педокоррелятивной работы не сведется к основным принципам, выработанным СВУПом в результате двухнедельной дискуссии. Кстати, вот они:

а) источник поэтических впечатлений для Величайшего — природа, как можно более первозданная;

б) источник языка — все сокровища литературы, за исключением поэзии как таковой;

в) круг общения: Воспитатель, родители, учителя, библиотекари, фольклористы, сверстники (по особому отбору);

г) главный запрет — ни одной поэтической строки, произнесенной в присутствии Величайшего.

Я со своей стороны внес уже некоторые дополнения и уточнения: никаких колыбельных, потешек и прибауток со стороны матери. Что касается сверстников, то, видимо, из двена-

дцати миллиардов, населяющих планеты Солнечного Ареала, можно будет найти десятка два ребятишек, абсолютно лишенных поэтического слуха, которые никак не сумеют не то что сочинить — запомнить хоть четыре рифмованных строки.

И еще, учитывая пока не изжитые у некоторых забывчивость и непоследовательность, я попросил специалистов по психотехнике подкрепить запрет на поэтическое слово в присутствии будущего Величайшего мерами технического порядка. И они обещали полный контроль.

Нас поместили в заповеднике «Лесная школа». Только здесь стало понятно, как мало я видел в жизни природы!

Здесь есть река, не заключенная в трубу, не обрамленная набережными. Ее извивам нельзя найти геометрических соответствий. Эта зеркальная лента повторяет все краски земли и неба, дарит им переливчатый блеск, она тихо зыблет отражения деревьев.

Вечерами по реке льется расплавленное золото заката.

Стоп, Профессор! Вы только что чуть не процитировали запретное...

Запись вторая

Все идет без осложнений. Я пишу в отчетах: «Аппетит в норме. Аппетит выше нормы. Игровая деятельность активизируется».

По общим отзывам, растет нормальный, здоровый ребенок. Бегает, кричит, падает — как все. И говорит...

С каким трепетом я отмечаю эту уверенную властность в овладении чудом родной речи! Владыка суффиксов и флексий, он вносит в нее порядок и симметрию. Заяц — зайчиха? Значит, «поросенок и поросиха». «Кончилась темнота, теперь светлота». «Петя — толстяк, а я тоняк!» «Окно можно занавесить и разнавесить...»

Запряжет любую морфему, если надо выразить чувство: «От машины пахло бензином-пребензином! А ракетоплан пролетал низочко. Мамы не было — я ее везде-вездешенько искал!»

Или вот такая сравнительная характеристика, выданная мне и самому себе: «Я много говорю и тихо ем, а вы многотихный и быстроемный!»

Запись третья

Здесь есть лес — не парк, а настоящий, без тропок.

Пробираемся меж деревьев. Ели загораживают дорогу обвисшими широкими рукавами. Молодые елята тычут зелеными пальчиками: «Люди, люди!»

Выходим на луг. Березы на взгорке словно струятся и текут под ветром — зеленая река, вознесенная в небо...

Сережа...

Он свой и в лесу, и в стрекочущем таинстве луга. Для него все вокруг живое, как мы. «Дуб задрал свои черные руки. Ветер подул, озеро затанцевало. У дождя ноги длинные: от неба до земли».

Первобытный антропоморфизм сродни поэтическому одухотворению природы.

Да, он Поэт. Будущий...

Запись четвертая

Жадно читает. «Я хочу триста миллионов толстых книг».

Населяет мир образами книг, искусства. Листья в луже — «золотые рыбки». Дивный свет зари, окрасившей утро в тона непостижимой нежности, — «как будто вошла принцесса в розовом платье». Вентилятор сравнил с лопоухой мышью из голографического мультфильма.

Неужели вторичности не избежать? Сократить круг чтения? Но ведь это значит — обеднить мир чувств...

Запись пятая

Взглянул на почки тополя: «Листья прорезаются!» Какая точность слова!

У кого из классиков — попытка выразить смутное состояние души, полугрезу, полувоспоминанье: «Все это уж было когда-то, но только не помню когда...»?

Сережа сказал: «А это уже было один раз? Все так мне м о р о ш и т с я, что это уже было...»

Какое чудесное словечко — дитя трех отцов: «морочить», «мерещиться», «моросить»!

Запись шестая

Он самостоятельно открыл рифму!

Проснулся под синичный свист из распахнутого окна. В полусне лепетал: «Синички... синички... синенькие птички...» Вдруг во весь голос: «Синички — птички! Синички — птички!» И засмеялся от радости.

Стало каждодневной игрой: «Мои ножки побежали по дорожке. Встал дрозд во весь рост!» С хохотом, ликованьем, подпрыгивая от восторга. А потом был зоотелеурок. И Сережа не смог подобрать рифму к слову «леопард». Жаль было смотреть, как он потерялся, поник, расстроился. Я, словно бы невзначай, стал бормотать вполголоса: «Леопард — кавалергард — азарт». Но мальчик не знает этих слов и принял мою подсказку за насмешку.

Интерес к рифмам остыл прежде, чем он сочинил хотя бы четыре рифмованные строчки.

Может быть, мы идем неверным путем?

Запись седьмая

Годы катятся как на роликах. Легко, плавно, запланированно... и скучно.

Где дитя — чудо-словотворец? Сережа говорит правильно, как мы все, даже лучше, правильнее многих взрослых. Он поступает правильно. У него режим дня. Он увлекается спортом.

Нет на свете мальчика, более далекого от поэзии, чем Сергей Петров.

Наша заслуга. Мы — дипломированные ослы.

Запись восьмая

Трудный возраст...

Интересно читать повести про подростков, какие они вдруг выкидывают штуки. Но когда твой собственный Воспитанник, которого ты просвечивал взглядом, как стекло воды на перекате, делается глубок и темен, как омут...

И на кого похож! Извините, на кузнечика: столь же коленчат и так же готов упрыгнуть. Весь долгопротяженный; садясь, он складывается как шезлонг. И сутулится. Нет, сгибается крючком, словно защищая спиной, плечами, локтями нечто сокровенное, дорогое от чужих безжалостных взглядов...

Он не приемлет резкости старших. И еще более их мягкости. От ласки его корежит — бедная мать!

Поведение его внезапное и пугающее. Сонно-туповатый взгляд — и вдруг блеск мысли, решения, поступка: точно взмах шпаги д'Артаньяна. Закапывается в занятия, потом бросает все. В обращении со мной небрежно-снисходителен: «Вы хороший человек, Профессор, но вы ни-че-го не понимаете!»

То теленок, то тигренок.

А у кого из Великих характер был плюшевый, уютный?

Запись девятая

Все смешалось... в «Лесной школе»!

Приехала группа будущих Ботаников изучать экологическое сообщество луга и леса. Сереже загорелось: «Познакомиться!»

Я срочно запросил СВУП. Было получено разрешение. Разумеется, молодые прошли, не зная о том, через слабое амнезополе: на два-три месяца стихи будут забыты, все, что когда-то помнилось. Запрет продолжает действовать...

Лес звенит голосами, хохот вспугивает коростелей на лугу. Сергей со всеми. Он порвал путы своей застенчивости. Острит безоглядно. Кажется, что он под током; прикоснись — и искры веером!

...Там есть девочка, Наташа. Я увидел ее в первый раз на террасе школы. Она читала, сидя в плетеном кресле: голова, склоненная над книгой, ресницы на полщеки, прозрачный завиток волос на шее, смуглый атлас светящейся после купанья

кожи... В этом зеленоватом сумраке, за каскадами вьющихся растений ее словно очертил луч солнца. И это почудилось мне, Профессору педокорреляции, — какой же должен был увидеть ее Сергей!

Запись десятая

Он дичает от радости жизни.

«Сумасшедшее лето! — говорит он мне. — Посмотрите на боярышник: заросли в цвету — как терема! Розы вдоль аллеи — как факельное шествие, посмотрите, каждый бутон — язычок пламени!»

Никогда он не был так зорок к подробностям жизни, так щедр в сравнениях, так трепетно отзывчив на каждое дуновение ветра, на каждый птичий отклик!

Но он не пишет стихов.

Запись одиннадцатая

Лето перелистывает зеленые страницы. И на каждой, в рамке цветов и листьев, Наташа.

...В пасмурный день — шорох и шелест листвы, на цветном пластобетоне тысячи сверкающих взрывов дождя. В ложбинках листьев его тяжелые капли отсвечивают ртутным блеском.

Через двор бежит Наташа — мокрый веер волос на плечах. Удлиненные, хрупкие линии, и бег ее как полет. Поскользнулась, крыльями взметнулись руки — удержали на лету...

Сергей сидит в комнате один, улыбаясь своим мыслям. Дождь прошел. Дымки облаков под самой кромкой окоема, осеребренные светом уже скрывшегося солнца...

Кажется, я сам начну писать стихи. Но ведь и я был когда-то избран — не Поэтом, Воспитателем. А БЭАМ не ошибается.

Ошибаются только люди.

Запись двенадцатая

Уехали.

Кончились наши походы по лугам в цветенье, словно густо забрызганным чернилами и известкой, по берегам тихо струящихся рек, где в заводях кувшинки лежат на черной воде.

И музыкальные вечера на террасе. Перламутровые аккорды арфы под рукой Наташи.

Шаг за шагом осень ведет нас к холодам. Мы с Сережей отмечаем ее шаги. С какой обостренной зоркостью — его глазами! — я вижу движение осени.

Клен под окном — алый с золотом и зеленью. Шевелится листва под ветром, словно стая огненноперых птиц села на ветви; беспокойные, то одна, то другая вспархивает и, покружась, медленно опускается наземь.

Сквозят — за хрусталем воздуха — дали. Белые хризантемы осмуглил первый утренник — морозец.

— Наташа не пишет, — сказал мне Сергей. — Я считал: уже могло прийти три письма. Она обещала...

— Напиши сам, — посоветовал я.

Он замотал головой:

— Я не знаю, как... Что-то рвется в душе, рвется и болит, слова жгут, они во мне, неизвестно, как дать им волю. Что ни напишу, выходит не то.

«А ты напиши стихи», — чуть не слетело у меня с языка. Но я удержался. Сердце мое настороже, замерло — и ждет. Я чувствую, что это все-таки случится: немая Поэзия обретет Язык! Каким он будет — первозданный? Чтобы узнать это, можно отдать жизнь.

Запись тринадцатая

Нет, осень больших городов не так печальна.

Ветер свистел всю ночь — словно дул в ледяную трубу. На террасу падали уже не золотые, а какие-то обгорелые листья.

А нынче утром выпал иней.

Сергею, кажется, нездоровилось, и все же мы вышли на прогулку. Пронзительный холод овевал и обжигал щеки. Мы шли по бронзе и меди пожухлой травы, оправленной в белизну. На каждой былинке, на каждом листке — сверкающий припорох инея, больно глазам, и все-таки сладко и погибельно замирает сердце от скорбной, торжественной, прощальной красоты!

Мы почти дошли до леса, когда Сергей сказал:

— Не могу. Постоим немного, посмотрим...

И мы стояли молча. Потом он обернул ко мне лицо, — какие у него были глаза! И я услышал его задыхающийся шепот:

— Не могу... Все, что есть во мне... и эта тоска! И дрожь счастья как паутинка на ветру. Как сделать, чтоб выплеснуть и чтоб не пропало, а пело, звенело — с ветром, с листвой! Чтобы слилось — было, как это небо, как ветер! И так же обожгло, как ее рука тогда, прощаясь... Чтоб сердце вдруг взлетело на страшную высоту... на край обрыва!

Я замер. Какой-то мистический страх сковал меня. Может быть, они родятся сейчас, единственные строки, кристалл мировой Поэзии. Те, что проникнут в любое сердце. Ошеломят. Прославят Человечность...

Тихо было в поле. Вставало солнце, и с тончайшим звоном осыпались иголочки инея.

— Вот, — сказал Сергей. — Я скажу так — и лучше, я знаю, нельзя.

И, задохнувшись, застыв на немыслимой высоте волненья, я услышал, как он прошептал:

Роняет лес багряный свой убор.
Сребрит мороз увянувшее поле.

ЮРИЙ ГЕРАСИМЕНКО

МАРТОВСКИЙ ВЕТЕР

Матери моей
Глафире Андриановне

1. Вьюга

За окнами света не видно! Метет, кружит, хребтами выгибает сугробы. Возле сарая горы наворотило: колоды, поленницы — все укрыто.

Смеркается.

Окно напротив лежанки. Маринка откладывает книгу и, не поднимая головы, всматривается в метель.

Мало, очень мало что увидишь в окне на улицу. А в боковое и того меньше: на луга, на реку выходит, в нем одно белое марево. Правда, если бы не война, то сейчас на той стороне много бы огоньков светилось: школа, лесокомбинат. Вся Опанасьевка в той стороне. Отсняли, погасли огни. Тьма...

Ну и рано же смеркаться стало! Болит нога, к вечеру всегда больше нездоровится. И одиночество ощутимее — хата словно увеличивается, пустеет... Не любит Маринка вечера.

Днем, в работе, грустить некогда. С одними дровами намаешься — пока-то на костыле доковыляешь до сарая, пока натюкаешь... А вода? До речки еще дальше — да и прорубь за ночь замерзает.

Мать, как собиралась на заработки, наносила в кадочку. Дровец в сенях сложила: «Это тебе на месяц». И ушла. А тут морозищи, на речке лед и тот трескается. За две недели все дрова и спалила.

Встает Маринка не рано — чтобы поменьше есть. Наготовит дров, наварит каши, а то коржиков из картофельных очисток напечет. Протопит печь, а тут уже и вечер наступает. Умостится на лежанке, обложится книжками, блаженствует.

Вот учебники... Если б не фрицы, уже в институте училась бы, на втором курсе...

А вот Жюль Верн, Войнич, Майн Рид... Когда горела школа, люди спасали все, что могли. Мать принесла кое-что из школьной библиотеки. Любит Маринка, очень любит все фантастическое и необычное.

Незаметно стемнело, пора и свет зажигать. Встала, завесила окно, нашла зажигалку. Немецкая... Мать на базаре за петуха выменяла.

Крохотный синеватый огонек — меньше горошины — прицепился к фитильку каганца. Причудливая тень выгнулась на стене. Из-за печи отозвался сверчок. Маринка вздрогнула, зябко передернула плечами.

Как нравились ей раньше эти ночные звуки — мирные, уютные, словно из доброй бабушкиной сказки. И какие они тревожные теперь...

Маринка не признается и самой себе: она стала бояться ночной тишины. Особой, оккупационной тишины, ненадежной, как и все на полоненной земле.

Смерть повсюду. Это она, мордастая, скуластая, в черном полицайском мундире, бродит проулками Опанасьевки, она, модернизированная и механизированная, завывает в небе «штукасами», и совсем недалеко — километра два — за хатой, за дубняком, она, цивилизованная, европейская, мчится по асфальту шоссе в желтых гробах-броневиках. Смерть вокруг. И ночью в темноте это особенно чувствуется.

Девушка садится. Обхватив голову руками, склоняется над столом.

— Гу-у-у... — завывает, стонет в соснах. Сверчок умолкает. Мигает, гаснет каганец. Тихо. Тихо и страшно.

Тресь! Тресь! Ба-бах!

Что это? Нет, это уже не ветви. В реве вьюги ясно слышатся выстрелы.

Неужели опять?.. Ближе, ближе... Затихло.

В прошлом месяце — мама еще только собиралась на заработки — было точь-в-точь как сейчас: ночь, метель, а в лесу стреляют. Утром — тихо. А потом мама новость с базара принесла: вчера, как рассказывали, к вечеру под Теплым Кутом эсэсовцы обложили партизан. Ночью был бой — наши, очевидно, из окружения прорывались. А чем закончилось — мама так и не узнала. Пришла и плачет: побили наших...

Маринка как только могла утешала: так-таки и побили! Наши прорвались, ну точно, прорвались! Отступили в глубь леса. Отдохнут, раненых перевяжут, а из Москвы им самолетами и одежду, и оружие, и патроны! Сейчас, говорят, и танки на парашютах опускают.

Вот так успокаивает, а у самой тоже слезы на глазах: и откуда она может знать, что партизаны живы... Подруг у нее нет. Некоторые — выехали, «вакулировались», как говорит мама, Наденьку, ближайшую подругу, немец убил, а Марусю, Майю и Люду Бочарову в Германию угнали. И ее бы спровадили, да нога больная — третий год с костылем. На весь конец села никого из ровесниц Маринки не осталось.

Живут они с матерью как на острове. Перед глазами бор,

за хатой дубрава. Отец смолоду лесником служил. Потому и построились у леса.

А каким разговорчивым, гостеприимным папка был, приятелей — полсела. А вот мама совсем наоборот. Еще и до войны и пока папка на войну не ушел не очень-то любила с бабами лясы точить. А как пришла похоронка — совсем говорить разучилась. Поседела, лицом потемнела и десяти слов за сутки не вымолвит.

Где-то она сейчас, мамочка, мама... Сегодня ровно месяц от того хмурого утра, как ушла. Надела на швейную машинку самодельный чехол, поставила на санки свою кормилицу — ручную, зингеровскую, бабусину еще; закутала пустыми мешками — и от села до села.

Все больше для женщин шьет: кому кофтенку, кому юбку, а какой-нибудь старенькой и сорочку к смерти.

Трещит сверчок: пока что тихо... пока что тихо... Пора уже и спать.

Придвинула к лежанке табурет, чтобы каганчик поставить — еще малость почитать на сон грядущий. Прислушалась — ревет вьюга... И снова вроде бы выстрелы... О! Приближаются! Совсем близко!

Дунула на огонек. Утихшая было тревога ожила, морозом охватила тело.

Стрельба то усиливалась, то растворялась в гоготе бурана. Но вот вроде удалилась. Тише, тише — и улеглась...

Долго стояла Маринка, прислушивалась, прижимала рукой встревоженное — вот-вот выскочит — сердце.

Нашла зажигалку, засветила каганчик и, прикрывая ладошкой, чтобы не погас, хотела было идти к лежанке, да так и застыла над столом. Ей показалось...

Ей послышалось, словно тихо-тихо, едва слышно, кто-то стучит в дверь.

«А может, почудилось? Конечно, почудилось., — успокаивала себя. — Нет... В самом деле. О! Громче...»

Заметалась по комнате, схватила зачем-то чапельник, бросила его и, совсем уже не помня себя, прислонилась к теплой печи, закрыла ладонями лицо.

Постучали опять, еще громче.

— Откройте... — донесся заглушаемый вьюгой мужской голос.

«Что делать?! Кто бы это? Спокойнее! Что бы ни случилось — спокойнее! — Маринка вся дрожала. — Ну, успокойся! Возьми себя в руки!»

Постепенно ей все же удалось это сделать, и, когда в третий раз постучали, она сумела, заставила себя подойти к двери в сенях:

— Кто там?..

— Свои... Откройте... — Голос слабый, болезненный, совсем не угрожающий.

— Кто?

Молчание. Только ветер воет да снова где-то далеко-далеко выстрелы, автоматные очереди.

«Свои»... Какие «свои»? — судорожно метались мысли. — Родственников в селе нет. Знакомые? Так уже поздно...»

— Кто там? — спросила опять и совсем вышла в сени.

«А может, полиция? Может, и полиция... Но почему, почему полиция?»

Липкий, пронизывающий, до тошноты отвратительный страх... И от этого страха Маринка сама себе становится противной. «Может, и полиция. Ну и пусть, пусть полиция! Один конец!»

Долго потом, всю жизнь будет удивляться Марина: как это она, известная, прославленная на весь их 10-й «Б» трусиха, которая — что там говорить о ворах! — тараканов и пауков боялась, как это она — одна, ночью — отважилась открыть дверь незнакомому человеку.

Отважилась...

Затаив дыхание, потихоньку отодвигает засов, поднимает щеколду и...

Дверь с силой распахивается. Высокая, черная, залепленная снегом фигура движется, падает на Марину.

2. Человек в черной шинели

Настало утро, тихое, голубое. Тишина была такой, что Маринка словно опьянела. Щурясь на солнце, медленно поднималась от речки. Костыль то и дело скользил, дужка ведра врезалась в ладонь. Расколыхавшаяся, парящая на морозе вода хлюпала на длиннющий отцовский кожух. Обессиленная, остановилась отдохнуть.

Было так ярко, так ослепительно хорошо, что никак не верилось в случившееся прошедшей ночью. И чем все это закончится...

Тогда Маринка и отшатнуться не успела: высокий юноша с бледным окровавленным лицом в беспамятстве упал прямо на нее. Раздумывать было некогда, все произошло как-то само собой.

Напряглась — откуда и силы появились? — перетащила через два порога. Метнулась назад, двери на засов да еще и на ключ закрыла.

Кто он? Ну зачем она его втащила?.. Это уже потом, когда малость отдышалась, подумала: батя бы на ее месте сделал бы то же самое...

Паренек не шевелился, только грудь чуть заметно поднималась и опускалась. Подложила под голову старый ватник,

расстегнула и стянула шинель: черная, полицайская... Да разве в такую пору полицаи поодиночке ходят?..

Ранка на лице небольшая — ветка, должно быть, оцарапала. А на полу кровь. Уже целая лужа! Боже! Из сапога течет... Осторожно надрезала, распорола голенище — так и хлестнуло. Никогда еще не видела Маринка столько крови...

Замутило с непривычки, в горле клубок, но девушка закусила губу, принялась хлопотать возле раненого. Разорвала старое полотенце — чистенькое, вчера только выстирала, — и, едва не теряя сознание, словно не хлопцу, а ей, Маринке, боль жгла огнем ногу, начала бинтовать.

Раненый глухо застонал, открыл глаза:

— Где я?..

Большими болезненно-блестящими глазами обвел комнату, пол с лужей крови, остановил взгляд на Маринкином лице:

— Спасибо...

И вдруг заволновался, поднял голову:

— Ты одна?

— Одна.

— Про меня — никому! Слышь, никому!

Маринка кивнула, оглянулась почему-то и тихо, еле слышно спросила:

— Ты партизан?..

Но хлопец уже не слышал. Бледное, как восковое, лицо потемнело, на виске набухла жилка, вскочил, глаза туманные, невидящие — прямо сквозь Маринку смотрят:

— Есть! Есть! Товарищ командир!.. — Рванулся: — Товарищ... — Но силы оставили его — обмяк, на высоком, белом точно мел лбу капли пота...

Только перед рассветом пришел в сознание. Такой послушный и вроде виноватый. Помог стянуть с себя гимнастерку. Упираясь руками, с грехом пополам и с Маринкиной помощью дополз до лежанки, затих. Спал и тогда, когда девушка пошла по воду.

У Маринки сердце замирало от тревоги: а ну как полиция?! Андрона, начальника их, позавчера опять видела — на санях, куда-то по речке поехал.

Ну и тяжелое ведро! Насилу дотащила. Поставила в сенях, веничком обмахнула валенки и — тихонько, не разбудить бы! — открыла дверь.

О! Проснулся...

Лежит, листает Жюля Верна. Взглянул на нее, улыбнулся:

— Доброе утро! Вот какого вам гостя господь послал...

— Ничего... — Сняла кожух, села на лавку под окном.

Молчание.

А хлопец красивый. Маринка опустила глаза: ой, батюшки, пуговка на ватнике оторвалась! Взяла подушечку с иголками,

шьет. Шьет и чувствует — глаз с нее не сводит. И чего бы он смотрел... Тьфу! Глупости это! Решительно подняла глаза.

А паренек так хорошо, так искренне-весело, по-дружески улыбнулся, что Маринка немного успокоилась. Мысли про полицию и про Андрона отступили, ушли.

— Откуда вы?

— Сказать? А вы никому не расскажете?

Ишь какой! Да чтобы она, Маринка... Да лучше умрет!..

— Будьте спокойны!

— Ну ладно, садитесь поближе. Да не опускайте голову. Смотрите на меня.

— Зачем?

— Затем!.. — Паренек прищурился. — Ведь я... Поверьте мне, умею немного колдовать. Вот взгляну вам в глаза, поворожу и узнаю все ваши мысли...

Маринка зарделась, потом густо покраснела, но голову подняла. Да еще как — с вызовом, с задорной улыбкой:

— Так уж и узнаете? Ну и узнавайте, пожалуйста! Послушаю, что скажете!

И паренек посмотрел ей в глаза.

Странно как-то смотрел: лицо у него будто и веселое, а в глазах — в самых зрачках — напряженное, сосредоточенное внимание. Точно так же перед войной разглядывал Маринку в областной больнице какой-то известный, кажется из самой столицы, профессор. Страшным это ей тогда показалось: нога, колено у нее болит, а он глаза рассматривает, да еще ассистентам своим показывает.

— Ну, как? — улыбнулась пареньку. — Прочли мои мысли в глазах?

— Зачем в глазах, они у вас на лице написаны...

Нахмурилась, опустила голову:

— Так уж и написаны...

Хотела встать, но паренек взял ее за руку, придержал, и Маринка, сама себе удивляясь, подчинилась. Вздохнула, подняла взгляд:

— Может, все же скажете, кто вы, откуда?..

Паренек развел руками:

— Ну что ж, придется, пожалуй, признаться.

Маринка торопливо придвинула к лежанке табурет, села:

— Говорите!

Паренек оглянулся, сложил ладони рупором и, сделав страшное лицо, громко прошептал:

— С «Наутилуса»...

Маринка хотела рассердиться, но не выдержала и фыркнула.

— Не верите? Вот ей-богу, первый помощник самого Немо!

— У капитана Немо был не такой помощник.

— Разве? Жаль... А вы, случаем, не Мери из семьи Грантов?

— Не-а... — девушка опять засмеялась. — Я Марина...

— О! Так это же еще лучше! Бесстрашная и прекрасная Марина — героиня необыкновенно таинственного романа «Ночной гость, или Воскресение из мертвых». Согласны на такую роль?

Марина совсем развеселилась:

— Выдумали! Нет такого романа...

— Нет, так, значит, будет.

— Уж не вы ли собираетесь его написать?

Паренек хотел приподняться и побледнел от боли. Перевел дыхание, протянул Маринке ослабевшую руку:

— Давайте знакомиться. Вот только вы хитрая девушка: я вон сколько рассказал, даже на каком корабле служу, и то выболтал, а про вас мне только известно, что вы Маринка-Хмаринка.

— Ой! Откуда вы узнали, что меня так дразнят?

— Для чего же я вам в глаза смотрел? Глаза — это, знаете... Это очень много. Это все... Я вам кое-что расскажу... Но только потом. А сейчас скажите лучше, почему вас так дразнят?

— Ну... у отца прозвище было — Хмара *...

— Так что он у вас, хмурый очень?

— Нет, песню про хмару он петь любил.

— А сейчас где? Живой?

— Нету. В позапрошлом году, когда еще наши тут были, пришла похоронка. На второй месяц войны...

— А мама?

— На заработках. Ходит по селам. Она у меня швея...

Парень помрачнел. Помолчали.

— Ой и заболталась я с вами. — Маринка вскочила. — Мне еще и дрова рубить, и печку топить... — И, уже надевая кожух, спросила: — А как вас зовут?

— Как зовут? — улыбнулся юноша. — Зовите как захочется. Какое имя вам больше нравится? Михайло подойдет?

Девушка пожала плечами: подумаешь, задается, что не имеет права себя назвать. Так и подмывало сказать, чтобы не задирал нос. Но сдержалась и совсем серьезно кивнула:

— Подойдет.

Новые хлопоты заполнили без того встревоженную душу Маринки, заслонили все ее ночные страхи. Еще и дня не прошло, как он в хате, а уже все по-новому.

— Послушайте, Маринка-Хмаринка, — обратился Михайло к девушке, когда та, принеся дрова, возилась возле печки. —

---

* Хмара *(укр.)* — туча, облако.

А не пора ли нам отбросить все эти испанские церемонии? «Вы» да «вы»... Давайте перейдем на «ты».

Маринка улыбнулась: как у него все просто! А впрочем, ей и самой кажется, будто они давным-давно уже знакомы.

— Ну так как? Согласна?

— Согласна, согласна...

Михайло развернул книгу, долго рассматривал какой-то рисунок и вдруг, не отрывая глаз от страницы, произнес тихим, совсем уже не веселым голосом:

— Маринка...

— А? — Девушка повернула лицо, освещенное отблесками огня. — Вы... Ты... меня звал?

— Да, звал. Скажи, Маринка, только не торопись с ответом. Скажи, ты догадываешься, что ждет тебя, если «освободители»... ну, одним словом, дознаются, что я совсем не с «Наутилуса»?

Маринка даже плюнула в сердцах:

— Дурень ты, вот что я скажу! И давай больше про это не говорить. Не знала, что и среди партизан бывают олухи!..

— О-о!.. Так в романах не разговаривают! И потом, что это ты на старших голос повышаешь? Тебе сколько? Восемнадцать? Ну а мне целых двадцать три. Ишь какая! — Парень повеселел. — И если уж так, давай договоримся: во-первых, обо мне никому ни слова. Во-вторых, без моего согласия никуда не ходить. В-третьих, ты мне расскажешь, кто может к тебе прийти и с кем ты дружишь в селе. И запомни — никакой я не партизан, а твой родственник, ну, скажем, двоюродный брат Михайло Иванович Иваненко. Шел к теще в Теплый Кут да по дороге простудился и вот слег у тебя. Паспорт у меня в порядке, есть даже свидетельство, что служу в полиции, в областном городе, и потому, как это ни печально, а в Германию поехать не могу. Полицейство мое, конечно, целиком научно-фантастическое, но ничего, пока что помогает. Вот такие дела, Маринка-Хмаринка. Ясно? Вопросов нет?

— Ясно...

— Ну а теперь, Хмаринка, выкладывай ты. Расскажи мне про своих знакомых.

В печурке весело трещали, стреляли искрами смолистые ветки. Солнечный голубой мороз заглядывал в окно.

Сидит Маринка, вспоминает, рассказывает. Сама удивляется: отчего это на нее такая откровенность нашла? И про школу, и про то, как с Надийкой дружили, и про Андрона —прежде студента-филолога, а ныне начальника Опанасьевской полиции. Это он в позапрошлом году, когда уходил на фронт (еще наши были), вызвал ее из хаты на улицу — «На рандеву, — сказал, — на два слова» — и начал признаваться в любви, и не только словами. Пьяный... Ну и... короче говоря, схлопотал оплеуху.

На фронт ушел добровольцем, а в первом же бою к фрицам сбежал. Для того, должно быть, и добровольцем шел, чтобы скорее к «освободителям» попасть — скорее выслужиться, заработать...

— Он к тебе приходит?

— Куда там ему! После того «рандеву» и на глаза не показывался.

— Ну и хорошо. Чтоб ему пусто было. Расскажи лучше про отца.

О, об отце Марина может говорить часами — было бы кому слушать. Как он пел! Боже, как пел... До войны по всей Опанасьевке без Данилы Супруна свадьба за свадьбу не считалась. Как затянет: «Ой наступала та чорна хмара...» — все замолкают. А в том месте, где:

А кто над нами, братцы,
Будет смеяться —
Того будем бить! —

батя всегда мрачнел, грохал о стол кулаком. И все вокруг тоже хмурились... Какой он красивый становился, когда эту песню пел! И вообще был очень красивый...

А лес как любил! Каждую былинку, каждую букашку по имени и отчеству величал: знал и народные названия, и латинские. На все руки был мастером — и бондарем, и слесарем, и садовником. Очень много добра людям делал.

Умолкла, задумалась. На плите чайник завел свою песню.

3. Михайло рассказывает

Прошло три дня. Маринкин гость уже встает. «Сегодня, — говорит, — и на улицу выйду!» Накинулась на хлопца: да разве ж так можно! Позавчера кровью исходил, а сегодня — на улицу?!

Смеется:

— А из тебя, Хмаринка, хороший командир выйдет. Мужа взнуздаешь — юбки стирать будет!

— А я и вовсе замуж не пойду!

— Трень-брень — с кочки на пень!

— Что?

— Наговорила, что дров наварила, да посолить их и съесть позабыла.

Маринка не удержалась, фыркнула:

— Подумаешь! Я и получше еще знаю.

— А ну-ка, ну-ка!

— Сестры вечер до брички, не доходя, обминаючи, две недели в сторону. О! Ты такого не знаешь!

— Знаю!

— Что ты там знаешь...

Вот так как начали с утра — он слово, она два. И все им

весело, все смешно. До вечера и проболтали. За шутками не заметили, как кулеш подгорел. Каких только анекдотов не рассказывал Михайло! И про то, как повадился поп к Марусе, а цыган подстерег, и как Гитлера в черти принимали, и как пьяница собачонку съел. Маринка смеялась до слез.

Как она соскучилась, истосковалась по смеху, по остроумным юношеским каламбурам!

— Еще! Еще! — просила как расшалившийся ребенок. И вдруг куда и делось веселье: несколько автоматных очередей прострочили тишину.

Михайло порывисто вскочил и тут же плюхнулся обратно, сцепив зубы:

— Болит, проклятая...

Медленно, опираясь на кочергу, доковылял до окна:

— Где это? В лесу?

Маринка накинула кожух:

— Сейчас узнаю.

— Стой! Ты куда?

— Я только на крыльцо.

Стрельба удалилась, Маринка вернулась помрачневшей.

— Ну, что там такое?

— Да... Опять Андрон. Бегает по селу и строчит — на собак охотится.

— Откуда ты знаешь?

— В лесу от выстрелов эхо совсем иное. Да и с крыльца видно: он же в черной шинели. Ему одному пока что форму выдали. А теперь, значит, и автомат доверили...

Сняла кожух, села понурившись:

— Смерть и смерть, кругом смерть... И когда это кончится...

— Само — никогда. А возьмемся все — то скоро.

Маринка совсем голову опустила:

— Возьмемся... Куда мне с такой ногой...

— Ты и так уже взялась. — Михайло нахмурился. — Вот жизнью своей рискуешь...

Но девушка только рукой махнула:

— Тоже мне сокровище... Ничего она сейчас не стоит, моя жизнь.

Михайло, опершись на подоконник, шагнул к Марине и вдруг — что это он? — положил руки ей на плечи... Потом осторожно, нежно правой поднял ее голову и — глаза в глаза — посмотрел. Странно так посмотрел, совсем не так, как молодой парень, почти сверстник, а будто врач — точь-в-точь как тогда, в первый день.

— Стоит! Жизнь оценивается только жизнью.

Сели на скамью, девушка притихла.

— Знаешь, Маринка, разные бывают люди. Одни живя умирают, а другие и умирая живут. Некоторые только о смерти и думают. Да еще к тому же философствуют: «Очень мы, — го-

ворят, — жизнь любим, потому нам и умирать страшно». А иные то и дело проклинают жизнь, вечно ее ломают, переиначивают. Но зато и в последнюю секунду живут, верят: все можно начать сначала...

— Сначала... Это только в фантастических романах так бывает. — Маринка грустно улыбнулась. — Пока читаешь, забудешься — и за то спасибо: вроде полегчает.

Задумалась, какой-то шнурок крутит на пальце, завязывает и развязывает.

Михайло встал, заковылял к лежанке, лег.

— Фантастических, говоришь? Читал. Выдуманные истории! Знаешь, — хитровато прищурился, — мне иногда кажется — можно было бы и поинтереснее придумать. Вот ты смеялась, что называю себя помощником капитана Немо, а я действительно, так сказать, живой герой фантастической повести. Рассказал бы я тебе, да боюсь — спать не будешь. Вон уже и солнце село...

— Расскажи! — встрепенулась Маринка. — Расскажи! Расскажи!

— Да нет, лучше завтра. — Михайло сделал вид, что решил окончательно, а сам краешком глаза лукаво поглядывает на Марину.

— Ну все. Пока не расскажешь, я и спать не лягу. Так и знай.

— Вот беда! — упрямился Михайло. — А может, все же завтра?

Маринка рассердилась:

— Можешь совсем не рассказывать. Подумаешь...

— Ну ладно, ладно, пользуйся моей добротой. Слушай. С чего же тебе начать?..

— Подожди, я сейчас! — Маринка, припадая на костыль, метнулась в сени: засов, крючок — все как следует. Заперла и внутреннюю дверь. Приготовила коптилку, зажигалку, завесила окна. — Сейчас, сейчас! Одну минутку! — Зажгла коптилку и, поудобней устроившись на широкой маминой кровати, с наслаждением вытянула уставшие ноги. — Ну, начинай...

По стеклу окна снова царапает ветка, сверчок стрекочет: «Пока все тихо... Пока все тихо...» Но девушке не до сверчка.

Первый рассказ Михаила

До войны мы с отцом жили на окраине города в маленьком, совсем уже ветхом домике. Его и строили когда-то невысоким, чтобы дров зимою поменьше уходило, а за долгие годы он так врос в землю, что совсем скрылся в буйном, одичавшем вишневом саду.

Мать умерла, когда мне еще и года не было, отец с утра до вечера на заводе, и я рос, воспитывался, можно сказать, не

дома, а в двух садах: днем — в детском, а вечером — в отцовском, вишневом. Здесь и в салочки с соседскими ребятами гонял, здесь потом и уроки к школе готовил, здесь же, за столиком, и к вступительным экзаменам в институт готовился. Провел под вишню электричество. Вкрутишь лампочку — и пожалуйста. Сиди читай, пока усталость не одолеет.

Сад был чудесный — старый, густой, как лес, заросший травой, с улицы и с двух сторон огорожен забором, каким-то чудом державшимся на истлевших, совсем доисторических столбах. С третьей стороны ограда давно уже повалилась, и сад свободно соединялся с другим, таким же вишневым и одичалым.

В соседнем саду виднелся нарядный кирпичный особнячок с красной черепичной крышей и мезонином. Сколько я себя помню, дом этот вместе с большим садом принадлежал известному в наших краях нейрохирургу — профессору Подопригоре. Как-то так все выходило, что профессор бывал у нас чуть ли не каждый день, и отец мой частенько навещал его, а вот мне побывать в том особняке никак не приходилось.

Подопригора слыл человеком чудаковатым. Жил одиноко. Хотя и получал, должно быть, немалые деньги (была у него собственная «эмка»), никаких домработниц никогда не нанимал, даже дрова сам колол и один возился в саду. Окапывая или подпиливая деревья, профессор всегда напевал. Репертуар у него был весьма разнообразен, но больше любил народные песни. Чаще всего глуховатым старческим тенорком выводил ту, шевченковскую, которую любил и мой отец:

Думи мої, думи мої...

Примерно за полгода до того, как это случилось, старый Подопригора начал прибаливать и после длительного, очень бурного разговора с моим отцом позволил ему помогать по хозяйству и в саду, и в самом особняке.

Ужинал профессор всегда в рабочей столовой, где питались и мы. Было в нашей семье неукоснительное правило: когда говорят старшие, младшие молчат. Но однажды я нарушил его: воспользовавшись паузой в разговоре (мы всегда садились вместе, за один столик), возьми да спроси профессора: чем ему так понравилась наша столовая? Для нас, понятно, здесь хорошо, мы с одного завода... А он...

Отец, услышав это, страшно рассердился — ну и досталось мне тогда, на всю жизнь запомнил. Отец ругал меня, а профессору, как оказалось, вопрос мой понравился.

— Это же прекрасно! — обратился он к отцу, как только тот сделал передышку, — прекрасно, что юноша не витает в эмпиреях! — И, повернувшись ко мне, ответил: — Дело в том, что в вашей столовой всегда собирается много хороших людей... Здесь я никогда не чувствую себя одиноким...

Вот что сказал мне тогда Подопригора...

Михайло вздохнул, задумался.

— Все, что я расскажу тебе сейчас, — начал он тихо и сосредоточенно, — произошло в то памятное лето, когда я заканчивал четвертый курс вечернего отделения института.

Еще в мае профессор куда-то исчез, во всяком случае, почти месяц в столовой не появлялся. В саду тоже не было слышно его песен. Тихо стало — как в лесу.

Готовился я тогда к экзаменам. Трудно приходилось... Утром — на заводе, вечером — в институте, ночью — над книгами в саду.

В тот день — это было в пятницу — вернулся я домой особенно поздно. Отец спал. Поужинал наскоро и в сад. Ночь была теплая. В листве стрекотала древесная лягушка, будто ездила на заржавленном велосипедике. В кустах шелестело, потрескивало — бродил кто-то таинственный, незримый. На огонь слетались удивительные ночные создания: зеленые, златоглазые мушки с длинными прозрачными крылышками, серые бабочки с неясными очертаниями человеческих черепов... И все это ночное население кружилось, металось вокруг лампочки, падало и, удивленно шевеля усиками, выползало на страницы учебника. Очень любил я тихие, задумчивые часы предутреннего одиночества.

Ночью, когда все это началось, помню, сидел я над математикой. Перед глазами формулы, но мысли совсем о другом. Вспоминалось почему-то детство, Жюль Верн... А тут уже и рассвет скоро, сад застыл, притаился. Лампочка слепит. И чем ярче свет, тем чернее кажется темень — стеной обступает столик, полянку, наклоненную вишневую ветку...

В это самое время послышались неторопливые, неуверенные шаги. Ветви раздвинулись, из темноты вышел низенький худощавый старичок.

Это был Подопригора.

Не знаю, или потому, что я его уже с месяц не видел, или просто из-за необычного освещения, но в тот раз профессор показался мне особенно старым и больным. И так невысокого роста, он будто бы стал еще ниже, черный халат и черная шапочка резко оттеняли бледность его лица и голубоватую седину.

Щурясь от яркого света, подошел, сел.

— Работаете?

— Экзамены...

Помолчали.

— Это хорошо, что вы работаете... — Подопригора вздохнул и понурился. — Вам еще работать и работать... А я вот уже... уже закончил...

И снова умолк.

Я сразу не понял, что именно закончил мой сосед, но, на-

ученный горьким опытом, не стал расспрашивать, ждал, полагая, что он сам объяснит. Так оно и вышло.

Начал Подопригора, как всегда, издалека.

Медленно, то и дело останавливаясь, повторяя, словно подчеркивая, отдельные, особенно важные определения, рассказал, почему он подружился с моим отцом и по какой причине решил именно мне сообщить очень и очень важное.

— Я закончил. Я победил ЕЕ... Да, да, именно ЕЕ. И вы как раз тот, кто мне сейчас крайне нужен. Вы настоящий, типичный гóмо диспéргенс. А? Вы возражаете? Вы не возражаете? Еще бы, еще бы! Что вы можете возразить!

Я и не собирался возражать, мне только хотелось спросить, что означает это «гóмо диспéргенс», но пока собирался, обдумывал, как лучше обратиться к своему высокоученому собеседнику, профессор решительно поднялся:

— Я вас приглашаю!

— Куда? — Я ничего не понимал.

— Прошу оказать мне честь, посетить мою домашнюю лабораторию.

— Когда? Если завтра, то днем я на работе...

— Как это когда? — искренне удивился профессор. — Разумеется, сейчас, несомненно, сейчас, только сейчас. Я, молодой человек, материалист и в загробную жизнь ни на грамм не верю. Сегодня мой потрепанный миокард вновь начал взбрыкивать, весь день фортели выкидывает. А сейчас и подавно. О... О... — Старик приложил к груди большую руку с узловатыми пальцами. — Одну минутку... Пожалуй, мне нужно сесть...

Я вскочил и подвинул стул.

— Может, вам доктора? «Скорую помощь»?

— Помощь?.. Черт побери! Больше всего на свете не люблю, когда помогают...

Профессор отдышался, встал. Решительно взял меня под руку:

— Идемте!

И мы пошли.

Коридор... Большая, слабо освещенная комната, книги, книги, книги — на стеллажах от пола до потолка. За библиотекой — кабинет, он же и лаборатория. И тоже стеллажи, но уже не с книгами, а с удивительными, непонятными приспособлениями.

На стене, на светлом экране, мерцает зеленый контур — огромное схематическое изображение человеческого мозга: сотни, тысячи надписей, обозначений, кружочков, четких и размытых пятен. Извилистые разноцветные линии — тонкие и толстые, пунктирные и непрерывные. И все эти слова, пятна, черточки, вся эта пестрая цветастая путаница очень напоминает светящуюся карту большой, густо населенной страны.

— Склероз, — вздохнул Подопригора. — Опять забыл вы-

включить. — Мимоходом, небрежно опустил рубильник на большом пульте возле окна. Экран погас.

— Садитесь. — И сам устроился в допотопном мягком кресле. — Мне нужно провести еще один опыт, который и поставит эту последнюю точку. А для этого опыта необходим молодой человек именно вашего возраста, вашего развития, ваших убеждений, ваших... Одним словом — вы настоящий гóмо диспéргенс, и вы мне подходите. Опыт абсолютно безопасен. Вы согласны?

Опять это странное название. «Гóмо», кажется, «человек» по-латыни. А что означает «диспéргенс»?

Меня охватило такое любопытство, что я даже и не подумал о какой-то там вероятной опасности.

— Конечно, согласен. Но вы мне расскажете, в чем суть вашего открытия?

— Расскажу, обязательно расскажу, сегодня же расскажу. А сейчас прошу, — Подопригора сделал торжественный жест,— прошу, так сказать, склонить голову. Нет, нет, не в переносном — в прямом смысле. Еще, еще... Вот теперь хорошо. Спокойно...

Профессор надел мне на голову какую-то белую полусферу, соединенную проводами с непонятными приспособлениями. Щелкнул рубильником и застыл весь в напряжении. В тот же миг где-то там, под ногами, звякнуло, загудело. На стене, на белом экране, снова засветился зеленый контур. Но все, что теперь было в контуре, совсем не напоминало карту густонаселенной страны. Это походило скорее на пустыню с отдельными светлыми оазисами и тоненькими пунктирными дорожками между ними. Остальная «территория» оставалась неосвещенной — ни единой пометки, ни единой надписи.

— Так... — с облегчением вздохнул Подопригора. — Так, все правильно. Ну а сейчас... Господи благослови... Сейчас, как говорили римляне, ин медиас рес — вглубь!

С этими словами профессор включил еще какой-то рубильник. Под полом загудело сильнее, на экране начались новые изменения.

Сначала один, крайний, участок-область пространства в зеленом контуре стал постепенно угасать, и одновременно с этим в центре начали как бы проявляться, проступать из белой дымки очертания розоватого тела...

Оно несколько походило на конус с округлыми краями...

Чем быстрее тускнела очередная область, тем четче виделся этот конус. Но вот участки стали бледнеть друг за другом... Иногда сразу по два... Конус становился насыщеннее, краснее. Со стороны он напоминал сердце. Правда, сам он не двигался, но свет в нем все время трепетал, вздрагивал, пульсировал...

— Что это? — спросил я шепотом. — Похоже на сердце...

Профессор ответил не сразу, пристально, напряженно всматриваясь то в экран, то в шкалы многочисленных приборов, все время что-то включал, переключал, отключал...

— На сердце, говорите... Не-ет, это поважнее сердца... И, если хотите, важнее всего мозга...

— А как... как это называется?

Профессор щелкнул переключателем, и экран погас. Подопригора устало откинулся на спинку кресла.

— Называется это... — начал он задумчиво, потирая ладони. — Это, собственно, никак еще пока не называется... Эту структуру я выявил впервые на операционном столе... Пока что я ее называю гипера́наксом...

Последнее слово профессор произнес почти шепотом. И тут же умолк, закрыл глаза, медленно, с опаской положил руку на сердце. Я почувствовал себя не в своей тарелке. Понимал, что опыт закончен, что мне уже можно было бы снять с головы не очень-то удобный белый шлем, но, глядя на профессора, не решался этого сделать. Так мы и сидели: я в одном кресле, он в другом, сидели и молчали.

Не знаю, о чем думал тогда Подопригора, а я никак не мог прийти в себя. Все, что произошло, свершилось так внезапно... Что же делать? Профессору, видно, совсем плохо, побледнел, лицо стало прямо серым. Надо спросить, чем могу помочь. И я решился прервать молчание.

Подопригора медленно поднял руку, лежавшую на сердце, вяло махнул: пустое, мол, напрасно беспокоюсь...

— Так на чем мы остановились? — прошептал он и открыл глаза. — А-а... Гипера́накс... По-гречески это означает — верховный повелитель, сверхвластелин... Вы видели когда-нибудь, как работает штаб?

Взглянул на меня с удивлением: почему я до сих пор не снял шлем? Распорядился снять и вдруг снова сник:

— Пожалуй... я все же воспользуюсь вашей помощью... Вон там, — он показал рукой, — на столе в вазочке травы... это доза... А в термосе рядом кипяток... там же стоит кружка...

Я подошел, посмотрел — травы меня заинтересовали. Неприметные сухие серые цветочки, такие же серые ломкие стебли, корешки. Но когда я высыпал все это в кружку, залил кипятком — моментально откуда-то взялся ярко-голубой цвет... И аромат — даже голова закружилась...

Подал профессору дымящийся лазурный напиток, тот глотнул раз, потом еще и тут же вздохнул: фу-у, отпустило...

Прощаясь со мной, извинялся: нет сил говорить сейчас. Просил прийти завтра в это же время.

— Приходите... Приходите обязательно, мой дорогой, мой юный друг, мой го́мо диспе́ргенс...

С тем я и ушел.

— Ну а ты узнал все-таки тайну Подопригоры? Что такое гипера́накс, диспе́ргенс? Что было потом?

— Что было потом, потом и расскажу. А сейчас спать!..

4. Что произошло на следующее утро

Марина склонилась над пареньком: что-то неспокойное, тревожное видел Михайло во сне. Лицо все время менялось, слозно метались, перебегали по нему колеблющиеся отблески раздуваемого огня. Порой в уголках полных, четко очерченных губ тихо появлялась улыбка, и тогда Маринке хотелось наклониться ниже, еще ниже и...

Улыбка на сонном лице таяла, угасала, мохнатые брови сходились на переносице, и от их гневной, нахмуренной черноты белое, бледное лицо становилось еще белее.

— Милый... — внезапно прошептала Маринка и сама испугалась этого неожиданного хмельного слова. Даже мурашки по коже пробежали. А ну как слышал?

Присела, наклонилась: на самом ли деле спит? Спит...

Пусть спит, пусть и не слышит — только бы смотреть на него, слушать его дыхание...

Бледный... Очень бледный... Чем же его подкрепить? Чем накормить?

Встала, пошла в кладовку: вот все ее богатство — мешочек пшена, мешочек муки, котомка дерти, соль в двух криночках, бутылка темного рыжикового масла да в кадке мелкая, как горох, драгоценная картошка. Вот и все. Не очень-то разгуляешься...

А еда для Михайла сейчас — главнейшее лекарство. Рана на ноге не так уже и страшна, но вот крови потерял много.

Сходить в село? Может, у тети Ганны, Надийкиной матери, найдется хоть малость нутряного сала?

Надо все ж таки сходить.

Посмотрела на спящего: подождать, пока проснется? Говорил ведь: «Без моего разрешения — никуда».

А! Какое там разрешение! Она и сама не маленькая, знает, что можно, а чего нельзя. Пойдет, и все тут.

Написала записку, положила на столе, повязалась теплым платком, кожух отцовский надела, валенки. Взяла костыль. Направилась уже было к двери, но не утерпела, вновь подошла к лежанке:

— Любимый... Спи, любимый...

В сенях прихватила кошелку. Дверь — на висячий замок.

На улице настоящий март, пасмурно и вроде потеплее. Остановилась на крыльце: какой дорогой идти? Опанасьевка — вон она, сразу за речкой. Напрямик километра два, не больше. Но разве после такой вьюги проберешься напрямую? Да к тому же на костыле. Нет, нужно дубравой, к мосту. Так и решила.

По привычке прислушалась: вроде бы спокойно...

И вдруг — будто сам воздух вздрогнул — тихий, едва слышный гул донесся с востока. Еще... Еще...

Неужели вправду?!

Маринка даже ухо из-под платка выставила и глаза зажмурила.

Вправду...

Нет, это не было грохотом, не было далеким громом — мощный, сдержанный непрерывный гул рос, усиливался в тугом влажном воздухе.

Наши!..

Первым желанием было разбудить Михайла. Повернулась было, но тут же передумала: проснется, не пустит в село. Постояла, послушала и пошла потихонечку.

Вдоль речки, на взгорье, снег размело ветром, идти не так трудно. Да и нога сегодня почти не болит. Идет, а сама все на хату оглядывается: как там Михайло? Да, жаль, что без нее канонаду услышит... Пока хата виднелась, оглядывалась.

Не заметила, как и до моста добрела; а там, за бугром, уже шоссе. Гудит что-то на нем, движется, да так — земля дрожит. Взобралась наверх, глянула — дух захватило: вот так так! Танки, бронетранспортеры, машины, и все разбитое, все обожженное, и все это — на запад.

«Драпают!! — неистовой радостью заколотилось сердце. — Бегут «освободители»! — Слушала, смотрела, и не в силах была скрыть радость, счастье. — Драпают! Драпают!»

Тяжело, надрывно ревели моторы, покачивались закопченные, совсем уже не элегантные шоферы. В кузовах заляпанных грязью грузовиков, на обшарпанных спинах «тигров» и «пантер» клевала носом давно не бритая солдатня. И по обгорелым рваным пробоинам и вмятинам в толстенной броне, по перепуганным навеки глазам ясно представлялось, какой должна быть та сила, которая гонит, катит перед собой всю эту мировую нечисть...

Отчетливо всплыло в памяти лицо отца:

А кто над нами, братцы,
Будет смеяться —
Того будем бить!

По обочине, по Байрачному переулку, где жила тетя Ганна, уже не ноги — крылья, казалось, несли Маринку.

Тетю Ганну застала во дворе. Маленькая, сухощавая женщина деревянной лопатой отгребала снег. Обнялись, поцеловались.

— Куда это вы такой путь прокладываете?

— Путь? — Ганна подняла лопату, воткнула ее в сугроб. Медленным, усталым движением убрала под черный платок седую прядь. — Во-он куда, — указала в сад. — К Надии...

Под яблоней в сугробах чернел крест.

— Сегодня опять во сне приходила. «Слышишь, — говорит, — гремит? Прогреби хоть тропочку до меня...» Это уже в третий раз просит. И после смерти, значит, — тетя Ганна вздохнула, перекрестилась, — и после смерти ждет...

Марина промолчала. Она знала, что в последний год перед войной подруга была в кого-то горячо и безнадежно влюблена. Но в кого? Уж не в соседского ль Дмитрия, сына вдовы Макаровны, который так часто напрашивался провожать, когда поздно возвращались из кино. Нет, вроде непохоже: очень она холодна была к своему безутешному соседу.

Ну и Надийка! Какая скрытная! Как ни дружили, как ни делились всеми тайнами, а тут заупрямилась и на все вопросы отвечала только шутками.

Так Маринка и до сих пор не знает этой девичьей тайны. Тетя Ганна, может, и знает, да разве у нее спросишь о таком...

Постояли, пошли в хату.

— Есть хочешь?

Девушка ничего не ответила.

— Садись. — Усадила за стол, из чугунчика в большую миску налила кулеша. — Ешь, ты, должно, еще и не завтракала...

Маринку упрашивать не нужно — взяла ложку и ну уписывать. А тетя Ганна тем временем достала завернутую в полотенце краюху хлеба, разрезала на две неравные части. Меньшую вновь завернула, а большую подвинула девушке:

— Кушáй, кушáй...

Села у края стола, подперла кулаком щеку:

— Мать давно ушла?

Маринка кивнула.

— Горюшко ты мое курчавое... Чем же ты там кулеш заправляешь? Сало есть?

Маринка покачала головой.

— Ну, смальца я тебе немножко отложу. А засыпка? И крупы, верно, нету?

Девушка отодвинула опустевшую миску, собрала в руку крошки, кинула в рот:

— Крупы нет, есть немного пшена.

— Боже, боже, и что с нами будет... — Ганна истово перекрестилась на большую старую икону. Встала, повязалась платком. — Ты, Маринка, посиди, а я пойду кое-что приготовлю. Вон, на этажерке погляди, может, что-нибудь выберешь для себя...

И вышла.

Долго, с тяжелым, гнетущим чувством рассматривала Маринка Надийкины школьные учебники. Книжки... Все читано и перечитано — каждую сообща покупали и читали по очереди: день Надийка, а день Марина.

На этажерке, на верхней полочке, маленькая фотография

Дмитрия, раньше Маринка ее никогда не видела. «Должно быть, и вправду. — подумала, — и вправду в него была влюблена. Но почему таилась?»

Под портретом краснела клеенчатой обложкой общая тетрадь: «НАДИЯ ГАРМАШ», — прочитала вверху на первой страничке, и дальше, немного пониже, старательно выведенными буквами: «СТИХОТВОРЕНИЯ». Пожелтевшие, выцветшие странички... Почерк у Надийки неровный, прыгающий. И вся она, вся — наивная, чистая — в этих порывистых, взъерошенных строчках. Знакома Маринке эта тетрадка, не раз читала.

Вот про отца:

Ты забыл о нас,
Ты ушел от нас.
Нет дороги тебе назад!

Это у Надийки самое больное: плакала, когда впервые читала Маринке.

А вот про любовь!

Хмурься, туча, расти из ночи!
Ветер ночи, о буре пой!
Что ж ты смолк?
Почему не грохочешь,
Гром полночный, любимый мой?!
Я люблю тебя, ветер буйный,
Ветер ночи!..

«Песня про школу», «Халхин-Гол», «Маринке», «Мама»... А это что? Строчки длинные, даже изгибаются книзу в конце, вместо названия — три звездочки. Чуть ниже, в уголке, посвящение: «Ч-------ву».

Что ж это за фамилия, семь черточек между первой и последними буквами?..

Нет, это не про Дмитрия... Маринка перебрала в памяти всех знакомых — ни одной фамилии на Ч. В кого же все-таки была влюблена Надийка?

В комнату вошла тетя Ганна с Маринкиной корзиночкой:

— А ну-ка, девка, помогай.

Банку со смальцем старательно завязали сначала бумагой, потом тряпицей и поставили на дно корзинки. Возле банки примостили мешочек узенький, из рукава Надийкиной блузки. Это гречка.

— А теперь будем маскировать. С этим Андроном, — Ганна в сердцах даже плюнула, — ну никакого житья, да и только. Все, что ни увидит, все тянет для «немецкой армии». «Нам, — говорит, — помогли, освободили, а теперь мы должны помогать».

Банку и мешочек засыпали семечками подсолнуха, а сверху еще и несколько бураков положили.

Маринка не смогла сдержаться, взяла с этажерки фотографию:

— А чей это у вас портрет? Не Дмитра ли?

— Дмитра, — вздохнула Ганна, — да это я... Как Надийки уже не стало, у Макаровны выпросила...

— А для чего? — не утерпела Маринка и тут же выругала себя в мыслях: «Нашла когда выспрашивать! Надоеда несчастная!»

— Для чего?.. — Женщина понурилась. — Да так... Надийку мою он уважал. Я у нее уж и спрашивала как-то: «Он ли зятем будет?» Да она разве что скажет...

«Ясно... — Маринка поставила портрет на место, — значит, и тетя Ганна не знает ничего...»

— Ну, я уже пойду, пожалуй. Спасибо вам, тетя Ганна, за все спасибо. До свидания!

— Бывай здорова. Чем могу — всегда рада помочь. Приходи еще.

— Приду.

— Так обязательно приходи!..

Назад идти уже тяжелей: в правой — корзинка, в левой — костыль. И к тому же опять метель началась, снег мокрый, так и лепит. В двух шагах ничего не видно.

Бредет Марина, а Надийка никак из головы не выходит. Была бы жива, можно было и про Михаила рассказать. Как-то он там? Ей хорошо, она вон как наелась, а у хлопца с утра ни крошки. «Скорее! Скорее!» — подгоняла себя. Возле моста сгоряча наскочила на какого-то человека. Глянула и обомлела: Андрон!..

В картузе, в ватнике, в старых сапогах. Лицо толстое, обрюзгшее, вид растерянный, совсем не полицайский. Остановился, протер очки, странно как-то, пристально-пристально посмотрел. Повернулся и пошел.

Вот те на!

Маринка тоже пошла. Через минуту оглянулась — стоит! Стоит и смотрит вслед...

5. Андрон Андреевич

Несколько раз оглядывалась: не идет ли следом? Нет, вроде своей дорогой подался. Только за мостом вздохнула спокойнее.

Андрон. Андрон Андреевич...

В сорок первом, перед самой войной, перебрался он в их село из города. Учился в университете. «Освободили, — говорил, — с четвертого курса по состоянию здоровья. Сердце у меня...» В Опанасьевке поселился у своего отца-пенсионера, бывшего учителя. С собой целую библиотеку привез, два дня разбирал. Соседские мальчишки хотели помочь — отказался, попросили что-нибудь почитать — не дал. А когда все уже разместил, расставил по полочкам — начал всех приглашать. Нравилось ему удивлять: достанет из шкафа, бережно положит на

стол и стоит наблюдает, какое впечатление произвела на гостя интересная, редкая книга...

Была у него и Маринка, Надийка затащила. «Там, — убеждала, — такие книги, такие книги — закачаешься! А стихи какие!»

Жил Андрон Андреевич при школе, в домике для учителей. До сих пор в ее памяти высокие двери, надраенная до блеска медная табличка — целая скрижаль. Под старинной виньеткой выгравировано:

«ЧЕБРЕНКОВ»

...Чебренков?

Маринка даже остановилась от неожиданной догадки. Постой, постой... А может, это и есть тот самый Надийкин «усталый друг» — «Ч-------в?» Семь черточек, семь букв между первой и последней... Не хотелось верить!

Хромая по сугробам, то и дело отдыхая, Маринка долго вздыхала, удивлялась, обдумывала и так и эдак свое нерадостное открытие.

Надийке нравился Андрон... Что ж, и для Маринки не всегда он был Андроном, был когда-то и Андроном Андреевичем — интересным и даже загадочным. Этаким опанасьевским Чайльд Гарольдом.

Я люблю тебя, ветер буйный,
Ветер ночи...

«Эх, Надийка, Надийка... — словно к живой обращается Марина к безрассудной подруге. — Не буран и не ветер он, а болотный смрад... Бедная ты моя поэтесса...

Знала бы ты тогда, что таится за этой трухлявой красотой...»

Вспомнился разговор с отцом. В воскресенье, как раз за неделю до начала войны, были они вдвоем в лесу. У Маринки перед папкой никаких тайн, взяла да рассказала про Андрона, как они с подругой ходили к нему да как Надийка красотой восхищалась.

— Красота-то она красота... — Отец нахмурился. — Да только разобраться следует — чья. Не нравятся мне эти Чебренковы. Старик не всегда учителем был. До революции в чиновники из кожи лез, даже фамилию свою еще смолоду как-то умудрился изменить: был Чебренко, а стал Чебренков. А для чего, как думаешь? Его начальник страх как не любил все «малороссийское».

Вот я и думаю: дрянной тот человек, который так легко национальность свою меняет...

Сынок, говорят, тоже в папочку удался — тот от украинского открещивался, а этот русское поносит. Не верится мне, что его по болезни освободили из университета. Так что, девка, не на красоту смотри. Вот, видишь, — и кончиком топора

качнул цветок, тоже вроде красивенький, желтый, фиолетовый. Ишь как раскрылся. Старается...

— А что это за растение?

Отец мимоходом, махнув топором, снес цветок да еще и сапогом наступил — так и хряснуло:

— Люлюх, белена.

В тот их приход показывал Андрон и книгу Кнышевского «Вечерние размышления о тщете людской суеты». С виньетками и заставками, декоративно-пышными бездумными пейзажами.

— Красота, красота-то какая! — повторяла Надийка.

— Дело не в иллюстрациях, — довольно улыбнулся Андрон. — Вы на дарственную надпись взгляните. Вон там, на титуле...

Надийка с любопытством рассматривала, начала читать:

— «Высокочтимому пану...» — И запнулась: слово «пан» для нее с детства звучало как оскорбительное ругательство. Чебренков поморщился.

— «Пану»? Ну, тогда так принято было обращаться друг к другу. Читайте, читайте.

— «Высокочтимому пану, — продолжала Надийка, — Пантелеймону Кулешу с искренней благодарностью за содействие в приобретении села Казачьи Таборы. Ваш покорный слуга и вечный должник Онисий Кнышевский».

«Вот тебе и тщета суеты!» — едва не хмыкнула Маринка, но Надийка толкнула ее локтем в бок:

— Что тут смешного, такая редкостная книга...

Андрон Андреевич с благодарностью взглянул на Гармаш:

— Да, это действительно раритет. Но не об этом речь. Я показал вам этот уникум для того лишь, чтобы подтвердить известный тезис: ничто, девчата, не вечно. Все исчезнет, все пропадет.

Жили некогда и Кулиш, и этот Кнышевский — друг и приятель Кулеша, — а кто сейчас о них знает? Как бы шумно человек ни жил, что бы он в жизни ни сотворил — все исчезнет, все пропадет бесследно.

И потому не следует нервничать, принимать близко к сердцу всяческие неудачи, поелику — все помрем, все станет прахом. Надо жить, есть, одеваться и — это должно быть главное! — растить вот таких пригожих разумниц, как мои дорогие гостьи...

Маринка сидела как на иголках — уж очень не нравились ей ни сам Андрон, ни его трухлявые, сомнительной ценности сокровища. Но Чебренков будто не замечал этого, а все показывал и показывал. Вволю насмотрелась Маринка всяческих «уникумов».

Но одна книга Марине все же понравилась, даже очень. Была она тяжеленная, толстая, большого формата. Переплет

оправлен в простое серое полотно, и на материи настоящая вышивка заполочью * — пестрые полевые цветы. Это был сборник народных украинских песен.

Полистала-полистала Маринка, и так захотелось ей, чтобы Андрон взял да подарил это чудо... Подарит такой! Как же — держи карман шире!

— Нравится? — спросил Чебренков.

— Ага...

— Ну что ж, попробуем и для вас такую же достать. У меня в области знакомство в букинистическом.

Маринка только головой кивнула, так она и поверила, что Андрон будет искать для нее такую же книгу. С какой стати?

Убрав «Народные песни», Чебренков попросил Надийку почитать свои стихи. И Надийка читала. Марине особенно пришлось по сердцу про Павлика Морозова. Андрон тоже немного похвалил, какие-то «находки» отметил. Но потом принялся критиковать: «Тема стара, про Морозова столько уже написано...»

На прощанье напоил подруг чаем с каким-то особенным вареньем: «Букет — крыжовник и жердели». Маринка отказывалась, но Надийка ее чуть ли не кулаками принудила.

...Метет вьюга, швыряет снегом в лицо. Девушка совсем уже обессилела, села на пенек, полою прикрыла корзинку. Как там Михайло? Верно, волнуется за нее...

«Михайло...» — зажмурилась, радостно улыбается. Вот странно, обычное, казалось бы, самое обычное мужское имя, а для нее — вымолвишь, и будто солнышко греет. «Михайло... Михайло...» — нежность горячей истомой разлилась в груди.

А снег так и липнет, но кажется он теперь девушке теплым, ненастоящим. Постепенно, исподтишка, нежным пологом окутывает забытье. Михайло... Они вдвоем... Нет, не метель шумит — шумят, шелестят тополя... и они с Михайлом совсем рядом. Он смотрит ей прямо в зрачки. Маринке кажется, что паренек не просто читает — пьет, пьет ее всю, вбирает в себя ее, всю ее...

Лицо к лицу, глаза в глаза...

И верно, чего это он так?..

Понятно, ни в какую ворожбу она не верит, но...

Солнышко пригревает... Со... н... Солнышко...

Встрепенулась. Так и замерзнуть недолго. Нужно идти. Вон уже и дубняк кончается, еще совсем немножко, и будет видно хату.

Да, она счастливая — у нее есть Михайло! Впервые в жизни девушка поняла: тяжело, страшно прожить без любви. А еще страшно, страшнее смерти, полюбить такого, как Андрон. И до

---

* Заполочь *(укр.)* — цветные нитки для вышивания.

сих пор у Маринки возникает чувство гадливости, как только вспомнит то «рандеву». Бедная Надийка...

Как только начали наши отступать, едва не поссорились они из-за того же проклятого Андрона.

— Плохой он человек, — настаивала Маринка. — Сердцем чувствую — плохой.

— Как ты можешь?! — возмущалась Надийка. — Без всяких оснований, без доказательств порочить человека — ну, знаешь...

— Доказательства... Все в нем мне не нравится: и эта панская старина, и эти стишки. Как его? Кучеринка, что ли... Никакого содержания. И вправду «треньки-бреньки»!

— Во-первых, не Кучеринка, а Червинка, — сдерживая гнев, поправила Надия. — А во-вторых, должна тебе сказать: ты совсем не понимаешь, не чувствуешь красоты. Все у тебя по учебнику. Содержание... Какое содержание в розе? Красиво, и все! Кроме содержания, существует и форма, об этом даже в школе учат.

— Роза? — теперь уже рассердилась Марина. — Белена твой Червинка и Андрон с ним! Роза... Знаешь, я где-то читала, что и красота умеет стрелять. Так вот, надо видеть, куда она нацелена. А форма — форма бывает разная: есть наша, а есть и чужая.

— Чужая? Ах ты!.. Ты!.. Схема ты ходячая!

— От схемы слышу!

— Я схема?!

— Ты! Ты!

Чуть не подрались, два дня не разговаривали. Только на третий помирились. Маринка узнала, что Андрон пошел добровольцем на фронт, и попросила прощения у Надийки.

— То-то и оно-то, — грустно улыбалась Надийка. — Ты его врагом, чуть ли не Гитлером размалевала, а он — на фронт...

«На фронт!» Немцы в село — Андрон за ними. Стал жить, как пан, в свое удовольствие. В полиции тогда еще не служил. Гулял, пьянствовал со старостой и на его подводе в область статейки свои отвозил: про «освободительную миссию Германии» и всяческие размышления о чистой красоте и украинской древности. Не раз видели подруги знакомую фамилию на страницах фашистской газеты.

Вот тебе и роза!

Надийка не верила, все думала, что он это по заданию партизан прикидывается другом оккупантов. Не верила...

Настал день, страшный, позорный день, и он, «усталый» и «печальный» Андрон, сам же и переубедил ее.

Первый набор в Германию начался в Опанасьевке как раз на октябрьские праздники. Полицаи разнесли повестки, приказали на другой день утром собираться у школы.

Наступило утро, а школа пуста. Кинулись полицаи по дворам — где кого в чем застали, так и повели. Потом уже матери попринесили теплую одежду и харчи на дорогу...

Надийка с рассветом решила бежать в соседнее село: там еще вроде бы не было набора. Пошла огородами, к речке. На кладках и встретилась с немцем.

Девушка знала: набором занималась исключительно полиция, «освободители» в эту «грязную работу» пока что не вмешивались. Нужно было спокойно идти — возможно, немец и не обратил бы внимания. Но Надийка не выдержала, перед носом у эсэсовца бросилась в воду.

По грязи, по ивняку — назад на берег. Немец видит: убегает. Выхватил пистолет. «Хальт! Хальт! — кричит. — Партизан!»

Надийка — чащами, садами, и эсэсовец отстал, стреляет на бегу, пули над головой свистят. Перескочила через забор, на улице — ни души. И вдруг открывается напротив калитка — Чебренков...

— Спасите! — кинулась к Андрону. — Немец за мною!..

— Ну и что?

— В Германию... — говорит, задыхаясь.

— Ну, не так страшен черт, как его малюют.

— Погибну я!..

— Все погибнем, все прахом будет...

А через забор уже и эсэсовец перелазит. Кричит что-то Андрону: держи, мол.

Надийка — бежать, а немец приложился и с руки... Одна пуля в икру, видно, в ноги целился, вторая в спину.

...Через окошечко школьного подвала сама и рассказала обо всем матери. Умерла на рассвете.

А потом немецкое отступление, вот так же, как и сейчас гудело, приближалось. Андрон на подводе вдвоем со старостой отправился за фрицевским обозом.

Наши заняли Опанасьевку. Освободили, но ненадолго. Через месяц в село опять вступили оккупанты. Вернулся староста, а за ним и Андрон, но уже не в ватнике — в черной, полицайской шинели.

«Я выживу, выживу...»

— Выживешь... — печально улыбнулась Марина: всякую нечисть, андронов всяких и беда не берет, а человека...

Только всего и осталось — крест под яблоней в глубоких сугробах да в материнских сумеречных снах:

«Слышишь — гремит?! Прогреби хотя бы тропинку ко мне...»

6. Две половинки яблока

Домой Маринка добралась как раз тогда, когда старенькие стенные часы пробили ровно двенадцать. Парéнек лежал лицом к стене и на приветствие вовсе не ответил.

— Михайло... Ну, чего ты?..

— Больше с тобой не разговариваю.

Вот как! Сбросила кожух, присела на край лежанки:

— Ну я ж... Я ж только до тетки Ганны. Надо же тебя чем-то подкормить. Вон, целую баночку смальца принесла. Ну, прости, я больше никогда не буду...

— Можешь сама подкармливаться.

— Ну, хватит, хватит. Поворачивайся, вставай. Сказала ж — больше не буду...

Михайло натянул на голову одеяло:

— Отстань. — А немного погодя добавил спокойно, презрительно: — Пустомеля. Ни одному твоему слову не верю.

— Ну и не верь. — Маринка встала. — Подумаешь! Для него ж старалась, ходила, а он еще и выговаривает!

Михайло молчал.

Притащила хворосту, растопила печь. И, уже наливая в миски горячий ароматный кулеш, обратилась подчеркнуто независимо:

— Вставай. Гонор гонором, а есть нужно.

Похлебали молча.

Вымыла посуду, поставила на печку — пусть сохнет. Налила кипятку в тазик:

— Снимай рубашку.

— Спасибо, не нужно. Рубаха у меня чистая.

— Снимай, снимай!

Михайло что-то пробурчал недовольно, однако стянул нижнюю рубаху:

— Куда ее?

— Давай сюда. О, скоро уже как у того неряхи — читал сказку? — прислонишь к стенке, будет стоять как лубяная. Что? И самому смешно?

Но Михайло смеяться не собирался, отвернулся снова к стене. То ли спит, то ли притворяется.

Выстирала. Посмотрела в окно: за хатой — от яблони к сараю — алюминиевый провод натянут. Повесить бы там рубашку, чтобы морозом и ветром пахла... Нельзя. Андрон сразу заметит. Развесила над плитой. Оделась, вышла во двор.

А зима уже и не настоящая вовсе. Снег липкий, сейчас бы в снежки... Метелица улеглась. Над молочно-белыми сугробами в сером небе тонко-тонко чернеют влажные вишневые веточки. Весною пахнет...

Маринка приникла распаленной щекой к мокрому стволу, задумалась... Вот и прогневала своего ненаглядного. И все равно она счастлива... Как бы он ни сердился, а она может, имеет право, если захочет, увидеть его, услышать голос. Может помогать ему, а если, не дай бог, что случится, может, имеет право своей жизнью спасти его... И даже — чего не бывает — даже может понравиться ему когда-нибудь...

«Понравиться? — подумала и усмехнулась: — Чудачка...»

Михайло — он вон какой: смелый, умный, хороший. Красивый — глаз не отвести! А она трусиха и недотепа. Да и внешне как вон то огородное пугало — худющая, хромая...

Понравиться... Достала из кармана осколок зеркальца, держа его в вытянутой руке, внимательно осмотрела себя. Коса... Всего-то и добра! Только и славы, что толстая и длинная. Волосы черные, брови чернющие, щеки румяные...

Как знать... А может, не так уж и плоха она?..

Спрятала зеркальце, понурившись, поплелась в хату.

Михайло читал. Читал ли действительно или только делал вид?

Прибрала в комнате, подмела, выгребла из печки, и смеркаться начало.

Проверила засов, взялась за коптилку и опять не стерпела:

— Ну что ж? Так и будем молчать?

Михайло ничего не ответил, отложил книжку, лежал и смотрел в потолок, будто читал на нем что-то важное и необычайно интересное.

И Маринке стало грустно, совсем тоскливо. Ей вдруг показалось, что никто к ней и не приходил, не стучал ночью, — как была она одинокой, так и осталась одна-одинешенька, как вот этот трепещущий огонек каганца в черной беспредельности ночи...

С этой мыслью и начала стелить постель. Каганец решила пока не гасить — все равно не заснет. Какой там сон!

Отодвинула занавеску — черным-черно, ни огонька, ни лучика. Вот так же и на сердце у Маринки. Легла, и вдруг мысль, ни с того ни с сего: «А может, и прав Андрон? Как ни живи, как ни старайся — придет смерть и все исчезнет: и ты сам, и память о тебе». Подумала, и мороз по коже от этой мысли: нет, тут что-то не так... Не может, никак не может все это, что я думаю, желаю, к чему стремлюсь, не может вот так вот просто оборваться, исчезнуть бесследно. Все это есть же, существует. Не иллюзия же это, все существует действительно! Так куда оно может деться после смерти?

А может, есть все-таки какой-то иной свет, где все это — мысли, желания, все мое — будет существовать вечно? Может, и вправду все мертвые — мертвые только для нас, живых, и, вероятно, когда-нибудь потом они и для живых воскреснут?

Нет... В это она тоже никогда не поверит. Не будет никакого воскресения. Мертвые не проснутся, Надийка не встанет, никогда не придет папка. Никогда-никогда...

Да что это она все о смерти да о смерти?.. Даже тошно от этих мыслей. Встала, достала из кошелки яблоко, разрезала на две равные половинки.

— На, — тронула Михайла за плечо. Паренек повернул голову:

— Что такое?

— Да вот, говорят, у древних греков, у богов их, было яблоко раздора. А у меня вот, значит, яблоко примирения...

Михайло внимательно, как-то особенно внимательно — необычно — посмотрел на Маринку.

— Ну, мир? — спросила умоляюще, держа перед ним половинку.

— Мир, говоришь... — и вновь взглянул на Маринку странными, словно затуманенными глазами. — Ох ты и хитрая у меня... Ох и хитрая... Сумела-таки подъехать!

Замолчал. Медленно и вроде несмело взял.

— Ты у меня... — улыбнулся задумчиво — нет, не Марине, своему чему-то, глубоко затаенному. И совсем уже без улыбки, даже грустно закончил: — Ты у меня... хорошая...

Маринка даже дыхание затаила. Опустила глаза, положила на стол свою, так и не тронутую половинку.

«Ты у меня...» А почему это он так сказал? Что он хотел этим сказать?

«Ты у меня...»

Ой, как хорошо! Как здорово! Никогда еще не было так хорошо! «У меня...» У него...»

И, уже не сознавая, что говорит, что делает, замирая, запинаясь, прошептала:

— Милый!.. Люблю тебя!..

7. А уже весна...

Михайло открыл глаза: рядом, на его руке, сладко посапывая, спала Маринка. Губы припухли, покраснели... А на лбу веснушки! Смешные, милые веснушки! И как это он раньше их не замечал?..

Осторожно, чтобы не разбудить, провел ладонью по пышным черным волосам. И так же медленно, вслед за рукой, открывала глаза Маринка...

— Милый! — неистово бросилась в объятия. — Я теперь тебя никому не отдам! Никуда не пущу! Я тебя давно — давным-давно! — всю жизнь такого ждала!

— Какого?

— Такого! Такого! Такого! — порывисто целовала тугие, пересохшие губы парня. — Такого, как ты, смелого! Сильного! Умного! И такого — моего-моего! Знаешь, милый, теперь я могла бы и умереть! Мне так хорошо — ничего уже больше и не нужно!..

— Глупенькая... — Михайло обнял, прижал к себе. — Глупенькая... — прошептал. — Нам еще жить и жить!

— А ты меня никогда не оставишь? Не променяешь на другую?

— Глупенькая...

— А ты... Ты береги себя... Теперь, знаешь... — начала и испугалась своей мысли. — Знаешь, теперь — война...

— Ты думаешь, меня могут убить?

Маринка не головой, даже не глазами — одними бровями кивнула и от ужаса закусила губу.

— Меня никогда не убьют. Да и вообще, я тебе сегодня такое расскажу... Ты поймешь — смерти вообще нет. Есть, правда, нечто похожее, мы ее пока что — временно — терпим, но это уже и не смерть вовсе. А! Хватит об этом!

Солнце уже высоко поднялось, когда Маринка подняла голову и, щурясь, прошептала:

— Отвернись... Я буду одеваться...

Солнце заливало комнату. На столике бликовал стакан, сверкали никелированные шарики кровати, а зеркальце на подоконнике так и пылало, словно плавилось в солнечных лучах...

Из раскрытой форточки веяло солнцем, сосной, тающими снегами и еще чем-то молодым-молодым. «Будто праздник какой-то», — подумала Маринка, прибирая в комнате, и тут же руками всплеснула:

— Да сегодня ж и есть праздник — Восьмое марта! Ну, — шагнула к Михайлу, — что ты мне подаришь?

— Что же мне подарить... — вздохнул паренек и, опершись о подоконник, обнял ее, прижав к груди. — Ничего у меня сейчас нет своего, собственного. Подарил бы самого себя, да и то не могу — не только себе принадлежу. Вот прогоним фрицев, тогда бери, принимай, как говорится, в полное и вечное владение...

Долго стояли обнявшись возле окна, возле открытой форточки.

— Тебе не холодно?

Маринка задумчиво покачала головой.

А за окном аж слепило. Сугробы на солнце искрились тонюсенькими льдинками. Прямо перед форточкой сосулька. И сама искрится, и капельки так и сверкают, срываются, падают в цинковое ведерко: «Дзинь... Дзень... Дзинь... Дзень...»

— А уже весна... — шепчет Михайло.

А уже весна,
А уже — красна,
Со стрех вода каплет...
Молодому казаченьку
Дороженькой пахнет.

Загостился я у тебя.

Маринка вздрогнула, прижалась к любимому: «Не пущу! — хотелось крикнуть. — Не дам!» Но только всхлипнула и сказала тихим, охрипшим от волнения голосом:

— Вот рана заживет, и пойдешь. Еще недели две...

— Нет, Маринка, не могу. Да и сама ты все понимаешь, ты у меня умница... Дня два-три побуду — болит еще, проклятая...

Понурился, и уже не ей, жене, совести своей признался:

— Вот вроде и чист перед товарищами, а тревожно. Особенно по ночам. Они там под пулями, а я здесь... — И вздохнул тяжело, сокрушенно.

Долго молчали.

— А что ты обещал рассказать сегодня? — спросила его, слизывая с верхней губы соленую слезу. — Про Подопригору? Да?

— Да...

Маринка вытерла глаза: зачем думать о том, что будет не сегодня? У нее еще целых три дня. Нельзя растратить их впустую, надо прожить так (ведь может случиться, что они больше и не увидятся...), чтобы запомнились они на всю жизнь.

Зажмурила глаза и медленно, с наслаждением вдыхала, словно пила резкий мартовский ветерок. Никогда еще она так не хмелела от воздуха.

И внезапно воздух этот всколыхнулся — отдаленный, широкий гром донесся с востока.

— Наши! — встрепенулась Маринка. — Ты слышишь? Наши! О!.. О!.. Как музыка...

— Наши... — прошептал Михайло. — Близко... Сегодня слышнее, чем вчера...

Гром нарастал, наплывал волнами, начали даже позвякивать стекла в окнах.

— Маринка, — взял Михайло девушку за плечи, отстранил от себя и глаза в глаза: — Маринка... поклянись, что никогда — слышишь? — никогда не забудешь этот гром, этот мартовский день, этот ветер... Поклянись!

— Клянусь... — прошептала в ответ. — И ты... ты тоже поклянись...

— И я... клянусь...

Михайло переступил с ноги на ногу и едва не упал, побледнев от боли. Маринка подхватила его, с трудом удержав:

— Пошли, милый, пошли. Тебе нельзя еще так долго стоять. Пошли, полежишь, а я посижу рядышком. Ведь ты расскажешь мне? Ты же обещал...

— Расскажу, обязательно расскажу.

Довела паренька до лежанки.

— Ложись! — Принесла и свои подушки, умостила под ноги ему, под бок. — Лежи, лежи! Не артачься. Пока что я командую! — Принесла табуретку, села, прижалась к любимому — голову на грудь, а руки его положила себе на волосы. — Вот так. Ну, рассказывай!..

Но Михайло не торопился начинать, долго еще лежал мол-

ча, гладил тяжелой теплой рукой нежную девичью щеку, лоб, волосы...

«Что это он, вспоминает или придумывает? — подумалось Маринке. — А впрочем... Если и выдумал — все равно интересно».

— Это произошло двадцать первого... — начал Михайло. — До конца дней не забуду это число... О, это был необычный день, а вернее, ночь двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого...

Второй рассказ Михаила

Ровно в двадцать четыре ноль-ноль, как и просил профессор, я поднялся на крыльцо особняка.

Постучал.

— Прошу, прошу! Проходите в кабинет. Присаживайтесь...

Я сел. Подопригора устроился напротив в своем любимом кресле. Профессор выглядел гораздо лучше, чем вчера. Маленький, сухощавый, в черной шапочке на голове, он как-то даже помолодел. Прихлебывал из стакана, видимо, только что заваренную травку и говорил, говорил...

— Травы и вообще народная медицина — это, мой юный друг, как космос: сколько ни углубляйся, границ не увидишь. Матушка моя большим знатоком трав была... И бабушка... А я вот — я отступился... — Профессор грустно улыбнулся. — Многое уже из их науки забыл. Вот это, видите ли, вспомнил, и весьма кстати... Может, хоть малость поскриплю еще...

Подопригора посмотрел на свет сквозь стакан с отваром, потом перевел взгляд на большой портрет в простой деревянной раме:

— Вот она, первая моя и главная целительница... Я преклоняюсь перед современной химией. Современный фармацевтический арсенал, во многом базирующийся на достижениях химической науки, — это грандиозно. Но... Но травы, народная фармакопея, — это еще величественнее, и — должны к стыду своему признаться — известны и освоены нами куда меньше, чем лекарями времен Ибн Сины. А мама моя травы хорошо знала...

Я тоже взглянул на портрет. Пожилая женщина в свитке, повязанная клетчатым платком... Лицо усталое, простое, вроде не очень-то и приметное, но глаза — глаза поражали. Большие, влажно-лучистые, они были не то что проницательными — просто пронизывающими. На мгновение мне показалось даже — это не изображение, это поистине ж и в ы е глаза. Они и вправду с м о т р я т, смотрят на профессора, на его приборы, на причудливую многоцветную путаницу проводов, смотрят и как-то странно улыбаются: кротко-грустно и чуть-чуть насмешливо.

Да, насмешливо.

Я не выдержал и сказал профессору о своем впечатлении. Он молча кивнул, так ничего и не ответив.

Помолчав, он стал рассказывать о своем детстве, о городской окраине и снова о матери, о ее увлечении травами, о том, как водила его, подростка, в лесопарк, на ближайшие луга и учила, учила давнишней и мудрой — прадедовской — науке исцеления.

Мать была твердо убеждена, что лечат не только травы, но и человеческое слово и, главное, — глаза. Придет, бывало, к больному, тот стонет, корчится. Осмотрит его, а потом и скажет:

— Гляди, гляди мне прямо в очи, гляди...

Больной смотрит, и ему становится лучше.

Впрочем, глядя в глаза больному, мать не только лечила, она вроде читала в них его болезнь.

В последние годы жизни мать единственному своему сыну — тогда уже врачу, доценту — передала всю науку и про травы, и особенно про глаза. Целую методику изложила... Он тогда все подробнейшим образом записал, но теперь вот никак не может отыскать в своем архиве эти записи. И очень жалеет.

— Глаза — это... — Профессор вздохнул, развел руками. — Глаза — это... глаза! Это чудо, которое ни с чем не сравнишь. Да, глазами, собственно, их радужной оболочкой я еще займусь. Если, понятно, она... — и профессор кивнул на портрет, — древней своей терапией продлит мои дни. И конечно, когда удастся разыскать эти записи... А мне хочется создать прибор, который бы по глазам больного безошибочно ставил диагноз. А в будущем концентрировал бы глазную энергию и передавал ее больному и вылечивал его.

Профессор нахмурился, медленно, словно к чему-то прислушиваясь, отпил из стакана, приложил руку к сердцу.

— Ну, будет она, вторая моя работа, или не будет, поживем — увидим, а пока что поговорим о первой. Вот он, перед нами, — и Подопригора указал на стену, где виднелся не освещенный сейчас зеленый контур схематического изображения мозга. — Не знаю, приходилось ли вам, а мне не раз случалось слышать: «Мозг в человеческом организме руководит всем. Мозг — генеральный штаб организма». Итак, мозг — штаб, а весь организм — армия этого штаба. Но верно ли, что именно штаб руководит армией? Ведь штаб, даже если он и генеральный, это орган, назначение которого прежде всего готовить все необходимое для того, чтобы принять правильное решение. Штаб разрабатывает, подготавливает это решение, но принимает его не сам штаб, а военный совет, во главе которого всегда стоит один человек. Последнее, решающее слово только за ним.

Априори, еще до начала исследований я был твердо убежден: есть и в человеческом мозгу такой старший над старшими.

Прúнцепс сýпра прúпшипем, как сказали бы древние римляне. Но из античных культур я всегда отдавал предпочтение греческой и потому термин взял древнеэллинский — гипера́накс. Затем многолетние как дооперационные, так и послеоперационные обследования больных и особенно сами операции подтвердили, что я прав: гипера́накс существует, расположен он в верхних отделах ствола мозга. Именно там центр сознания человеческой личности, основа неповторимого в каждом из нас, своего, так сказать, почерка жизни. Да, именно там, в ткани гипера́накса, разветвляются и сплетаются тончайшие серебристые живые нити структуры, которая ответственна за сохранение того, что называем мы индивидуальной психической неповторимостью. Речь идет о своеобразных особенностях восприятия и ощущения мира, короче говоря, всего того, что отличает, скажем, мое «я» от вашего. Структуры эти, эти тончайшие нити (физическая масса их бесконечно мала) я назвал мло́нзовыми структурами.

Млонз — это слово из диалекта африканского племени нлоу, и означает оно — жизнь в жизни. Я с давних пор, еще со студенческих лет, интересуюсь этнографией, фольклором и мифологией народов мира, Африки в особенности... Какие там интересные языки...

Профессор умолк, перевел дух.

— Сейчас я еще малость приму этой... этой своей... Знаете, кстати, как эта травка называется в народе? Русалочье око... — И, отхлебнув из стакана, Подопригора вновь откинулся на спинку кресла, притих. Минуту спустя зашевелился, открыл глаза. — Все... Спасибо ему, пока отпустило. Молодой человек, — обратился он ко мне с какой-то особой, вежливой торжественностью. — Мой юный друг, я пригласил вас, чтобы сообщить вам о результатах вчерашнего эксперимента. Он непосредственно касается вашего будущего. Предупреждаю, вы услышите кое-что не совсем обычное, вернее, совсем не обычное.

Все это, — профессор обвел рукой приборы, экраны, пульты, — все создавалось годы и годы. И совсем не зря! — Он горделиво вскинул вверх свой седой чубчик. — Не зря, смею вас заверить! Я все-таки добился своего. Теперь могу описать принципы строения мло́нзовой структуры гипера́накса любого мозга. Вчера я записал вашу... э-э, вашу млонзограмму... Теперь, мой молодой друг, вы можете умирать. Да, да, я не оговорился — совершенно спокойно стреляйтесь, вешайтесь, тоните, режьте себе вены и даже... женитесь — теперь вам все дозволено.

«Что это он городит?» Я с тревогой смотрел на Подопригору.

— Вам кажется, что я сошел с ума? — весело улыбнулся профессор. — Нет, мой дружок, я пока что при полном рассудке. И именно он, здравый рассудок, позволяет мне сказать вам, что вы теперь можете спокойно идти на смерть. Повторяю: спокойно! Вы можете умирать, но вы никогда не умрете. Вот ваша

млонзограмма. — Профессор перегнулся через подлокотник кресла и бережно, двумя руками взял со стола объемистый ящичек из темно-красной, почти черной пластмассы. — Смотрите, — поднял крышку. — Видите эти матрицы?

На розовой бархатной обивке лежала стопка белесых полупрозрачных дисков. Осторожно, кончиками пальцев Подопригора взял верхний кружок.

— На этих матрицах — заметьте, какие тоненькие, — записано все, что таит в себе серебристая паутинка вашего мло́нза... Вот, возьмите, хотя бы в руках пока подержите. Это ваше бессмертие.

Рано или поздно — а начнется это задолго еще до Эпохи Великого Интегрирования — люди не только познают все секреты так называемого «механизма сознания», не только научатся чинить, строить его, но и, синтезировав белок, начнут клетка за клеткой проектировать, строить из живой нервной ткани сначала отдельные узлы, а затем и весь наш, — профессор потрогал длинным костлявым пальцем морщинистый лоб, — всю нашу, я бы сказал, вселенную в миниатюре...

И тогда уже, имея млонзограммы давно умерших, можно будет по зашифрованному на матрицах коду индивидуальной специфики строения мло́нза определенной личности сначала воспроизвести млонз, потом по нему, как по части целое, — гипера́накс, а за ним и сам мозг. Можно будет воскресить — не следует бояться этого хорошего слова, — именно воскресить, вернуть из небытия дорогих нам и незабвенных людей.

— Воскре-еси-ить?.. — несмело переспросил я. — Новый мозг, новое тело...

Честно говоря, я тогда был почти совершенно уверен, что вся эта история с дисками не что иное, как мистификация.

— Тело? — переспросил Подопригора и улыбнулся. — Тело... Все эти рычаги, насосы, фильтры люди научатся создавать значительно раньше, чем мозг. Я, конечно, очень упрощаю — осознанно для ясности схематизирую. На самом деле все это необычайно сложно. И будущий завод по производству, ну скажем, человеческих сердец совершенно невозможно будет сравнить с современным моторостроительным...

И все-таки по сути своей это тоже будет завод — огромное предприятие со своим проектно-конструкторским бюро, с поточным, плановым производством. Да мы уже и сейчас находимся на пороге этого. Уже и теперь делаются попытки протезирования костей. А что будет через тридцать, пятьдесят лет?

— Допустим, что это... ну, что вы в какой-то мере правы. Но почему для этого эксперимента вы избрали именно меня? Думаю, людям будущего намного интереснее была бы млонзограмма какого-нибудь известного деятеля или художника. А я? Таких, как я, по деревням, по заводам — миллионы.

Профессор хитро усмехнулся:

— А вы и сами хорошо ответили себе: «таких — миллионы»... Эх, дружок, дружок... Юный мой, дорогой мой, скромный мой друг... Да ваша млонзограмма для будущего несравненно дороже и интереснее, чем запись какого-то там известного и прославленного... Вы — именно такие, как вы, — творите и движете историю. Вы, а не деятели и художники. О них и так не забудут во времена Великого Интегрирования.

— Простите, я не понимаю, что значит «Великое Интегрирование»?

— А это, друг мой, не так просто объяснить.

Профессор задумался.

— Ну, ладно... Давайте, пожалуй, так: для начала запомните простую, но на первый взгляд вроде бы парадоксальную истину: мы, люди — разумные, смертные существа, — мы уже по природе своей бессмертны!

Люди бессмертны...

Постойте... — Подопригора в изнеможении откинулся на спинку кресла. — Что-то оно опять... Снова... Одну минутку...

Замолк. Одной рукой прикрыл глаза, другая на груди — вздрагивает, будто отталкивает, подкидывает ее последними своими отчаянными ударами обессиленное, старческое сердце. Опять отпил из стакана...

— Послушайте, — поднял он голову, — там... в соседней комнате, секретер... Красная папка... принесите...

Я не сразу отыскал старенький небольшой секретер между стеллажами, шкафами и просто высоченными штабелями книг. Между специальными научными работами было много разнообразнейших изданий художественной литературы. В особенности сборников народных песен, пословиц, сказок. «Странно, — подумал я, — что может быть общего между физикой, биологией и фольклором?..»

Наконец я все же нашел то, что искал. Торопясь в кабинет, споткнулся о какой-то кабель и чуть было не упал.

Профессору стало лучше. Медленно, со старческой старательностью развязывал он тесемки большой красной папки.

— Вот, — подал мне развернутую большую толстую тетрадь. — Читайте отсюда. Все, что перед этим, не нужно, это для специалистов.

Я взял рукопись, придвинул кресло к столу.

— Послезавтра, — с грустью произнес профессор, — эта моя красная папка — плод тридцатилетних раздумий и поисков — будет в академии...

Ф-фу... И что это оно сегодня так?.. — Профессор склонил голову, словно прислушивался, как тяжело, из последних сил, билось, не сдавалось сердце. — Читайте... Читайте вслух, юноша... Это любимое мое место...

— «Люди бессмертны, — начал я, то и дело поглядывая на Подопригору. — Люди бессмертны. Каждый рождается для веч-

ной жизни. Воистину были правы поэты, которые твердили: человек, оставляя плоды трудов своих, становится бессмертным».

— Да, да! Это действительно так! — перебил профессор. — Это истинно так. Спасибо поэзии, это она, народная и литературная, из века в век провозглашала эту мысль. Именно ей, поэзии, я обязан этим открытием. Она — первый толчок... Но читайте, молодой человек. Читайте, читайте...

— «Человек, — продолжал я, — работая, оставляет в продукте своего труда — в скрытом, словно растворенном виде — частицу своего интеллекта, своего «я». Это касается не только умственного, но в такой же мере и физического труда.

Каждый человек творческого склада, человек-труженик, человек-борец, независимо — известный или неизвестный — всегда талантлив. И это видно во всех его творениях и делах. Среди безликих, хотя, может, и стандартно-добротных произведений («от сих до сих»), его творения резко выделяются.

По «почерку» познается рука. По деталям, по тончайшим нюансам нарожденной этой рукой вещи, произведения, по неповторимому почерку в идеях, в поступках мыслителя и деятеля, пользуясь моей методикой, совсем нетрудно воспроизвести весь необычайно сложный мир мыслей и чувств, какие владели человеком во время творчества. А это, в свою очередь, опять-таки пользуясь моей методикой — дает возможность постичь биофизико-химическую природу, механизм всех этих мыслительных и эмоциональных процессов, которые обусловили и сопутствовали акту творения. И не только этих — других, близких, смежных, более отдаленных и вообще всего интеллекта.

Живет человек-творец, идет по жизни и оставляет за собой яркие и скромные плоды труда, борьбы. Такой человек как бы сеет, рассеивает по планете свое «я», свой трудовой, наполненный гневом и любовью интеллект. Homo dispergens следует называть таких людей, Го́мо диспе́ргенс — человек-сеятель. Умрет диспе́ргенс, а все, что рассеялось, прорастет или, как семя в сухой земле, будет лежать, ждать животворящего грозового ливня.

С помощью моей методики люди смогут только собрать, записать матрицы-млонзограммы рассеянного по неоглядному миру интеллекта давно умершего человека. А потом, через многие годы, настанет Великое Интегрирование. Во времена Интегрирования человечество научится возобновлять, воскрешать этот интеллект в живом, искусственно созданном человеческом мозгу.

От млонзограммы — к мозгу, от мозга — к полному воскрешению! Люди бессмертны. Люди — Го́мо диспе́ргенс — жили и будут жить вечно!

Но... не все люди — люди. Испокон века были, да и сейчас еще существуют мыслящие двуногие существа, которых никак не назовешь настоящими людьми.

Сами они не создают никаких ценностей, не рассеивают, а,

наоборот, вбирают, всасывают живые искры других интеллектов. Всасывают и используют для своего животного, личного употребления. Hómo útens следует называть такие существа. Гóмо ýтенс — человек-потребитель. Утенс и диспéргенс — вечные антиподы, извечные непримиримые враги.

Каждый нарождается, чтобы стать диспéргенсом, но не каждый становится им. В странах, где у власти золото и кривда, чем больше собственности у человека, тем меньше он является диспéргенсом.

Диспéргенс — строитель, борец за освобождение угнетаемых и гонимых. Он намного больше отдает, чем берет.

Утенс — хапуга, потребитель. Его мечта, цель — только брать, ничего не давая взамен.

Диспéргенсов — миллиарды, ýтенсов — тысячи.

Диспéргенс — неумирающий.

Утенс — смертнейший из смертных. С самого рождения он не живет, а медленно, постепенно умирает.

Утенс — исчезнет, забудется навсегда. Будущую Землю заселит Гóмо диспéргенс.

Поколение за поколением станут воскресать, возвращаться к жизни. И в сознании воскресших оживут еще более давние, предыдущие поколения сеятелей. Да еще как оживут — человек и не подозревает, не знает и малейшей частицы того, что бережет его безмерно богатая подсознательная память.

Настанет время великого синтеза, всемирного воскрешения из мертвых! Грядет светлый, истинно праведный суд над всем минувшим — светлый для сеятелей, грозный, беспощадный для стяжателей...»

— Хватит. Дальше сугубо научное. — Подопригора взял у меня красную папку и, завязывая шнурки, произнес тихо, взволнованно: — Благодарствую! Душевно читали...

Мне помнится, я тоже очень волновался. «Великое Интегрирование»... «Люди бессмертны»... И верилось, и не верилось. Вот бы мне хотя бы один диск из этой моей млонзограммы...

Профессор словно прочитал мои мысли.

— Я вас жду через неделю. Будут готовы для вас копии всех дисков. До свидания.

Весь день Маринка ходила под впечатлением рассказа Михаила: а ну как и правда? А ну как не выдумал?!

«Я выживу, выживу...» — звенели в памяти Надийкины строчки. И тут же так ярко представилось: распахнулись двери, и на пороге она — живая, радостная, порывистая... А за столом — папа...

«Я выживу, выживу в желуде, в зреющем колосе!»

8. Буря

Прошло два дня.

Пока они были впереди, только приближались, — где-то там еще, завтра-послезавтра, — то казалось, будут они такими долгими, такими нескончаемо-прекрасными: все успеет — и наговорится, и насмеется, надышится на всю жизнь. Два дня двумя годами казались...

Так все и звенело в ней тогда, так и пело — простенький солнечный напев:

И се-год-ня мы вдвоем!
И се-год-ня мы вдвоем!

Как-то само собой сложилось. Что ни делает, куда ни пойдет, а в ней так и звенит, так и звенит:

Еще завтра мы вдвоем!
Еще завтра мы вдвоем!

Сегодня, завтра... Сегодня, завтра... Про послезавтра — ни слова! Таким неимоверным казалось это послезавтра, таким далеким... А оно — вот уже! Уже и надвигается...

Прошло два дня. Настал третий.

С утра пасмурно. На старые сугробы, на трухлявый, источенный струйками лед тихо падали крупные хлопья густого снега. После обеда прояснилось, поднялся ветер. И опять зашумело, загудело в соснах, засвистело за хатой в дубняке.

Маринке и хотелось побыть с Михайликом, и тяжко: взглянет на паренька, а услужливая мысль подсказывает, подсчитывает, сколько еще часов — часов, а не дней! — остается до разлуки. И так горько, так гнетет этот подсчет — еще одиннадцать, еще десять, девять, восемь... Восемь — и ты одна! Не вытерпела, оделась:

— Я сейчас. Хворосту наберу.

Вышла, захлебнулась сырым ветром — и вновь мысли: скоро, скоро вечер... Говорил, что уйдет ночью, после двенадцати...

Нет, и во дворе нет спасения от мыслей.

А ветер теплый, совсем не мартовский. Землей пахнет и даже вроде первыми листочками. И откуда только эти запахи, когда вон еще снегу сколько...

Постояла, послушала — лютует весенняя буря. А там, за лесом, грохочут, приближаются стальные громы.

Вернулась в хату.

Михайло чистил пистолет. Рядом на столе лежал диск от ППШ.

— Что это? — спросила Маринка, указывая на диск. — Не это ли твоя млонзограмма?

— Нет, — вздохнул Михайло. — Это... На дороге нашел. Нет у меня млонзограммы. Не смог я тогда ее взять...

— А почему не смог?

— Так получилось. Профессор-то велел прийти через неделю. С утра я был в клубе, там меня и застала война. Наш город бомбили в тот же день в одиннадцать. Особенно старались попасть в железнодорожный мост — это как раз возле нас. Сразу после отбоя я, понятное дело, побежал домой. Наш домик повалило взрывом, а там, где стоял особняк профессора Подопригоры, дымилась большущая воронка...

— Ну и выдумщик... — грустно улыбнулась Марина. — Нет твоего Подопригоры. И вообще нет никакого бессмертия... Все это ты просто выдумал.

— Нет, говоришь? — Михаил старательно протер пистолет белой тряпочкой. Взвешивая на ладони, задумчиво рассматривал своего стального, вороненого побратима. — Бессмертие, Хмариночка, как и смерть, в наших руках...

Спрятал пистолет, диск. Долго и молча занавешивал окна, зажигал каганец. И уже при его неуверенном, колеблющемся свете подсел к Маринке, положил руку на плечо:

— Запомни: для таких, как мы, смерти нет. Мы — Гомо диспергенс! Мы больше отдаем, чем забираем...

— Милый! — Маринка прижалась, уткнулась лицом в грудь Михаилу. Притихла, только плечи вздрагивают...

И снова тихо в хате. Тихо и тоскливо. А разве не так же было и тогда, в ту недавнюю и одновременно такую далекую, разбушевавшуюся вьюжную ночь? Нет, не так.

Одна-одинешенька была Маринка, а теперь с нею — у нее — Михайло. Пока с нею... И наши наступают — вон как грохочет! Все ближе и ближе. И не вьюга — теплая, мартовская буря за окнами.

И все-таки в комнате тяжкая тишина.

Почему?

Сегодня ночью прощание.

— Послушай, Хмариночка, — заговорил наконец Михайло. — Будет тебе хмуриться. Хочешь, я тебе что-то интересное расскажу?

— Что ты там еще можешь рассказать... Ничего больше не придумаешь. Все уже рассказал...

— А вот и не все. Далеко не все... И не выдумываю я, правду говорю... Садись-ка лучше да слушай.

— Слушаю, милый, слушаю... Ну, рассказывай...

Третий рассказ Михаила

В самом начале ноября послал меня командир в областной центр. Задание было не из легких. Больше месяца пришлось жить в городе, всякое случалось, но, что бы там ни было, приказ выполнил и, как видишь, живой.

В лес вернулся аж в декабре. Доложил все командиру, отоспался. Утром вышел из землянки — солнышко светит, в моро-

ной дымке мельчайшие искорки снежные вьются. Сухой снежок так приятно шуршит под ногами в старой листве... Иду, а сам вроде заново со всем знакомлюсь. Столько изменений за месяц произошло, столько новых людей. Но странно — кого ни встречу, все какие-то мрачные, молчаливые. В чем дело?..

Вижу — под старым дубом строят землянку. Трое долбят ломами промерзшую глину, пятеро тешут бревна.

И из этих восьми двое новенькие: румяощекий чернявый усач (я его сразу же мысленно окрестил Черноусом) и худющий, с болезненным цветом лица паренек в зеленой немецкой шинели, обоих вижу впервые. Подошел, поздоровался со всеми, достал кисет.

— Перекур! — крикнул Черноус.

Сели ребята, задымили самокрутками. И такой пошел у них разговор — противно слушать. Дела — хуже некуда: провал за провалом. Черноус уверяет: в отряде завелся провокатор, нужна поголовная проверка.

— Эх, поручили бы мне... — Усач даже зубами заскрежетал. — Я эту мразь быстро вывел бы на чистую воду!

— Никак ты его не выведешь, — тихо возразил юноша в зеленой шинели, — не выявишь ты его...

— Отчего ж это не выявлю?.. Что-то ты мне не нравишься...

Юноша на это только рукой махнул, болтай, мол, что хочешь... Встал и хотел уйти, но Черноус бросился наперерез:

— Ку-уда-а? Тебе что, крыть нечем? Э-э... Ты мне уже совсем не нравишься... Чего голову опустил? Чего глаза прячешь?!

В это самое мгновение послышался удивительно знакомый старческий голос:

— Прошу прощения...

Я оглянулся — у соседней землянки стоял... Подопригора! Да, это он, мой профессор! Не узнать его было нельзя, хотя вид имел далеко не профессорский: грязно-зеленый пятнистый ватник (из немецкой плащ-палатки), на ногах бурки, оранжевые чуни из автомобильных камер. И лицо сильно изменилось: оброс густой седою бородой.

— Прошу прощения, — повторил он вежливо и поклонился. — Я совсем случайно слышал вашу беседу и... И пожалуй, мне следует попытаться помочь вам. Вы... очень прошу... высказывайтесь, продолжайте говорить!..

Несколько человек сразу же обступили его. Моим первым порывом было броситься, обнять старенького. Ведь он не просто знакомый для меня, он человек о т т у д а, из такого недавнего и такого уже далекого д о в о е н н о г о времени. Я бы и бросился, но партизан, сидевший рядом на бревне, положил мне руку на плечо:

— Это наш... — прошептал на ухо. — Наш кудесник! Да, да, настоящий волшебник! — И засмеялся. — Не веришь? Вот сейчас сам увидишь.

И партизан пояснил, что хотя старик этот попал в отряд совсем недавно, но уже, почитай, второй после командира — и язык немецкий знает, и советчик отменный, а лекарь прямотаки чудодейственный (здоровенную котомку сухих трав притащил с собой в отряд).

То, что Подопригора снискал здесь всеобщее уважение, я понял и без объяснений: ребята, окружившие профессора, наперебой говорили ему все, не таясь. Особенно усердствовал Черноус. Сразу же, с места в карьер, начал излагать свое предложение о поголовной всеотрядной проверке, о решительном расследовании. Говорил он с жаром, страстно, и чувствовалось, многим внушал симпатию.

Да, Черноус нравился и мне. Особенно выгодно он отличался от паренька в немецкой шинели. Малый, разговаривая, отводил глаза в сторону, а усач наоборот: говорит с Подопригорой — и лицом к лицу.

Одно меня удивило: Черноус, что называется, глаз не спускал с профессора, а тот — ну совсем, как мальчишка в шинели! — опускал глаза... Чудеса! Этого за Подопригорой я не замечал...

Черноус тем временем вовсю распалился. Жестикулируя и размахивая кулаками, он внезапно схватил понурившегося юношу за руку, потянул к профессору:

— Вот, глаза прячет! Людям в глаза не смотрит! Вы только взгляните на него!.. — И, тряхнув парня, властно приказал: — Глаза! Глаза! Не опускай глаза!

И вдруг произошло нечто совсем неожиданное. Профессор посмотрел — но как посмотрел!.. С явным напряжением, словно делать это ему было очень и очень тяжело, Подопригора начал — начал! — медленно поднимать взгляд. Поднимал он его всего несколько секунд, но секунды эти показались мне почему-то длинными-длинными минутами.

Профессор поднял глаза, но посмотрел не на юношу, а на Черноуса. Вот тут-то и началось что-то непостижимое: теперь уже не паренек, а усач заметался, опустил голову, потупился. А профессор точно так же, как и тот юноша, строго приказал Черноусу:

— Глаза! Глаза не опускать!

Бледный, растерянный усач поднял глаза, посмотрел на профессора, взгляды их встретились. В тот же миг Черноус отшатнулся, заслонил лицо ладонями, скрючился и рухнул на землю.

— Это провокатор, — обратился профессор к партизанам. — Пока он не очнулся, свяжите его. А ты, хлопец, — положил руку на плечо юноше в шинели, — того... Не тушуйся, не робей. Ты волнуешься, что тебя из-за молодости опять в разведку не пошлют? Не тревожься, обязательно пошлют! Вчера же ты прекрасно показал себя в бою, даже командир похвалил... Ничего!

Все будет хорошо, и хотя ты еще молод и слишком стеснителен, но... будет и из тебя толк! Обязательно будет...

Позднее, после того, как Черноуса не только связали и допросили, после того, как он под прямым взглядом Подопригоры во всем сознался, после того, как взволнованный, совсем еще юный командир перед строем объявил Подопригоре благодарность, я подошел к нему и назвал себя.

Он очень обрадовался, обнял меня, даже прослезился.

Мы сели с ним на какое-то бревно, долго говорили, вспоминали не такое уж и далекое прошлое. Профессор рассказал, что перед началом войны он успел все-таки разыскать свои записи о лечебных свойствах трав. И носил всю материнскую науку — две толстые общие тетради — повсюду с собой. На всех совещаниях и конференциях имел при себе. И дома, и где-нибудь на собраниях, сидя в президиуме, читал их и перечитывал. И война застала его над этими зелеными тетрадками.

Хмурясь и тяжело вздыхая, профессор вспомнил тот страшный день... Когда по радио объявили тревогу, торопясь в бомбоубежище, он машинально захватил с собой эти тетради. Вернулся после отбоя, а особняка его нет... На том месте, где стоял дом, огромная обожженная воронка...

С двумя тетрадями под мышкой — единственным теперь его имуществом — сел в эшелон, уходящий на восток. Но отъехали недалеко, дальше пути не было: повсюду танки — танки с крестами...

Город наш приграничный, мало кто успел уехать...

Подопригора побрел в ближайшее село. Там и остался, лечил людей травами. За это и кормили и одевали...

Меня так и подмывало, я не удержался и спросил: не смог бы профессор возобновить в памяти и записать заново основное в своем открытии? Эти записи можно было бы передать на Большую землю.

Профессор улыбнулся.

— Все это я уже сделал. Но, читая свои зеленые тетрадки, я много думал и пришел к выводу, что многое в моих опытах могло быть значительно проще, если б я сразу нашел свои записи и серьезно занялся исследованием глаз, точнее, радужной оболочки глаз... Оболочку эту по праву можно считать визитной карточкой мло́нзовой структуры гипера́накса.

Радужная оболочка — это самой природой созданная неимоверно полная и неимоверно лаконичная запись мло́нза...

Глаза нужно уметь читать. Но не только читать. Глаза врача через глаза больного могут и должны непосредственно влиять и на его млонз, на его гипера̀накс.

Радужная оболочка... Глаза...

Глаза — вот что является не только воротами окружающего мира, но для внимательного исследователя и воротами в мир внутренний...

О многом еще рассказал мне в тот день профессор. И о том, как скрывался в селе, и о жизни своей в отряде, но больше всего говорил о существе того, что было записано в его тетрадях. Я попросил профессора, и он начал понемногу знакомить меня с наукой своей матери. Более двух месяцев изо дня в день в каждую свободную минуту Подопригора излагал мне и содержание тетрадей, и свои соображения... На третий месяц меня снова послали с заданием в город. Не так уж и много успел я усвоить из импровизированных лекций профессора, но кое-что осталось в памяти. Что именно? Во-первых, научился все-таки читать... да-да, именно ч и т а т ь по глазам... Во-вторых, я окончательно — на всю жизнь — убедился: все настоящие люди, все Го́мо диспе́ргенс — бессмертны...

Михайло рассказывал и рассказывал. Маринка слушала. Конечно, ей было интересно, очень интересно. Она даже начала верить, что все услышанное ею сейчас не выдумка ее любимого, а все было на самом деле, так оно и есть...

Да, она уже в это верила, но все время — на протяжении всего рассказа — звучало и звучало в голове: последний вечер... Последний...

Сегодня ночью — прощание...

«Пока что тихо... Пока что тихо...» — поет сверчок, но внезапно и он прерывает свою песню. За окном, за боковой стеной ясно слышатся тяжелые шаги.

— Кто это?! — Маринка приподняла голову. — Скорей! — схватила Михаила за руку. — Скорей! Сюда, сюда, в кладовку! Это оконце...

— Знаю, оконце — на огороды.

— Если что — выдавливай и беги. Ой, скорее!

— Спокойно. Запри меня.

Метнулась в комнату, схватила шинель, шапку и туда же — в кладовку. Осмотрелась: нет ли еще каких его вещей.

В дверь постучали.

Быстро закрыла кладовку на висячий замок, вышла в сени:

— Кто там?

— Это я, Андрон Андреевич. Открой...

— Кто?!

— Да Андрон же, Андрон... Не бойся, я один. Поговорить нужно.

— Я... Я уже спать легла... Приходите днем.

— Днем нельзя. Открой, мне только поговорить.

Маринка, почувствовав по тону, что настроение у полицая вроде бы совсем не воинственное, осмелела:

— Уходите. Идите домой, я спать хочу.

— Так, значит... — голос Андрона изменился. — Слушай, девка, открой, добром прошу!..

«Что же делать? — Марина лихорадочно соображала. — Один, говорит. Значит, без полицаев. Брешет, конечно...»

— Сейчас, я оденусь.

— Это другой разговор...

Кинулась в хату, к кладовке. Зашептала в щель:

— Что делать? Андрон...

— Что поделаешь? Впускай.

Маринка растрепала волосы, разобрала и смяла постель, еще и край одеяла спустила на пол. Посмотрела: похоже ли, что она спала? Кажется, все в порядке...

Неторопливо, словно нехотя, — пусть думает, что она не боится! — прошла в сени, отодвинула тяжелый засов, открыла дверь: один! И вправду один!

Малость отлегло от сердца. А может, попрятались?

— Добрый вечер, — учтиво поклонился Чебренков. — Где тут у вас ноги вытереть?

— Проходите, все равно завтра прибираться буду.

Как и тогда в Опанасьевке, возле моста, на Андроне темнела латками старая телогрейка. Над очками — теми же самыми, с яркой золотой оправой — мятый козырек засаленного картуза. Круглое, одутловатое лицо давно не брито. Теперь только Марина заметила, как осунулся, постарел Андрон. Он был совсем непохож на того довоенного, несколько загадочного, разочарованного в жизни «философа» и собирателя старины, который, уходя на фронт, так неудачно ухаживал за ней и так неожиданно получил от нее затрещину.

Пропустив «гостя» перед собой, девушка быстро заперла входную дверь. «Сейчас прикажет открыть», — подумалось ей. Андрон оглянулся, пристально посмотрел на засов, но так ничего и не сказал.

Зашли в хату. Осторожно ступая грязными сапожищами, приблизился к столу, вытащил из-под ватника большой белый пакет. Развернул бумагу — плакат «Поезжайте в великую Германию» — и с заискивающим поклоном подал девушке толстенную книгу.

— Вот... Выполняю обещание...

Ничего не понимая, она взяла. Что же это такое? Тяжелый том, оправленный в простое серое полотно, в верхнем левом углу, прямо на обложке, цветная вышивка — полевые цветы. Развернула книгу — украинские народные песни... И только теперь все поняла: это ж еще тогда, до войны, когда она с Надийкой была в гостях у Чебренкова, Андрон пообещал достать ей такую книгу.

— Спасибо.

— Спасибо и вам, что не побрезговали, приняли дар из рук, так сказать, бывшего полицая.

«Что это он себя бывшим называет? — удивилась Маринка. — И форму перестал носить...»

Чебренков снял картуз. Попросил разрешения сесть, примостился у края стола на табуретке.

— А почему вы стоите? — спросил, расстегивая ватник.

— Да... ничего. Насиделась за день. — Маринка решила не садиться: может, поскорее уйдет.

— Извините, что тревожу в позднюю пору, — неторопливо начал Андрон. — Но дела мои таковы, что днем прийти пельзя было никак... Одним словом, днем увидали бы полицаи, а я этого не хотел.

— Но... я не понимаю, в чем дело?

— Садитесь... Как-то неудобно — я сижу, а вы, хозяйка, стоите.

— Спасибо, постою.

— Ну ладно. Если уж так, то перейдем сразу к делу.

Андрон снял очки, протер их грязным носовым платком, дрожащими пальцами вновь надел их.

— Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Мне нелегко, но я должен признать свои ошибки. Есть основания полагать, что вы поможете мне найти, так сказать, верный путь. Вы согласны? Вы поможете?

— Ничего не понимаю, — прошептала девушка и села на скамью.

— Вы должны мне помочь. — Андрон придвинулся к Маринке. — Если бы я сейчас сказал, что стал убежденным коммунистом, вы все равно не поверили бы. Я понимаю... Но поймите и меня — сейчас мне выгоднее быть откровенным, абсолютно откровенным. Выслушайте меня, пожалуйста. Не удивляйтесь: я должен исповедаться перед вами теперь, именно теперь.

Андрон замолчал. За окнами шумела буря, двигались, перекатывались стальные громы — к вечеру грохот фронта стал особенно слышным.

— Люди смертны... — задумчиво начал полицай. — Человек живет только раз. Какие идеалы ни исповедуй, единственно, что останется после тебя, — небольшой участок хорошо удобренной земли. Кладбищенским бурьянам все едино: были у покойника какие-то принципы или он всю жизнь прожил червяк червяком. Когда-то, еще в университете, я имел глупость поспорить на лекции с преподавателем... Из-за этого инцидента и вынужден был покинуть альма-матер. Казалось бы, пора было и поумнеть, ан нет, снова лукавый попутал. И опять же из-за тех же проклятых идеалов. Да, именно из-за идеалов я связался, так сказать, с полицией...

Я много передумал за последнее время. И понял: только тогда мне позволят спокойно дожить свою жизнь, если я послужу еще и другим, противоположным идеалам. Я все взвесил: помогите мне приобщиться, так сказать, к партизанскому движению...

«Провокатор... Но почему ночью?» — Марина терялась в догадках.

— Вы ошиблись адресом, — поднялась она. — Не знаю я никаких партизан.

— Не доверяете... — криво улыбнулся полицай. — Что ж, реакция, как говорится, вполне естественная, но, уверяю вас, абсолютно неверная. Вот, — Андрон достал из кармана пистолет, положил перед Маринкой. Прямо на книгу положил, на яркие, вышитые нитками полевые цветы. — Теперь я перед вами разоружился не только, так сказать, морально, но и материально. Все еще не верите? Можете обыскать.

Девушка несмело взяла оружие, повертела в руках, заглянула в дуло.

— Осторожно, заряжен, — предупредил Андрон. — Теперь верите?

Маринка не знала, что и сказать.

— Познакомьте меня с человеком, который скрывается у вас.

— Что?!

— У вас, в вашей хате, в последние дни поселился мужчина, который очень хотел скрыться от посторонних глаз. Но некто его все же увидел. И ваше спасение только в том, что сей «некто» — ваш покорный слуга. Видел вашего гостя только я...

— Никого у меня нет! Никого! Слышите? Никого!

— Ну что это вы, дорогая моя, так сердитесь? Запомните, если говорите неправду и хотите убедить, что это правда, — прежде всего, не проявляйте своего волнения.

А то, что у вас скрывается какой-то человек, я, моя дорогая, знаю наверняка. Откуда? Сейчас объясню. Все очень просто! Не только ваши знакомые выходят иногда на ночные прогулки...

У каждого своя судьба. Одни люди счастливые, другие — несчастливые, а вот ваш гость, должно быть, в сорочке родился. И до сих пор сам удивляюсь, как это мне удалось отвести облаву от вашей хаты...

Теперь ясно? Больше не сомневаетесь? Знакомьте. У меня ценные сведения, я могу быть полезным партизанам...

Андрон говорил громко, почти кричал.

— Зачем вы так громко разговариваете? — спросила Марина, оттягивая время, лихорадочно думая, что делать.

— А я это нарочно. Я хочу, чтобы слышали не только вы, но и тот, кто скрывается у вас. То окошечко на задней стороне хаты достаточно-таки широкое. Мне очень не хочется, чтобы ваш товарищ использовал его как дверь. Так вот, перед вами альтернатива: либо тот, кто прячется, отведет меня к партизанам, либо, если он убежит, я вынужден буду отвести вас в полицию. Другого выхода у меня нет — я хочу жить.

Еще раз говорю: не бойтесь. Если бы я хотел арестовать ва-

шего постояльца, разве я так бы действовал? Окружил бы хату и... Одним словом, вы понимаете. Понимаете?

Маринка ничего не ответила.

— Марина, — донесся из кладовки голос Михаила. — Отопри, выпусти меня.

Андрон вздрогнул, глаза забегали — девушка, пистолет, дверь... — обмяк весь, опустил голову.

Марина подошла к кладовке, вставила ключ, открыла.

Андрон порывисто направился к Михаилу:

— Здравствуйте! Вот... Вот я и пришел...

— Вижу. Да, поздновато вы надумали партизанить! Выворачивай карманы!

— Оружие я уже сдал...

— Знаю, слыхал. Выворачивай, выворачивай! Так. А какие еще бумажки есть? А в том кармане? И справки и удостоверение — все, все давай.

Михайло сел за стол, придвинул к себе документы Чебренкова. Андрон как встал, так и стоял, не смея присесть.

— Ясно... — бормотал Михайло, читая документы полицая. — Товарищ партизан...

Михайло поморщился:

— Какой я тебе товарищ...

— Э-э... гражданин партизан, а у вас... я хотел спросить: в партизанском отряде справку мне смогут дать, что я... одним словом — добровольно к партизанам...

— Ишь, чего захотел! — Михайло засмеялся. — Сразу и справку ему! Справка партизанская — это тебе не немецкий аусвайс, ее, знаешь ли, не угодничеством зарабатывают. Посмотрим, на что ты способный...

— Так, значит, — встрепенулся Андрон, — так, значит, вы возьмете меня!

— А куда ж тебя девать теперь? Повесить всегда успеем, а может, еще и пользу принесешь да человеком станешь. Вот только идти придется далеченько. Как ты, на ноги не слаб?

— Да я... Хоть до самой Москвы!..

— Ну ладно, ладно. Эмоции свои потом будешь изливать. А сейчас садись в уголок и замри, словно твоего и духу тут не было. Принесла же нелегкая... Из-за тебя с невестой не попрощался как следует...

Андрон послушно уселся в уголке на скамью, но при слове «невеста» глянул искоса на Марину. Девушка подошла к столу, положила пистолет Андрона. Михайло хотел обнять девушку, но Маринка отстранила руку. Глаза вскинула на Андрона: неудобно, мол, мы сейчас не одни...

— Что? Вот этого стыдишься? Так это же не человек, так себе, временное существо, гомо утенс. Эх ты, Маринка-Хмаринка! — Схватил, обнял, поднял на руках. — Будешь скучать обо мне?

Глазами кивнула: «Буду...»

— А бояться по ночам?

Покачала головой.

Осторожно, как нечто хрупкое, нежное, опустил, поставил на ноги. Маринка потупилась: и до сих пор как-то не верилось, не могла поверить, что сегодня, сейчас Михайло уйдет и уже не будет его с нею. Стоит, боится взглянуть на парня...

Обнял, прижал — и крепко-крепко, губы в губы...

— Моя...

Андрон крякнул, но на него и не глянули. При чем тут Андрон — мир, вселенная, ничего не существовало для Маринки, кроме Михайла, и для Михайла — кроме Маринки... И сейчас особенно не верилось девушке, что вот и все, что она прощается и спустя минуту любимый уйдет...

И только тогда, когда он уже надевал шинель, Маринка осознала вдруг всю бездонную пустоту двух коротеньких слов: «уже все...»

Рванулась, прижалась к шинели, к чужой, к черной. Хотела что-то крикнуть — захлебнулась, забилась в тяжелом беззвучном плаче.

— Ну, не надо... Не надо... — Но и у него блеснуло, покатилось по щеке. — Ну, слышь, Маринка... Перестань... Я вернусь, я обязательно вернусь! Ну... успокойся! Ну, мы ж с тобой здесь не одни...

Маринка искоса посмотрела на Андрона и сразу же рукавом вытерла, со злостью стерла горькие, совсем уже не девичьи слезы: что-что, а слабость свою женскую она не выдаст напоказ этому «утенсу»! Из-за него, из-за таких, как он, и все зло на земле!

Отвернувшись, взяла со стола пистолет Андрона:

— Вот... Трофей забыл.

— Оставь у себя. — Михайло сосредоточенно, закусив губу, застегивал на шинели верхний крючок. — В хозяйстве пригодится. Пока я не вернусь, от ухажеров отбиваться будешь.

Маринка спрятала пистолет.

— А может, все ж таки до рассвета побыл? Ночь, вон буря какая...

— То и хорошо, что ночь. Ночь — наша мать партизанская. А буря — нам с тобою и умирать в бурю. Люблю веселую погоду! Ну ты, партизанская справка, пошли!

Андрон поднялся. Почтительно и как-то по-бабьи поклонился:

— До свидания, Марина Даниловна...

Девушка не ответила.

— Топай, топай! — Михайло подтолкнул полицая. — Ишь какой вежливый стал, как пушки загремели! Всего, Маринка!.. — Хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Отвернулся, поправил шапку, шагнул в сени.

...Маринка стояла на крыльце. Буря рвала с нее распахнутый кожух, трепала волосы. Удалялись, таяли во мгле две фигуры — дебелая, жирная Андрона и высокая, стройная Михайла.

Вот и проводила... Как все просто... Может, и насовсем.

Девушка захлебывается, давится слезами — смерть, что ей смерть! Не раздумывая, ни минуты не колеблясь, умерла бы она, чтобы только денек, один-единственный денек побыть еще вдвоем!

Один день?

Грозное, неведомое сияние рождается в душе. Девушка поправляет кожушок, непослушными пальцами вытирает слезы. О, она теперь уже совсем не та! Она уже не Маринка, она — Марина! И уже не пугливым огоньком во всемирной буре дрожит, теплится ее жизнь! Не коптилкой. Куда там буре — и смерти не погасить!

— А может, и вправду... — думает вслух Марина. — Может, и не выдумал Михайло про того профессора, и все было, все будет, как он говорил...

Может, оно и вправду люди бессмертны...

Ветер, веселый мартовский ветер забивает дыхание. Ветер этот такой сильный, что кажется, еще чуть-чуть, еще мгновение, и подхватит, понесет ее высоко-высоко, и вся ее жизнь, какой бы она долгой ни была, будет одним неистово радостным полетом...

Перевод с украинского
Е. Цветкова

НИКОЛАЙ СОВЕТОВ

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

(Фантастическая история)

При разборке старого дома на бывшей Камышинской улице Саратова была найдена большая тетрадь, вся исписанная ровным, старинным почерком, с завитушками в прописях, ятями и даже фитой, как писали очень давно и как теперь уже никто не пишет. Бросили бы эту тетрадь на свалку или в костер, если бы не ее переплет, твердый, тисненый, привлекающий глаз и почти не пострадавший от времени. Поэтому тетрадью заинтересовались, раскрыли и стали читать, после чего она, пройдя через многие руки, наконец попала в руки автору этих строк. Мне содержание тетради показалось занимательным, потому я решился предложить найденное повествование читателю.

Эти записи составлены мною, Петром Благовестным, в здравом уме и твердой памяти, ибо считаю себя обязанным расска-

зать людям о чудесном даре, которым владела наша семья около четырех веков.

Я родился в 1812 году и ныне, к концу 1929 года, имея 117 лет от роду, считаю себя старым человеком и чувствую приближение своего конца не потому, что отжил свое, но лишь оттого, что не смог регулярно выполнять предписаний своей семьи, все члены которой отличались завидным долголетием. Первый в роду Благовестных возник из неизвестности еще при Рюриковичах, я, последний, пережил царей Романовых. Отец и мать мои прожили по 140 лет, дед и бабка — около того, а прадеды переваливали за 150. Столько же должен был жить и я, и мои дети. Но мне и моему потомству не повезло. Не повезло потому, что мы нарушили заветы семьи, сошли с наезженной колеи семейных установлений, определявших занятия моих предков. Все они были лицами духовного звания и в качестве таковых всегда стояли не то чтобы в стороне от событий и потрясений Руси, но как бы над ними. Предок наш, пра, восемь раз, дед, живший еще в XVI веке, при царе Иоанне IV, Грозном, после многих злоключений вышел в подьячие церкви, откуда и пошла фамилия Благовестные. Дьяконами стали его потомки и мой прадед и дед. Отец же поднялся выше — окончил духовную семинарию и был рукоположен в сан священника во времена царствования Александра Первого. Вот тут-то и произошло изменение — потомки перестали быть вне событий, окунулись в их гущу, и произошло это потому, что мой отец смог дать мне образование и я оказался первым в роду, кто не пошел по духовной линии.

Я окончил медицинский факультет Петербургского университета в 1840 году и вскоре получил степень магистра медицины. В свою очередь, и сын мой получил светское образование, ниточка традиций оборвалась. Я не сетую, что неверно прожил жизнь. Я всегда жил, одухотворяясь идеями своего времени. Текло время, менялись идеи, менялись и мои взгляды, хотя я не могу сказать, что они всегда с позиции истории были верными. В середине прошлого века меня увлекали идеи петрашевцев, затем я примкнул к террористам из «Земли и воли», как мог, зарабатывал для них деньги. Потом сменил народовольцев на эсеров, а социал-демократов и затем большевиков не оценил. Был судим по «процессу 14-ти», отбыл 20 лет каторги и поселения, изнывал от тоски в эмиграции... Чего только не было за мою длинную, длинную жизнь!

Неспокойно прожило жизнь и мое потомство. Сын мой, Иван, добровольцем пошел на турецкую войну 1877 года сражаться за Россию и славян и погиб на Шипке. Имя его выбито на стене Шипкинского мемориала, он увенчал себя славой и... забвением. Внук, Федор, при последнем царе дослужился до полковника и погиб в гражданскую войну, сражаясь на стороне белых за «единую и неделимую». Он был истинно русским человеком

и верил в идею, за которую погиб, хотя так же, как и я, неверно определил свое место в борьбе. Россия осталась — великая, единая, неделимая.

Впрочем, в этих записках я вовсе не ставлю цели рассказать историю рода Благовестных и своей жизни. Сами по себе Благовестные были простыми, скромными людьми, не отличаясь ничем выдающимся, кроме своего долголетия. И само это долголетие проистекало не из каких-то особых физических достоинств семьи, а являлось только следствием владения чудесным кристаллом, известную мне часть истории которого я и намереваюсь рассказать.

Бабушка моя со слов деда, а дед по рассказам своей бабки и деда, то есть моих прапрадедов, а те со слов своих предков передали мне эту историю. В детстве я ее воспринимал как сказку, в зрелом возрасте осмысливал критически, стараясь понять суть, а сейчас, на закате жизни, просто верю в нее, утвердившись в том знании, которое мне понятно, и оставив для размышлений будущим поколениям ту часть, которую я познать и понять не в состоянии.

Рассказ этот шел в нашем роду через века, передавался детям и внукам, число которых было невелико, ибо, получив долголетие, семья Благовестных не обрела плодовитости: один-двое детей, всегда сыновья, — вот предел разветвления нашего рода. Можно поручиться, что сказание не обрастало подробностями и дошло до меня в своем изначальном виде, так, как рассказывал ее мой прапрадед: я лишь передаю его своими словами, немного причесав и очистив от немыслимых в наше время и мало кому понятных славянизмов.

Все началось в XVI веке, во время одного из первых походов Иоанна IV Грозного к стенам Казани. Предок мой, восьмижды прадед, Федор, или в обиходе — Федька, не имел отчества по причине сиротства, а его бедность и холопство не оставляли ему надежд и на приобретение фамилии. Был он сдан миром в ратники, едва усы пробились, и пошел в ополчение, сколачиваемое для похода на татар воеводой Варнавой под Рязанью.

Толстый, с пышной бородой и звериным рыком, Варнава был крут с ополченцами, как с холопами, так и с боярами. Обласканный царской милостью, он, не смущаясь, одинаково свирепо хватал за бороды и родовитых Оболенцевых, и сановных Долгоруких, и ничтожных Ивашек и Федек, коли у тех были бороды. Ну а за шиворот уцепить, да приподнять силищей своей непомерной и потрясти крепко, да рявкнуть в самые уши так, что в голове зазвенит от этого рыка и грядущей за тем затрещины, — это было у него делом обычным. Но сильно Варнава над служивым людом не изголялся, никого батогами до лишения живота не забил и кулачищами не замордовал.

Полки сколачивались долго. Конец лета 1544 года, осень и

всю зиму ратники жили в зимовьях, срубленных в лесу из тех же берез, что белыми невестами разбегались кругом без конца и края. Воевода и бояре жили рядом в деревне, все избы позанимали, крестьян почти что выгнали, кто в подклетях со своими чадами помещался, кто в бане, а кто на краю в деревне, как и ратники, зимовья с земляным окладом строил. Харч в округе служивые едва ли не весь повыели, подвоз же из Москвы только по санному пути наладился. Ратники оголодали, часто злились, но не роптали. Все равно дармовой казенный кошт был сытнее своего деревенского, скудного. Да и от непосильного крестьянского тягла ратники были избавлены, а ратной работы пока никакой не было. Стрелецкое войско еще не подошло, а в ополчении пищалей почти никто не имел, только боярские дети. Так что огневой стрельбе не учили. Наготовили, правда, дреколья, обжигали его на кострах, заостряли и на некоторые надевали железные секачи, здесь же, на краю деревни, полковыми кузнецами в новой кузне скованные. Потом подвезли из Москвы бердыши, длинные такие, с топором на конце. Но на всех их далеко не хватило. Да еще кожаные нагрудники из бычьих шкур шили. Вот и вся работа.

Оттого с утра до вечера топили бани. Дров сколько хочешь, мылись, горячей воды не жалея, терлись мочалами и золой, парили друг друга духовитыми березовыми вениками, еще с мая месяца в большом количестве по царскому указу деревенскими для ратников запасенными и в сушилах под корьем на жердях развешанными. После бани пили кислый, до сведения скул, квас, настоянный на бруснике и смородине. И хоть с хлебом было плохо, выдавали только по полфунта на брюхо, зато грибы не переводились. И соленые в горшках, и маринованные в бочатах, и жаренные на прутиках. На зиму их тоже тьму наготовили и потом ели их и так, и в похлебке для навара и вкуса. Потому как мяса из-под бычьих шкур, что шли на нагрудники, ратникам попадало самую малость, только по воскресеньям, да и то не в каждое.

Весной двинулись к Оке на соединение с другими ратями ополчения. Пока грязь не просохла, идти было трудно, к топким местам рубленый лес тащили, гати клали, затем полегчало — подсохли дороги. Предка моего, Федора, поставили в копейщики, нести вроде нечего. Но он и другие копейщики большую часть пути должны были помогать везти орудия огневого боя, единороги. Нравились они ему, хотя и непонятны, загадочны были. На стоянках Федор с восхищением гладил литой, весь в узорах и завитках ствол единорога и про себя ужасался его свирепой мощи, о которой рассказывали бывалые ратники: «Как жахнет, как ударит по нехристям, так и сметает всех. В противных рядах сразу просеку делает, как лесорубы в лесу, только вместо деревьев люди поваленные лежат».

Огромный, на четырех сплошных, без спиц, колесах, едино-

рог застревал в каждой колдобине разбитой дороги. И тогда тащили его не столько четверка замученных, избитых кнутами лошадей, сколько ратники. С потными спинами, крича и сквернословя, они наваливались на неподъемное орудие, надрывно дыша, сталкивали его с места и потом бессильно брели рядом, недолго отдыхая, до следующей ухабы. В день верст десять-двенадцать делали, не более.

На одной такой колдобине, на взгорье, выдернув колеса, отпустили ратники орудие, лошадям его тащить оставили, да вдруг одна из постромок возьми да и лопни. Лопнула постромка, и пара лошадей, из четырех, гуськом запряженных, вперед сунулась без тяги, а две другие орудия не удержали. Пошло оно назад, в ту же колдобину ахнулось, а за ней мой предок Федор пригнувшись стоял, онучу перевязывал. И быть бы ему мертву, да и не только ему, если бы один ратник не дал им всем крохотный миг, чтобы отскочить успеть. Схватился он за колесо, себя не жалея, криком зайдясь, и помог орудию в той колдобине на самую что ни на есть малость замереть. Успел, выскочил Федор из-под пушки, а с ним и другие и сразу же на подмогу кинулись и задержали орудие, не дали ему скатиться, себя и людей порушить.

Случай был Варнавой замечен, и после мужика этого стал воевода отличать среди других: любил храбрецов. Звали пращурова спасителя Георгием по прозванию Жареный. А прозвание свое он получил потому, что перед сдачей его в царево войско боярин отлупил Георгия до потери чувств, жарил его на конюшне розгами, пока у Георгия кожа с задницы клочьями с кровью не сошла. Кара же суровая ему вышла за ту провинность, что он дворовую девку обрюхатил, а девка оная боярину еще ранее сильно приглянулась, для себя ее оберегал. Не помогло и то, что Георгий с той девкой боярину в ноги кидались, просили дозволения обвенчаться. Не позволил боярин, осерчал и не вышел из Георгия Победоносец, а вышел Жареный, и был он после порки сдан в ополчение под царский указ.

Задница у Жареного зажила, но стал он отчаянным до невозможности. На любую опасность готов был идти, да приговаривал: «Хуже, чем жарили, не нажарят». Предок мой Федор сильно с ним сошелся, и не мешало им, что разными были: Жареный отчаян, Федор осторожен, Жареный говорлив и удал, Федор молчуном слыл, Жареный девок за версту чуял, Федор же грешить остерегался, заповеди чтил и бога боялся. Но все же стали они неразлучны до самой смерти одного из них, но об этом речь впереди.

В средине лета под Васильсурском ополчение, в котором шли Федор и Жареный, соединилось с другой его частью, что собиралась в Москве, и тронулись уже на Казань. Теперь шли вдоль Оки, по левому ее берегу, стараясь держаться ближе к воде. А часть войска и пушки плыли по реке в ладьях. Вечером

все ладьи приставали к берегу, чтобы от войска не отрываться, ратники жгли костры, поджидая отставших, делали длинные дневные остановки. На взгорках той стороны Оки часто маячили всадники, татарская разведка за русской ратью наблюдала. Порой и большие отряды собирались, но никаких вылазок ни та, ни другая сторона не делала. Будто и не на сечь шли, а так, гулянье по обе стороны реки.

И никто — ни предок мой Федор, ни друг его Жареный, ни остальные ратники и даже бояре не ведали, а истории то ныне ведомо хорошо, что как раз в том, 1545 году против хана Сафа-Гирея, правившего Казанью, был заговор составлен и Москва в том заговоре сильную руку имела. В Москве полагали и надеялись посадить в Казани своего хана и готовили для этого покладистого царевича шаха Али. Как раз и весь поход нынешний не столько к брани кровавой предназначался, сколь был приурочен к тому, чтобы помочь московской партии в Казани за спиной русскую силу заметь. Грозить ею и превозмочь карачей фамилий Ширин и Баргын, которые держали руку крымцев и Турции. Превозмочь и свергнуть Сафа-Гирея.

К концу лета русское войско спустилось по Волге и стало лагерем под Казанью, но не рядом, а верстах в двадцати. Лагерь тыном обнесли, чтобы татарская конница не налетела, построили сторожевые башни, ставили караулы. Дымили тысячи костров, сила собралась грозная, но дела не начинали. А царь Иоанн то ли за Волгой оставался, то ли вообще поблизости не объявился — войску это неведомо было.

И вдруг пришел царский указ — снарядить в Казань посольство. Не великое — простое военное, с реляцией и переговорами к дивану. А главную цель, видно, то посольство имело — дать всем объяснение, почему русские не наступают и не осаждают Казань, а только силу показывают. Раз переговоры, то какая же война?

Посольство принял и повел воевода Варнава. С ним боярские дети, дьяки приказные, обоз с подарками для членов дивана — без подарков даже слово никакое не произносилось, не то что переговоры. А для охраны подарков — сотня ратников, хотя были эти подарки так себе. Сабли и щиты с недорогой насечкой, сколько-то серебряных братин и прочей посуды, седла русские со стременами, да еще с десяток бочек меду — эти вообще нипочем стоили. Да и ни к чему было на дорогие-то подарки разоряться, не те времена. Ведь не Русь ныне ходила под татарами, а, наоборот, уже тому много лет и до самого 1521 года казанский хан признавал себя вассалом и данником царя московского.

Потом правда это порушилось. Крымская династия Гиреев взяла в Казани верх, Казань вступила в союз с Крымским и Астраханским ханствами и Ногайской Ордой, отошла от Москвы и признала себя вассалом Турции. Все это вместе

было, хотя и не Золотая Орда, так искалечившая жизнь Руси, но все же сила опять собиралась немалая. В одном только Казанском ханстве более ста тысяч русских пленников рабское ярмо носили, и московский царь больше того терпеть не хотел.

Вот так начиналось покорение Казани, но все это присказка, дабы понятно было, что привело жизнь моего предка к тому удивительному стечению обстоятельств, в силу которых он стал обладателем чудесного кристалла. И главной причиной того явилась русская полонянка Мария, шестьдесят четвертая жена из гарема хана Сафа-Гирея.

В рать охраны отобрал Варнава Жареного за удаль, и, как его неразлучника, взяли Федора. Посольство тронулось из русского лагеря утром, без помех прошло через тьму татарских войск и к полудню стало у главных ворот под стенами Казани. Татары посольство встретили с подобающим почетом, но под разными предлогами в Казань за стены не пустили.

Вежливо, с поклонами и восточной льстивостью встретившие послов от лица дивана эмир Шакир и мурзы убеждали Варнаву, что для посла и его свиты приготовлен великолепный загородный ханский сарай. И там посольству будет прекрасно и удобно, в Казани же и неспокойно и небезопасно. А уж где переговоры будут с диваном, там или в Казани, то предстоит еще выяснить.

Варнава в этом никакого бесчестия для посла не увидел, и вся свита разместилась в одном из домов широко раскинувшегося летнего ханского дворца. Сарай был обнесен высокой стеной с зубчиками и башенками, за стену и в дома вели высокие сводчатые, заостренные кверху и украшенные резьбой ворота, такими же узкими, стрельчатыми были и окна. Купола крыш расцвечены изразцами, а выше их торчали, как стебельки мака с головкой наверху, два тонких, стройных минарета. За стенами большой сад, также разделенный на части внутренними стенами, но уже не столь высокими.

Иные ратники еще не успели расположиться и оглядеться, а Жареный уже с восторгом в голосе докладывал Федору, что за внутренними стенами размещается малый ханский гарем, а в гареме, по слухам, такие восточные красавицы собраны, какие православному и не снились. Слыша это, Федор истово крестился от лукавого, а Жареный, отрешенно глядя на стены, говорил, что в лепешку расшибется, есть, пить перестанет, но разглядит этих красавиц и свое мнение о них составит. И таки разглядел себе на погибель, а пращуру моему, Федору, на счастье.

Дела у посольских ратников особого не было, кругом дворца татарской охраны видимо-невидимо, но в ханский дворец им ходу нет. Страх перед ханом и запретами корана лучше всякой охраны защищал дворец, послов и подарки от разбоя. Внутренние же стены, ограждавшие гарем, охраны вообще не



имели. Только изнутри их, в самом гареме, несколько сонных евнухов, одуревших от безделия, в халатах, с нестрашными мечами за поясом, бродили вдоль стен. А чаще не бродили, а спали, привалившись к стене или ступеням, дабы не смотреть на недоступные их природе прелести, дабы не изводиться от горьких сожалений по недостижимому.

Все это Жареный тут же разглядел, взобравшись на дерево, росшее у стены, укрывшись в листве которого ему было видно все, что делалось во внутреннем дворике гарема. Явно просчитались татары, пустив русских в ханский дворец, пусть загородный, с малым гаремом и хан его не жалует ныне, но все же просчитались. Перенадеялись на страх, который все правоверные должны испытывать перед ханским величием, забыв, что православным русским коран неведом и трепет перед его запретами чужд. И там, сидя на ветке дерева в листве, густой шапкой нависшей над зубцами стены, разглядывал не видимый никому Жареный вожделенными глазами тех самых восточных красавиц, о которых шла молва.

Он видел женщин в шальварах, в кисейных накидках, в прозрачных халатах и без оных. Ходивших, лежавших, купающихся в мраморном бассейне, что помещался в центре дворика. Женщин, одетых и нагих, смеющихся и ссорящихся между собой, поющих или грустящих, уныло бродящих или играющих друг с другом. Кругом были яркие цветы, всегда столь пышные в конце лета, в бассейне переливалась изумрудная вода, глаза колол блеск богато сверкающей посуды, расставляемой на красочных коврах и наполняемой неведомыми Жареному яствами. И сердце Жареного было полно восторга оттого, что он приник к свято охраняемой тайне магометан, и оттого, как он потом обо всем этом станет рассказывать своим друзьям, Федору, односельчанам. И те будут слушать его, удивляться его храбрости и завидовать тому счастью, которое он испытал, узрев нечто для всех запретное, недоступное.

Уже в первый день отличил Жареный одну красавицу, легкую, стройную, с русыми косами, в расшитой белой кацавейке. Она что-то делала невдалеке, то ли шила, то ли вышивала в нише за колоннадой, изредка перебегая двор. А потом вдруг запела негромко, чистым, глубоким голосом, и у Жареного сердце зашлось, екнуло, заколотилось. По-русски запела гаремная полонянка, про русские леса и поля, про цветы лазоревые, про дружка милого, что лежит стрелами пронзенный, конями растоптанный, закрыв светлые очи. И никогда они больше не раскроются, никогда не увидят девы любящей, подруги ласковой. Страдание горькое было в этой песне, билась птица яркая в золоченой клетке, рыдала душа русская в неволе. И так стало жалко Жареному эту полонянку, так разум взъярился желанием помочь ей, что рискнул Жареный обнаружить себя. Долго ждал он удобного случая и дождался. Когда рус-

ская полонянка проходила под стеной, хрустнул Жареный веточкой и бросил ее полонянке под ноги. Она подняла голову, а он, раздвинув ветки, открыл ей свое лицо.

Ахнула полонянка, руки вскинула, закричать хотела, да Жареный единственно верное сделал: широко улыбнулся и быстро-быстро у нее на глазах закрестился. Сошел испуг с лица женщины, едва не заговорила радостно, да вовремя остановилась. Огляделась с опаской на других жен, обретавшихся невдалеке, взглянула на жирного евнуха с безбородым лицом, подпиравшего стену у входной двери, и вдруг нашлась. Спокойно опустив голову и присев на каменные ступени, перебирая цветные нитки, свитые в ее руках, она запела.

Запела как заговорила. Лица не поднимая, пела-говорила ему, Жареному, соколу ясному, что залетел в эту темницу блестящую. Рассказала-спела, что зовут ее Марией, что пленили ее вот уже более года и что родом она из Каширы, что под Москвой, и, подняв искоса глаза, увидела, как Жареный закивал, показав, что понял ее. Пела про то, что ненавистен ей плен татарский, как хочет она вырваться из него, как рада увидеть родное русское лицо. И опять подняла глаза, и увидел Жареный, что текут из них слезы, услышал, как задрожал ее голос, и чуть было не закричал: «Я спасу тебя!» Да опомнился вовремя — нельзя кричать, нельзя никому открываться. Но когда Мария еще раз поглядела на него, он сделал ей простой и понятный знак руками — показал на себя, на нее и затем двумя пальцами по ладони, будто ноги бегут: дескать, убежим!

Закивала Мария, заулыбалась, потом палец к губам приложила и спела Жареному, что хватит, что надо ему скрыться, а то заметить могут. Пусть он придет завтра, а она всю ночь думать будет, что делать.

С тем и расстались. И весь вечер Жареный, притянув голову друга Федора к себе, жарко шептал ему обо всем виденном и клялся, что жизни ему теперь без Марии не будет, что на все готов ради ее спасения.

Мария ждала Жареного. Он это сразу понял, когда на следующий день влез на дерево и, хоронясь, чтобы никто не увидел его, притаился. Но Мария его заметила тотчас же и подошла ближе. И умница — времени уже зря не теряла, присела под стеной, перебирая нитки и головы не поднимая, запела. Слушал Жареный и дивился ее разумности. Спела она ему, что, кроме ворот, в гарем ведет еще подземный ход и этим ходом последние недели пользовался сам хан Сафа-Гирей. Поэтому Ясну Соколу, как звала Мария Жареного, надо выйти в лес на восток от дворца и походить, поискать вытоптанную конями полянку. И как примета конский помет там должен быть обязательно, ибо хан приезжал ведь на лошадях и они его жда-

ли. И там, где-то рядом, должен быть и лаз в подземный ход, а идти по нему надо с факелом, ибо на белом бурнусе Сафа-Гирея она всегда видела капли масла от факела, которые несли над ним слуги, и сажу на чалме и рукавах, которыми он задевал за потолок и стены.

Мария поглядела украдкой на дерево, улыбнулась и спела Жареному, что пусть он, пока не найдет входа в подземелье, на дерево не лазит. А уж как найдет, тогда пусть и влезет, это и будет знаком. Она его не пропустит, все время за деревом будет следить. И тогда она ему скажет, когда можно бежать, ибо ей еще надо будет выкрасть ключ у евнуха, сторожащего вход, а это непросто. Сейчас же Ясну Соколу надо быть осторожным и слезть, чтобы его не дай бог не заметили. И Жареный слез, полный решимости все сделать, чтобы вызволить красавицу из неволи.

Переговоры с диваном шли ни шатко ни валко. Мурзы и эмир Шакир два раза уже приезжали во дворец, вели длинные речи о том, где переговоры будут, куда везти вручать подарки, кому и сколько. А потом обсуждали, будут ли члены дивана сидеть или стоять, когда посол войдет, и кто первым поклонится — посол Варнава или визирь от дивана. И по каждому пункту рядились и спорили, а если договаривались, то все записывали в памятную сказку и подписи ставили, чтобы потом нельзя было от сказанного отпереться. Уже неделя прошла, а посольской охране все это время дела по-прежнему никакого не было.

Потому, когда Жареный сказал дядьке-сотенному, что надоело ему сидеть за стенами и что он с другом Федором пойдет по грибы и ягоды, дядька перечить не стал. А от татарской стражи у ворот они просто отмахнулись, хотя те и кричали на них что-то по-своему. Так Жареный с Федором и стали выходить по два раза в день: и ягод приносили, и окрестности тщательно обыскивали. Искали, туда-сюда ходя по лесу, расходясь и снова встречаясь. И нашли: в глубине леса, хотя и не так далеко от стены, увидали полянку, конями утоптанную и старыми катышками навоза усыпанную. Потом в зарослях кустарника нашли и лаз, к нему вела тропочка, три раза сама к себе изгибавшаяся, и потому лаза со стороны никак не видно было.

Лаз был невысокий, входить в него надо было согнувшись. Жареный тут же поколотил кресалом, зажег пук сухой травы, от нее засохшую ветку и в лазе том пошарил, походил сколько мог. Вылез и сказал, что идти надо только с факелом, а сейчас лучше уйти от греха подальше, чтобы не заметили.

С утра, как только служба позволила, ушел Жареный в глубь двора и, оглядевшись, влез на дерево. Мария сразу подошла, кивнула и спела, что ключ выследила, взять его сумеет и может хоть сегодня бежать. Сказала, чтобы ближе к полночи он под стеной филином или какой другой птицей, какой

умеет, три раза крикнул. А потом еще три раза, и она то услышит и будет готова открыть дверь. Ему же, Соколу Ясному, надо идти после этого в подземный ход с факелом и ждать за дверью. Как только она ключ выкрадет, то не мешкая выйдет и они убегут. А куда, о том один бог ведает, а ей все равно.

И понял Жареный, что настало время действовать, что взял он на себя ношу нелегкую, но хода назад ему нет. И только сейчас, с дерева слезая, подумал: «Что я наделал? Ведь я же ратник, человек подневольный! Как я могу бежать?»

Но Жареному, а вернее сказать, предку моему Федору, судьба благоволила. В тот день за стенами дворца суета началась. Люди заметались туда-сюда, тьма татарской конницы из-за леса проскакала к Казани, и пушка там зачем-то ударила. Нарочный пригнал к Варнаве, сначала один, за ним второй, и все из Казани. После каждого Варнава слал конных гонцов в русский лагерь с грамотами. И пошел слушок с уха на ухо по двору посольскому, что в Казани смута, что татарский царевич шах Али свару затеял, посягая на хана Сафа-Гирея, и уже воевать начал. Что хан рассвирепел, буйствовал, а потом будто бы в бессилии преодолеть противников покинул Казань, бежал куда-то. А перед этим в буйстве нескольких жен из своего гарема зарезал, чтобы не оставлять их врагам. Зарезал бы всех, да успели помешать тому эмиры. И сейчас в Казани междоусобица и безвластие.

Все это были слухи. Но по всему видно было, что они не ложные, что в Казани наступила смута великая и смена правителя. А русским только того и надо было. Потому Варнава потерял покой, сначала гонцов слал, а потом и сам с одним боярским сыном и тремя ратниками вскочили на коней и скрытно ускакали куда-то, вроде бы в русский лагерь с самим царем совещаться, да того толком никто знать не мог.

Посольская охрана себя в татарском окружении стала неуютно чувствовать. Ну а Жареный в отчаянности своей решил, что это судьба ему знак выказывает, и, схватив Федора за грудки, убеждал, уговаривал помочь. Сказал, что, как только из гарема вызволит полонянку, так сразу ее тайно за стену к ратникам под охрану доставит. А уж далее Жареный клялся все на себя взять, вымолить у Варнавы прощения и дозволения полонянку к себе в деревню отправить. Предок мой Федор слушал его, душой цепенея, но все же помочь согласился. Да только все иначе получилось.

На этот раз их за стены, да еще под вечер, татары ни за что бы не выпустили. Но и тут исхитрился Жареный: веревку перекинул через стену, и они через нее в сумерках перевалились. Оба были при оружии — взяли с собой бердыши на всякий случай. Перебравшись, еще в кустах для осторожности немножко потаились, послушали. Убедились, что тихо все. Жареный ползком вдоль стены двинулся и под гаремной ее частью,

как было условлено, три раза ухнул филином. А потом еще три раза. Так же ползком к Федору вернулся и, азартно блестя в темноте белками глаз, шепнул: «Пошли к лазу».

Дорогу к подземному ходу они запомнили хорошо, и то было нетрудно — путь туда шел в створе двух минаретов, а они на закатной стороне небосвода даже в сию позднюю пору четко вырисовывались. Дошли быстро, забрались в лаз, и Жареный стал бить кресалом, поджигая один из двух заготовленных еще днем факелов.

— Ты оставайся у входа и жди, — по-прежнему шепотом, настраиваясь на тишину подземелья, приказал Жареный Федору. — Сиди в темноте, факел тебе не нужен. А я пойду по ходу до конца и там буду ждать Марию. — И, выставив горящий с потрескиванием факел, пошел в глубь подземелья. Федор глядел ему вслед, провожая глазами удаляющийся огонек до тех пор, пока он, внезапно потускнев, не скрылся за поворотом подземного хода.

Стало темно и страшно. От стен веяло могильным холодом, и Федор со страхом сжал бердыш, другою рукою мелко крестя лоб. Его даже поначалу в дрожь бросило. Но немного погодя свежий и теплый, напоенный запахами леса воздух, тянувший под потолком от близкого входа, его успокоил, напомнив, что вольный свет рядом. Пощупав руками вокруг, Федор неожиданно наткнулся на углубление в стене. Еще пошарив, опустил руку до полу и нащупал там пук сухой травы. Будто кто-то для него в нише сиденье приготовил. А может, это татарские стражники, что с ханом приходили и караулить оставались, себе удобное место сделали — о том Федор думать не стал. Сел, притулившись, в нише на мягкое сено, обнял руками бердыш и притих.

Время шло, Жареный не возвращался. Либо Мария еще с ключом не управилась, либо дверь открыть опасалась, либо еще что. Федор и о Жареном, и о его неуемности подумал, и о том, как он рядом с ним сам храбрецом становится, и еще о чем-то, и, наверное, даже чуточку подремал, глаз не закрывая. Но вот в кромешной темноте подземного хода чуть затеплился, замаячил свет, потом из-за поворота показался огонек факела — это возвращался Жареный. Федор, очнувшись, привстал, облегченно всматриваясь вглубь и пытаясь разглядеть, одна или две тени за факелом маячат, как вдруг в страхе вздрогнул, напрягся, облился холодным потом: со стороны входа в лаз послышался легкий шум, шаги и негромкая речь по-татарски.

Отверстие входа тоже засветилось неярким светом, и в него, спиной склонившись в поклоне, просунулась фигура с факелом. Следом за нею, согнувшись, вошел и затем выпрямился величавый татарин с черной бородой, в белом бурнусе и такой же чалме с пером. В чалме вошедшего на мгновение острым

красным лучиком сверкнул в свете факела и тут же погас драгоценный камень.

Федор судорожно сжался, вдавившись плечами в нишу, подобрав ноги и стараясь сделаться как можно меньше ростом. От ужаса не смог более и шелохнуться, а татарин, сразу не заметив из-за света своего факела тусклого огонька Жареного, быстро сделал несколько шагов вперед, немного обойдя слугу. И страшная встреча стала неизбежной — в свете двух факелов обрисовывались фигуры Жареного с бердышом в руке и прижавшейся к нему женщины.

Дальнейшее произошло с невероятной быстротой, слившись в памяти Федора в одно мгновение. И если бы не ясный ум Марии, он бы никогда не смог восстановить последовательности событий. Величавый татарин, увидев женщину с мужчиной, устрашающе взревел и выхватил из-за пояса длинную кривую саблю. Слуга вытянул вперед факел и, вперивши взгляд в глубь хода, также выдернул клинок. Крик разъяренного татарина, а это был сам хан Сафа-Гирей, зачем-то вознамерившийся посетить перед окончательным бегством свой малый гарем, гулким эхом покатился под стенами подземелья, ударил по ушам Федора, вскинул его на ноги.

Да только и Жареный не растерялся, показал себя и напоследок мужчиной и храбрецом — тоже с криком, выставив бердыш, бросился вперед, метя в голову Гирея, но промахнулся, сшиб тому лишь чалму. И тут же пал, сраженный саблею, закончив свой земной путь так же отчаянно, как и жил. Следующим ударом сабли была бы разрублена Мария, да на секунду отвлек хана его слуга. Он заметил вскочившего Федора, крикнул что-то по-татарски и кинулся на него с саблей. Обернулся хан, и смерть нависла над моим прадедом, а небытие над всем его родом и над нами, его потомками. Но страх придал Федору силы. Он выставил бердыш, заставил нападающего уклониться от него, и потому удар сабли попал не в сердце Федору, не в живот, а в бок и рану нанес глубокую, но не смертельную. Когда же слуга дернул саблю, чтобы вторым взмахом разрубить Федора, тот топором на бердыше, даже не приноравливаясь, в неудобном рывке ударил нападающего по шее и наполовину срубил его голову. Сраженный слуга, не донеся вторично острия сабли до Федора, свалился замертво, телом погасив бывший в его руке факел.

Снова пала кромешная тьма, и Федор почувствовал и услышал, как пронеслась над ним смерть, лязгнула зубами, дохнула близостью и, не задев, умчалась прочь. Это Сафа-Гирей несколько раз со звоном ударил, не различая ничего в темноте, саблей по стенам вокруг себя, затем побежал, спасаясь от невидимой засады, назад к выходу, выбрался наружу, и через несколько мгновений раздался топот удаляющихся конских копыт.

Снова в подземелье стало тихо, как будто не поразила здесь судьба только что смертью двоих и не сковала страхом, обручив навеки, оставшихся в живых мужчину и женщину: предка моего Федора и русскую полонянку Марию.

Федор не шевелился, уже осознав, что он жив и победил, но еще не понимая, что ранен. А через мгновение в глубокой тишине подземелья стал слышен тихий плач женщины, потерявшей суженого, которого она еще не успела полюбить. Всхлипывания Марии стали громче, Федор прислушивался к ним, прислонясь к стене, бездумно вперив взгляд в темноту, и вдруг разобрал слова:

— Он убит, убит! Помогите, православные. Есть тут кто живой? Помогите!

Федор очнулся, сделал несколько шагов на голос и отозвался:

— Это я, Федор. Жареный, Мария, где вы? — Федор нагнулся, шаря по полу, и тут рука его попала в теплую липкую лужу. На секунду он застыл, ощутив, что это кровь его друга Жареного и что в нее капает его, Федора, кровь и они в это мгновение, смешав свою кровь, навеки породнились, чтобы расстаться навсегда. Но все это Федор понял потом, а сейчас, отерев руку о штаны, он достал из кармана кресало и огниво и стал высекать огонь, с каждым ударом все сильнее чувствуя боль от раны. Трут затеплился, и Федор спросил внезапно осипшим голосом, прерывая тонкие всхлипы полонянки: — Где там факел? Пошарь.

Картина, которая открывалась в дрожащем свете вздутого Федором факела, ужаснула его, снова сковав запоздалым страхом. В нескольких шагах поодаль, около ниши, вытянув вперед саблю, валялся враг, убитый Федором. А рядом, у ног, лежал друг его, Жареный. Лежал, неудобно согнувшись, и эта неудобность была оттого, что был он разрублен татарской саблей едва ли не надвое. А над ним на коленях склонилась Мария, страшными глазами глядя на Федора, и ее белая одежда от крови Жареного была вся в темных пятнах, и руки, которыми она ощупывала своего мертвого спасителя, тоже были в потеках крови. От этого нового ужаса и от раны Федор, зашатавшись, стал медленно оседать на землю.

И здесь верх над всем этим кошмаром взяла извечная жизненная сила женщины, дух которой никогда не падает столь низко, чтобы забыть о будущем, о продлении жизни, сколь бы ни были темны и тесны условия, в которые женщина попадает. Мария осознала, что и второй ее защитник ранен, что и он нуждается в помощи, и потому вся забота о спасении их обоих теперь ложится на нее.

Вскочив, она подхватила факел из слабеющей руки Федора, подставила под его руку плечо, помогла опуститься наземь и снова охнула, облившись теперь уже кровью Федора.

— Ох, миленький. И ты ранен. Перевязать бы тебя, да нечем. — Мария огляделась вокруг, скользнула взглядом по одежде убитого слуги и вдруг, увидев чалму Гирея, вскинулась облегченно: — Постой, погоди, милый. Сейчас перевяжу тебя. Сейчас. — Она оставила на миг Федора, потянулась за чалмой и добавила: — Шапкой неверного закрою раны праведные. — И в тусклом, мигающем свете факела ярким блеском сверкнул красный камень, сверкнул, притянув к себе взоры обоих, и погас.

— Это возьмем, — осипшим голосом, но жадно сказал Федор, показывая на рубин. — Дай сюда.

— Возьмем, милый, возьмем. На, держи. — И Мария, оторвав от чалмы камень, сунула его в руку Федора, а затем, стянув с него ставший уже торчком от застывающей крови армяк, стала перевязывать Федора размотанной чалмой хана Сафа-Гирея.

Пламя факела тускнело, грозя вот-вот погаснуть. Мария сообразила, что нельзя более задерживаться, что вражий супостат может вернуться, что надо бежать. Федору становилось все хуже, он плохо помнит, как Мария взяла у него из ладони камень, как с ее помощью он выбрался наверх. Мария услыхала фырканье коня убитого спутника хана, отвязала его, помогла Федору взобраться в седло и, сев сзади, погнала коня, сама не зная куда.

Конь шел мерным галопом, потряхивая всадников. Ноги Федора, не попавшие в стремена, болтались, а Мария до стремян не доставала, но, обняв Федора, держалась обеими руками за переднюю луку седла и потому сидела более прочно, помогая не упасть и Федору. Они скакали наугад, но как оказалось, на север, негустыми перелесками, держась к опушкам, перескочили вброд какую-то речку и опять поскакали среди деревьев. И ветки часто и больно хлестали их по плечам и лицам.

Преследователи появились неожиданно. Вероятно, это был случайно попавшийся беглецам татарский сторожевой отряд, который, заметив мчащегося коня с двумя всадниками, не мог оставить их без преследования. Мария, увидев погоню, еще пришпорила пятками коня и прильнула к Федору, который безвольно от слабости и потери крови полулежал на конской шее, обняв ее руками. Полная луна на безоблачном небе освещала призрачным светом картину ночной гонки, скачущего белого коня, темную и светлую фигуры на нем и татарских наездников, с воплями и визгами догонявших беглецов.

И не уйти бы им живу, если бы Мария в страхе, что их вот-вот поймают, найдут ханский рубин и обвинят в воровстве, а то и в чем похуже, не взяла бы и не проглотила камень. Хотела было сначала выкинуть, да вдруг пожалела драгоценность, решила сохранить, проглотив, и тем спасла и себя и Федора.

Татарские конники, догнавшие коня, вдруг увидели, что он скачет уже один, без седоков. Поймав коня, вернулись татары, поискали, и открылось им при свете луны странное видение. Лежит мужчина, по штанам и лаптям, видно, русский, но до пояса раздетый — не шевелится, в боку рана кровавая, тряпкой замотана. А на нем, чуть ли не верхом, полулежит, полусидит, вывернув в сторону голову, женщина, тоже без движения, глаза закрыты, дыхания не видно, белое длинное платье ее тоже все сплошь кровью залито. И лица обоих, в неярком белесом свете луны, казались черными, мертвыми, страшными.

Загалдели татары, залопотали по-своему, испугались мертвяков, которые по ночам то ли на конях, то ли друг на друге скачут.

— Ай, алла! — воздев руки, закричал старший. — Убыр! Урус-шайтан! Качабыз! * — Замахал руками, и все за ним, завернув, умчались и даже коня пойманного бросили. Подальше от шайтана или, может, не от шайтана, а от русской ведьмы, которые, по рассказам русских пленников, не только на конях и людях, но даже на метле могут ездить.

Так судьба опять увела прочь смерть от предка моего Федора и, как это уже вам ясно, и от моей восьмижды прабабки Марии. В последний раз погрозила небытием всему моему роду и затем оставила нас в покое на долгие почти четыреста лет. Но все же, увы, не навсегда, и теперь небытие нависло над родом Благовестных уже окончательно: живых потомков у меня нет, и род на мне закончится. Но в то время судьба была милостива к нам и на прощание кинула в качестве подарка догадку о чудесном действии проглоченного Марией рубина.

Федор приходил в себя ночью несколько раз, стонал, просил пить, затем опять впадал в забытье. Но Мария ничего не слышала. Она проспала до самого утра. Проснулась легко, бездумно, с ощущением счастья и полноты жизни. Они не вызывались какими-то внешними причинами, наоборот, эти причины могли лишь омрачить настроение, но тем не менее в первые секунды пробуждения Мария испытала именно легкость и счастье. Это ощущение было в ней самой, исходило изнутри ее существа, и вот тогда, в то утро, вдруг ее осенило, что радость эта идет от камня, который она проглотила. И тогда же ей подумалось, что камень надо сохранить во что бы то ни стало, не отдать никому.

Раннее росистое утро, звонким птичьим многоголосием и яркими лучами восходящего солнца, подсветившего снизу изумрудную листву, будило путников, бодрило, радовало красками, звало живое к жизни. Все обещало чудесный теплый день. И хотя платье Марии было мокрым от росы, холода она не ощущала, была бодрой и свежей. А потом Мария увидела

* Ведьма! Русский черт! Удираем! *(тат.)*

Федора, бледного, измученного, лежавшего, раскинув руки и выпятив кадык, запрокинув голову, на влажной траве, и ее охватила жалость к нему, огромное желание помочь, защитить, спасти. Но что сделать, чем напоить и накормить раненого, как дать ему покой, как защитить?

Она огляделась вокруг. Нерасседланный конь в татарской уздечке, без трензелей во рту, мирно щипал траву невдалеке. Все было тихо, никого не было видно, но Мария не поверила в это обманчивое спокойствие. «Уходить. Немедля уходить отсюда», — подумала она и побежала к коню. Тот, доверчиво фыркнув, теплыми мягкими губами ткнулся ей в руку и, не сопротивляясь, пошел за ней к Федору. Когда они подошли, Федор застонал, очнулся и еле слышно попросил пить.

— Пить? — ахнула Мария. — Пить. Ну конечно! Но как же мне тебя напоить? — Она снова огляделась. «Воду, наверное, можно будет найти в овражке, — подумала она. — Но в чем принести?» И чтобы не терять времени, подтянулась к седлу, вскинула ноги и поскакала под уклон к заросшему мелколесьем оврагу.

Небольшой родничок, наполнявший крохотное зеркало, прозрачным светом притянул взор Марии, отразил ее большие глаза и маленькие уши с плоскими золотыми сережками в них. Из родничка вода ручейком изливалась по дну овражка, теряясь в изгибе его прихотливого русла. И судя по тому, что конь пить не хотел, он уже приникал ночью к этому ручейку. Мария всласть напилась сама, затем сильно намочила подол платья, как могла быстро влезла опять на коня и поскакала к Федору. Там тоненькой струйкой она отжимала воду в жадно раскрытый рот Федора. И когда он хрипло попросил еще, снова съездила к родничку и еще напоила его.

Потуже затянув засохшую повязку на боку уже немного пришедшего в себя Федора, она помогла ему, а вернее сказать, сама взгромоздила его в седло, и как она это сумела — один бог ведает. Но взгромоздила, ибо надо было ради спасения живота как можно дальше уехать от Казани.

И по пути смекалка Марии еще раз их выручила.

На больших полянах, за лесом, из которого они выехали, увидела Мария табун лошадей. И пришла ей в голову верная мысль — выменять на свои золотые сережки один-два бурдюка кобыльего молока. Так-то к пастухам соваться опасно — полонить могут. Ну а если сережки возьмут, то на нее уже не позарятся, удовольствуются платой, ибо хоть и живут дико и вдалеке от власти своей, но не захотят хлопот с полонянкой, которую обязаны доставить во всем том, что на ней было. Лучше неплохой выкуп взять — это уже законная добыча. Мария по-татарски неплохо понимала и могла говорить, на что тоже надеялась.

Сняв Федора с коня, она уложила его на сухую листву в

густой чащобе, сама на коня села и выехала на поляну вскачь. Осадила коня около пастуха преклонных лет, который, сидя верхом, мирно дремал на теплом солнышке. Вдалеке маячил второй конный, где-то мог быть и третий. И потому Мария не мешкала.

— Эй, ты! — властно закричала она по-татарски. — Вот тебе золото! Быстро надои два бурдюка молока.

Сонный татарин резким окриком, как хлыстом, сброшенный с коня, склонился в низком поклоне и лишь потом разглядел, что повелевает ему женщина, что платье ее грязно, волосы не убраны, лицо не закрыто и конь утомлен. Но платье когда-то было красиво, конь хоть и утомлен, но хорош, а сбруя богата. И она протягивала ему две золотые сережки за два ничего не стоящих бурдюка с кумысом. Потому пастух не стал томиться сомнениями. Кто что узнает? А молока у него много. Уже два дня из Казани почему-то не едут за ним, не берут бурдюки, полные свежего, едва начавшего бродить и искриться кумыса.

— Возьми, хаттын-каз *, свой кумыс, — суетясь и продолжая кланяться, забормотал старик. — Возьми. — Он сам приторочил наперевес через седло два упругих кожаных бурдюка, туго завязанных ремешками. И долго смотрел вслед удаляющемуся вскачь белому коню с белой женщиной на нем, щупая руками две плоские татарские сережки и шепча хвалу аллаху, который послал бедному пастуху такую удачу.

Но не меньшей удачей были эти два бурдюка с кумысом и для Федора с Марией. Целую неделю они теперь, не голодая, могли днем отлеживаться в чащобе лесов, двигаясь на север только по ночам. На север, все дальше и дальше от Казани, от татарского плена Марии и ратной повинности Федора. Да не так уж теперь и велика была его вина, ибо война в том году так и кончилась, не начавшись. Московская партия победила, Сафа-Гирей бежал, на престол в Казани сел мирный царевич шах Али. Для брани повода не стало, а зря людей московский царь не тратил. И потому русское войско быстро собралось, покинуло свой лагерь и вернулось восвояси. Окончательное покорение Казани было отложено, оно было впереди, но то уже другая история, и к моему роду она отношения не имеет. Ну а пращуры мои на десятый день в далеком лесном Заволжье набрели на глухой раскольничий скит. В дюжине курных изб жили, скрываясь от татар и от царских тиунов, бедные люди. Сеяли хлеб на лесных делянках, косили траву, держали скот, молились богу по беспоповскому обряду, крестились двоеперстно. Работали много, жили трудно, но гордились тем, что никому налога не платили: ни Москве, ни Казани. Всего лишь исполу работали на старцев, что держали молельный дом, и того, что оставалось, на жизнь хватало.

За коня охотно приютили Федора и Марию раскольники,

* Хаттын-каз — женщина *(тат.)*.

лечили, кормили, ни о чем не спрашивали. Старцы тоже их не донимали расспросами, дозволили жить, надеясь на увеличение своей паствы еще на пару работящих послушников. Там в лесной тиши и прожили мои пращуры всю зиму. Мария верно и преданно ухаживала за Федором, раны его зажили, он окреп, вошел в силу. И образ Жареного, так круто изменившего их судьбы и соединившего их, постепенно сглаживался в их памяти, переходя из категории живых в сонм живших, оставивших память, но ушедших, не задев душевных струн, не заставив звенеть их тоскливой нотой, бередя прошлое. Мария его полюбить не успела, а Федор даже иногда чувствовал облегчение, так как был слаб и неуемная сила Жареного подчиняла, давила и тяготила его. Но поскольку Жареный уже переселился в лучший мир, они всегда поминали его добрым словом, жалея лишь о том, что ушел он не отпетый и не похороненный по православному обряду.

Иногда они уединялись, дабы кто не подсмотрел, и разглядывали кристалл, поражаясь причудливым переливам света в нем. Особенно очаровал он Марию. Кристалл был продолговат, напоминая красную ягодку лесной земляники, но только чистого, ясного цвета, и лишь в широкой его части выделялось небольшое отличительное потемнение. Долгими часами в течение зимы, с головой накрывшись овчинной шубой, или ярким днем, стоя одна на солнечной опушке, Мария любовалась камнем, всматриваясь в его густую красную глубину. Она заметила, что рубин словно оживает на солнце, играет после ярче и острее. А если полежит в темноте долго, то тускнеет, блекнет, словно вянет. И Мария полюбила кристалл, когда только могла, подставляла солнышку, носила его на груди и ни одному человеку из раскольников не показывала, а пуще всего старцам. Уже два раза она уговаривала Федора проглотить кристалл, что он делал с полным равнодушием. И спокойно засыпал после этого. Камень он ценил лишь как драгоценность, которая обеспечит их будущее.

— Продадим, — говорил он, — свое хозяйство заведем, заживем как люди. — А Мария в ответ задумчиво молчала, загадочными глазами глядя в пустоту и думая, что уже ни за какие блага не согласится расстаться с камнем.

К Федору Мария относилась ласково, жалостно, но все его сначала робкие, а затем все более настойчивые попытки близости отвергала. В одну из ночей, когда они, как обычно, вместе лежали под овчиной на полатях в дымной, жарко натопленной избе, наполненной кислым запахом квашеной капусты и острым, животным духом толокшихся здесь же, на земляном полу, овец, Федор стал особенно пылок. Тяжело дыша, рвал на Марии единственную рубашку и хрипло шептал:

— Я же хочу по-божески. Что же ты? — И, встретив сопротивление, злобно прохрипел: — В татарах-то небось так не бо-

ролась. Иль там тебе на шелках больше нравилось? — Вскочила Мария, руки заломив, вскинулась, горько зарыдав, упала коленями на земляной пол, припала к теплому овечьему курдюку. Остыл Федор, стало ему стыдно. Он тоже слез с полатей, тронул Марию рукой ласково, стал утешать, но других слов, кроме прежних, не нашел: — Что же ты? Я же, Мария, по-божески. — Потом подумал, помолчал немного и добавил: — Давай пойдем к старцам, они нас повенчают.

Но Мария, вдруг перестав плакать, жестко проговорила:

— Татарином ты меня попрекнул. Да там не воля была моя, а неволя, плен насильный. И ни в чем я за то перед тобой и богом не повинна. — Потом обняла Федора и сказала уже ласково со слезами: — Но зачем же и ты меня сильничаешь? Я от тебя никуда не уйду. Судьбой мы, видать, друг другу назначены. — Здесь голос ее снова окреп, и она свистящим шепотом выдохнула: — Но только на сей раз я хочу, чтобы все было по православному обряду, по-русски. Слышишь? — И затрясла Федора, затеребила, словно он дитя снулое. — По закону, в церкви, с попом! Никаких старцев! Беспоповцев не приму. — И, словно устав, сникла и закончила: — Пойдем спать, Феденька. Доживем до весны. А как солнышко пригреет — уйдем отсюда. Домой, в Подмосковье, под Каширу. Там и обвенчаемся.

Что же было дальше с Марией и Федором? Того, кто будет читать эти записки, я могу разочаровать: дальше все было уже проще, судьба, сначала вывалив на них немалую кучу чудесного и неожиданного, затем освободила их от превратностей и приключений вовсе. Весной они действительно ушли от раскольников, бедствовали, побирались, но к осени все же добрались в родное Подмосковье Марии. Там, как они того и хотели, приняли супружеский венец. И камень сохранили.

Федор недолго искал своего места, его тянуло к тишине и покою. Пристроился служкой в деревенской церкви Михаила Архангела. Служил честно, истово, к сорока годам у него голос прорезался, и он в церковной службе стал уже более нужен. Мария и Федор регулярно глотали рубин, и он дал им то долголетие, которое люди по незнанию отнесли за счет их скромной и праведной жизни. Наверно, поэтому же, когда Федор подошел годам к девяноста, епархиальный архиерей, взяв на себя некоторое нарушение церковного устава, произвел безродного и малограмотного Федора в подьячие, и он в этом малом чине, дослужив до ста сорока лет, благополучно почил, оплаканный сыном, внуком, двумя правнуками и праправнуком. Последний и был моим прадедом. Мария прожила дольше, но ненамного и тоже ушла в лучший мир с мыслью, что сделала все, чтобы передать роду нашему завещание по поводу действия чудесного рубина и способа обращения с ним.

На этом, собственно, и кончается история появления магического кристалла в нашем роду. Я ведь решил описать исто-

рию камня, а не историю моего рода. Откуда взялся этот камень на Земле? Кто его создал, какие люди? Как он попал к хану Сафа-Гирею? Никаких упоминаний о чудесном рубине в роде Гиреев не было: сын мой служил в императорской гвардии вместе с одним из последних Гиреев, интересовался у того, и ответ был отрицательный. Да и заметным долголетием в династии Гиреев никто не отличался — это я уже выяснял сам. Ничего более о камне не известно, все покрыто мраком чудесной, загадочной тайны. И я не знаю, будет ли она когда-нибудь разгадана.

Я стар. Время мое кончается, наследников нет. И мне предстоит решить вопрос о том, что делать с камнем. Кому доверить его? Крутится тут около меня с недавних пор какая-то личность, с разных концов заходит, сулит всякое. Я понял, что он что-то прослышал о камне. Как бы греха не вышло? И потому я принял решение. Сделаю так: на днях запечатаю камень в посылку, приложу эти записки и отправлю все почтой президенту Академии наук. Там ученые, там русские люди — должны разобраться. А уж если сразу не разберутся, то будут ждать озарений и камень сохранят надежно. Так и сделаю...

На этом записи в тетради кончаются, последние страницы вырваны, и остается только гадать, какие превратности претерпела история камня, прежде чем он попал-таки наконец в лабораторию к исследователям.

Руководитель института Академии наук СССР подписал все бумаги, которые принес ему референт. Положив перо, костлявый и сухой академик искоса поглядел на своего молодого помощника, как бы советуя тому поторапливаться.

— А это что за сувенир? — спросил академик, показывая на красную сафьяновую коробочку, подобную той, в которых ювелирные магазины вручают покупателям кольца и сережки.

— Это тот самый рубин, на который вы хотели посмотреть. А вот и предварительный отчет об исследовании его излучений, составленный в лаборатории твердого тела, — ответил референт, услужливо пододвигая папку с отчетом и открывая коробочку.

Красный лучик острым блеском выплеснулся из камня, заиграв в ярком солнечном свете, прошедшем через по-весеннему оттаявшее окно, кольнув глаза академика и заставив того восхищенно охнуть.

— Эх! Ты смотри-ка. Действительно, магический кристалл. — Он взял коробочку в руки и стал поворачивать ее так и сяк в луче света от окна, улыбаясь морщинистым лицом и как бы приглашая референта присоединиться к его радости. Затем посуровел, положил коробочку и спросил: — А что в отчете?

И не дожидаясь ответа, открыл папку и стал просматривать ее.

— Так. Частоты, частоты... Распределение по энергиям. Серия излучений, которые сохраняются, но не показывают никакого постоянства интенсивностей... Все плывет в зависимости от частоты накачки... Ну прямо какая-то стертая частотная запись. Интересно! — Затем поднял голову к референту и, кивнув, сказал: — Вы можете идти. Оставьте все это мне. Я почитаю.

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ

ДАЛЕКАЯ ПЕСНЯ АРКТУРА

1

На плато выехали к вечеру. Солнце уже село, и горы казались контурами кораблей. Шофер Толя остановил «газик» у одноэтажного домика наблюдательной станции. Навалилась усталость. Я пожал руки двум теням — это были материальные тени, во всяком случае, я различал на фоне угасавшей зари только силуэты людей. Подумал, что это любопытно, — на станции обитают призраки, и сам я тоже стану тенью человека, которого внизу звали Сергей Ряшенцев. Но пока это имя еще оставалось за мной, и я назвал его, пожимая теплые большие ладони призраков.

Потом все смешалось. Помню, меня хотели кормить, я отказывался, меня спрашивали, я отвечал коротко и, кажется, невпопад: да, выгнали из университета, пошел работать. Здесь, на станции, временно. Почему выгнали? Долгая история...

Мне показали мою комнату, достаточно просторную, чтобы делать зарядку, я лег, укутался, а за стеной разговаривали в три голоса, смеялись и, кажется, выпивали. Сон не шел, и неожиданно на потолке смутно проявились знакомые картины. Лицо Олега. Одуванчик. Письмо с сине-красными полосками...

* * *

Четверг. На кафедре теоретической физики — день писем, ритуальный праздник третьего курса. Каждую неделю кто-нибудь из нас являлся на кафедру и получал несколько писем, пришедших в адрес университета. Десятки людей сообщали о своих «достижениях»: об изобретении, к примеру, керосиновой лампы с магнитным пускателем или, на худой конец, об открытии нового закона природы. На письма отвечали мы — третий курс. Отвечали в меру обоснованно и не в меру ехидно. Письмо из Николаева мне дали вместе с десятком других опусов, и я добрался до него не сразу. На лекции Вепря очень

удобно читать. Вепрь не обращает внимания на то, что происходит в аудитории: не хочешь, не слушай. И я не слушал по привычке. Так уж повелось с первого курса. Я любил дни писем — они давали разрядку, появлялось желание что-то делать, доказывать, убеждать. Ненадолго...

В конверте с сине-красными полосками лежал небольшой листок, исписанный мелким, почти каллиграфическим почерком. Я начал читать и забыл, что идет лекция, что предо мной письмо от заштатного певца из Николаева, а не космический парусник, готовый поднять паруса и умчаться под солнечным ветром к далеким поющим звездам.

Странным человеком был этот певец из Николаева. Он не лез вперед, не считал себя знатоком, не хотел приоритета. Он просто спрашивал: поют ли звезды? И дальше робко, будучи убежден в собственном невежестве, пояснял свою мысль.

Ему больше пятидесяти, для посредственного провинциального тенора это предел. Он ушел со сцены, и это тяжело, но несущественно, потому что это его беда. А что существенно? Существенно, что вместе с голосом ушло то, что помогало ему всю жизнь, — звезды.

Звезды говорили с ним, и он умел их слушать. В летние ночи он выходил на темную гулкую улочку и смотрел в небо. Стоял и думал о своем. О своем — это значило об опере, потому что никогда в жизни у него не было ничего другого. Он представлял себе завтрашний спектакль, и Арктур, пылавший над домами, начинал петь. Певец слышал далекий нечеловеческий голос. Именно тот голос, именно те интонации, которые искал для своей партии. Шел на сцену и пел. Своим успехом он делился со звездами, и Арктур отвечал ему первыми словами из арии Отелло: «Всем нам радость!» Певцу бросали на сцену цветы, но он не поднимал их: ведь цветы предназначались Арктуру, до которого не достать, не добросить...

Он прочитал много книг по астрономии, знал теперь о небе неизмеримо больше, чем прежде, но ни в одной книге не было сказано, что далекие солнца могут петь. Они должны петь, решил он, они поют, но мы не слышим их, как не слышим голосов рыб.

Песня, голос, писал он, ведь это колебания воздуха, колебания среды. Все, что существует в природе, может проводить звуки, может говорить, может петь. А пустота? Ведь космос — тот же воздух, только до умопомрачения разреженный. Подумать только: в пространстве между звездами в каждом кубическом сантиметре находится всего один атом! Певец прочитал об этом в книге, и его поразило словосочетание «межзвездный газ». Слово «газ» ассоциировалось для него со словом «воздух», а «воздух» со словами «звук», «песня».

Остальное было просто. Он понял, почему люди не слышат звездных голосов. Воздух между звездами очень разрежен, и

звуки здесь настолько слабы, что не слышны нам. Но они есть, они должны быть, и неужели люди не смогут сделать их слышимыми? А может, ученые давно уже научились слушать звезды и он, старый певец, далекий от науки, просто не знает об этом? Он просит ответить ему на один-единственный вопрос: поют ли звезды? Это очень важно для него. Очень.

Внизу стояла подпись: Георгий Поздышев, певец. Подпись была робкой, коротенькой, без размаха.

Я положил письмо в портфель и пошел домой. О чем я думал тогда? Помню острое чувство зависти, которое я гнал от себя и которое возвращалось вновь. Три года я упрекал себя в бездеятельности и находил тысячи доводов в свое оправдание. Ждал — вдруг меня осенит какая-нибудь идея. Мне нравилось разбивать чужие идеи, должно быть, потому, что, сам того не думая, я искал среди этих идей с в о ю. И вот это письмо из Николаева... Георгий Поздышев, странный человек, который слышал звезды.

* * *

На кафедре теоретической физики было тихо и пусто. У окна просматривал какие-то бумаги незнакомый мне человек, а за широким столом сидел Антон Федорович, и лысина его тускло поблескивала, как планета, освещенная Солнцем. Незадолго до моего поступления на физфак Антон Федорович был обладателем пышной курчавой шевелюры. Он лишился волос совершенно неожиданно и очень быстро, с тех пор за Антоном Федоровичем прочно закрепилась кличка Одуванчик.

Я разложил на столе письма и свои ответы. Незнакомец, бросив на подоконник бумаги, подошел и сел рядом с Одуванчиком, глядя на меня во все глаза. Внешность у него была довольно примечательная: узкое лицо, нос с горбинкой, широкие брови над прищуренными глазами — чем-то он напоминал Мефистофеля.

Я прочитал письмо Поздышева и свой ответ, который сочинял два дня. Писать я не умел, хотелось мне сказать многое: о звездах, о мечте, о том, что я и себе должен помочь — выбраться из повседневной рутины. А получилось сухо: слова, формулы.

— Знаете, Ряшенцев, — сказал Одуванчик, — так нельзя. Вы считаете, что идея... м-м... Поздышева по меньшей мере гениальна. Романтика. Звезда с звездою говорит... Музыка сфер... Певец одаривает идеями физика-теоретика. Чепуха. Ответ перепишите.

— Нет, — сказал я.

— Что «нет»? — удивился Одуванчик.

— Я не буду переписывать, Антон Федорович. Даже наоборот, я бы хотел взять эту тему. По линии НСО или как-то иначе...

— Ну, знаете, — возмутился Одуванчик. — Я не упрекаю вас в том, что в этом самом НСО вы второй год лишь числитесь. Но голоса звезд, помилуйте!

Незнакомец поднялся и сказал, глядя в стол:

— Можно мне, Антон Федорович?

Одуванчик пожал плечами:

— Пожалуйста, Олег. Вот, Ряшенцев, послушайте, что скажет сотрудник обсерватории Олег Николаевич Шпаков. В астрофизике он компетентнее нас.

— Я не об астрофизике хочу сказать, — усмехнулся Шпаков. — Я расскажу притчу. Я читал об этом в «Комсомольской правде». Давно, в двадцатых годах, жил в Москве скульптор. Вероятно, он был талантлив, но произведения его успехом не пользовались. Состарившись, скульптор решил создать вещь, которая станет его лебединой песней. Его мечтой было вылепить такую совершенную модель, которая могла бы летать одной лишь силой воплощенной в ней мечты о полете. Бред? Он вылепил такую модель. Она покоилась на мраморном основании, и люди недоверчиво спрашивали: «И эта штука летает? Вы пробовали летать на ней?» Скульптор отвечал спокойно, он знал, что не может ошибиться, он верил в свою мечту: «Не может не летать!»

Скульптор умер. Модель снесли на склад. Лишь много лет спустя студенты авиационного института натолкнулись на нее и сказали: а если? Они построили такую же модель из легких пород дерева, и оказалось: летает! Оказалось, что скульптор силой своего творческого воображения предвидел контуры одной из самых совершенных авиационных конструкций...

— Вот, вот, — не очень уверенно начал Одуванчик, но понял, что говорить ему нечего, и рассердился: — В чем же смысл, Олег?

— Смысл? — переспросил Шпаков. — Это предисловие. Притча о мечте. А идея Поздышева мне понравилась. Беда в том, что многие астрофизические задачи теоретически неразрешимы. Может помочь только наблюдение, эксперимент, а в данном случае даже наблюдение ничего не даст... Слишком рано построил скульптор свою модель.

Получил? Нужно учиться, Ряшенцев, делать то, что говорят преподаватели, а не гоняться за пустыми мечтами...

Шпаков ждал меня у выхода, пошел рядом.

— Вижу, вас увлекла идея, — сказал он.

Я пожал плечами. Увлекла — не увлекла, какая разница?

— Да... — неопределенно отозвался Шпаков. Посмотрел на меня искоса: мол, что с тобой говорить, если ты не в силах идти за собственной мечтой? И я не выдержал, рассказал. О трехлетнем безделье, о письме, о том, что появилось наконец желание работать, о своем бессилии. Что я могу сделать?

— Забыть, — быстро сказал Шпаков. — Вы по уши увязли

в этой идее. Забудьте на время. Нужно освоить множество вещей: теоретическую астрофизику, о которой в университете не слышали, гидродинамику, которую вы сдали и, конечно, забыли. Нужно очень многое сделать, Сергей, прежде чем удастся правильно поставить задачу — ведь письмо певца всего лишь красивые слова, за ними нужно увидеть физику. Я убежден: когда вы овладеете аппаратом, то сами поймете, что задачу эту ставить не стоит — есть вещи интереснее.

— Вы можете работать со мной?

— Я? — Шпаков поднял брови, должно быть, не ожидал этого вопроса. — Вряд ли. В звездных голосах я вам не помощник. Хотите заняться ударными волнами в межзвездной среде?

Почему бы не заняться? Это, вероятно, тоже интересно. Тоже. Постой-ка, ударные волны — это довольно близко к звуку. Можно поднабраться знаний, умения, а потом...

— Согласен, — сказал я.

2

Я встал рано и, однако, позднее Бугрова с Докшиным. Еще в городе я узнал, с кем мне предстоит жить и работать. Володя Бугров был, по описаниям, человеком бурным, увлекающимся. Он окончил астрономический факультет в Иркутске, а потом психологический в Москве. О Докшине говорили мало и преимущественно с приставкой «не». Олег объяснил мне, что Гена не умеет сердиться, не умеет готовить обеды и не умеет спорить с Бугровым. С Геной вы поладите, резюмировал Шпаков, это нетрудно.

На станции все казалось нетрудно, особенно при дневном свете. Бугров — большой и широкий в плечах, похожий на волжского богатыря — оказался яростным спорщиком. Он вовлек меня в спор в первое же утро.

— Что мне твои звездные голоса! — заявил Бугров. — Может, они и есть, ради бога! Но я их все равно не могу услышать. Что толку в расчетах? Статья в журнале — не больше. А убил ты на это год, да еще из университета тебя вышибли, прости за напоминание. Я не любитель теории. Она, как сказал один мой знакомый, уводит правду с пути ее. Хочу своими ушами слышать, понимаешь?

А я разве не хочу? Это было бы замечательно, это было бы то, о чем мечтал Поздышев, да и я сам в первые месяцы работы. Уравнения казались мне абракадаброй, и я дал самому себе слово разобраться в них за месяц. Я и раньше давал себе обещания (кто их не дает?), а выполнение откладывал до страшного суда. Но теперь во мне происходила какая-то перемена. Каждое утро, едва я просыпался, в мозгу возникала неясная мелодия. Я знал ее — эту звездную песню. Знал ее зовущие в бой слова: «Всем нам радость!» Эту песню — далекую

песню Арктура — слышал Поздышев, эхо его мечты долетело до меня, и я чувствовал в себе заряд бодрости и желания работать.

Только раз — это было недели через две после разговора на кафедре — вернулась ненадолго пугающая пустота в мыслях, желание лечь и смотреть в потолок. На кафедру пришло второе письмо из Николаева. Адрес был написан незнакомым почерком малограмотного человека.

Мой ответ не застал Георгия Поздышева в живых. Инфаркт.

Я почувствовал себя виноватым. Не мог послать ответ раньше? А что бы изменилось? Он умер в молчании, потому что звезды уже не пели для него. Когда уходит мечта, она оставляет после себя пустоту...

* * *

Экзамены я завалил. Все до единого. Странно — в то время я не принял этого всерьез. Меня съели уравнения газодинамики. Я обещал разобраться в ударных волнах и разбирался весь январь. Когда подошел экзамен по квантам, я наскоро прочитал учебник и рассказал Вепрю странную сказочку о зарвавшемся электроне, вздумавшем подкопаться под силовой барьер. Вепрь с улыбкой заметил, что трудно ожидать знаний от студента, который не записывает лекции. Идите, Ряшенцев, придете в мае.

Что ж, приду в мае. В мае, когда над восточным горизонтом появится оранжевый блестящий Арктур, и я должен, обязан услышать его песню. Олегу я не звонил, не хотел являться к нему с пустыми руками и головой. В начале февраля не выдержал. Математика извела меня, я понял, что безнадежно туп, что теоретическая физика не моего ума дело. Три года спячки не проходят даром — это тривиально.

Олег долго молчал в трубку, потом сказал «м-да...», а я слушал это молчание и отлично представлял себе выражение лица Шпакова. Не справился... Не захотел думать... Разговора не получилось: Олег был чем-то занят. Одуванчик оказался единственным человеком, который, как мне казалось, интересовался моей персоной. Антон Федорович регулярно вызывал меня на кафедру и втолковывал прописные истины. Говорил, что если я не сдам к маю, то меня не допустят к летней сессии и могут попросту отчислить, а это совершенно недопустимо, и нужно работать, Ряшенцев! Как будто я не работал. Я удивлялся самому себе: откуда-то появилась способность заниматься по двенадцати часов в сутки, а ведь раньше я не мог заставить себя просидеть и шесть. Но говорить об успехе было рано, и только в начале марта я осмелился подойти к Одуванчику с просьбой изменить тему курсовой.

— Можно, — сказал Одуванчик. — Но изменить тему, зна-

чит, расписаться в том, что вы с ней не справились. Это минус один балл. Как вы не хотите понять?

— А если я не успею?

Одуванчик поморщился:

— А что вы сделали с этим межзвездным звуком?

— Довел уравнения до канонического вида. По-моему, их можно решить.

— Решить? — удивленно переспросил Одуванчик. — Ну-ну... Я думал, что дальше слов у вас не пошло. Вы уверены, что провели расчет правильно?

Конечно, я не был уверен. Несколько дней назад очередная, не помню уж какая по счету, подстановка неожиданно начала уничтожать одну за другой все производные высоких степеней. Уравнение будто сбрасывало лишние одежды. Я проверил четыре раза, это было невероятно здорово: видеть, как под карандашом укорачиваются формулы и на чистой бумаге остается одно уравнение, величественное и ажурное, как миланский собор. Но был ли я уверен?

— Так, — резюмировал Одуванчик. — Курсовая и экзамены должны быть сданы к маю. Вас могут отчислить, Ряшенцев, это последнее предупреждение.

Вероятно, я должен был прийти в трепет. Но я почувствовал лишь тоску. Дети, не топчите газоны. Мальчик, не бегай по мостовой. Я никак не мог понять, почему звездные голоса так не нравятся Олегу, Одуванчику, остальным... Конечно, легко сказать: отложи мечту, на то она и мечта, чтобы ждать. Легко сказать: займись делом, иначе... Но я просто не мог остановиться. Как реактор, пошедший вразнос. К тому же я был убежден, что, если дойдет до крутых мер, тот же Одуванчик первым бросится меня защищать. Отчислить! Это только слова. Путь мне покажут человека, отчисленного из нашего университета!

3

После завтрака мы спустились с Бугровым в шахту. В сплетении металлических конструкций я с трудом разобрался, где ионизационные калориметры, а где геокосмические телескопы. Мы сняли с самописцев широкую шуршащую ленту, Бугров стал молчалив, не обращал на меня внимания, и я поднялся наверх.

Незадолго до моего отъезда Олег сказал: «Попробуй связно и коротко изложить теорию звездных голосов. Не больше десяти страниц».

В таких случаях говорят: «подвести итог», а итога я, по правде говоря, не видел. Звезды поют, но ведь я их по-прежнему не слышу. Расчет — это нотная запись, которую нужно суметь сыграть, чтобы она стала симфонией. И к тому же Бугров... Его сугубо практический подход сбил меня с толку. Я сидел за столом, сжав голову ладонями, думал, вспоминал...

* * *

Все кончилось очень быстро. К началу мая я мог сказать, как поют звезды. И именно в тот день, когда на горизонте впервые зазолотился Арктур, Одуванчик сообщил новость: меня отчислили. За систематические прогулы и неуспеваемость. Меньше всего я думал, что этим кончится. Одуванчик был философски спокоен, мне даже казалось, что он доволен — избавился от нерадивого студента. У него был вид человека, который довел до конца трудное дело.

Я позвонил Олегу, не застал его и поплелся на городскую базу обсерватории. Шпакова не было и там, и я сидел на диване, смотрел в потолок, злость прошла, и до меня постепенно начала доходить мысль — я уже не студент. Почему? И что же теперь будет?

— Это, Владимир Сергеевич, экспонат из музея истории астрономии, — сказал Олег, возникнув будто из-под земли. Рядом с ним стоял худощавый низенький мужчина — директор обсерватории.

— Зайдите ко мне, — сказал Владимир Сергеевич и пошел, а Олег остался и смотрел на меня с любопытством посетителя зоопарка.

— Давно не виделись, — сказал он. — С чем тебя можно поздравить?

— Меня отчислили, — сообщил я.

— Знаю, — спокойно сказал Олег. — Мне звонил Антон Федорович. Что ты намерен делать?

Я пожал плечами.

— Сейчас для тебя лучший выход — работать у нас. Потом, если захочешь, можно будеть ходатайствовать о восстановлении.

Директор разговаривал по телефону, и мы сели у длинного стола, на котором стояло чучело белки с орехом в лапках. Владимир Сергеевич убеждал кого-то передать обсерватории недавно реставрированный памятник старины. В старой части города было много таких сооружений, построенных несколько веков назад. Некоторые были довольно красивы, особенно после реставрации. Я не без удивления узнавал, что покосившийся домишко с дырявым куполом — бывший дворец визиря, а кусок кирпичной стены с бойницами — остаток крепости четырнадцатого века. Была в старом городе баня, от которой никто не ждал сюрпризов, но и сюда недавно явились строители, что-то подправили, убрали мусор, и появилась табличка: «Обсерватория XV века. Охраняется государством». Поговаривали, будто построил обсерваторию ханский сын, считавший, что тайны неба интереснее земных. Как называл своего сына могучий хан: ненормальным или вольнодумцем? А может быть, романтиком?

— Сергей Ряшенцев? — сказал директор, положив трубку. — Мы говорили о вас с Олегом. Вот, — он кивнул на телефон, — скоро нам нужны будут люди. Пропаганда астрономических знаний — дело важное. — Директор переглянулся с Олегом и заключил: — Но вам, судя по всему, это не подойдет... У вас здоровое сердце? — неожиданно спросил он.

— Как будто...

— Тогда вот что. В районе плато Оленьего у нас есть станция по наблюдению космических лучей. Станция новая, полуавтомат. Работают наблюдатель, техник по контролю систем и астрофизик. На место астрофизика можем взять вас. Временно, конечно, у вас нет диплома. Предупреждаю: станция находится на отметке две тысячи семьсот метров. Машина ходит туда раз в две недели. Согласны?

— Согласен, — сказал Шпаков.

Я собрался было возражать не потому, что меня не устраивала станция, а просто из принципа: почему в последние дни за меня все решают люди, которых я об этом не прошу? Но Олег, не дав сказать ни слова, вытащил меня из кабинета.

— Вечером жду у себя, — сказал он. — С расчетами.

4

В густом мраке, где долгие миллионы лет медленно сжимался тугой газовый шар, родилась звезда. Она рождалась долго и мучительно, мрак не хотел отпускать от себя эту невидимую еще массу вещества, но недра звезды уже клокотали, все горячее становилась ее поверхность. Звезда хотела жить и заявила о своем желании на всю Галактику.

Будто лопнуло пространство, и на том месте, где чернела пустота, зарделось, засияло, затрепетало светило, и низкий звук, басовитый и неожиданно громкий, поплыл по вселенной.

Голос звезды застревал в горячих туманностях, извилистым путем пробирался сквозь непроходимые дебри межзвездного водорода, набирал силу в магнитных полях галактических спиралей и терялся в провалах между спиральными рукавами.

Звук убегал из Галактики в такую даль, что и сама звезда уже не была видна, скрытая темными облаками. Здесь звук умирал, затихал, он выполнил свой долг — возвестил о том, что в глуши третьего спирального рукава много миллионов лет назад родилась звезда. Рядовая звезда, одна из ста миллиардов жительниц звездного города — Галактики.

Откуда он, неодушевленный посланец, мог знать о том, что безнадежно опоздал, что слишком мала его скорость, слишком долог путь, что звезда, исторгшая его, давно состарилась, сама стала красным сверхгигантом, а затем белым карликом или невидимой нейтронной звездой?

Звук возвещал миру о торжестве рождения, а новорожден-

ная давно умерла, прожив долгую жизнь и испытав все, что могло выпасть на долю рядовой звезды средней массы — простой галактической жительницы.

* * *

Что это было? Сон или мечта? Скорее — греза наяву, будто ожило число, воскресла формула, и короткая запись в последней колонке таблицы материализовалась в музыку, в далекую звездную песню: «Всем нам радость!»

Шестьдесят шесть герц. Я написал это число на ватмане. Шестьдесят шесть герц — частота, на которой раздается первый крик новорожденной звезды. Не песня, не ария — одна нота, проходя тысячи парсеков и обрастая обертонами, становилась симфонией.

Победа моя была пирровой. Уравнения оказались настолько сложными, что для каждой звезды их приходилось решать заново. И я торопился. Ребята сдавали летнюю сессию, а я считал и считал, будто каждую минуту ко мне могли подойти и сказать: «Стоп, Ряшенцев, хватит. Вы должны учиться. Вы должны работать. В мире много дел и без этих голосов».

Каждый вечер я приходил к Олегу. Мы просматривали расчеты, толковали о заметке для «Астрономического журнала». А потом колотили по клавише старого пианино, слушали наше произведение — голос звезды, симфонию из одной ноты. Размышляли, к какой еще звезде приложить наш стетоскоп.

— Арктур, — сказал я.

— Арктур? — Олег полистал справочник. — Нет, неинтересно. Давай лучше Эр Тэ Козерога. Магнитная переменная звезда, классический случай...

Он посмотрел на меня и закончил:

— А, впрочем, делай, что хочешь. Тебя заставлять — все равно, что плыть против течения.

Он усмехнулся, но не иронически, как обычно, а очень доброй улыбкой довольного человека.

* * *

Олег оказался прав. Арктур не звучал вовсе. Я получил в решении нуль, точно нуль. Чувствовал себя обиженным, будто у меня отняли вещь, которой я дорожил больше всего на свете.

Арктур ярко светил по вечерам над восточным горизонтом, бессловесная звезда, красивая посредственность с абсолютным нулем в звуковом спектре. Огорчение мое прошло, и последние дни перед отъездом в горы я думал уже о другой идее. Она пришла мне в голову неожиданно и заслонила Арктур, станцию, Олега.

Я думал о голосе вселенной.

5

После обеда Бугров с Докшиным сложили тарелки и понесли на «камбуз». Я хотел обговорить новую идею, и, когда Володя вернулся, мы начали толковать об одном и том же на разных языках. Бугров ходил по комнате, двигая стулья.

— У человека пять чувств, верно? — сказал он.

— Допустим. Знаешь, я думаю, что можно слышать не только звезды.

— Мы вообще не можем слышать звезды, — отрезал Володя. — Я говорю, что нужно использовать остальные четыре чувства.

— Володя, есть один универсальный объект, и если удастся услышать, как он звучит...

— Универсальными бывают магазины... Я утверждаю: звездную песню нельзя услышать...

— Я имею в виду грохот взрывающейся вселенной, — закончил я.

— ...Но ее можно увидеть! — поставил точку Бугров.

И лишь тогда до каждого из нас дошел смысл.

— Грохот взрывающейся вселенной? — вскричал Бугров.

— Увидеть звук?! — изумился я.

— Да, да, увидеть, если ты придумаешь как, — нетерпеливо сказал Володя. — Ты серьезно говоришь — грохот вселенной?

— Серьезно. Но разве можно видеть то, что положено слышать?

И мы опять заговорили на разных языках, начали выяснять друг у друга, что каждый из нас имел в виду. Постепенно я вообще перестал понимать, а Володя неожиданно закричал:

— Геннадий!

Докшин явился немедленно. Уселся на столе, заявив, что, когда Володя ходит по комнате, самое безопасное место под потолком.

— Мы будем излагать, — сказал Бугров, — а ты слушай и не давай нам перебивать друг друга.

— С твоим приездом, Сережа, — усмехнулся Гена, — жизнь на станции заметно полегчала. Я имею в виду себя. Приятнее, знаешь, выступать в роли судьи, чем ответчика. Ну-ну, — добавил он в ответ на нетерпеливый жест Бугрова, — это только вступительное слово. Прошу стороны высказываться. Ты, Сережа...

6

Десять миллиардов лет назад Метагалактики не было. Закончилась очередная пульсация, и вещество сжалось в предельно тугой шар, настолько плотный, что в нем не мог существовать ни один атом. Давление, плотность, температура, тяжесть

раздробили атомы на отдельные частицы, но и этим частицам стало тесно. Шар все сжимался, и частицы начали вдавливаться друг в друга.

В этот момент родилась Метагалактика.

Шар — первичный атом мироздания — взорвался, как перегретый паровой котел. Врассыпную бросились частицы, почти со световой скоростью удаляясь от колыбели вселенной. Но еще быстрее неслись фотоны и нейтрино, определяя границы будущей Метагалактики. Частицы разбегались, плотность падала, пространство распрямлялось. Появились атомы. Через несколько дней после взрыва Метагалактика была еще невелика, но плотность ее заметно упала, всего только миллион тонн в одном кубическом сантиметре — пирамида Хеопса в кулаке.

В тот момент, когда взорвался первичный атом, раздался страшный, непередаваемый грохот, и первая звуковая волна понеслась вдогонку свету. Температура была так высока, что звук в то время почти не отставал от света. Две волны неслись одна за другой, и каждый, кто мог увидеть зарождение Метагалактики, мог и услышать трубный глас рождающейся вселенной.

Температура падала, начал выдыхаться и звуковой фронт. Через много миллионов лет — ничтожное в масштабах вселенной время — свет ушел далеко вперед, а звук — это был уже не трубный глас, а тихий шепот — плелся далеко позади, огибая новорожденные галактики, умирая и возрождаясь вновь.

Когда-нибудь люди полетят к звездам. Полетят к близкому Сириусу и далекой Бетельгейзе. Они будут пролетать мимо странной звезды Эр Тэ Козерога. Экипаж звездолета соберется в кают-компании, капитан включит звуковой локатор, и высокий свист раздастся из динамиков — это звезда будет салютовать людям. Но неожиданно свист смолкнет, люди беспокойно посмотрят друг на друга. И тогда вновь оживут динамики. Что это будет — шепот или вой, низкое с присвистом урчание или каскад, фейерверк, симфония? Люди будут слушать, приборы — записывать, и это мгновение никогда не сотрется из памяти. Возвратившись на Землю, космонавты расскажут о том, что далеко от солнечной системы встретили в пространстве эхо. Далекое, слабое, затерявшееся. Эхо взрыва, породившего мир. Голос вселенной.

7

Бугров остался равнодушен.

— Неплохо, — сказал он. — Опять горы расчетов, а в конце пшик. Наблюдение — вот что нужно. Как ты считаешь, Гена?

Докшин сидел, подперев кулаком голову, смотрел в одну точку.

— Романтика, — тихо сказал он. — Боюсь, Володя, это всего лишь романтика...

— Нет, Гена. — Голос Бугрова зазвучал неожиданно мягко. — Глупости не повторяются. Ведь так, Сережа?

Я пожал плечами. Ничего не понимал. Они вдруг стали другими, будто Гена боялся чего-то, а Володя успокаивал его как маленького, положив ему на плечи обе руки.

Докшин тряхнул головой, поднялся, стал у окна.

— Продолжайте, — сказал он. — Я слушаю, Володя. Твоя очередь.

— О чем мы говорили? — Бугров провел ладонью по лбу. — Да... Серега, ты собираешься рассчитывать голос вселенной?

— Попробую, — сказал я.

— А звездные голоса? Ты так и не слышал их.

— Слышал... Шестьдесят шесть герц.

— Теория, — поморщился Володя. — Я хочу услышать на самом деле. Понимаешь, звездные голоса — это результат определенного процесса. Они очень слабы — не услышишь. Но представь: далеко от тебя находится человек, он что-то говорит, ты не слышишь голоса, но можешь увидеть в бинокль, как движутся его губы. Ты можешь увидеть, что он говорит.

До меня доходило медленно, я продолжал думать о грохоте вселенной и о том, почему у Докшина такое лицо — беспокойное, растерянное.

— Какой оптический эффект может дать голос звезды? — настойчиво сказал Володя. — Ты думал об этом?

— Нет, мне как-то в голову не приходило... Ну, звуковая волна обладает энергией, около звезды она мощна, звук там силен. И он может... Его энергии должно хватить, чтобы ионизовать межзвездный газ.

Да это же... Светлые туманности, вот что это такое! Увидеть звук, безумная мысль, безумная по своей простоте. Я не мог сидеть, забегал по комнате. Володя и Гена смотрели на меня, мысли путались.

А если звук слаб? Тихая звездная песня вызовет очень слабое свечение, на фоне ярких звезд мы его не увидим. Но тогда... Тогда должны появиться линии поглощения. Запрещенные линии, ведь плотность межзвездного газа очень мала...

— Запрещенные линии?! — крикнул Бугров и полез на книжную полку. Положил на стол том «Курса общей астрофизики». Открыл, прочитал вслух:

— «Таблица шестнадцать. Межзвездные линии поглощения в спектрах далеких звезд. Диффузные линии неидентифицированные».

Я переводил взгляд с Бугрова на Докшина. Чувствовал себя элементарно слепым. Разве я не видел этой таблицы раньше? Разве я не знал, что уже много лет наблюдатели фотографируют межзвездные линии поглощения, которые не удается приписать ни одному известному процессу? И не понимал, что это и есть голос звезд, настойчивый, упорный, громкий и неза-

метный. Требовался только обычный пересчет... «А что, если, — подумал я, — что, если и эхо взрыва вселенной наблюдается десятилетиями? Нужно просмотреть каталог спектров, посчитать, что же я сижу?»

— Завтра я сочиню приставку к фотоумножителю, — сказал Володя. — Ты, Сережа, составишь калибровочную шкалу. Может, наш «Максутов» и потянет.

Докшин беспокойно зашевелился:

— Не трогай фотоумножитель, прошу тебя. Ведь и так все ясно. Не наше это хозяйство, Володя. Можно кончать эксперимент, писать отчет...

— Не будь канцелярской крысой, Гена! — крикнул Бугров. — Это же интересно!

Я не понимал, о чем они спорят. Ушел в свою комнату. Эхо взрыва вселенной становилось все отчетливее, будто я слышал, нет, видел его на фоне далеких галактик.

Вошел Володя — тихо, незаметно. Оказалось, уже второй час ночи, Гена спит, и спор закончился вничью, а о чем спорили, он, Володя, скажет мне потом, когда я и сам многое пойму.

— Гена очень несамостоятельный человек, — сказал Володя, усевшись на кончик стола. — И не любит риска в работе. И романтику не любит. Точнее, заставляет себя не любить. Будто нарочно заворачивает бриллиант в газету и говорит, что это булыжник.

В голосе Володи была грусть, то ли сожаление о чем-то далеком, полузабытом.

— Ты читал фантастический рассказ... не помню названия?.. Рассказ английского писателя. О космонавте, который вышел в отставку и работал нянькой. Не читал? Бывший космонавт любил детей, и если родителям нужно было уйти на вечер, фирма посылала к ним космонавта. Малышам не было скучно с ним. Весь вечер космонавт рассказывал о полетах, о чужих планетах, о приключениях, о своих друзьях — героях.

Однажды он остался с малышом лет пяти. И случилось так, что он рассказал о своей последней экспедиции. Рассказал о том, как погибли два его товарища. Космонавт видел их гибель, но ничем не мог помочь. Он никогда прежде не рассказывал об этом, но в тот вечер воспоминания увлекли его, и он рассказал.

Малыш заплакал, он хотел, чтобы друзья космонавта остались живы. Космонавт рассказал сначала, заявил, что товарищи шли не позади, а впереди него. Он знал, что это не поможет, друзья все равно погибнут, но он просто не мог сказать: «Нет, малыш, они живы». Он знал, что спасения не было.

Но малыш плакал, требовал хорошего конца. Космонавт начал придумывать версии одна немыслимее другой и неожиданно понял, что он должен был делать. Трудно, почти невозможно. Если бы он догадался сразу, если бы тогда решился... Ни-

что не могло вывести космонавта из равновесия, а тут малыш увидел, что дядя, рассказывавший ему сказки, плачет. Именно в ту минуту космонавт убил своих друзей. Убил, потому что понял — мог их спасти... Он застрелился или бросился с моста, не помню, он не мог жить с таким грузом на душе...

Странно звучала эта история в пересказе Бугрова. Да и сам Володя выглядел необычно: сложил ладони между коленями, сразу стал вдвое меньше, сидел, смотрел в пол. В межзвездном пространстве, наверное, было больше шума, чем в моей комнате.

— Эта история произошла в действительности, — сказал Володя. — Я познакомился с Геной в одной... лаборатории. Как-то он рассказал о гибели брата. Романтика: они искали в предгорьях Тибета горный хрусталь. Нелепая случайность, Гена ничего не мог сделать. А когда он рассказал мне... Такой у меня характер, Сережа, я стал выяснять: что, если... Против воли Гена перебирал варианты, мне бы остановиться, а я все спрашивал. И мы нашли способ, простой способ. Это было страшно... А теперь... Я за два года кончил психологический факультет, а с Геной мы не расстаемся. Может быть, все уже забылось... Хотя нет, помнишь, что он говорил о романтике? Мы оба боимся. Я за него, он за всех, кто мечтает. В общем, ты увидишь, в нашей работе это даже полезно. Спи, уже поздно.

Володя вышел, не посмотрев в мою сторону. Конечно, он был прав: ошибки не могут повториться, потому что моя романтика — д р у г а я. Бедная внешними событиями. Я не брал высот, не плыл в утлой лодчонке по таежной реке, не летал в космос. Но ведь думать — тоже романтика. Просто думать, а потом брать карандаш, считать, рыться в книгах. И для того чтобы понять это, не нужно было кончать психологический факультет...

8

Библиотека станции оказалась довольно обширной. Я нашел австралийский каталог спектров, в каждом спектре — сотни линий, среди них нужно искать неизученные. Искать, сравнивать с эталонами. Я подумал, что эта работа съест меня.

Три дня я выходил только к завтраку, обеду и ужину. Просмотрев последний спектр, убедился лишний раз в тривиальной истине: вселенная — это не звезда. Наверно, не имело смысла искать голос вселенной на фоне звездного хора. Я убрал каталог с глаз долой и сел рассчитывать калибровочную кривую для микрофотометра. Это было просто: каждой линии спектра соответствовала вполне определенная высота и сила звука, нужно было только составить методику перехода, чтобы Володя мог настроить микрофотометр.

— Готово? — спросил Бугров, когда я с опозданием явился к ужину и потребовал лист миллиметровки.

— Готово, — ответил я. Начертил кривую, показал. Бугров разволновался, забрал график, ушел в лабораторный павильон.

— Спать он, конечно, не явится, — резюмировал Гена.

Так и случилось. Володя возился с настройкой несколько дней. Гене самому приходилось лазить в шахту, снимать ленты с приборов, обрабатывать, составлять таблицы. Я помогал, но чисто механически. Сбежал бы в лабораторию, но Гена сердито пыхтел, и я не отваживался на дезертирство. Рассказал Докшину, как я искал голос вселенной среди голосов звезд.

Гена пожал плечами:

— Может быть... Рассуждения на пальцах. Лучше помоги подготовить счетчики, через два дня нужно идти на плато.

Плато Оленье. Три тысячи двести над уровнем моря. В кают-компании висела цветная фотография, сделанная с плато, с того места, где в естественной скалистой пещере был установлен ионизационный калориметр. Раз в три месяца нужно было наведываться в пещеру, снимать отработанные ленты, заменять кассеты, проверять работу генератора. Опоздать нельзя, пропадет материал.

— Идите, — заявил Бугров. — Идите вдвоем. Вы тут мне только мешать будете своими вопросительно-ожидающими физиями.

Докшин молчал. Казалось, что все у них давно обговорено. Давно решено, что Гена пойдет именно со мной, и решено не ими, а кем-то еще, и Гена просто не имеет права спорить. Уже не впервые я ощущал вокруг себя сумрак недоговоренности, когда люди знают больше, чем стараются показать. Так и хотелось вызвать обоих на откровенный разговор, выведать, что они знают обо мне, чего хотят...

9

Вышли с рассветом. Солнце светило в глаза, я смотрел в землю и видел впереди себя лишь ботинки Гены, поочередно — правый, левый... Склон был не очень крут, но рюкзак тянул вниз, как противовес на телескопе. Сердце то и дело замирало, когда я, не выдержав ритма, останавливался и начинал балансировать, стараясь не повалиться на спину, не покатиться кубарем.

Добрались к вечеру. Гена поколдовал у приборов, а я даже не смотрел на его манипуляции. Никогда не думал, что можно так устать. Сидел у входа в пещеру — небольшой грот, в глубине которого низко гудел генератор и изредка ухала, сбрасывая давление, камера Вильсона.

Потом я лежал в спальном мешке в абсолютной темноте пещеры. Пытался представить, что будет, когда я вернусь в город. На станции хорошо работается, и мы с Володей, должно быть, сумеем услышать звезды. Но теперь не это главное, это

только часть задачи. Ее трудно решить, нужны книги, библиотеки. Нужен Олег...

Неожиданно наступил рассвет. Гена встал, ходил по пещере растрепанный. Собрал рюкзаки, пока я подогревал завтрак. Что-то бормотал сквозь зубы, потом буркнул:

— Черт. Пусть сами экспериментируют. Я пас.

— Ты о чем? — не понял я.

Гена не ответил. На обратном пути солнце светило в спину, отражаясь в камнях, узких листьях низкого кустарника, даже в самом небе, будто передо мной висело еще одно солнце, тусклое и пятнистое.

Неожиданно я сел. Стало жарко и душно, воздух исчез, я ловил его остатки, а сердца не было, я не чувствовал его. Испугался, хотел крикнуть, не мог. И захлебнулся в липком, вязком, горячем воздухе.

А потом все так же внезапно встало на свои места: горы, овраг с ручьем, льдистое от облаков небо. И лицо Гены. Не лицо — маска отчаяния.

Он снял с меня рюкзак, расстегнул куртку, побежал к ручью. Пока Гена бегал, я окончательно опомнился. Сердце колотилось и куда-то проваливалось при каждом моем движении. Я перестал шевелиться, лежал как истукан.

Гена положил мне на грудь мокрое полотенце, я хотел сказать ему, что все уже прошло. Чепуха какая-то. Нужно идти. Володя ждет, мы должны услышать, как поют звезды.

— Тебе лучше? — тихо сказал Гена. — Это горная болезнь. Она пройдет.

Я захотел встать, но Гена испуганно вскинулся, и я остался лежать. Было жестко, неудобно, вода высохла, и майка прилипла к телу.

— Я очень ненадежный человек, Сережа, — сказал Гена. — Лучше бы мне не ввязываться в эксперимент. И я не смог там, на плато...

Я решил, что он говорит о далеком плато в Тибете, где погиб его брат.

— Не надо, — сказал я, и Гена замолчал. Провел рукой по волосам, встал, надел рюкзак.

— Сбегаю за Володей, — сказал он. — Я мигом. Тебе нужно полежать, и все.

Гена говорил неуверенно. Я видел, он лихорадочно соображает, нет ли другого выхода, правильно ли он поступает. Ему очень не хотелось решать самому.

— Иди, — сказал я.

Гена стоял. «Ну иди же!» — хотел крикнуть я. Подумал: «Что бы сделал я сам на его месте? Сейчас и тогда. Особенно тогда, в Тибете».

Докшин побежал. Перепрыгнул через ручей, крикнул что-то, скрылся. Я остался один. Было очень легко, покойно, толь-

ко немного тоскливо. Почему он ушел? Я вспомнил, что в Тибете не было плато, там были скалы, отвесные скалы. Все то же ощущение недоговоренности не давало мне додумать мысль. Я знал, что топчусь рядом с отгадкой, поведение Володи и Гены казалось все более странным, но я не мог понять — где моя фантазия, а где факты.

Я лежал, думал, осуждал Гену, оправдывал, жалел. Представлял его в роли космонавта-няньки, а Володю — в роли малыша, слушающего сказки. Это было несмешно, немного жутко.

10

— Асцелла, дельта Стрельца, — сказал Бугров.

Я приподнялся на локте. В комнате было полутемно. Наступил вечер, а Володя не зажигал света. Включился транслятор, соединенный с магнитофоном в лаборатории. Секунду было тихо. Потом шорох — обычный шорох сматываемой ленты.

И неожиданно высокий звук выплыл из динамика, разлился, заполнил комнату. Звук казался плотным, как осенний туман, он заползал всюду, я слышал его в себе, и еще слышал, как билось сердце. Голос звезды ширился, стал ниже, гуще, будто сливались ручьи. Я думал, что не выдержу напряжения. Опять не хватало воздуха, сердце будто взрывалось при каждом вдохе, я слушал и не верил. Не могло быть все так просто: темная комната, силуэт Бугрова в переплете окна, тень Гены, склонившегося надо мной вопросительным знаком — и песня. Звездная песня, которую не успел услышать Поздышев, в которую не верил Одуванчик, о которой не хотел думать Олег. Песня, впервые звучавшая для людей.

— Арктур, — сказал Володя.

Я вспомнил свое разочарование, абсолютный нуль в звуковом спектре, далекую неспетую песню. Значит, Володя не поверил моим расчетам? Решил убедиться, что Арктур молчит?

Я услышал, как из глубины комнаты поднимается волна цунами, растет, становится выше гор, выше неба. Падает. Сейчас захлестнет все, сомнет, уничтожит. Неожиданно звук изменился, стал выше и одновременно как-то спокойнее, я понял, что Володя переключил прибор на другую частоту. Секунда — высота тона подскочила еще раз, а потом еще и еще, и наконец звук исчез, оставив в ушах уходящий в высоту звон.

Стало тихо, и я увидел, что стою возле Бугрова, а Гена держит меня за плечи и тихо повторяет:

— Ты бы лег, Сережа... Слышишь, Сережа...

Я вернулся на постель, почувствовал, что весь дрожу. Закрыл глаза, лежал, прислушивался. «Успокойся, — подумал я, — это только начало. Но где я ошибся? Модельная задача и приближенное решение...»

Должно быть, я сказал это вслух, потому что Володя отозвался, усмехаясь:

— Ошибки не было, Сергей. Я не сказал главного: звуковые частоты в песне Арктура распределены по ряду простых чисел. Первая частота — восемнадцать герц, инфразвук. Второй обертон выше первого в три раза. Я говорю обертон, но это самостоятельная частота, назови ее как хочешь. Потом идут отношения: пять, семь, одиннадцать, тринадцать... Вплоть до мегагерца — дальше прибор не воспринимает.

— Совпадение, — сказал Гена. — Подумай сам, Володя, ты же ученый.

— И потому должен бояться предположений?

— Каких предположений? — закричал я. Конечно, у Володи уже появилась идея, и я даже начал понимать какая, но это было невозможно, Арктур не мог, не должен был звучать!

— Володя считает, — сказал Гена, — что звуковой спектр Арктура имеет искусственное происхождение.

— А что? — с вызовом сказал Бугров. — Ряд простых чисел — не убедительно? Сережа, убедительно или нет?

Я промолчал. Дай мне прийти в себя, Володя. Искусственные сигналы... Нет, это слишком. Почему? Только потому, что никто еще не имел дела с такими сигналами? Поддаться соблазну красивой гипотезы легко. Вот ведь, когда открыли пульсары, тоже считали, что их сигналы искусственные. Оказалось — нет. Но сигналы пульсаров всего лишь строго периодичны, а здесь ряд простых чисел...

— Временные вариации, — подумал я вслух.

— Верно. — Володя широко улыбнулся. — Если сигнал разумен, он должен меняться со временем, должен быть модулирован. Зачем мы спорим? Небо чисто, и звезды рядом. Будем слушать напрямую. Я пойду в павильон. Выход из космофона, Сережа, дам на внешний динамик, вы услышите.

Бугров вышел, не обернувшись, будто боялся, что его задержат, не позволят уйти, не дадут слушать звезды. Мы с Геной сидели молча, а потом динамик зашипел, и голос Володи сказал:

— Арктур. Он сегодня какой-то необыкновенный, — легкий смешок. — Или у меня настроение такое? Арктур, альфа Волопаса. Включаю аппарат, ребята. Частота двести семьдесят герц. Слушайте...

Молчание. И чистая нота, будто звук кларнета, нет — электронного органа. Кристально чистая нота — без обертонов. Звук ослаб, потом опять стал громче, я подумал, что это Володя манипулирует с усилителем.

— Что ты там крутишь? — спросил я.

Володя не мог слышать вопроса, но будто почувствовал его. Наверно, понял, о чем мы здесь думаем. Сказал:

— Я не кручу, ребята. Я сижу тихо, очень тихо. Это там...

Звук затрепетал. Ослабевал и наливался силой, будто верхняя нота, взятая неопытным певцом.

— Амплитудная модуляция, — сказал Гена.

— Значит, так? — вырвалось у меня. — Значит, это они?

Гена не ответил, смотрел в динамик, как в экран телевизора.

Далекая песня Арктура становилась все отчетливее. Звук вибрировал и замирал, возвышался до крика и затухал до едва слышного шепота. И я знал, что это не Володя возится с усилителем, что это там...

11

Чемоданчик уложили за несколько минут. Володя принес километровую бобину с пленкой, затолкал ее на самое дно. Сверху легли регистрограммы — звуковые спектры восьмидесяти девяти самых ярких звезд, все, что мы успели сделать за шесть ночей.

— Порядок, — равнодушно сказал шофер Толя. — Пойду погляжу, как там маслопровод.

«Газик» стоял около метеостанции. Дождь, прошедший ночью, смыл с его боков дорожную грязь, и солнце десятками бликов отражалось от стекол и металлических бортов.

— Посидим, — сказал Володя и уселся прямо на мокрую землю. Я опустился на чемодан.

— Помогу Анатолию, — сказал Гена и тоже полез под машину.

Володя смотрел на меня, улыбался, и я не знал, грустно мне или хорошо. Не хотелось уезжать, тем более теперь, когда я уже все знал, когда все события прошедшего года встали на свои места, получили объяснение.

Мы работали с вечера до утра. Маленький двадцатисантиметровый «Максутов» пялил в небо круглый глаз, и в окуляре появлялись звезды. Самую яркую из них я наводил на крест нитей, и Володя, сидевший на корточках перед космофоном, говорил:

— Готово.

Мы слушали звезды. Мы могли бы слушать каждую звезду неделю или год, но ровно через десять минут Гена, невидимый в темноте, выключал магнитофон, и все начиналось сначала.

Утром у меня колотилось сердце, не хватало воздуха, я лежал и делал вид, что сплю, Володя делал вид, будто ничего не замечает, а Гена ворчал и ходил снимать ленты с самописцев, потому что после нашего отъезда на станцию придут люди, которые действительно станут заниматься космическими лучами, а не решать психологические проблемы или слушать звезды.

Однажды за обедом я потребовал объяснений. Напомнил Гене его слова, Володе — его недомолвки, заявил, что и сам догадываюсь кое о чем. Бугров поперхнулся, посмотрел на Гену грозным взглядом, потом сказал:

— Ладно... Теперь можно.

И я узнал. Неизвестно кому принадлежала идея. Она была стара как мир: чтобы научиться плавать, нужно войти в воду. Чтобы стать ученым, нужно не только знать свое дело, нужно уметь думать, нужно гореть. Нужна мечта, идеал, такой, что для его достижения человек может выложиться весь, до последней молекулы. И тогда в университет пошли письма из разных концов страны. Письма были настоящими, изменился только канал передачи — на самом деле все письма были адресованы солидному научному журналу. Письма стали тестом — с их помощью студенты проверялись на мечту.

Володя не знал, сколько человек было вовлечено в работу по программе. Наверняка много. Там были химики и историки, но астрономам повезло скорее.

— Знания можно приобрести, когда есть интересная проблема, — сказал Володя. — Проблема — индикатор всего. Способности. Трудолюбие. Воля. Цельность. Мечта. Все. Если решил — отлично. Если нет, если сдался, если неурядицы свели с пути — значит, не выйдет ученого.

— Ты хочешь сказать, что я выдержал? — усмехнулся я.

Бугров хитро прищурился:

— Два вопроса в порядке последнего испытания — можно?

— Если действительно последнего...

— Чего тебе хочется, Сережа?

— Спать, — сказал я. — И дать в ухо Олегу: мог бы сказать мне раньше, я не маленький.

— Не мог — чистота эксперимента. И это все?

— Ты же знаешь, — удивился я. — Зачем спрашивать? Голос вселенной.

— И второе. Университет. В сентябре ты можешь вернуться к занятиям. На следующий курс.

Этого я не ожидал. Вернуться? Я вспомнил, какое у Одуванчика было лицо, когда он сообщал мне об отчислении, — усмешку я счел недоброй, решил, что Одуванчик думает: вот, захотел романтики, так получай. Выпутывайся, парень. В общем, я, кажется, выпутался. С чужой помощью, но ведь решал я сам. Меня испытывали, и я выдержал. Я ученый? Мне стало смешно. Что я сделал? Звездные голоса — так мало, впереди еще голос вселенной, множество дел, и я не хочу возвращаться назад. Да, я это понял наконец: не хочу возвращаться. Хочу работать, думать, писать и учиться. Нужно многое знать, но знания хороши, если приобретены в процессе работы. Значит, нужно работать. И заниматься — по собственной программе.

— Ты смеешься — значит, понял, — резюмировал Володя.

— А ты, — сказал я. — Вы с Геной. В чем ваша роль?

— Я больше психолог, чем астрофизик, — усмехнулся Володя. — Олег эксперимент начал, мы заканчиваем. А Гена, между прочим, чуть все не испортил своим отношением к ро-

мантике. И на плато — он не выполнил программу, тебя хотели испытать на способность к действию.

— Каким образом?

— Неважно, — сказал Володя. — Это прошлое.

«Хорошо, — подумал я. — Все равно узнаю. Да и обязательно ли это: все знать? Я знаю, чего хочу — вот главное...»

Вечером приехал шофер Толя, и все кончилось.

— Поедешь в город, — сказал Володя и, когда я попробовал возражать, добавил: — Пожалуйста, Сергей, без фраз. Горы не шутка. Мы с Геной тоже скоро вернемся, без тебя нам здесь делать нечего. Нужно отвезти наблюдения, рассказать о работе. Гена переживает всякие страхи. Он совсем извелся, и все из-за тебя. В общем, Сережа, не нужно, поезжай.

И вот оно, последнее утро на станции. Тучи разошлись перед рассветом, ночь мы провели в постелях: шел дождь.

— Хочу тебя предупредить, — сказал Володя. — Может быть, Гена прав, будь осторожен.

— В чем? — спросил я.

— Еще ничего не ясно с песней Арктура. Если это действительно сигнал...

Володя вскочил на ноги, отряхнул брюки, встал передо мной.

— Ты представляешь ответственность? Не нашу. Дело вовсе не в том, что мы первые. Если сигнал разумен, Сережа, то это уже политика, все усложняется. Во-первых, молчание. Помнишь: англичане не сообщали о пульсарах полгода, пока не убедились, что сигналы естественные. Звездные голоса — ты знаешь, о чем они говорят? Я не знаю. Может быть, это биологические сведения, рассказ о жизни... Об их жизни. Может быть, техническая информация. Новое знание — его можно использовать для любой цели. Не представляю, как отреагируют в академии на твое сообщение. Вот результат, который мы не предусмотрели в программе эксперимента...

Гена вылез из-под машины, подошел к нам, втирая в ладони грязь.

— Все, — сказал он. — Сейчас старт.

Я поднялся. Бугров подхватил чемоданчик, понес в кабину.

— До свиданья, Сережа. — Гена пожал мне руку, испачкал маслом, виновато улыбнулся. — Скоро увидимся. Через несколько дней сюда явятся хозяева — космики.

Шофер Толя сел за руль, длинно погудел, махнул рукой: поехали.

— Вот и все, — сказал я. Тряхнуло, станция поплыла влево, переваливаясь и подпрыгивая.

«Что же дальше? — подумал я. — Что же будет дальше?» — думал я всю дорогу. Я представлял, как вернусь домой. Стану объяснять, рассказывать об эксперименте, о том, как меня обве-

ли вокруг пальца. Пойду к Мефистофелю. Захвачу с собой регистрограммы, магнитную ленту. Да, не забыть о расчетах голоса вселенной. Олег удивится, скажет... Впрочем, не так уж и важно, что он скажет, главное — все начнется сначала. И иначе. Всегда и во всем иначе.

«Газик» катил к городу, и я думал, что, когда Володя вернется, нужно будет рассказать ему о новой идее. Я придумал это ночью, когда лежал без сна.

Послушай, Володя. Представь себе концертный зал. Необычный зал, сквозь его прозрачный купол видно небо, и в прорезь потолка глядит вверх решетчатая труба телескопа. Зал притих. На сцену выходит артист. Волнуется, это первый концерт. Садится за клавиатуру. Видишь, сколько клавиш — как звезд на небе. Впрочем, это и есть звезды. Посмотри: справа, у локтя, Бетельгейзе, соль второй октавы. Чуть выше Денеб, лирическое золотистое ля. Каждая звезда — нота. Звездный орган.

В зале гаснет свет. Артист медленно поднимает руки, под куполом бесшумно разворачивается труба телескопа. И первые звуки далекой звездной песни, будто капли весеннего дождя, падают в зал. Все затихло, все слушает. Пальцы скользят по клавишам, течение мелодии убыстряется, это уже не дождь — ливень, каскад, величественный звездный хорал.

Ты хочешь, Володя, чтобы так было? Хочешь?

ПЕТРОНИЙ АМАТУНИ

ГОЛУБОЙ НУЛЬ

Фантазия в эпистолах (что означает — в письмах)

«Уважаемый тов. Редактор!

Зная Вашу любовь к удивительным историям, я пересылаю письмо моего друга, командира корабля Василия Ивановича Козлова, и если я не сделал этого немедленно, то лишь потому, что мне понадобилось время прийти в себя от изумления.

Лично я отказываюсь от комментариев. Смею, однако, заверить, что тов. Козлов, с которым дружу двадцать лет, — человек с безукоризненной репутацией, прекрасный летчик, налетавший двадцать тысяч часов. До прошлого года он работал в Ростове-на-Дону, а потом переехал в Ташкент. Никто из знающих его не помнит случая, чтобы тов. Козлов когда-либо сказал лишнее. Он здоров, годен к полетам без ограничений и никогда не страдал заболеваниями нервной системы.

Вот, собственно, все, что я хотел Вам написать, прежде чем Вы приметесь за чтение заверенной нотариусом копии письма тов. Козлова. Оригинал хранится у меня...

Ваш. П. А.».

«Привет, старина!

Пишу тебе из Кисловодска. Не тревожься, я здоров более чем когда-либо, но эти чертовы эскулапы... (далее следует несколько чисто «авиационных» терминов; я их не привожу), эти чертовы эскулапы сочинили уже столько страниц в моей истории болезни, сколько не наберется во всех томах нашего «Тихого Дона».

Но к делу.

Десятого числа прошлого месяца меня вызвал командир и коротко изложил суть спецрейса, который мне надлежало выполнить.

— В районе Южных Гималаев, — сказал он, — работает научная экспедиция. Слетайте к ним и доставьте продукты, одежду и кое-что из технического снаряжения.

— Понял вас.

— Возьмите с собой бортмеханика Клинка и штурмана Бондарева.

— Будет сделано.

Слетать, старина, предстояло на несколько тысяч километров в глубь наименее исследованного района земного шара.

Полдня мой второй пилот Ваня Кузнецов (тихий юноша, которого мы в наказание за его молодость прозвали Кузнечиком) и Володя Бондарев клеили карты и прокладывали маршрут, а радист Гриша Матвейчук запасался нужными сведениями и документами.

Ну и местность, скажу тебе! Ни приводных радиостанций, ни пеленгаторов, одни горные кряжи и горушки тысяч по пять-шесть и выше.

Загрузились. Володя Клинк заправил все баки «под пробочки», и мы взлетели. Не буду описывать тебе весь долгий путь. Главное — последний этап. Летим: высота — 5200 метров, погода — ясно, видимость — «мильон километров»...

Суровый пейзаж, старина! Темно-синие скалы внизу и льды и снега на вершинах. За бортом мороз 30 градусов, а в кабине сидим в одним костюмчиках. Отопление нормальное, да и вообще техника нас не подвела.

Бондарев глаз не сводит с гор и все время сличает их с картой; Кузнечик потихоньку любуется пейзажем; Клинк дремлет, как многие бортмеханики в рейсе в хорошую погоду. Гриша Матвейчук выстукивает что-то своим телеграфным ключом на Большую землю, а я на штурманской линейке прикидываю тонно-километраж и примерную производительность полета.

И вдруг — бах! — пушечный выстрел, и оба мотора, дав по нескольку выхлопов, стали. Клинк мигом очнулся и принялся проверять бензокраны, показания приборов и все такое.

У меня все внутри оборвалось... Выключаю автопилот, перевожу самолет в планирование. Начинаю соображать, куда девать шестнадцать тонн нашей техники.

— Командир! — крикнул Матвейчук. — Я сейчас передаю по радио, что моторы отказали.

— Я точно знаю этот район, — наклонился ко мне Бондарев. — И не прерывал детальной ориентировки...

Кивнул хлопцам — действуйте! — и выбираю местечко получше. Но что справа, что слева — один черт; для посадки самолета местность никудышная...

Стало тихо-тихо. Машина снижается, горы все ближе, настроение падает вместе с высотой. По передним стеклам текут и смерзаются струйки крови. Здоровенная птичья лапа точно скребет когтями по стеклу.

Надо же случиться такому! Даже над Гималаями в воздухе оказалось тесно, и мы не разминулись с какой-то огромной птицей. Крылатый хищник, властитель местных небес, решил отомстить нашей технике, без труда ворвавшейся в его холодные владения...

Ах, еще бы тысчонки две высоты — и Клинк, возможно, сумел бы вдохнуть жизнь в моторы! Но где их взять, старина? «Лунные» скалы вылезают со всех сторон и растут, будто мы рассматриваем их сквозь увеличительное стекло.

Вот справа — узкое ущелье, километров на двадцать в длину, а у самого начала его — единственная пригодная площадка. Подвернули мы с Кузнечиком вправо и сели на нее с убранным шасси.

И только тогда я почувствовал усталость.

Редчайший случай в авиации, и надо же ему достаться на нашу долю! Дело было к вечеру и всего в 347 километрах от цели...

Справа — гигантская дьявольская «расческа» из черно-серых скал, слева — глубокий запекшийся шрам в могучем теле хребта, а сверху сыплются на нас трескучие сухие снежинки, гонимые морозным дыханием гор.

Но вся эта прелесть, сам понимаешь, особенно хороша, когда ты видишь ее у себя под крылом, когда вместо ноющей тишины твой слух бодрит шум моторов и когда стрелки приборов не стоят на нулях...

Клинк от души повозился в носу пилотской кабины и доложил нам обстановку. Крылатый разбойник таранил нас «в лоб» и буквально вывернул наизнанку все хозяйство включения зажигания, разомкнул контакты, оборвал проводники и выключил моторы.

И вот мы одни, под крышей мира, на самом чердаке...

Конечно, мы знали, что завтра, пусть через два-три дня, нас найдут, но все же картина не из приятных. Хлопцы мои держались бодро, а Кузнечик с Клинком даже начали сражаться в шахматы. Продуктов у нас вдоволь.

Спали в пилотской кабине, в меховых мешках. При посадке дверь грузовой кабины выломало, и мороз там делал что хотел.

Утро... Бондарев готовит завтрак, Матвейчук включил рацию (благо аккумуляторы целые!) и связывался с Большой землей.

— Командир, — сказал он, — спрашивают: как самочувствие и сможем ли продержаться еще?

— Сможем, — ответил я. — Пусть вышлют другой самолет в экспедицию...

— Они так и делают.

— Ну и отлично.

После завтрака для поддержания духа я предложил ребятам продолжить шахматный турнир. Кузнечик полез в грузовую кабину, где он накануне оставил доску с отложенной партией, пошарил там и возвратился с лицом, бледным, как синоптическая карта.

— Что с тобой, парень?

— Командир, шахмат нет...

— Будет тебе, Кузнечик!

— Даю слово, командир, и там... чьи-то следы...

Я мигом вылез из самолета, глянул на снег и обмер. Веришь ли, старина, всякая всячина полезла в голову, будто фильтры в мозгу засорились!

— Это... «снежный человек», — прошептал Бондарев, вылезая за мной.

Тогда я немного успокоился: снежный или другой, во всяком случае, человек, а не дьявол. С пистолетами в руках мы двинулись по следам. Отошли уже метров на пятьсот, как мой Кузнечик ойкнул и присел, а Клинк попятился и почему-то стал умильно приговаривать:

— Кутю-кутю-кутю...

Снова меня бросило в жар. Вижу: из-за скалы выглядывают два волосатых рыжих балбеса и наблюдают за нами. Под мышкой один из них держит нашу шахматную доску.

Но что меня поразило более всего, так это то, что они не убегали от нас! А ведь все, что я слышал и читал до сих пор о йети — «снежном человеке», говорило за то, что они должны были убежать.

Стали мы ласково увещевать их на разные голоса и подходить ближе. Йети по-прежнему не убегают, только переводят взгляды с нас на самолет, и такое впечатление, что вид нашего самолета внушает им не страх, а, напротив, успокаивает!

— Бондарев, — тихо говорю я, — дай-ка им свою штурманскую линейку. Она белая, блестящая, должна им понравиться.

— Ни за что! — с достоинством произнес штурман.

— Командир, — прервал его Матвейчук, — я им лучше дам хлеба: у меня есть в кармане булка. Дать?

— Попробуй.

Гриша смело подошел к ним и протянул половину булки одному и половину другому. Взяли!

— Молодцы, шахматисты, — подбодрил их Бондарев, и знакомство стало налаживаться.

Дальше — лучше. «Шахматисты» пошли вместе с нами к самолету и без всякой боязни (заметь это, старина!) полезли в грузовую кабину.

Это были крепкие ребята с длиннющими руками, короткими ногами. Головы у них были чуть откинуты назад, заостренные к макушке. Уши острые, большие надбровные дуги и довольно мирно смотревшие карие глаза. Но зубы у них такие, что они могли бы перекусить и подмоторную раму, если бы не питали какой-то удивительной симпатии к технике.

Прошло часа два. Мы пообедали вместе с гостями, и дружба их стала простираться так далеко, что вскоре один из них даже полез целоваться с Клинком.

— Я вижу, что у тебя налаживаются с ними вполне родственные отношения, — заметил Бондарев, жуя колбасу .

— Во-первых, я жертвую собой во имя науки, а, во-вторых, — ответил Клинк, — стоит мне сейчас молвить словечко, и кое-кому из нас несдобровать...

— Нет, нет, тезка, — взмолился штурман, — я сказал это, движимый только чувством юмора и уважения... к науке.

Тут другой йети, как бы желая не обидеть и штурмана, дружески обнял его за плечи, и я явственно услышал хруст чьих-то костей. Впрочем, секунду спустя Кузнечик отвлек йети горстью шахматных фигур, и Бондарев был спасен.

Йети, ответив Кузнечику благодарным взглядом, принялся пищать от радости и издавать гортанные звуки.

Часом позже мы вышли из самолета, и йети пошли к горам, оборачиваясь и точно приглашая нас следовать за ними. Любопытство, старина, великая сила, и не каждый совладает с ней! Мы пошли за ними.

Менее чем в трех километрах от места нашей вынужденной посадки йети стали спускаться вниз по хорошо протоптанной тропинке. Она круто сворачивала за острый выступ скалы, и когда мы обогнули ее, то увидели... Я не могу передать тебе наше изумление. Между скал был прочно зажат корабль, точнее — его останки. Не самолет, а именно корабль, космический корабль.

Мы провели в ракете несколько часов. Призвав на помощь всю свою сообразительность, мы попытались представить, что же произошло с этим космическим кораблем. Было очевидно, что ракета разбилась при посадке, и люди, прилетевшие с другой планеты, погибли. Сохранился только грузовой отсек, в котором и жили наши йети. Но откуда они взялись? Вероятно, это были потомки обезьян, которых космонавты взяли вместе с собой с намерением выпустить сначала их на поверхность той планеты, которую отыщут в космосе. Чудом спасшиеся, они прижились и дали потомство.

Теперь ты понимаешь, что такое «снежный человек»?! Мы были у истоков тайны, которая беспокоит умы миллионов людей!

Нам пришлось покинуть корабль, когда Кузнечик, выбегавший послушать, не летит ли самолет, крикнул:

— Командир! Летят, за нами летят!..

Мы вышли, щурясь от яркого дневного света. Справа высилась километровая стена хребта с миллионами тонн снега на вершине, а слева, за останками межпланетного корабля, почти отвесно вниз уходил бездонный обрыв — пропасть.

Добежав до своего самолета, мы увидели вдали три блуждающие точки вертолетов — нас искали в ущелье. Клинк прихватил ракетницу и принялся палить: в небо одна за одной взвились разноцветные ракеты.

Вскоре нас заметили, и вертолеты гуськом направились к нам, наполняя ущелье грохотом. Снежная вершина хребта заколебалась, наклонилась и гигантской Ниагарой покатилась вниз. Рев лавины покрыл шум вертолетов. На наших глазах скалы, служившие опорой межпланетному кораблю, рухнули, и все, что осталось от неведомых пришельцев из космоса, вместе с «шахматистами», посыпалось в бездну, ударяясь и разламываясь на мелкие куски. Более получаса сверху неслись глыбы льда, камни и потоки снега, погребая все в непроходимой глубине сужающейся пропасти...

В ущелье закрутились вихри, и нашим вертолетчикам пришлось немало потрудиться, прежде чем им удалось пробиться к нам.

Вот и все, старина!

А потом...

До сих пор над нами подсмеиваются, а эти чертовы эскулапы (далее опять следуют «термины», которые я не решаюсь воспроизвести), эти чертовы эскулапы, сочувственно кивая головами, направили нас лечиться. Ведь единственное доказательство у нас — это... нехватка шахматных фигур, то есть сплошная «минус-материя»!

Вот почему мы сейчас в Кисловодске.

Черкни откровенно, старина: веришь ли ты мне? Если да, то я на обратном пути загляну к тебе и как-нибудь вечерком подробно расскажу о том, что мы увидели в космическом корабле. И еще жди посылку...

Ну, пока! Привет всем твоим домашним и нашим авиаторам.

Твой Василий.

Интересно: поверишь ли ты мне? По крайности, найди мне такого ученого мужа, который взялся бы всерьез доказать, что рассказанное мной — невозможно... Ну и эту штучку покажи ему...»

«Товарищ Редактор!

Со своей стороны, я присоединяюсь к просьбе моего друга, хотя лично я ему верю.

С приветом П. А.

Ростов-на-Дону,
пятница, 1981 год».

«Уважаемый П. А.

Ваше письмо в самом деле может представить некоторый интерес для наших читателей. Не ручаюсь, но весьма возможно, что мы им воспользуемся в одном из наших ежегодных сборников фантастики.

Портфель издательства, как всегда, переполнен, однако Вас мы пока не лишаем надежды...

А что это за «штучка»? В самом деле... О «снежном человеке» мы решили больше ничего не публиковать. Но вот эта штучка... Гм...

Редактор».

«Уважаемый тов. Редактор!

В современных больших самолетах есть особые небьющиеся шары, начиненные кой-какой аппаратурой, остающейся целой при неприятностях.

Так вот, Василий отыскал такой шар и в космическом корабле, и даже слегка поковырялся в нем. Особенно понравилось ему некое подобие миниатюрной магнитофонной кассеты, которую он прихватил с собой, а затем переслал мне.

Ваш П. А.».

«Черт возьми, уважаемый П. А.!

Уж не затеряли ли Вы ее, эту занятную штучку? Немедленно высылайте ее нам! Мы разберемся быстрее.

Редактор».

«Уважаемый тов. Редактор!

Выслать Вам эту штучку я не могу, ибо она может пригодиться, если Василия Козлова обвинят в склонности к фантазированию. Другой мой друг, известный физик, уверяет, что, даже если она окажется пустышкой, он легко найдет специалистов, которые без труда докажут ее непреходящую ценность и тем самым поддержат Козлова.

Есть еще и третье обстоятельство: она пока «не заговорила...»

Но вот-вот...

Ваш П. А.».

«Уважаемый П. А.

Когда она заговорит — тщательно все застенографируйте или уж запомните, что ли... И результат — в наш адрес.

Редактор».

«Уважаемый тов. Редактор!

Сегодня эта чертовщина слегка заговорила!

Мы буквально ходили вокруг нее, а все дело в том, что нам надлежало влезть внутрь этой штучки, хотя бы мысленно...

Усекли?

Она действует телепатически!

А когда надо, подчиняясь мысленным приказам (или просьбам?), проецирует чертежи, схемы, фотографии, рисунки или даже целые фильмы на любую гладкую поверхность, и позволяет все это... сфотографировать.

Вот так-то.

Извините, я просто забыл, к кому обращаюсь...

Одним словом, этот звездолет забрел к нам из такого далека, что...

...Впрочем, пока я расскажу Вам в общих чертах все, что мы узнали, и, разумеется, по порядку.

Это значит, что мое повествование хорошо бы разбить на параграфы. Или — как это принято в литературе серьезной — на главы.

Хорошо бы, да ведь не зря говорят: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Я не жалуюсь ни на то, ни на другое; более того — у меня так много друзей, мечущихся по всей вселенной, что я едва успеваю читать их занятные письма и только из-за недостатка времени — по этой причине — не берусь сам за перо...

А упомянул я о своих друзьях не зря, ибо есть еще одно письмишко, которое, уважаемый тов. Редактор, следует преподнести Вам, прежде чем я расскажу о содержании «штучки»...

Прилагаю неполную, но существенную копию письма другого моего друга — космонавта Осипа Рубайло, большого выдумщика, если речь не идет о космических полетах.

П. А.».

Из письма О. Р. к П. А.

«...Я уже лег на обратный путь к родному очагу, как вдруг в моем одноместном автоматическом звездолете приборная доска онемела. Только что я несся в своем футляре с оглашенной скоростью, и вот теперь: стрелки, индексы, крючочки и петельки на шкалах приборов возвратились к своим нулевым или нейтральным положениям, сигнальные лампочки погасли, световые полоски и всплески на командном осциллографе исчезли...

Я знал, что такое возможно лишь при отключенной технике, скажем на стоянке, и просто невероятно в рейсе; однако не мог избавиться от факта.

Проверил источники питания, АЗСы, пораскинул умом, насколько позволяла маленькая кубатура моего космического корабля, и понял, что ситуация «того»...

Откинув занавеску, глянул и за окошко: там властвовал беспросветный мрак — исчезли все звезды мироздания, даже те, что были рядом, в родной Галактике.

Убедившись, что Природа — по крайней мере в этом уголке — вымерла и никуда не спешила, я негромко чихнул, что делал всегда в минуту душевного подъема.

И в то же мгновенье сквозь обшивку звездолета снаружи просунулась чья-то физиономия, поразительно знакомая и вместе с тем странная.

Несколько секунд спустя рядом со мной появилась вся фигура этой физиономии полностью и поставила меня перед необходимостью описать ее...

Если коротко — то это прозрачное существо напоминало нашего всеобщего предка, — я имею в виду не Адама, а одного из тех, что прыгали по деревьям и были далеки от теории относительности.

— Ну-с, а дальше что? — спрашиваю.

— Я робот, — представился он. — С планеты Уэй, я изучаю Нуль, а вы вторглись в него...

— Откуда вы знаете русский язык?!

— Я говорю на языке, на котором вы думаете, а как он называется — представления не имею.

— Ах так... А при чем «нуль»?

— Но ведь нуль — понятие математическое: а здесь ничего, кроме математики, не было до вашего появления.

— Однако не все нули одинаковы: один произошел от того, что из семи вычли семь, другой является началом какого-нибудь отсчета, третий получился потому, что какое-то число помножили на нуль; все они как бы разноцветные!

— Тогда этот, — робот указал белесым пальцем на окно, — «Голубой»... Самый что ни на есть первородный, сам по себе. И произошел он не от умножения, не от вычитания, а таким и был от рождения. Он — Ничто!

— Забавно. А каковы его особенности?

— Во-первых, тут нет Времени...

— А где же оно?

— Время, как считают наши ученые, есть главная сила Природы, оно обеспечивает причинность: сперва появляется причина, а потом — следствие. Других обязанностей у Времени нет! Поэтому оно не имеет обратного хода.

— Разве причина не сама по себе переходит в следствие?

— «Сама по себе» существует только Природа.

— Я привык к земному символу Времени: оно движется наподобие Стрелы — от прошлого к будущему, а где-то в середине ее исчезающе тонкой черточкой приютилось Настоящее. Мы как бы постоянно живем на стыке...

— Лучше изобразить Время в виде Колеса, — сказал робот, — порождающего не одну, а две маленьких стрелы; в верх-

ней части обода устремленную вперед, а внизу — назад. Само же Колесо есть то Настоящее, которое люди всегда чувствуют своим «я». Не исчезающая черточка на Стреле Времени, а Колесо!

— В таком случае, — заметил я, — это не просто маленькие стрелы, указывающие направления, а векторы.

— Пожалуй...

— Ведь это Колесо не только вращается, но еще и устремляется вперед?..

— Несомненно, — подтвердил робот. — Объективная реальность не имеет, так сказать, массы исторического покоя.

— Коли так, — заканчиваю я, — то верхняя точка на ободе Колеса успевает пройти вместе с осью вращения какой-то путь по прямой вперед, а внизу другая точка, тоже вектором, унесется в Прошлое...

— Эти векторы наши ученые называют квантами Будущего и Прошлого! («Кванты» — это ваше слово...)

— А какую роль играет диаметр этого колеса?

— Величина колеса как бы символизирует размер тех элементарных частиц, из коих состоит его вещество... В одних галактиках оно состоит из мелких «зерен» и Время там быстрое, как бы «с ветерком», а есть «зерна» покрупнее, и с ними мороки поболе, а Время внутри их медленное. Время вообще зависит от размеров породивших его физических систем: чем больше сама система, тем медленнее «течет» ее среднее Время! К примеру, в любой галактике ее собственное время быстрее, чем в метагалактике в целом... Ведь Время есть не пассивная среда обитания материи, а ее свойство и способ существования! И только сю, материей, оно порождается, или точнее, — «включается»...

— А может, есть такие уголки Вселенной, где наши законы природы недействительны?

— Несмотря на свое неисчерпаемое многообразие, — возразил робот, — Природа не так «легкомысленна», как вам думается. Только в «Голубом нуле» может происходить нечто невообразимое, да и то лишь только потому, что там нет вообще «законов Природы», а мы хотим установить: не есть ли их отсутствие тоже одним из незыблемых правил?

— А Пространство? Бывает ли оно первородно пустым?

— Природа состоит из Бытия и Стремления, то есть из Пространства и Времени. Любое явление, если оно есть, то есть.

— Даже пустота, — настаиваю я.

— Весьма вероятно, — добавил робот, — что Мир вообще создавался на пустом месте и, так сказать, из пустого «теста»... И нынче вы угодили во что ни на есть именно первозданную пустоту, совсем вроде той, какая была еще до Акта Творения...

— ...и в которой нет Времени.

— Но зато вокруг теперь что-то происходит... Смотрите!

В самом деле, приборная доска моего звездолета стала медленно оживать.

— Сейчас объясню, — ответил робот на мой немой вопрос. — Вещь вне пространства существовать не может. А раз так, то не пространство должно заботиться о вещах, а они сами о себе. Вот почему все материальное, возникая, реорганизует для себя пустое пространство и создает себе геометрическую среду, придающую жесткость аморфной пустоте. И кубической формы...

— ...Геометрию? — уточнил я. — А что породило его?

— Если бы знать! Одно из двух: либо вещество излучает какие-то «Лучи Геометрии», либо «пустота» «Голубого нуля» напоминает озерцо переохлажденной воды: кинь камешек — и оно с треском покроется ледяным панцирем. Вы влетели в «Голубой нуль», и его аморфная потревоженная «пустота» слегка обрела геометрическую размерность, чтобы было веществу чем уцепиться за пространство. Но для движения надо затратить определенную энергию, зависимую от его массы и желаемой скорости.

— Почему же это геометрическое поле, — кивнул я в сторону окна, — не шарообразное, а похожее на куб?

— О! — почти увлекся робот. — Необходимое материи пространство есть четырехмерное, без ограничивающего геометрического центра: шары, цилиндры, спирали, кренделя и прочие виды объема заключены в нем, а не наоборот!

— Вон как...

— Но чтоб это узнать — мы долго искали в нашей вселенной кусочек Пустоты, пока нашли ее.

— Так вы уже были здесь?

— Здесь нет: это вторая полость... А наш великий теоретик...

— Продолжайте, — попросил я.

— Он автор Гипотезы существования в мире Анти-Пустоты.

— Так-так.

— Может быть, — надеется он, — когда эти две пустоты сливаются, происходит Начало Мира?

— Не лишено остроумия, — заметил я. — А как? Путем взрыва?

— Вероятнее всего! И когда мы обнаружили эту вторую пустынность, Теоретик возликовал, но сказал: «Сами в нее не лезьте, подождите любопытного и понаблюдайте: если он не отправится к праотцам да не возникнет там новый мир — значит эта Пустота обычная. Плюсовая».

— А-а, — взъярился я. — Значит, я стал подопытным кроликом?!

— Но ведь вы появились так стремительно... К тому же все обошлось! Поздравляем вас и будем ожидать следующего пришельца...

— ...вместо того, чтобы предупредить его?

— Но и мы сами не знаем, из какого мы мира: плюсового или минусового. Откуда он появится — тоже не знаем, а если предупредим, то... еще более останемся в неведении!

— Тогда вот что... Где ваши хозяева?

— Их уже нет...

— Как «нет»? И почему «уже»?

— Они превратились в Туннель, а нас оставили на исследовательской космической станции, неподалеку отсюда.

— Зачем?

— Чтобы показывать место Туннеля, вести поиски Большого Голубого Нуля, то есть абсолютно пустого пространства, и рассказывать, куда делись они, наши хозяева... Их тела тоже стали энергией.

И тут, старик, наговорили мне такое, что не воспринимается умом, хотя и не лишено внутренней логики. (Или не всяким умом...)

...Короче, будто семь планет нашей Галактики из числа имеющих развитую цивилизацию и колоссальные энергетические ресурсы, объединились и стали пробивать четырехугольного сечения прозрачный Туннель в почти пустом «рыхлом» и уже по одному по этому — «в чистом виде» — непреодолимом пространстве, окружающем, по их предположениям, всю метагалактику, то есть вселенную, ставшую и нашим домом.

Делалось это, насколько я понял, так: очередной гигантский звездолет, несущий в себе — словно аккумулятор — трудно представимое количество энергии, вырывался на самый «первый край» операции.

Подойдя к рассчитанной точке, он посылал вперед — по строго рассчитанному направлению — импульс, и пространство (в зоне геометрического луча) мгновенно превращалось в Туннель — не аморфный, как «студень», а уже трехмерный.

В общем, пространство, в котором до этого звездолет увязал как в песке, вдруг становилось жестким, геометрическим, и космонавты — посылая импульс за импульсом — продвигались вперед раз за разом, пока не истощался ассигнованный для этих целей энергетический запас.

Затем прилетали космонавты с другой планеты и проделывали такую же простую по замыслу работу.

Важная деталь, старик: каждый импульс пробивал туннель длиной примерно тысячу световых лет, затем он почему-то, так сказать, *самонаращивался* еще раза в три-четыре.

Почему? За счет чего?

Да вроде бы в этом *пустом* «нулевом» пространстве находится «нулевое» (!) Время в том особом состоянии бездействия, которое у них называется Состоянием Вечности... Тоже не лишено... А? Еще один голубоватый нулик!!

А стоит его — это Время — хоть чуть потревожить, то на каком-то радиусе вокруг точки «тревоги» (или в определенном

направлении, если это луч, но тогда — до какого-то расстояния) возникает трехмерная геометрическая среда. Крепче стали!

Вся же эта история с Туннелем длится уже не то 9 тысяч лет, не то 90 тысяч... Я слегка колеблюсь в перерасчете на наши земные годы.

— Так что же такое Время в своей сути? — снова спрашиваю я, надеясь, что мой «красавец» придумает нечто новое, но он по-прежнему верен себе...

— Это главная энергия Природы, — объяснил робот, — которая одна только способна превращать причину в следствие; других «обязанностей» у него, у Времени, нет, и потому оно необратимо. Это самая распространенная гипотеза на всех наших семи планетах... А вот символ Туннеля...

И он показал мне два равнобедренных треугольника, обращенных вершинами друг к другу и как бы вставленных чуть-чуть один в другой.

— Это означает надежду найти другую вселенную, которая тоже стремится к нам, — пояснил робот.

— Так что произошло все же с вашими хозяевами?

— Они увидели впереди Нечто, напоминающее другую метагалактику, и, решив не возвращаться, превратили и свои тела в энергетический импульс, чтобы продлить длину Туннеля сверх расчетной...

Вот так, мой дорогой старик, эти люди буквально «вложили себя в дело», как выразился мой добрый коллега, американский космонавт — один из тех, кто остался «верен «Аполлону», да и ты его знаешь: я имею в виду смельчака Бартона.

Но и это все куда ни шло!

Оказывается, старик, внутри Туннеля и снаружи его — ни с того ни с сего! — возникали сверхсветовые космические струйные течения: само пространство в Туннеле неслось узкой струей со скоростью, в десятки раз превышающей скорость света от центра метагалактики, а снаружи — к центру!

Каково?!

Но и это я перенес, впитал, усвоил, осмыслил. Однако в мире есть не только Законы Природы и разумные существа, жаждущие познать их и даже подчинить себе...

Жажда Познания — так я теперь думаю — есть непреодолимейшая энергия Природы! Это сила, которую могли придумать боги в активном соцсоревновании между собой!

А вот и ее пример...

Они, эти замечательные космонавты, увидев намек на Вторую Вселенную, решили не все сразу превратиться в энергию с последующей трансформацией в Геометрический Луч; они установили для себя *очередность!!!*

Во имя того, чтобы последний из них долетел до новой Заветной Цели, до которой было «рукой подать»...

Ты понял?

Возможно, он уже *там*!

Когда Бартону рассказали об этом, он посерьезнел и произнес:

— Я всегда верил в силу, превышающую могущество Доллара; зачатки ее наверняка есть и у нас на Земле...

А мне тогда особенно захотелось подробнее узнать об этих наших собратьях по разуму и о координатах Туннеля.

Но...

Вот именно «но»...

Если б нашлась у меня хоть капля, крохотная капелька предвидения! Я бы, старик, еще расспросил робота, кое-что записал бы в своем бортжурнале, побывал бы на их космической станции... Но я размечтался, мой друг.

На самом деле я сделал все прямо противоположное; сам знаешь: когда ума мало, то много всего остального...

Одним словом, я решил вначале «попробовать»: сработает ли этот прием пробивания Туннеля у меня (будто меня окружило Поле Исключительности, в котором Законы Природы теряли свою стойкость!)?

Не откладывая это намерение, я сфокусировал в носу своего звездолетика отражатели, велел своей кибернетике отщипнуть от моих щедрот клочок изрядно потрепанных энергетических запасов и... нажал перламутровую кнопочку...

И сию же секунду твоего балбеса — то есть меня — как рванет... Стрелки на уснувшей приборной доске как заголосят... И душа моя принялась догонять мое тело...

А тот милый робот — если от него осталось хоть что-нибудь секунду спустя после, так как кораблик мой «выстрелился», — должно быть, до сих пор парит в космосе без руля и без ветрил...

Вот, скажу тебе, сюжетик для фантаста!

Но не только писатели, читатели тоже бессмертны! И потому к перу должен прикасаться лишь тот, к чьей руке оно тянется...»

«Вот здесь, уважаемый тов. Редактор, я и прерву письмо *моего* друга, ибо дальнейшее вряд ли вызовет у Вас любопытство.

Ваш П. А.».

«Уважаемый П. А.

Письмо *этого* Вашего приятеля (назовем его Другом № 3, если он понадобится в дальнейшем или мы оба запутаемся), хоть и содержит в себе какую-то информацию, все-таки нуждается в дополнительном сокращении (если только можно усекновение называть «дополнением»...).

Думаю, что это можно сделать за счет гипотезок. В наш и хоккейный век (я сказал «и»!) читателю важно *видеть* забитую «шайбу» и, может быть, на короткое мгновение знать автора гола.

А как раскладываются силы при ударе нападающего, да откуда они у него берутся — это, так сказать, выше его (читателя) сил... Но это не значит, что я позабыл о «штучке» Вашего Друга № 1!

Жду-с, милостливый государь, жду-с...

Ваш Редактор».

«Уважаемый тов. Редактор!

Приятная тональность Вашего напоминания взбодрила меня, и мы с Другом № 2 (О. Р.) снова обратились к кассете моего Друга № 1...

(Вы не представляете, как удачно и вовремя Вы ввели эту нумерацию! Я всегда буду ценить Ваше конструктивное дарование.)

Разумеется, я ни на мгновение не забывал о «штучке», но тут еще штука в том, то есть я хотел сказать, что мой Друг № 2 (физик по профессии) любитель всяких лотерей...

Так вот, он выиграл автоматический холодильник «Минск-179» (с телевизором, электронной чудо-кухней и комнатой отдыха), и мы активно отметили это событие, начисто разрушающее основы теории вероятностей, потому что, как известно, физики нигде, никогда и ничего не выигрывают...

Только спустя Большую Неделю мы ее прослушали до конца, и я перескажу Вам то, что мне удалось расслышать и, конечно, запомнить. Клянусь, это было нелегко!

Чтобы действовать наверняка, я слегка коснусь только того, что запало мне в память, ибо все остальное, уверяю вас, — второстепенная мура; так уж выборочно устроена моя голова.

И если угодно, представьте себе современную штангу тяжеловесов: представили? Я имею в виду кучку дисков с одной стороны, еще большую — с другой, а между ними длинную палку, только не круглую, а квадратного сечения...

Теперь мы имеем весьма наглядную, а главное — точную модель двух вселенных, соединенных Туннелем: в одной из них процветаем мы с Вами, а в другой — другие...

Следующее, что я запомнил, выглядит, на мой взгляд, чертте чем, хотя Друг № 2 уверяет, будто наши физики придумывают и похлеще.

В общем, не ведаю, как возникла наша с Вами вселенная (ведь это только при выборе невесты в инструкции есть параграф: «На мать смотри — дочь бери...»), но эти ребята, что потерпели катастрофу на Памире и от которых остались одни снежные человеки, эти ребята — с той, другой вселенной. Уж это абсолютно верно, потому что я запомнил.

И они не просто летели, влекомые любопытством, а спасались от беды! Это тоже запало мне в голову.

Клянусь Вам, что не я придумал историю происхождения их вселенной: они сами рассказали ее в своей кассете.

Давным-давно (ну это еще понятно) их метагалактика была до того сжата, что вся уместилась в объеме булавочной головки! (И не найдешь простым глазом!..)

Ну скажите на милость, к чему самой Природе, располагающей неограниченными свободными объемами, заниматься такой ерундой?! Да и возможно ли уместить все это огромное хозяйство в точке?

— Возможность тут ни при чем, — заявил мой Друг № 2. — Главное — суметь задать Природе такой вопрос, чтобы и она век не выкрутилась! Физик-теоретик все может предположить, это его профессиональное право. И если надо — не отвечать, а только спрашивать.

Ну хорошо, а что за сила сжимала эту материю?

— На этот вопрос ищут ответы другие физики... Найдут — хорошо, не найдут — на том спасибо, что искали.

Ну и бог с ними, с физиками, важно, что самой Природе надоела игра в сингулярность (так называется эта «булавочная головка»), и она, естественно, взорвалась от возмущения.

Так образовалась соседняя вселенная.

Прошло какое-то время, уже появилась там жизнь, возник разум, расплодилась цивилизация — живи на радость себе и другим.

Но тут появилась еще какая-то невидимая сила и приготовилась захлопнуть обратно всю организацию.

И захлопнула. В самую, что называется, сингулярность. Вторично.

И эти ребята, чья кассета досталась нам, дрожа от страха, успели улизнуть... И по Туннелю добрались к нам... А как только им попалась на пути порядочная планета — они и зашли на посадку; да районщик подобрали неудачно — Памир есть Памир...

Были еще картинки из жизни их родной планеты, истории, науки, техники, даже искусство свое показали, да я всего этого не запомнил.

П. А.».

«Уважаемый П. А.!

Неужели Вы не поняли, что первыми (если не считать Вашего приятеля — счастливца) приобщились к величайшей Сенсации века?!

И Вы еще посмели «всего этого» не запомнить?

Шлите немедленно свою штучку, я разделаюсь с ней сам! Где вы научились пить?..

Редактор».

«Уважаемый тов. Редактор...

Я полагал, что Вы догадались из моего предыдущего письма: кассета инопланетян оказалась... разового действия. А мы с Другом № 2 не знали этого и надеялись снять с нее копию потом...

Что же касается Вашего последнего вопроса, то Вы ошибаетесь: я вообще не умею пить. Да и друг мой тоже... В сущности, мы оба расположились по сю сторону «барьера мастерства». В *жидком* смысле, разумеется.

Что же касается некоторых наших просчетов с кассетой, то, вероятно, не зря говорят: если кто-то ни с того ни с сего выигрывает — другой бездельник ни с того ни с сего проигрывает...

В следующий раз мы все будем осмотрительнее, это я обещаю Вам твердо.

Ваш П. А.».

* * *

«Не знаю, П. А., что делать теперь с Вашим материалом? Отсутствие подтверждающих — хоть частично — документов снижает убедительность и достоверность...

М. б. дать как шутку (не гения, разумеется)?

Не знаю, право... «В следующий раз»... Гм-гм...

Р-р».

«Уважаемый тов. Редактор!

Великолепная идея! Ведь в каждой шутке случается *доля* правды... Так ведь? Пускай каждый читатель ищет во всем этом свою дольку... На всех не хватит, а кто пошустрее — найдет.

Когда мы отправляемся в поход (пусть даже — мысленный), то и в этом случае не оставляем свою голову дома, а прихватываем с собой: почти все открытия тоже совершаются мысленно, осмелюсь напомнить.

Пусть на этот раз легонько пораскинет умом и читатель, да сам и определит, что у меня достоверно, а что неубедительно...

С благодарностью П. А.».

ВЛАДИМИР МАЛОВ

ФОРПОСТ

Форпост (косм.), вошедшее в обиход название стандартной исследовательской станции на неизвестной прежде планете. Как правило, на таких станциях исследователи-разведчики работают, сменяя друг друга.

Из энциклопедии 2199 года

1

Лицо у Степанова было виноватым, и это выражение мало вязалось с его мощной фигурой, Степанов был без форменного кителя, от чувства своей вины он даже немного сгорбился, а

Маккиш, одетый по форме, стоял напротив и старался догадаться, что это может значить. Наконец он решил протянуть командиру руку помощи и, стараясь, чтобы голос прозвучал возможно суше, сказал:

— Так от недели отдыха мне предстоит отказаться?

Степанов шумно вздохнул и задвигался за столом. У Маккиша промелькнуло сравнение: задвигался не человек, а ожила гора мышц. Или вулкан мышц, это, пожалуй, точнее. И вот сейчас то, что еще не высказывалось, выплеснется наружу. Произойдет извержение. Правда, спокойное, потому что командир был спокойным человеком.

— Ты говори, не стесняйся, — сказал Маккиш. — Я угадал?

Лицо Степанова перестало быть виноватым. Раз все было угадано, и угадано верно, можно было переходить к делу. В конце концов, он был вправе и приказать... Но как он мог приказывать Маккишу?

— Угадал, — хмуро ответил Степанов. — Ты что не садишься?

Маккиш пожал плечами и сел в тяжелое, массивное кресло, которое казалось совсем неуместным в каюте звездолета, но командир любил старину. Даже стол его украшала старинная лампа из фарфора, мало вязавшаяся со стоящей тут же тонкой моделью «Астролябии».

— Я думал, разговор будет коротким, — ответил Маккиш, стараясь, чтобы голос оставался сухим. — Мне ведь предстоит отправиться на Лигейю, так?

Степанов выпрямился и кивнул.

Маккиш помолчал, припоминая последние передачи с Лигейи. С Данилевским, дежурившим там, начинало происходить что-то неладное, и это все знали. Причиной, видимо, было переутомление, каким-то чудом укрывшееся от врачей. Дежурного надо было срочно менять.

— Десять минут назад, — сказал Степанов, — Данилевский попросил его заменить. Ты понимаешь, что, когда об этом просят, значит, из ряда вон... А недельный отпуск прибавишь к следующему отдыху.

— И проведу в каюте размером два метра на три не одну неделю, а целых две, — ответил Маккиш с улыбкой. — Вот тогда я и начну писать мемуары. Отправная точка — наша с тобой первая экспедиция, когда ты тоже еще был разведчиком.

Он встал, пожал руку, которую протянул командир, и направился к выходу. Степанов за его спиной молчал. Молчал так, как будто он сказал не все, но сейчас скажет. Маккиш обернулся.

— Володя, — сказал Степанов и встал. — Это, может быть, и не так, но что-то говорит мне: дело здесь не в самочувствии Данилевского. Что-то мне говорит, что там, на Лигейе...

— Да, тебе что-то говорит? — переспросил Маккиш. — Какие-то особые условия? Что-то странным образом действующее на психику и вызывающее симптомы, что наблюдаются у Даниловского? Так?

Степанов кивнул.

— Такого, правда, еще нигде не было, но ты же знаешь: ко всему надо быть готовым. Я не допускаю, чтобы врач мог прохлопать переутомление в такой степени.

Маккиш усмехнулся.

— Что ж, благодарю за доверие.

— Удачи тебе! — сказал Степанов. — Но если там что-то не так, прошу, не считай для себя зазорным немедленно вернуться.

Маккиш знал: если на Лигейе в самом деле имеют место какие-то особые условия, что-то такое, что выходит за пределы накопленного пока опыта, он не вернется, пока не выяснит, в чем там дело. Впрочем, Степанов это тоже знал. Маккиш осторожно высвободил руку из командирской длани и повернулся на каблуках. Разговор был окончен, теперь предстояло как можно скорее собраться и отправиться. Говоря по правде, он ничего не имел против, потому что... потому что он действительно был прирожденным разведчиком.

Закрыв за собой дверь — он знал, что Степанов смотрит ему вслед, — он оказался в длинном и широком коридоре. Все-таки когда он жаловался, что дни отдыха приходится проводить в тесной каюте, то был, конечно, не прав. На борту «Астролябии» было куда пойти: не говоря о прекрасной библиотеке, спортивном зале, кают-компании, на звездолете есть даже приличных размеров оранжерея с идиллическими скамеечками, разбросанными там и сям под сенью милых земных деревьев. Там хорошо проводить время с книгой в руках; туда же, кстати, можно было пригласить на прогулку биолога-брюнетку Розу Редкоус — разумеется, когда у нее тоже выдавалось свободное время.

Проходя мимо биологической лаборатории, он немного поколебался, но потом все-таки толкнул дверь. Роза прильнула к окуляру микроскопа, ее голова была повернута к Маккишу точно в профиль, а профиль у биолога был точеный, безупречный. Но прежде чем она подняла голову, Маккиш быстро сказал:

— Роза, простите, но сегодня вечером я буду занят. Я лечу на Лигейю и вернусь, когда закончу дежурство. Подождете?

Он закрыл дверь, не дожидаясь ответа. Роза не любила, когда ее отвлекали от ученых занятий, хотя, возможно, здесь немного кривила душой. И Маккиш двинулся дальше, но из другой двери вынырнул маленький, кругленький толстячок Никольский.

— А, голубчик, вас-то я искал. У меня к вам обычная просьба, Володя, вы ведь всегда...

— Снова «Вести «Астролябии»? — спросил Маккиш. — Нет, в этом выпуске я не смогу помочь. У меня срочное задание, я должен заменить Данилевского.

Толстячок остался позади. Потом издали донесся его голос:

— Так я, Володя, рассчитываю на вашу помощь в следующем выпуске? Нужна, знаете ли, небольшая юмористическая сценка из корабельной жизни. У вас это получается.

— Рассчитывайте, — пробурчал Маккиш. Вернувшись, он действительно поможет редактору корабельной видеорадиогазеты подготовить очередной выпуск. Он любил это делать, хотя это разве было серьезной работой?..

2

Техник Мироненко, по какой-то неизвестной причине бывший мрачным и неразговорчивым, помог ему погрузить в космокатер запас продовольствия. Снаряжение и все необходимое уже было на Лигейе, в разведывательном форпосте, где сидел сейчас Данилевский, с которым происходило неладное. Красавица Роза, оторвавшаяся-таки от микроскопа, чтобы его проводить, молча стояла в ангаре и следила за сборами. Можно было даже подумать, что ей грустно, и Маккишу вдруг очень захотелось, чтобы он не ошибся. Наконец все было готово, и он пожал мрачному технику руку и немного теплее попрощался с Розой...

За ним закрылся люк космокатера, и Маккиш пробрался по тесному коридору к пульту управления. Устроившись в кресле, он привычно оглядел приборы и щелкнул тумблером. В кабине тут же раздался голос Степанова:

— Володя, готов?

— Могу отправляться, — ответил Маккиш и взялся за ручки управления.

Космокатер медленно покатился по ангару на своих маленьких колесиках, дверца стартового шлюза уже была открыта. Еще немного, и лампочка на пульте показала, что дверь шлюза позади закрылась. Несколько мгновений спустя другая лампочка возвестила, что раздвинулись створки наружной двери.

— Даю разрешение на старт, — прозвучал голос Степанова. — И, повторяю, не считай для себя зазорным немедленно вернуться, если что-то не так. Если хочешь, это приказ.

Маккиш нажал на кнопку, и космокатер, вывалившись из шлюза, оказался в пустоте...

Полчаса спустя, выведя космокатер на курс и набрав скорость, Маккиш передал все исходные данные предстоящего маршрута электронному мозгу и откинулся на спинку кресла. Теперь впереди было девять свободных часов, за которые катеру предстояло пересечь орбиты Альтрозы и Эланы и выйти за-

тем к Лигейе. Значит, оставшись в одиночестве, теперь можно было как следует поразмыслить о том, что ждало впереди.

Итак... Маккиш удобно вытянул ноги, закрыл глаза и задумался о последних событиях.

Очередной рейс «Астролябии» был самым обычным, разведывательным, и система звезды ТП-66 была лишь одной из систем, которые предстояло обследовать во время экспедиции. Планет у звезды было три. «Астролябия» легла на орбиту за самой дальней из них, и, как обычно, прежде всего на планеты системы отправились разведывательные зонды. Как оказалось, две планеты были абсолютно безжизненны, на третьей, Лигейе, оказалась какая-то флора. Потом, как обычно, на планетах высадились разведчики. На каждой был развернут стандартный форпост, в котором разведчик проводил смену — десять земных суток. За это время планету детально обследовали автоматы форпоста, да и сам разведчик, как правило, не сидел все время под прозрачным куполом. Если было необходимо, форпост работал не десять дней, а больше, разведчика сменял другой. На Альтрозе он, Маккиш, обнаружил большие запасы цезия, и для уточнения ресурсов его сменил Головков. Уже было почти очевидно: на Альтрозе будет работать рудник, здесь будет создано поселение землян. На Лигейе форпост был оборудован чуть позже. И сразу же Данилевский сделал открытие: есть не только флора — деревья и кусты с голубыми листьями и еще голубая трава, — но и фауна. Какие-то крупные, хищного вида птицы. Небольшие зверьки, похожие на земных сусликов. Насекомые. Впрочем, такие открытия не были редкостью. В Музее исследования вселенной можно увидеть сотни, тысячи образцов флоры и фауны из самых разных систем. Редкостью было другое — разумная жизнь. Такой редкостью, что за все двести лет с начала Дальних полетов земляне с ней еще ни разу не встречались.

Галлюцинации у Данилевского начались на второй день его дежурства. Он сообщил о них на «Астролябию» только на четвертый и этим, между прочим, нарушил одну из заповедей разведчика, хотя его вполне можно было понять. Чем могли быть вызваны галлюцинации? Например, действительно переутомлением. Это допустимо, потому что Данилевский всегда был одержим работой и нередко оставался в форпостах по две-три смены. Если разведчик изъявляет желание, это ему разрешается, но при условии, что он идеально здоров. Усталость могла подкрасться незаметно и проявиться резко и неожиданно.

Маккиш покачал головой. Все-таки в это не верилось. Врач «Астролябии» был придирчив и несговорчив. Значит, остаются какие-то особые условия Лигейи. Какое-то вещество в составе атмосферы? Но разведчик работает в скафандре, а внутри форпоста земной воздух. Правда, утечка воздуха все же могла произойти... теоретически, но автоматика немедленно бы это

обнаружила. Данилевский об утечке ничего не сообщал. Может быть, был поврежден скафандр? Но воздух Лигейи не годится для дыхания, повреждение скафандра означало бы почти неминуемую гибель. Еще могло быть какое-то излучение, вызванное, скажем, каким-то крупным месторождением вещества, еще неизвестного человеку. Вот это в качестве предположения подходило больше, хотя и с некоторой натяжкой: и скафандр разведчика, и помещения форпоста защищены от каких-либо излучений... Нет!

Час спустя, пролетая мимо Эланы, Маккиш связался с Кулагиным, и на экране возникло бородатое лицо разведчика-собрата. На Элане было скучно: обычная работа по оценке ресурсов, но там, похоже, никаких ресурсов не могло быть. Планета застыла, была сплошь в торосах. Автоматы форпоста вгрызались в недра и приносили неутешительные вести. И Кулагин считал дни, оставшиеся до окончания стандартного срока. Ему хотелось туда, где была настоящая работа.

С Альтрозой, на которой дежурил Головков, Маккиш связываться не стал: когда позже космокатер пересекал ее орбиту, планета находилась по другую сторону звезды. А еще через несколько часов он подлетел наконец к Лигейе.

Планета была зеленовато-голубой... нет, изумрудной. Издали она представлялась плоским диском, и нимб атмосферы, окружавший диск, с внешнего края почти прозрачный, угадывающийся и невесомый, потом, к поверхности планеты, начинал густеть и наливаться темно-синей краской. Планета была величественной и торжественной; она медленно поворачивалась, пронося перед глазами Маккиша большой материк, похожий по форме на огромную грушу и окруженный созвездием пятен-островов. Материк один на планете, все остальное занимал океан.

Мелодично прозвучал сигнал связи. На экране появилось лицо Данилевского, и Маккиш оторвался от иллюминатора. Несколько мгновений он изучал лицо, и оно ему не понравилось. Под глазами Данилевского лежали морщины, которых прежде не было, казалось, что он постарел лет на десять, и вдобавок, всегда аккуратный, он перестал бриться.

— Здравствуйте, — сказал Маккиш, — я иду на посадку.

— Я вас жду, — ответил разведчик. Глаз он так и не поднял, и Маккиш его понимал. Для того чтобы попросить замену, надо или серьезно заболеть, или же вконец растеряться, признать, что задача тебе не по плечу. Хотя еще неизвестно, на что мужества требуется больше: на то, чтобы заявить всем — и это будет занесено в корабельный журнал, — что ты больше не можешь, признать свое поражение, или в этом все-таки не сознаться?..

Он опустился в двухстах метрах от форпоста, возле космокатера Данилевского. Разведчик, пробывший на Лигейе семь

дней и попросивший замену, одетый в скафандр, встречал Маккиша на месте посадки.

Форпост, конечно, был как форпост, по типовому проекту: жилой отсек, прозрачный купол с лабораторным столом и приборами, внешний стеллаж с ячейками, где помещались автоматы-разведчики. В таких форпостах Маккиш провел... а в самом деле, сколько же провел времени в таких форпостах? Ну, не время считать.

Они вместе сняли скафандры.

— Это нервы, просто нервы! — быстро сказал Данилевский. — Накопилась усталость, и нервы сдали... Или... болезнь?..

— Вы отдохнете, — мягко сказал Маккиш. — Конечно, нервы.

Данилевскому было под пятьдесят. Двадцать пять лет он был разведчиком. Побывал за это время минимум на сотне планет. За это время вполне можно устать и расстроить нервы. Но, если держать себя в руках, врачи еще не скоро смогут это обнаружить... Но нет, все-таки этого быть не могло.

— Давайте чаю выпьем, — быстро сказал Данилевский.

— Чаю? Да, конечно! — Ниточка размышлений Маккиша прервалась. — Один только вопрос. О том, какого рода галлюцинации вас преследовали, я знаю. Но...

— Все, что со мной происходило, я, разумеется, заносил в магнитный дневник. Не скрывал ничего...

В кухонном отсеке они пили чай — это была одна из незыблемых традиций разведчиков: тот, кого сменяли, обязательно угощал на прощание преемника чаем, — а пятнадцать минут спустя Данилевский улетел. Маккиш сам ввел программу маршрута в электронный мозг космокатера, и вмешательства Данилевского в управление не требовалось. Маленькая точка маленького корабля растаяла в ярко-голубом небе, и Маккиш остался на планете один.

3

Утром его ожидало прекрасное зрелище. Местное солнце — красная звезда ТП-66 — окрасило горизонт призрачным розовым светом, густеющим на глазах. На горизонте был лес голубых деревьев — здесь вся растительность была голубой, — и казалось, в лесу набирает силу пожар. Однако Лигейя вращалась быстро; и вот уже диск красного солнца поднялся над лесом, в котором пожар стал угасать, и в наклонных солнечных лучах все вокруг тотчас преобразилось.

Голубые листочки деревьев из небольшой рощицы возле форпоста повернулись к своему солнцу, словно локаторы, и потянулись к нему. Листочки были тонки, почти прозрачны, и красные лучи, казалось, пробили их насквозь, листочки заис-

крились невообразимым светом. Голубая трава плоской равнины, посреди которой на небольшом островке желтого песка стоял форпост, причудливо колыхалась в струях сильного утреннего ветра, и на равнине вспыхивали блестки всех цветов радуги. А красное светило карабкалось вверх, и палитра этого причудливого мира обновлялась все новыми красками.

Маккиш с усилием оторвался от великолепной картины, которую наблюдал из-под купола, и начал рабочий день.

С тем, что успел сделать Данилевский, он уже был знаком. Когда один разведчик меняет другого, дела не надо сдавать и принимать: все сведения есть на магнитной ленте. За семь дней автоматы форпоста собрали исчерпывающие данные об атмосфере и о закономерностях атмосферных процессов. Здесь оказался приятный климат со средней температурой в двадцать градусов; правда, атмосфера не годилась для дыхания и иной раз налетали шквальные ветры. Эти шквальные ветры, как можно было понять, отличались ужасающей силой и должны были сметать на своем пути все. Форпост, например, не устоял бы. Судя по всему, последний ураган только что миновал, и Данилевскому повезло, что высадка на планету была осуществлена после урагана. У этих шквалов, как можно было судить по предварительной обработке результатов, была строгая периодичность: трижды в год.

Автоматы-сейсмологи изучали тектонику планеты. Автоматы-геологи пробурили тысячи скважин; найдены были запасы платины. Несколько автоматов вели биологические наблюдения в океане, и еще два автомата, кружась над Лигейей, составляли ее подробную карту.

Все правильно, Данилевский действовал по стандартному плану. На долю Маккиша, значит, оставался сбор биологических образцов, но автоматы-охотники обычно выходили на работу уже перед самой эвакуацией форпоста, когда автоматы-рабочие, соорудившие это временное пристанище человека-разведчика, уже вот-вот должны были вновь разобрать его и упаковать в космокатер. Еще на долю Маккиша оставались геохимические исследования, ряд других работ ..

Да, а еще на его долю оставались галлюцинации, которые мучили Данилевского. И любопытные галлюцинации.

С командного пункта он отдал приказ автоматам-геохимикам, надел скафандр и вышел из форпоста наружу.

Поблескивающие вороненым металлом, похожие на черепах автоматы уже выезжали из ячеек наружного стеллажа. Они казались медлительными, но внешность была обманчива. Материк Лигейи они могли бы пересечь из конца в конец за несколько часов. Маккиш провожал их взглядом, и тут же одному автомату пришлось воочию показать свою скорость.

Вынырнув из-за низкого облака, на одну из «черепах» спикировали три огромные птицы. Наверное, это странное существо

показалось им легкой добычей. Но в последний момент «черепаха» сделала резкий рывок, и птицы промахнулись. Возмущенно вереща — в динамике скафандра были слышны внешние звуки, — они взмыли вверх и приготовились к новой атаке. Птицы были быстры и уродливы. Их перепончатые крылья — по четыре на каждую, словно у гигантских стрекоз, — были усеяны какими-то наростами, похожими на бородавки, а зубы, торчащие из разинутых клювов, походили на гвозди и были такими же острыми.

Они вновь промахнулись. Когда зубы-гвозди уже готовы были вцепиться в металл — правда, обшивке автомата это не причинило бы, ровным счетом никакого вреда, — «черепаха» молниеносно уклонилась влево. Маккиш усмехнулся: автомат играл с местной фауной в кошки-мышки. Потом «черепаха» с места в карьер набрала скорость и исчезла в лесу, видневшемся на горизонте. Две остальные «черепахи», никем не атакованные, благополучно скрылись с глаз еще раньше.

Птицы снова взмыли вверх и сделали круг над форпостом. Из-за облака вынырнули еще две. Теперь у хищников была другая цель: человек в скафандре. Наверное, сверху он казался таким беззащитным...

Маккиш включил защитное поле, и тут же одна из птиц камнем упала на него.

Он увидел ее клюв прямо перед собой. Странно: для столь быстрого существа у птицы были на удивление мертвые, как будто замороженные глаза.

Защитное поле сработало. Получив мощный удар, птица стремглав взмыла вверх. Остальные не решились повторить атаку.

Вот они, будни разведчика. Маккиш медленно обошел вокруг форпоста и вошел в шлюз. Снимая скафандр, он думал об этом. Сейчас, после знакомства с дневником Данилевского, особенно остро чувствовалось, что он — разведчик. Человек особой, уникальной профессии. А что такое разведчик? Прежде всего ученый самой высокой квалификации и очень широкого профиля. Ученый, который первым дает оценку и тектонике новой планеты, и ее геологическим ресурсам, и флоре, и фауне, если есть и они. Но и этого мало для разведчика: есть еще и всякого рода непредвиденные ситуации, в которых другой человек легко мог бы растеряться и погубить не только себя, но и все собранные научные данные. На Этайе, например, он, Маккиш, однажды сорвал цветок и получил такой электрический удар, что потерял сознание. Но сознание нельзя было терять, потому что к нему, упавшему, со всех сторон потянулись другие такие же электрические цветы. Решение надо было принимать мгновенно. И он успел дать приказ одной из «черепах»-автоматов, которая, по счастью, была рядом, и «черепаха» быстро описала возле него круг, вобрав в себя все электрические заря-

ды, предназначавшиеся ему, и электрические цветы на глазах поникли, увяли.

Да, разведчиком надо родиться. Вот Степанов им и родился: они учились вместе и вместе были в стольких экспедициях, и за спиной Степанова много открытий, и много безвыходных ситуаций. Но он погубил в себе прирожденного разведчика, став командиром, начальником экспедиций. Начальники экспедиций не дежурят в форпостах, а ведь таких разведчиков, каким был Степанов, немного насчитаешь. Впрочем, возможно, к Степанову он слишком строг — Степанов стал прекрасным начальником экспедиций, — но ведь к таким людям, как Степанов, надо применять только высшие мерки оценок, тогда... тогда такие люди, может быть, окажутся способными вернуться в форпосты.

Маккишу вдруг стало весело. Тоже, хорош моралист-судья! А сам о чем мечтает? Разве не хочет он тоже когда-нибудь вернуться в форпосты, чтобы...

Он вошел в жилой отсек, сел за маленький столик и положил перед собой стопку чистых листов. Неужели это свершится когда-нибудь — толстая, объемистая книга, на обложке которой будет его имя. Книга, им написанная, и не о работе разведчика, а о Земле. Ведь столько всего осталось на Земле, что не дает покоя и настойчиво просится в книгу. Потом когда-нибудь он обязательно напишет книгу и о разведке планет, вернее, о людях-разведчиках, но первая книга — о Земле.

Он снова представил фамилию на обложке. Без доли тщеславия, просто так. Маккиш — фамилия редкая. Что, предки были шотландцы? — так его часто спрашивали. Да нет, никаких шотландцев, неизвестно почему и как появилось такое сочетание слогов, ставшее фамилией...

И в этот момент все началось.

4

Стены форпоста растворились, их не стало. От форпоста вообще ничего не осталось. Были ярко-желтый песок, небольшая рощица деревьев с голубыми листьями, прозрачное небо, красное солнце.

Он был без скафандра, и поэтому чувствовал зной. Он был без скафандра, но, как ни странно, мог дышать. Ноги по щиколотку ушли в вязкий песок, сквозь ботинки можно было понять, как он раскален. Но удивиться тому, что произошло, Маккиш не успел.

Громко хлопая четырьмя крыльями, сужая круги, над ним носилась серо-зеленая птица с клювом, полным зубов-гвоздей. Птица камнем свалилась ему на голову, но он успел все-таки увернуться, реакция сработала молниеносно. Зубы-гвозди монстра металлом лязгнули в нескольких сантиметрах, и птица с визгом взмыла вверх.

Так, несколько мгновений было выиграно. Но как защититься? Маккиш быстро огляделся. Впереди была рощица, и под ветками можно укрыться, а там, оказавшись в безопасности, можно подумать, что надо делать дальше.

Он побежал. Но птиц теперь было уже три. Они летали над ним в боевом порядке, одна за другой, и, видимо, готовились пикировать на него по очереди. Делить добычу и, может быть, драться из-за нее они будут потом, а пока они все вместе должны заполучить эту добычу.

Первая из птиц вновь промахнулась. Зубы второй вырвали из комбинезона клок ткани. От третьей он тоже успел увернуться. Он потрогал плечо. Кусок из комбинезона был вырван приличный, но до тела зубы не достали. Ничего, у них все еще впереди, подумал Маккиш и побежал дальше. Медленно, он все-таки приближался к роще.

В следующее мгновение зубы-гвозди разорвали ему локоть. Отчаянно хлопая четырьмя громадными крыльями, птица вцепилась в него мертвой хваткой. На Маккиша холодно, пусто смотрели серо-зеленые глаза. Шея монстра вблизи оказалась голой и жилистой, как у страуса, и на ней пульсировала крупная голубая артерия.

Свободной рукой Маккиш изо всех сил ударил птицу по голове. Нехотя разжав клюв, она поднялась метра на два, но в этот момент другая птица толкнула его в спину, и он опустился на колени. Птица, вцепившаяся в спину, рвала комбинезон. Маккиш ощутил резкую, нестерпимую боль в позвоночнике, и тогда он упал на спину, чтобы придавить, задушить собой птицу. Что-то под ним хрустнуло, обмякло, и клюв отпустил его.

Он встал. В голове звенело, в позвоночнике ныла боль. Не оглядываясь, он еще раз ударил кулаком по клюву вновь зависшей над ним другой птицы и побежал дальше все быстрее.

Жертва уходила от них, и птицы удвоили усилия. Когда до рощицы оставалось метров двадцать, не больше, на Маккиша обрушились сразу три птицы, а увернуться он успел только от одной; клювы двух других тянули его в разные стороны.

«Когда я вбегу в рощу, им придется меня отпустить, — подумал Маккиш как-то отстраненно, — потому что иначе они сломают крылья о стволы...»

Он пробежал эти двадцать метров вместе с птицами. Крыло одной из них, мешая видеть, все время било ему по лицу. Наконец он вцепился в крыло обеими руками, не обращая внимания на то, что зубы-гвозди рвут его тело, и под пальцами что-то хрустнуло.

Крыло, только что упругое, сразу обмякло, стало безжизненным. Оно тряпкой опало с лица, и Маккиш увидел, что роща голубых деревьев уже прямо перед ним, только два шага остается до спасения...

И тут же роща исчезла. Она растворилась в воздухе, подобно миражу, и впереди простирался тот же ярко-желтый песок.

Напрягая последние силы, он стряхивал с себя остервенелых птиц уже как-то машинально, автоматически. Сначала он оторвал одну — вместе с куском комбинезона и клоком своего тела, — и она взмыла вверх, а потом другую. Другая тут же спикировала на него еще раз, и он еще успел увернуться, и птица, возмущенно вереща, тоже поднялась повыше.

А затем он ничком упал на песок, и песок обжег лицо. Но это тепло вдруг показалось приятным и убаюкивающим. Боль ушла куда-то, хорошо было лежать на этом песке, не думая ни о чем и наслаждаясь тем, что вдруг пришла полная расслабленность. Он закрыл глаза и на мгновение провалился в сладкую пустоту. Вынырнув из нее, он снова ощутил приятное тепло песка.

Он услышал, что над ним что-то громко хлопает. Раздавались и какие-то другие неприятные звуки. Что это? Ах да, это ведь птицы, о которых он на мгновение забыл. Как все это было? Он бежал к роще, чтобы от них спастись, но роща исчезла, и спастись было нельзя. Значит, надо встать, чтобы защищаться.

Он с трудом перевернулся на спину, потом с усилием встал на колени, и вдруг снова пришла боль. Но тогда же пришла злость, которой раньше почему-то так долго не было. Он поднялся на ноги и стал ждать нового нападения, чувствуя, что вместе со злостью вдруг появилась непонятная и неизвестно на чем основанная уверенность, что он победит.

От первой из спикировавших на него птиц он снова сумел увернуться. Но на него падала вторая, и Маккиш ждал. Она целилась ему в голову, и он поднял руки, чтобы схватить ее на лету за жилистую шею и отвернуть намертво маленькую головку с непомерно огромным клювом.

Руки ощутили тепло птичьей шеи; он сжал ее, чувствуя, как лихорадочно бьется голубая артерия, и это биение вдруг прекратилось, а сама птица, обмякнув, свалилась к его ногам. Еще два или три раза в агонии щелкнул клюв, монстр встрепенул крыльями и затих.

Сразу четыре птицы упали на него, и все четыре не промахнулись. Но, не обращая внимания на то, что зубы-гвозди снова рвут его тело, Маккиш вцепился в голую птичью шею, стараясь нащупать эту голубую пульсирующую жилку. Вот жилка, вот она перестала биться; и еще одна птица, затрепетав, свалилась на песок. Он схватил шею другой. И снова, сразу обмякнув, она мешком плюхнулась к его ногам. Теперь уже хладнокровно Маккиш принялся за третьего врага, а четвертая птица, поняв, что происходит что-то неладное, разжала гвозди клюва и улетела с недовольным воем.

Маккиш медленно опустился на жаркий песок. Теперь ему

было даже смешно. Скольких мучений и крови стоила ему эта битва, а победить было так просто. У чудовищных птиц есть уязвимое место — артерия на голой шее, — достаточно надавить на нее, и монстр погибнет. Он засмеялся: на шее была ахиллесова пята...

И тут же все исчезло.

5

Маккиш сидел за столом, и перед ним лежал чистый лист бумаги. Машинально Маккиш провел ладонью по комбинезону. Ткань была цела. Сражения с птицами не было. Все это ему привиделось. Причина очевидна: как и на Данилевского, на него напали галлюцинации. Причем — это он осознал сразу же — точно такие же, те же самые галлюцинации.

Он встал и посмотрел по сторонам. Вот шкаф, вот кровать, вот дверь в кухонный отсек. Все, как должно быть. Да, галлюцинации кончились; и сейчас не время размышлять о причинах — это можно будет сделать позже, — сейчас надо сопоставить галлюцинации, испытанные им и Данилевским. Сопоставление не даст ответа о причине, но, может быть, укажет, где надо искать ответ.

Усевшись за стол с приборами под прозрачным куполом, он уже снова собрался приняться за дневник предшественника, но прозвучал сигнал связи, и на экране появилось крупное лицо командира.

— Данилевский прибыл, прошел обследование, — сообщил Степанов после обычного приветствия. — Врач утверждает: состояние здоровья нормальное. О переутомлении речи нет. Психика в полном порядке. Правда, отмечен эмоциональный спад, вызванный тем, что он, разведчик, был вынужден просить замену. Ну и галлюцинациями.

— Значит, к здоровью галлюцинации отношения не имеют? — поинтересовался Маккиш.

Возникла пауза. Командир вопросительно смотрел с экрана. Потом он спросил:

— Были галлюцинации? Какие?

— Те же, что у Данилевского. Бой с птицами.

— Пока у тебя никаких предположений?

— Никаких.

— Чем ты сейчас занимаешься?

— Сейчас я буду сравнивать свои видения с тем, что видел Данилевский, — хмуро ответил Маккиш, и экран после этого погас.

Маккиш включил дневник предшественника.

Вот сведения о работе автоматов-тектоников... нет, о первой галлюцинации дальше... вот выводы Данилевского о цикличности атмосферных процессов... стоп!

Под куполом зазвучал тенор Данилевского. Данилевский явно подбирал слова с трудом. Понятно: не так уж просто здоровому и нормальному человеку описывать посетившие его вроде бы ни с того, ни с сего галлюцинации и причем знать, что с этим описанием потом познакомятся другие люди.

«Еще должен занести в дневник сообщение о странном случае, — неуверенно говорил Данилевский. — Как к нему отнестись, пока не знаю. Вероятнее всего, то, что я испытал, вызвано переутомлением. Впрочем, охотнее я искал бы любое другое объяснение, потому что чувствую себя превосходно...»

«Данилевскому было хуже, — подумал Маккиш, — он вполне мог растеряться и все приписать нервам. А я заранее знал, что галлюцинации могут быть или даже, пожалуй, знал, что они будут...»

Голос с магнитной ленты окреп и обрел уверенность. Разведчик, как полагается разведчику, взял себя в руки и вновь стал хладнокровным исследователем. Маккиш слушал.

Все было точно так же, как у него. Точно так же Данилевский вдруг оказался в песчаной пустыне, без скафандра, и на него напали те же птицы. Точно так же он побежал к роще, отбиваясь на ходу от птиц, и роща тоже исчезла.

Стоп! Дальше было не совсем так. Маккиш прокрутил ленту назад, чтобы прослушать последние фразы еще раз. И тогда тенор Данилевского, уже совершенно спокойный и будничный, сказал:

«Роща исчезла. На меня свалились сразу несколько птиц, и я упал на песок. Птицы терзали тело, я чувствовал боль, но встать не мог, сил уже не было. Мной овладело безразличие ко всему, что происходит. Похоже, что птиц стало еще больше. Я чувствовал, что они рвут меня на куски, у меня мелькнула мысль, что все кончено. И тут же я увидел, что снова сижу за столом под куполом форпоста и, следовательно, ничего этого не было...»

— Так! — сказал Маккиш вслух. — Здесь есть небольшая разница. Но что это дает?

Он задумался.

Ничего это пока не давало. Если предположить, что видения вызваны каким-то веществом или излучением, могли ли у двух разных людей быть одинаковые видения? Излучение или вещество рождает образы, действуя на мозг; вряд ли оно вызовет одни и те же образы. Впрочем, возможно и другое: излучение будит только самые верхние слои памяти, последнюю память. Птицы Лигейи и у него, и у Данилевского должны были оказаться самым последним впечатлением, и вот тогда сходство видений объяснимо. А различные концовки привидевшихся картин можно объяснить разницей темпераментов, характеров...

Он снова обратился к магнитному дневнику предшественни-

ка. Любопытно, была ли какая-то периодичность в галлюцинациях, посещавших Данилевского? После первого видения Данилевский, взяв себя в руки, занимался будничными делами. Выпустил «черепах», которые должны были достичь берега океана и вести исследования в его водах. Отдыхал. Обедал. Отправил на работу «черепах»-геологов.

Стоп! Вот запись о второй галлюцинации. Маккиш быстро подсчитал: она случилась через восемь часов двадцать четыре минуты. Сама галлюцинация была точно такой же, и конец видения был столь же печален: разведчик почувствовал, что сопротивляться больше не может, и тогда все прекратилось.

Так, теперь можно перейти к третьей галлюцинации...

Спустя несколько минут Маккиш сделал любопытное открытие. Промежуток между началом второй и началом третьей галлюцинациями составлял те же восемь часов и двадцать четыре минуты. Четвертая повторилась через такой же срок, пятая и шестая тоже... и так далее.

Он вдруг представил, каково это было Данилевскому, тоже, без сомнения, заметившему эту периодичность, раз за разом ждать, когда птицы словно наяву начнут рвать тело, и иллюзия окажется полной, даже боль окажется вполне достоверной. Данилевский пережил ровно двадцать совершенно одинаковых галлюцинаций. Неудивительно, что на «Астролябии» у него нашли психологический спад, а другой, менее подготовленный человек, запросто получил бы нервное расстройство или хуже того.

Да, все это было любопытно, но по-прежнему ровным счетом ничего не объясняло. Хотя уже позволяло наметить некоторую программу дальнейших действий. Сначала надо было переждать еще одну галлюцинацию, а в том, что она будет, сомневаться, пожалуй, не приходилось. Сравнить первую галлюцинацию со второй. Потом можно будет перебазировать форпост. Если причина явления какое-то вещество, чье месторождение находится поблизости, видения будут слабее или исчезнут совсем. Потом можно будет начать поиски этого удивительного вещества со всепроникающим излучением, хотя автоматы-геологи не нашли ничего необычного.

Вещества, кстати, дающего излучение (если только, разумеется, причина в этом) через строго определенные промежутки времени. Восемь часов двадцать четыре минуты — это... это... И тут вдруг Маккиш понял, что это такое: это ровно две трети суток Лигейи, составляющие двенадцать земных часов и тридцать шесть земных минут с секундами. Почему же именно такой промежуток? Но нет, пока ему не построить разумной гипотезы, надо ждать и собирать новые данные.

И вдруг еще одна мысль молнией вспыхнула в голове Маккиша.

Он надел скафандр и вышел из форпоста наружу. Все было



по-прежнему — рощица с голубыми деревьями, желтый песок и птицы, перекликающиеся высоко в небе.

Маккиш отошел от форпоста в сторону. Он смотрел в небо. Так и есть, птицы заметили его и приготовились к атаке. Но он не стал включать защитное поле, он поднял вверх руки и ждал.

Это были, наверное, другие птицы, не те, что уже знали, как может больно ударить одежда человека, и поэтому нападали смело. Но первую же из птиц Маккиш на лету схватил за жилистую шею и нажал на пульсирующую голубую жилку. И все было точно так же, как в видении: обмякнув, птица упала к его ногам, а другие поспешили покинуть место сражения.

Маккиш медленно побрел к форпосту, и мысль его словно билась о невидимую преграду. Об ахиллесовой пяте этих чудовищных птиц он не мог знать заранее. В первый раз, во время настоящего нападения, отраженного защитным полем, он даже не разглядел, что на шее этого монстра есть голубая артерия. И если так, значит, во время галлюцинации узнал то, чего никак не мог знать, а ведь видения, даже самые причудливые, всегда основаны на реальном опыте человека.

6

Красное солнце на глазах поднималось все выше. Когда на несколько мгновений оно застыло в зените, Маккиш увидел, как посреди равнины с голубой травой вдруг прямо на глазах пробились из земли и потянулись к солнцу побеги молодых деревьев. За каких-то десять минут побеги окутались дымкой голубых листьев, и там, где не было ничего, возникла молодая рощица, точно такая же, что возле форпоста. Да, на этой планете было на что посмотреть.

Маккиш постарался представить, как здесь бывает, когда наступает период ураганных ветров. Деревья, конечно, вырываются с корнем, ураган несет их над материком, как спички. Все сметается с поверхности планеты, и только мрачные горные хребты, кое-где поднимающиеся над материком, стоят незыблемо. Наверное, где-то там, в каких-нибудь горных пещерах, и находят убежище хищные птицы Лигейи. А сухопутные зверьки, должно быть, зарываются глубоко в землю, потому что на поверхности спастись невозможно. К тому же, судя по некоторым геологическим находкам, иной раз ветры набирают такую силу, что гонят на материк из океана гигантские волны, заливающие громадные площади. Ничто на поверхности планеты не может противиться стихии, форпост, например, был бы пушинкой сметен.

Но потом стихают суперураганы, палящее солнце высушивает на материке громадные озера океанской воды. Сначала материк, покрытый желтым песком, пустынен, только горы высятся над ним. Но песок покрывается голубой травой, а потом

вот так, на глазах, из-под земли пробиваются побеги, полные несокрушимой жизненной силы, и то там, то тут одна за другой возникают рощи голубых деревьев.

Он подумал, что платину добывать здесь будет трудно. Впрочем, можно, наверное, создать подземные поселения и в них пережидать периоды ураганов и наводнений. А возможно, решение будет иным: построить поселения-спутники на орбитах вокруг Лигейи и трижды в год любоваться стихийными бедствиями сверху, из космоса.

Маккиш ждал: восемь часов тянулись медленно. Красное солнце наконец зашло, и наступила непродолжительная ночь. Маккиш дал себе короткий отдых до рассвета. Потом он заполнил первые метры своего дневника и просмотрел информацию, собранную одной из «черепах»-геофизиков. Другие «черепахи» должны были вернуться позже...

Он ждал, и наконец часы показали, что после первой галлюцинации прошло ровно восемь часов двадцать четыре минуты. Маккиш приготовился: вот сейчас снова растворятся стены форпоста, он окажется в пустыне, снова налетят птицы, но, в отличие от Данилевского, он снова выйдет в сражении победителем.

Время прошло. Он по-прежнему сидел за большим столом под прозрачным куполом, и все было по-прежнему.

Маккиш вздохнул и позволил себе расслабиться. Значит, повторной галлюцинации не будет? Он направился в жилой отсек, но не дошел до него, потому что бросил взгляд за пределы форпоста.

В голубом небе двигалось какое-то решетчатое сооружение, отдаленно напоминающее первые земные аэропланы. С решетчатым сооружением происходило что-то неладное: оно двигалось рывками, словно бы кто-то порывисто дергал его за невидимую нить, и то взмывало вверх, то проваливалось вниз. Наконец оно неуклюже ткнулось в островок песка, рядом с которым были три дерева, росших так, что издали они напоминали римскую цифру IV, и на глазах развалилось на части.

Из обломков появился человек без скафандра. Шатаясь, он сделал несколько шагов в сторону от места катастрофы и упал. Обломки за его спиной как-то неправдоподобно неторопливо, словно бы показывали замедленную киносъемку, вспыхнули зеленым огнем. Летательный аппарат, потерпевший катастрофу, разгорался все сильнее, а пилот продолжал неподвижно лежать на песке.

7

Он пробежал шлюз и оказался за стенами форпоста. Сразу же его снова обжег палящий зной — он выбежал без скафандра. Воздух, ворвавшийся в легкие, был сухим и горячим, и

уже через несколько мгновений перед глазами Маккиша поплыли красные круги.

Почему-то было очень тихо. Потом послышались гулкие и частые удары. Некоторое время Маккиш пытался определить их природу и наконец понял: в висках стучала кровь. Он сбавил скорость, стараясь дышать глубже и ровнее. Пройдет несколько минут, он втянется в ритм, и тогда темп можно будет взвинтить.

Маккиш побежал быстрее. Круги перед глазами уже исчезли, и тише становились удары в висках. Яснее были теперь и мысли. Он бежал все увереннее, приближаясь к тому мигу, когда тренированный бегун находит второе дыхание. Еще десяток метров, еще...

И теперь его голова была занята только одной, главной мыслью, которая почему-то пришла только сейчас.

Как, каким образом на Лигейе появился этот летательный аппарат? И этот человек? И кто он? Ничего этого действительно не могло быть — ни пилота, ни летательного аппарата, — если бы на Лигейе была разумная жизнь, не могло быть так, что за все это время на материке не нашлось ни малейших ее признаков. Но в первое мгновение Маккиш не думал об этом, потому что сразу же бросился человеку на помощь. Могло ли все это быть или не могло, в конце концов это вопрос для последующих размышлений, а помощь была нужна немедленно.

Он добежал, остановился и, переводя дыхание, дал себе несколько мгновений отдыха. Рядом с огромным зеленым костром, в который превратились теперь обломки летательного аппарата, жара была совсем нестерпимой. Обжигающий воздух казался плотной стеной, которая не позволяла сделать ни шагу дальше. Но до пилота оставалось еще несколько метров, и, зажмурившись, Маккиш шагнул в стену.

Он закашлялся, дыхание перехватило, за этой стеной невозможно было дышать. Нагнувшись, он осторожно взял пилота под мышки и, чуть приподняв, стал тащить его по песку.

Человек, одетый в голубой костюм довольно странного покроя, был на удивление мал ростом; если б он встал на ноги, то далеко не достал бы Маккишу и до плеча. Кожа лица была медно-красной, губы толстыми, нос слегка приплюснутым, волосы казались соломенными.

Он взял его на руки.

Купол форпоста сверкал в лучах красного солнца, как драгоценный камень, зрелище было очень красиво, это Маккиш отметил машинально, но до форпоста было не меньше километра. С ношей на плече, в палящий зной, по вязкому песку это займет минут пять-шесть, если не больше...

Он преодолел это километровое пекло за пять минут. Он чувствовал, как с движением секундной стрелки все реже бьется сердце пилота. Зато, казалось, вот-вот вырвется из груди

его собственное сердце. Не было времени отдышаться, и, уложив человека на кровать, Маккиш бросился к аптечке. Стимулирующую инъекцию — первое средство — надо было сделать немедленно. Потом раненого надо обследовать с помощью микродиагностика, который определит дальнейшее лечение.

Шприц готов, осталось обнажить руку, чтобы сделать укол. Маккиш вдруг заметил, что у пилота не пять пальцев, а шесть. Но об этом не было времени размышлять, и Маккиш сделал укол; потом, подумав, сделал еще один. Вот теперь можно положить на грудь пострадавшего микродиагностик, и прибор начнет работу, которая всегда казалась Маккишу чуть ли не сверхъестественной. Ну как в самом деле это может быть, чтобы маленькая коробочка, помещенная рядом с человеком, тут же выдавала самую полную информацию о состоянии его здоровья, а если человек болел, еще и указывала, какие нужны препараты.

У человека, неизвестно каким образом и откуда попавшего на Лигейю, вдруг дрогнули губы. Несколько мгновений спустя лицо начало розоветь, к нему возвращались краски жизни. Маккиш бросил взгляд на индикаторы микродиагностика и ничего не понял: появившиеся там показатели были совершенно невероятными, они не имели ничего общего с привычными параметрами; но так и должно было быть, потому что человек, лежащий сейчас на кровати в форпосте, не был человеком.

Лишь только теперь Маккиш — он удивился этому — допустил до своего сознания мысль, казавшуюся столь простой и очевидной. Лигейя обитаема, только по какой-то совершенно необъяснимой причине до сих пор это не обнаружено. И вот на его глазах пилот-лигейянин потерпел аварию у форпоста, и он, Маккиш, сумел спасти его от гибели.

«Нет, нет, нет! Не так мы себе представляли самую первую встречу», — как-то отстраненно, словно бы это касалось не его, а кого-то другого, подумал Маккиш, и в этот момент у пилота дрогнули веки.

Маккиш застыл на месте, всматриваясь в лицо инопланетянина. Лицо снова было медно-красным, живым. Грудь пилота стала ритмично опускаться и подниматься, теперь он дышал полно и глубоко. Веки продолжали трепетать, и наконец пилот открыл глаза.

Из-за иссиня-черного цвета они казались бездонными. Но еще некоторое время глаза все еще были неживыми, ничего они не выражали. Мысль возвращалась в них постепенно, какими-то скачками, и Маккиш следил за этим, затаив дыхание и боясь пошевелиться.

А в следующий момент пилота-инопланетянина не стало, как, впрочем, не стало и микродиагностика, и шприца, да и самого жилого отсека.

Маккиш все еще стоял под прозрачным куполом, неподалеку

от лабораторного стола. Здесь все было по-прежнему: приборы, экран видеосвязи, письменный стол. Он растерянно огляделся по сторонам.

За стенами форпоста все было по-прежнему: деревья, трава, песок, птицы, три дерева в виде римской цифры IV. Обломков летательного аппарата, костра, конечно, нигде не было.

Он потер ладонями лицо. Обломков, как и самого летательного аппарата, и не могло быть, потому что точно через восемь часов двадцать четыре минуты его снова посетила галлюцинация. Правда, совсем не такая, как в первый раз. У Данилевского таких не было.

8

Ну, так что все это значит?

За спиной Маккиша раздался голос Степанова. Он обернулся: лицо командира на экране было встревоженным.

— Ну, наконец-то, — сказал Степанов. — Что происходит?

— А что было? — спросил Маккиш.

— Ты несколько минут стоял совершенно неподвижно. Смотрел в одну точку. Ничего не слышал. — Степанов помедлил. — Галлюцинация? То же самое?

— Есть существенная разница...

Очень быстро, так, словно решение было принято им уже давно, Степанов сказал:

— Я буду у тебя через девять часов. Вылетаю прямо сейчас. Но... может быть, ты хочешь вернуться?

Маккиш покачал головой и коротко ответил:

— Нет! Я тебя жду.

Здесь и в самом деле нужен был опыт еще одного человека, подумал Маккиш, и, наверное, даже не одного; здесь происходило что-то такое, чего не переживал еще ни один из разведчиков. Хорошо, что здесь будет именно Степанов, потому что как ни говори...

Экран погас. Маккиш снова остался наедине с непонятным. Теперь ненадолго. Впрочем, если все будет по-прежнему, еще одну галлюцинацию он переживет в прежнем одиночестве. Третью.

Сначала Маккиш занес рассказ о том, что происходило, в магнитный дневник. Потом надел скафандр и вышел из форпоста наружу.

Ветер, заметно усилившийся, гнул ветки с голубыми листьями и поднимал маленькие барханы на островках песка. Красное солнце поднималось в зенит, и причудливо колыхавшиеся тени деревьев заметно укорачивались. Проходя мимо одного из деревьев — оно было остроконечным, — Маккиш подумал о том, что тень его похожа на стрелку компаса: показывает как раз на то место, где растут в виде римской цифры IV три дере-

ва и где, как привиделось ему во время галлюцинации, упал летательный аппарат. Он шел и думал о том, что галлюцинация оказалась поразительно реальной — местность перед ним была точно такой же, в самых мельчайших деталях, как и увиденная им во время... во время чего? Он знал, что там, куда показывает указательная тень-стрелка, он, конечно, не найдет ничего, и все-таки продолжал идти вперед; и снова его мысль словно билась о невидимую преграду.

Он дошел наконец до места, где росли три приметных дерева, и остановился. Это было поразительно: совпадение галлюцинации и реальности оказалось абсолютным. Это было невероятно, невозможно, и все-таки было именно так. Вот клочок голубой травы, запомнившийся потому, что он был идеальной треугольной формы, словно так и задумал какой-то неведомый садовник; вот сломанная порывом ветра упавшая с одного из деревьев ветка, вертикально воткнувшаяся в песок... И разница была только в одном — в видении, которое посетило Маккиша некоторое время назад: вот здесь, рядом с равносторонним треугольником травы, лицом к нему лежал человек, которого он хотел спасти; и у подножия трех одиноких деревьев дымились обломки его летательного аппарата.

Он медленно побрел назад, к форпосту.

Так что же все это могло значить?

И прежде всего почему вторая галлюцинация так отличалась от первой, в то время как галлюцинации Данилевского были все одинаковы? Данилевский все время сражался с птицами и терпел поражения.

А он, Маккиш, победил.

Он резко остановился.

Он победил, и поэтому вторая галлюцинация была у него другой. Данилевский терпел поражения, и поэтому был обречен снова и снова сражаться. А если бы Данилевский тоже хоть раз победил?.. Но он проигрывал раз за разом, и галлюцинации у него повторялись. Повторялись, как будто кто-то ждал, когда же он все-таки найдет оружие против птиц, а решение было таким простым, требовалось только немного воли, стойкости, мужества.

Маккиш помотал головой. Нет, это все-таки было невозможно. Но... ничем другим это тоже невозможно объяснить... Значит, какой бы невероятной она ни казалась, надо достроить эту гипотезу до конца. Итак...

Он опустился на песок и, чувствуя, как сильно бьется сердце, стал развивать эту невозможную, невероятную, фантастическую и вместе с тем все объясняющую мысль.

Галлюцинации — искусственного происхождения. Они вызываются, например, каким-нибудь излучением. Испытуемому дается задача — сначала бой с птицами. И, хотя испытуемый остается во время вызванной галлюцинации в неподвижности, в

мозгу его происходит работа, которая кем-то и как-то фиксируется и оценивается. Мозг принимает решение, определяющее поведение человека в заданной ситуации. Разные люди ведут себя по-разному. Мозг Данилевского никак не мог решить предложенную задачу, и поэтому задание все время повторяли. А он, Маккиш, победил, и тогда ему дали другое задание.

Но кто и зачем?

Зачем? Да просто для того чтобы узнать цену существу, появившемуся вдруг на Лигейе. Для того, чтобы определить, чего от него можно ждать, достоин ли он внимания...

Данилевский испытания не выдержал, а сам он решил задачу с первой попытки. Возможно, ему просто повезло, возможно, у него лучше реакция, больше выносливости, чем у Данилевского, и это определило те решения, которые принимал его мозг во время вызванной галлюцинации. Вероятно, первое испытание — бой с птицами — было испытанием на смелость и находчивость. Тогда второе — на доброту, сострадание, готовность помочь...

Он снова покачал головой. Если галлюцинации действительно были испытаниями, не слишком ли жестокими они оказались? Данилевскому они измотали нервы... хотя, возможно, он сам виноват, раз так быстро сдавался. И почему, собственно, испытания были жестокими? Ведь на самом деле ни Данилевскому, ни ему самому не грозило никакой опасности. Все было воображаемым, все было похоже на тренировочный полет, когда для курсанта имитируются различные экстремальные ситуации, а на самом деле он работает на тренажере.

И все-таки... И все-таки, если какая-то цивилизация встречает представителей другой цивилизации, нужны ли вообще какие-то испытания? Ведь такие встречи, должно быть, невероятно редки, у землян, во всяком случае, не было еще ни одной такой встречи...

Он усмехнулся и, как маленький мальчик в песочнице, стал струей сыпать на ладони песок. А как, собственно, вели бы себя мы сами, если б на Землю вдруг прилетел разведывательный корабль из неизвестно каких далей вселенной? Бросились бы к ним с радостью, как об этом чаще всего писали, представляя себе такой момент, писатели-фантасты, или же все-таки прежде всего проявили бы разумную предосторожность? Последнее, наверное, было бы вернее...

Ну а что же теперь? Второе испытание, надо полагать, он тоже выдержал. Придя на помощь неизвестному, он, по-видимому, показал ИМ, что он, пришелец, способен на доброту и понимание.

Он встал. И тогда сразу же маленькое окошко в сплошной стеклянной преграде на пути его мысли вдруг снова захлопнулось. Потому что то, о чем он думал, было невозможно. Лигейя была пуста, автоматы не могли не заметить хоть каких-нибудь

признаков разумной жизни. Две другие планеты системы тоже были необитаемы, и, значит, некому было проверять земных разведчиков галлюцинациями.

Маккиш медленно возвращался в форпост, и под ногами мягко шуршал раскаленный песок. На мгновение красное солнце закрыла тень: в небе, громко перекликаясь, спешили куда-то несколько четырехкрылых птиц.

9

Когда очередной восьмичасовой отрезок времени стал подходить к концу, Маккиш понял, что начинает нервничать. До этого он работал: встретил вернувшихся «черепах» и выпустил на работу других. Занимался микробиологическими исследованиями. Внес собранную автоматами информацию в магнитный дневник. Но за полчаса до того, как, судя по всему, должен был начаться третий сеанс наваждений, Маккиш поймал себя на том, что третий раз диктует в дневник одну и ту же фразу. Тогда он резко нажал клавишу и остановил ленту.

Степанов был теперь совсем близко. Пройдет час, может быть, чуть больше, и его космокатер опустится рядом с форпостом. Правда, это будет уже после нового сеанса галлюцинаций, которые или все прояснят, или запутают все еще больше.

Лицо Степанова появилось на экране, как только Маккиш подумал о нем, — командир словно был наделен даром телепатии. Лицо Степанова казалось хмурым и озабоченным, но, приглядевшись, Маккиш заметил в нем и какие-то неуловимо новые черты, каких на корабле никто никогда не видел. И он вдруг понял: да ведь Степанов попросту рад, что летит на работу в форпост и что его ждет загадка, с какой, пожалуй, еще никто из разведчиков не сталкивался.

— Идеи есть? — спросил Степанов.

— Есть, — отозвался Маккиш. — Планета населена, и галлюцинации — это проверка нас на то, кто мы такие и стоит ли вступать с нами в контакт. Ставя перед нами разные задачи, они каким-то образом понимают, как бы мы поступили в данной ситуации. Есть, правда, одна загвоздка. — Маккиш заставил себя улыбнуться. — Население планеты, должно быть, совершенно невидимо. И невидимо все, что ими возведено, сооружено, построено. Невидимы корабли, летательные аппараты, заводы, энергоустановки... Это цивилизация невидимок.

В глазах Степанова появились огоньки.

— Если ты можешь выдвигать такие гипотезы, — сказал он, — дела с тобой обстоят не так уж плохо.

— Да я не шучу, — сказал Маккиш и вдруг почувствовал неожиданную обиду. — Не шучу, — повторил он упрямо.

Степанов улыбнулся широко и открыто.

— Ладно, еще немного, и мы с тобой во всем разберемся. Я уже почти долетел.

Экран погас. Степанов остался один, в своем космокатере, подлетающем к Лигейе. А он, Маккиш, один остался в форпосте.

И вдруг каким-то необъяснимым чутьем он понял, что действительно не шутил сейчас, что сказал Степанову истину, хоть и кажется она невероятной и невозможной.

Маккиш встал. Ему вдруг стало легко и просто. За несколько последних часов он трижды отвергал пришедшую к нему после второй галлюцинации безумную мысль и трижды снова к ней возвращался, потому что... Потому что не мог найти ничего другого. Но для того чтобы принять гипотезу, не хватало доказательств и не было необходимых объяснений. И вот теперь, когда он попытался ответить на вопрос командира не очень веселой шуткой, все вокруг словно встало на свои места. Это было озарение, и, возможно, оно было составной и необходимой частью **испытания,** которое ему пришлось держать и которое он, похоже, выдержал. Он представил, как сейчас кто-то внимательно следит за ходом его мысли, возможно, его рассуждения, как прежде его галлюцинации, проецируются на каком-то экране; и он стал додумывать все до конца.

Трижды в год на Лигейю обрушиваются ураганы, сметающие все на своем пути. Здесь не осталось бы ничего, любое из сооружений человеческих рук было бы опрокинуто, сдуто, сметено. Но проходит пора урагана, и вновь появляются деревья и трава, снова воздух рассекают птицы, нашедшие где-то убежище, из каких-то потайных нор выползают животные и греются в теплых солнечных лучах. Так неужели человек не нашел бы в таких условиях самого простого, но гениально простого решения? Да ведь сам он, размышляя о том, каково будет здесь работать землянам, решил задачу, причем даже двумя способами.

А испытание?

Действительно ли оно было необходимо для того, чтобы люди одной планеты протянули руку людям другой? Наверное, если б форпост был развернут на Лигейе чуть позже, все было бы по-другому. Но у НИХ была возможность испытать существо, появившееся у них дома неизвестно откуда и с неизвестными целями, и ОНИ испытали его, чтобы убедиться в том, что он храбр, добр, находчив. И пока все говорит о том, что он вел себя так, как ОНИ этого ждали от него. От чего это зависело? От его подготовки, тренированности? Возможно. А Данилевский? Что ж, и он в конце концов решил бы, вероятно, задачу. Человек должен был бы решить ее, пусть не с первой попытки, но с десятой, с сотой. Наверное, так будет всегда: чтобы подняться на следующую ступень, человек всегда должен будет

пройти **испытание**, показать кому-то, и прежде всего самому себе, что он, человек, может все.

Маккиш ходил под прозрачным куполом форпоста. Теперь время тянулось медленно, а ему хотелось, чтобы оставшиеся минуты пронеслись мгновенно. И теперь он уже почти наверняка знал, что ему будет показано во время третьего сеанса испытания. И не ошибся.

Стены форпоста в назначенный час вновь растворились. Он снова стоял на песке без скафандра и смотрел, как на безжизненной и безлюдной до этого равнине один за другим поднимаются из-под земли странные решетчатые и ажурные сооружения, которые были, вероятно, домами, заводами, энергостанциями, уходящими с помощью каких-то специальных механизмов на время ураганов глубоко в недра планеты; он слушал, как наполняется воздух гулом голосов. Ему навстречу шли люди, шестипалые, в серебристо-голубых одеждах, делающие на ходу знаки приветствия: руки скрещиваются над головой и раскачиваются взад и вперед. И он тоже сделал такой же знак и пошел к ним.

Все, видение тут же кончилось, он снова был в форпосте, один.

Направляясь в шлюзовую, Маккиш улыбался. Вот сейчас произойдет то, чего никогда еще не было ни с одним человеком, но он не чувствовал волнения, ему просто было хорошо. Вот сейчас он наденет скафандр и выйдет на поверхность Лигейи. Минут через тридцать здесь, рядом с форпостом, опустится космокатер Степанова. Но еще до этого, должно быть, он, разведчик Маккиш, наяву увидит, как появляются на поверхности планеты дома Лигейи, наяву услышит, как воздух наполняется голосами людей Лигейи, и он пойдет им навстречу.

ВИКТОР ПОЛОЖИЙ

ЧТО-ТО НЕЛАДНО...

Фантастическая повесть

1

«Устал», — спокойно подумал Адам Сезар, когда ему показалось, что корабль клюнул носом. «Устал, устал», — прикрыв веки и откинувшись в кресле, Сезар то ли пропел вслух, то ли бравурная мелодия пронеслась в его мозгу; он соединил ладони на затылке, напрягая все мышцы, сладко потянулся и сразу же расслабился, словно собирался зевнуть и уснуть.

«Глория» содрогнулась снова.

Какая-то нелепость, мотнул головой Сезар, это же не самолетик, который клюет носом при пустячных неисправностях,

будто конь спотыкается во время бега; такой дурацкий конь был у Ленгстонов: бежит-бежит, а потом вдруг останавливается — и ты летишь через голову, и смотришь на него уже снизу: стоит, расставив передние ноги, ушами прядет, а взгляд вовсе не конский, с придурью; кажется, сейчас спокойно спросит: ты разве упал? Так вот, когда в двигателе перебои и самолет, словно раненая птица, начинает дергаться, проваливаться, ты весь собираешься, но не напрягаешься — нельзя закаменеть и притупить реакцию: становишься как электрический еж, и каждая иголка твоя пульсирует, будто жилка на виске; тогда ты живешь, чувствуешь, что живешь, и хочешь жить, и должен посадить самолет. В космосе такое исключено, с показным сожалением вздохнул Сезар, в космосе, если судьба уж отворачивается, то и мизерной неисправности достаточно, чтобы о тебе никогда больше не услышали; здесь и не пытайся бороться со взбудораженной стихией, сиди и жди взрыва, ослепительное сияние, садиться некуда, с парашютом не выпрыгнешь. То, что мгновение назад подчинялось твоему мизинцу, теперь уже во власти глухого и черного пространства, этой сферической ямы, которую, видать, пронзили снаружи, с какого-то другого мира, тонкими иголками звезд.

А «Глория», думал Адам Сезар, содрогаться не может, при ее весе, при ее скорости даже маленькой конвульсии не заметишь — сразу прощайся с жизнью.

Адам Сезар еще никак не верил ни красному сигналу опасности — тем более, что вначале красный глаз вспыхивал в ритме здорового сердца, а потом точно сник, поугас, порозовел, задрожал с перебоями и наконец погас совсем, — ни пронзительному звуковому сигналу, взявшему сперва самую высокую ноту, вдруг начавшему безнадежно смолкать; ни липкой слабости, обволакивавшей все тело, отчего оно, казалось, погрузилось в ванну с густым и теплым рассолом.

«Удивительно, даже и поныне удивительно, как меня приняли в астронавты, — думал Сезар. — В детстве я твердо верил, что летчики и астронавты — люди железные и виражи и перегрузки для них развлечение. У меня же всегда подкатывал к горлу ком, когда тренировочный самолет делал горку, и плыли круги перед глазами, когда машина набирала скорость. И даже став взрослым, я сомневался в выводах медкомиссий: «годен». Пока не убедился: другие испытывают то же, что и я. Все мы из одного теста. В принципе. И наше, астронавтов, назначение только наблюдать за автоматикой, ведущей корабль, да вовремя корректировать программу. Это не самолетик, где штурвал в руках придает уверенности. Здесь электроника сама, без твоего вмешательства, сделает нужное дело в миллион раз быстрее!

А сейчас, похоже, и автоматика не в состоянии что-либо изменить. Угасают большие и малые экраны, подсветки приборов, угасает освещение в салоне, тьма, липкая, как и слабость в те-

ле, давит на веки. И тогда Сезар подошвами, спиной чувствует, что «Глория» все же вибрирует, после каждого толчка заваливаясь носовой частью, будто действительно теряет последние силы и вертикально летит в бездну. В сплошной тьме он как бы со стороны увидел свой мозг, точнее, не мозг, а узкое и длинное табло, на котором быстро менялись зеленые буквы: «Этого не может быть, не может, не может, ведь, случись любая неисправность, я бы уже не существовал, она не может клевать носом, я, наверное, сплю, и мне мерещится кошмар». Зеленые буквы бежали, а он стоял и отрешенно читал свои мысли. Давно такое не бредилось, считай, с тех пор, как перестал во сне летать, и сейчас он обо что-то зацепится, со стоном встрепенется, окончательно проснется и счастливо засмеется: надо же так... Важно только дождаться удара, не вскочить преждевременно, чтобы радость облегчения была полной.

Удар получился несильный, и, видно, треснула не обшивка «Глории», а то, с чем она столкнулась; ее отпружинило, но не отпустило от себя; по инерции помчалась по гладкой поверхности, наращивая скорость и покачиваясь. Будто упала на пруд, где когда-то они гоняли шайбу по первому льду, а лед трещал и дыбился выпуклой волной впереди. «Вот и хорошо, — подумал Сезар, — это в самом деле сон, сейчас последует еще один удар — о дамбу, и я наконец-то проснусь».

2

Адам вспомнил, что в подобных случаях инструкция предписывает принимать астроморф — круглые розовые таблетки, после которых астронавт способен полностью контролировать свое состояние и быть уверенным, что он не спит и не бредит, пусть там вселенная хоть навыворот выворачивается. Если ему, конечно, не приснилось, что он глотнул астроморф...

Сезар подбросил на ладони ампулу, зачем-то осмотрел ее со всех сторон, перечитывая надписи, а потом ногтем большого пальца поддел пробку, вытянул ватку и выкатил розовую горошину.

— Что же это я, — намеренно сказал вслух, чувствуя, однако, что звук с напряжением преодолевает какую-то преграду в горле. — Что же это я, — сказал еще громче и заворошился в кресле, — уже не контролирую себя? — И со злостью посмотрел на розовую таблетку, что каталась в пригоршне.

Собственный голос принес ему облегчение, оцепенение будто бы миновало, а неудовлетворение, всколыхнувшееся внутри, освежило мускулы. Он с удивлением увидел, что в салоне, источаемый стенками и потолком, ровно горит рабочий свет, все приборы и указатели тоже оказались исправными, а W-панель сообщала, что за бортом условия благоприятные, можно дышать, двигаться и пить воду из ручья.

Адам Сезар пренебрежительно махнул рукой и глотнул астроморф.

— И вы думаете, что-либо изменилось? — разведя руками и обращаясь к воображаемой аудитории, сказал он ровно через пять минут. — Совсем ничего. «Глория», которая должна лететь 1/5С и быть уже далеко-о, стоит на твердом грунте, который по всем особенностям идентичный земному. «Глории» надлежало доставить аппаратуру на межпланетную станцию, а она, как конь Ленгстонов, взбрыкнула и айда домой. Или избрала планету, похожую на Землю. Ха-ха! Но техника, господа, не виновата, пусть директора фирм спят спокойно и не опасаются конкурентов. А вот руководству междугалактических сообщений стоит подумать, не отлетал ли своего пилот Адам Сезар. Представляете, у него галлюцинации. И настолько устойчивые, что он готов принять их за реальность. Таким не место среди нас! Ему может померещиться черт-те что... Именно, господа, черт-те что... По меньшей мере, будто он стал богом и создал новый мир. И сейчас этот свой мир он осмотрит. Прошу внимания: включаю экран внешнего наблюдения. Ну вот, как и следовало ожидать: герой во сне возвращается в милое сердцу детство, в наиболее памятные места. Видите прямо перед собой широкую долину с редким кустарником? Здесь мальчик из бедной крестьянской семьи пас коров, своих и чужих. Посреди нее овражек, когда-то он казался глубоким, а сейчас просто ложбинка. И канава обмелела, кажется, и вовсе заросла осокой, низкой и вихрастой. В той канаве когда-то тихо и незаметно текла вода, коричневые рыбешки с маленькими усиками скользили по самому дну, поднимая хвостиками песчинки. Каждой весной на межполосье Сезары и Ленгстоны сооружали запруду, набиралось озерцо, чтобы скотине было где напиться в жару, а мы к тому же и купались там голышом... Вот, значит, что вы видите перед собой, — смущенно закончил Сезар.

Эта долина снилась ему очень часто — такой, как запечатлелась в памяти. С пяти лет он изучил на ней каждую купину и каждую норку тушканчика, знал все редкие кусты ольхи и извилистые повороты ручья. И сейчас казалось, будто он возвратился в страну своего детства и, хотя минуло много лет, застал ее в прежнем виде.

Сезар вздохнул и прикрыл веки. Мысли о предполагаемой аварии его больше не волновали. Сон — значит сон, и если над ним затеяли какой-то эксперимент, спасибо тому, кто приготовил такой подарок. А ведь как сильно хотелось вырваться из этой долины! И еще мальчишкой знал, как нелегко придется. «Школа не гарантировала успеха — я ее посещал пять месяцев в году, не больше, весной и осенью приходилось пасти стадо, а когда подрос, то и садиться за руль трактора, помогал отцу. Я в семье был один парень, и мне надлежало унаследовать ферму. Стать таким же, как парни Ленгстонов, Колхау-

зов, Ришаров. Родители взлелеяли эту мечту, им порой казалось, будто я лодырь, обманываю их надежды. Наверное, поэтому я и решил вырваться в другой, более удивительный мир, к людям, в город, к чудесам. И нисколько не полагался на школу, знал, что грамотой мне не взять. Уповал на счастливый случай, что какой-нибудь талант все же должен во мне прозреть. Сколько песен я прогорланил в этой долине! Надеялся: будут ехать мимо артисты (зачем? куда? — смешно!), услышат мой голос и увезут с собой, и потом на мои концерты зрители станут прорываться сквозь цепи полицейских — так, как случилось с тем парнем, о котором вычитал в газете». «О милая Рут, не жди меня, не зови...»

О, милая Рут, не жди меня, не зови!

3

«Глория» приземлилась невдалеке от ручья, но телеглаз не мог заглянуть далеко, туда, за пригорок, где стояла их ферма, а также соседние — Ленгстонов, Колхаузов, Рашаров. Четверть века назад Сезар видел в последний раз эти места, прощаясь с ними навсегда: один талант у него обнаружился — здоровье и незаторможенные реакции в самых невероятных ситуациях. Сезар улыбнулся. Он легко освоился, чувствовал себя свободно, ничто ему не угрожало, и он даже не возражал бы продлить этот прекрасный сон, или как его можно еще назвать. «Пускай снится, — решил, — выйду сейчас и посмотрю, что осталось на месте нашего дома». Его купили Ленгстоны для Николя, кажется, после смерти отца, когда мать перебралась к нему в городок астронавтов.

То, что он увидел, взойдя на пригорок, не поразило и не удивило его. Ни от их фермы, ни от соседних не осталось ни следа. Вокруг, куда ни посмотри, раскинулась равнина, закрывая горизонт голубым туманом, вязы исчезли, даже кустика нигде не видать, а поля, где когда-то шелестели низкая лохматая пшеница, гонкая кукуруза, поспевала мясистая ботва свеклы, цвел горох, бобы, соя... даже полей не было, им и плуг давно не снился, их затянуло такой же дикой травой, как и ложбинку, долину. Ему от этого не сделалось досадно, и он понял: ведь подсознательно в душе надеялся, желал, чтобы ничего здесь не уцелело, ничто не могло причинить боль. И только в конце ложбинки, извивавшейся латинской буквой зет, в полумиле отсюда стояло матовое сферическое сооружение без окон и дверей, смахивавшее на черепахоподобную «Глорию», только имеющее более гладкую поверхность, а мимо него стлалась, сверкая, туго натянутая лента автострады.

Сезар оглянулся на «Глорию», действительно стоявшую, как притихшая черепаха, даже ее параметры уменьшились среди этой пустыни. Он подумал: подобное присниться не может,

пусть воздействие астроморфа и сомнительно, но ведь как могло сниться то, чего никогда не видел? Не смоделировал же он в самом деле во сне происшедшие изменения, таких способностей раньше за собой не замечал. Значит, корабль летит намеченным курсом, а психологи включили в программу полета скрытый эксперимент над астронавтом, наверное, с какой-то целью, неизвестно только, полностью ли подчинено его, Сезара, сознание программе, или оно в состоянии проявлять и самостоятельность, хотя бы в определенных границах.

Почувствовал легкое раздражение — нет, не потому, что оказался в зависимости у неизвестной силы, давно смирился, что астронавт — личность наиболее зависимая: от техники-автоматики, программы полета, неожиданных ситуаций. Иллюзорность полной свободы, все, мол, в твоих, и только в твоих руках, или, как часто повторяли американские астронавты, каждый гребет в своем каноэ, начала рассеиваться еще на Земле, задолго до старта, когда тебя несколько месяцев до седьмого пота гоняют на тренажерах, и ты злишься на свое тело, организм, оболочку, такую, оказывается, неповоротливую, не способную без спецподготовки функционировать в космосе, и думаешь, что земляне только и годны в пастухи, а не быть детьми и хозяевами вселенной; когда умственные и психические данные тестуют так, что, кажется, будь в твоем мозгу предохранители, их бы пришлось часто менять; и снова в мыслях то же самое, ты будто не часть целого, не гармонируешь с ним, а словно посторонняя антиматерия, намеревающаяся ворваться в чужую стихию, — да ведь она же тебя сама и родила!

О господи, мало ли еще чего было — те же «частные» поручения службы информации: мы вмонтировали некоторые приборы (известно, какие это приборы: подслушивать, фотографировать советские спутники, станции, корабли), они вам не добавят хлопот, только время от времени меняйте кассеты (сроки указаны) и складывайте в ящик, оплата отдельно — и немалая, а осмелишься отказаться, не видать тебе космоса...

Усилившееся раздражение вдруг толкнуло его вперед. Размашисто шагая в направлении сферического строения, громко, но в мыслях, разговаривая сам с собой, несколько раз повторил: ну и что, ничего мне не угрожает, там все предусмотрели, могу делать по своему желанию, пусть поломают головы, мне ведь ничего не угрожает, зачем же топтаться на месте... И, чтобы не переться напрямик, взял на сотню метров левее и пошел к автостраде, а по ней уже на сближение с куполом.

Когда Сезар приблизился шагов на пятнадцать, матовая окружность сооружения покачнулась, а может, это ему просто показалось, поскольку на куполе бесшумно появился люк, а скорее дверь, а на пороге встал мужчина... Сто чертей, это был Николя, его однолеток, Николя Ленгстон — собственной персоной, уж ленгстоновские крючковатые носы и выпученные чер-

ные глаза не перепутаешь ни с какими другими; это был Николя, только имевший вид, как его сорокалетний отец, именно таким тот запомнился Сезару, сорокалетний, а на вид — все шестьдесят, фермерская работа, что ни говори, выдубливая кожу, как будто консервирует человека, очень непросто сразу определить его возраст.

Николя, скрестив руки на груди, ждал. А на куполе вспыхнуло зеленым: «Ленгстон. Заправка. Ремонт. Прокат».

— Николя... — сказал Сезар и запнулся, попробовал пальцами воздух, подыскивая слова.

Ленгстон невозмутимо ждал. Ну конечно, разве ему узнать своего бывшего друга и соседа спустя четверть века, да еще и в этом костюме...

— Я Адам Сезар, Адам... ну, помнишь?..

Ленгстон, переступив с ноги на ногу, протянул вперед правую руку ладонью кверху; Сезар было потянулся пожать загрубевшую руку, но его опередил спокойный и немного безразличный голос:

— Ваша карточка! Что желаете? Испортилась ваша громыхающая черепаха? Автопрокат? Медицинская помощь? Завтрак? Ваша карточка?

— Николя? — Сезар почему-то устыдился, он невольно посмотрел на купол. «Омари Ленгстон» — светилось там, «Омари» — красным.

— Николя, я знал твоего отца, Сержа Одно Ухо, он родился с одним ухом. Или, может, ты Виктор? «Что я болтаю? Он же Омари... Действительно, как во сне...»

Сезар растерянно потер лоб. «Не торопись, спокойно, спокойно, это о н и подбросили мне такую головоломку, пытаясь вывести меня из рабочего состояния, а я мигом и клюнул: детство, кони, долина... Купили за гроши. А ведь оно нереальное, фантомы, подсознательное, а я едва слезу не пустил, черт!»

— Ваша карточка, — повторил Омари Ленгстон.

Карточку? А, дудки! Хотя, если желаете карточку, прошу, немного поиграем, я еще не робот, не спятил в полете, наверное, и чувство юмора сохранилось. Вот вам и карточка, пожалуйста!

Сезар положил на ладонь Ленгстона именную пластинку: координаты базы, задание... вплоть до группы крови, ткани и т. д., что-то наподобие солдатского медальона. Здесь о нем все, знакомьтесь. Сезар невольно иронически поклонился.

Что-то похожее на удивление мелькнуло в до сего времени невозмутимых глазах Ленгстона, когда тот пробежал взглядом по светло-голубой пластинке; пальцами он даже не касался, она лежала, словно на гипсовой руке, а потом в щелках глаз вспыхнула неприкрытая настороженность.

— У вас нет карточки? — голос Ленгстона звучал почти требовательно, как у провинциального коммивояжера, желаю-

щего любым способом всучить покупателю товар. — Карточки с коэффициентом ваших интеллектуальных способностей, который ежегодно утверждает отделение координации общественного равновесия? Или вы просрочили срок? — Теперь в голосе Ленгстона появились новые нотки, волевые и напористые. Сезару сразу вспомнились молодчики из службы информации, плотные и веселые, компанейские парни в светлых рубашках, модных галстуках, идеально выглаженных костюмах, которые, если что-нибудь у них вызывало подозрение, становились как статуи, набрасывались на собеседника камнем, и сыпали и сыпали вопросами, не выслушивая ответы до конца, словно магнитофоны в каждом из них были вмонтированы внутри.

«Да пошли вы все подальше», — хотелось выругаться Сезару; он почувствовал себя уставшим, даже истощенным, такое испытываешь, когда что-то с нетерпением ждешь, а потом оказывается — ждал-то напрасно. «Пошли вы все подальше: и коммивояжеры, и дебелые парни. Неужели там, на базе, болваны психологи до сих пор не поняли, что я устал и пора бы прекратить эти дурацкие шутки? Или все так и задумано? Пойду в «Глорию» и завалюсь спать, пусть лучше мне снится, что я сплю, черт возьми! И мне... надо замкнуть дурацкую бесконечность, иначе и сойти с ума немудрено».

— Вы оставили карточку в своей черепахе? — донесся издали голос Ленгстона, кажется, более мягкий, успокаивающий, как у пастора. — Или потеряли? А может, у вас она с желтой полосой, и вы стыдитесь показывать? — не унимался Ленгстон, доподлинно как врач-невропатолог.

— Не забыл. Не имею. Не потерял, — выпрямился Сезар, взял двумя пальцами именную пластинку, сунул в нагрудный карман и затянул «молнию». Не сводя глаз с Ленгстона, с подчеркнутой вежливостью сказал:

— Извините: я не знал, что в эти, вероятно, частные владения без какого-то вида пропуска входить нельзя. Извините, что нарушил покой. В ремонте не нуждаюсь. С вашего разрешения, вернусь на свою черепаху.

Махнув рукой, словно прощаясь, он повернулся, чтобы уйти прочь.

— Вас сейчас подвезут, — насмешливо бросил Ленгстон.

4

«Вас сейчас подвезут».

Если бы не связали руки, он бы им показал «подвезут», он бы им показал...

Этот олух Ленгстон, застыв с вытянутой правой рукой, левую держал на широком ковбойском ремне, пальцами барабанил по обтянутым медью двум рядам дырок, — но, выясняется, не просто барабанил, а нажимал кнопки дистанционного управ-

ления: иначе каким образом вспыхнули надписи на куполе и неизвестно откуда вынырнули бесшумно две авиетки с поперечными голубыми полосками.

— Подождите, — сказал Ленгстон; когда же Сезар решительно двинулся, крепко схватил его за рукав комбинезона. Сдерживаемая злость рванулась из Адама: он коротко, сверху вниз ребром ладони ударил по запястью Ленгстона. В тот же миг на него набросились и начали вязать. И он позволил им это, выругав себя за потерю душевного равновесия: спокойствие, спокойствие и выдержка ему сейчас крайне важны. Следует взвешивать каждый шаг. Эксперимент, похоже, затягивался и конца ждать придется, вероятно, долго. Но несмотря ни на что, приборы обеспечения жизнедеятельности и контроля все зафиксируют, а на базе после возвращения показатели расшифруют. Главное — спокойствие. Он здоровый и нормальный парень, вот. Из этого и следует исходить. До пенсии осталось пять лет, пенсия предполагалась в полном размере, плюс надбавка. Ни одна комиссия не должна усомниться, что он способен продолжать полеты. Итак, спокойно, что бы ни случилось, на все реагировать нормально. Все принимать как действительность, но помнить, что это сон. Пусть убеждаются: на ситуации он реагирует сознательно, но помнит, что на самом деле они не существуют. Он продолжает лететь своим курсом. И еще — вести себя с этими фантомами... лояльно. Немножко юмора. Воспринять все как есть.

— ...А я ведь сразу понял — он ненормальный, — говорил Ленгстон, пока Сезара вели к авиетке, — и мигом подключился к системе. Что, думаю, за явление? Нет индивидуальной карточки. Возможно, думаю, иностранца случайно занесло, но служба обнаружения такого бы не допустила. Да и без карточки... Ленгстоном меня называет, правда, Николя, был, кажется, у меня такой предок. Мы-то, Ленгстоны, считай, не меньше трехсот лет здесь живем. И всегда соблюдали распоряжения властей. Чтобы какие-то бродяги без карточек ходили... нет, такого не позволим...

Врачи — так Сезар определил профессию людей, захвативших его, — пропускали мимо ушей болтовню Ленгстона. Убедившись, что их подопечный успокоился, слегда придерживая его за локти, подсадили в авиетку, и младший, с плоским лбом в залысинах, сведя на переносице тонкие и густые брови, спросил:

— Шеф, проверим здесь?

Второй, высокий, представительный, с густой шевелюрой и грустными, словно застланными пеленой тумана, глазами, неспешно пожал плечами: можно здесь, можно и дома. Потом взглянул на лысого и пошутил:

— Спросим сейчас у пациента.

— Если вы намереваетесь проверить мою индивидуальную

карточку, — сказал Сезар, — то я, честно говоря, не знаю, где она. А показывал свою именную пластинку, но она не удовлетворила.

Врачи переглянулись.

— Разрешите и нам взглянуть, — не протягивая руки, сказал лысый.

— Это универсальный документ, — зачем-то уточнил Сезар.

— Тем лучше, — кивнул старший и взял пластинку.

Рассматривал недолго и не стал скрывать удивления.

Они уже летели, слегка покачиваясь, летели низко, через иллюминатор хорошо была видна высокая трава, рыже-зеленая, которую не косили уже не один год.

— Там и фотография и печать, — сказал Сезар, отрывая взгляд от Земли, — все как и положено.

Старший кашлянул и протянул пластинку лысому.

— Девяносто пятый год? — спросил тот сразу.

— Ну да, — кивнул Сезар.

— Сколько же вам лет? — подался к нему лысый.

— Сорок семь.

— Извините, я хотел бы поставить вопрос точнее: когда вы родились?

— Думаю, в тысяча девятьсот сорок восьмом. Там указано.

— Да, да, обозначено. Может, проверим здесь, а, шеф? — щурился лысый.

— Спешите удостовериться?

— Нет, шеф, лучше развеять сомнения в момент их возникновения, — гоготнул лысый. — По крайней мере, это не бьет по голове или, как говорили наши предки, — он посмотрел на Сезара, — по карману.

— Наше дело маленькое: проверить, все ли нормально у пациента с головой. А дальше пусть разбираются кому положено. За то нам баллов не насчитают. Попытайтесь найти данные о нем. — И старший повернулся к Сезару: — Как вы себя чувствуете?

Сезар еще не понял, о чем идет речь. Наблюдал, как лысый, поглядывая на пластинку, быстро, как пианист, нажимает какие-то клавиши, а на маленьком экране бегут зеленые буквы и цифры, — невольно следил за тем экраном и ответил машинально:

— Хорошо. Относительно аппаратуры — не имею никаких сомнений, она своевременно сделает все необходимое. Реальность воспринимаю как сон и знаю, что это сон...

— Это ваша концепция мира? — насмешливо переспросил лысый. Он уже получил результат и ждал.

— Я знаю, что все это мне снится. — Сезар сказал то, что и должен был сказать, дабы там, на базе, потом не усомнились в его искренности.

— Вы не спите, — настороженно заверил шеф.

— Конечно, нет. — Сезар улыбнулся, улыбнулся иронически.
— А какой сейчас год? — не выдержал лысый.
— Оставь, не наше дело, — сказал шеф. — Что у вас?
— Адам Сезар в системе не значится. Такого человека в системе нет. И на всей Земле в запасниках тоже не значится.
— Ну, запасники-то созданы не более столетия...
— Вы действительно полагаете, что...
— Это не наша забота...
— Черепаха, она, конечно, навевает...
— Пускай. Проверим-ка его здесь. — Старший обратился к Сезару: — Извините, но пришлось вас пеленать, — кивнул на связанные руки, отстегнул застежку, широкий резиновый ремень зашелестел, выровнялся и упал на пол. — Так лучше. Сейчас мы к вам подключим приборы.
— Пожалуйста, уважаемые. — Сезар широко развел свободные руки.
Его быстро и ловко опоясали датчиками, на голову натянули какую-то корону с множеством трубок и тонких проводов.
— Не жмет? — спросил старший.
— Я привык, — милостиво улыбнулся Сезар.
— Ну что ж, Картон, в таком случае включайте, — распорядился шеф, и лысый поспешно клацнул тумблером.
Минуту царило молчание, только слегка приглушенно работали двигатели авиетки. Сезар видел, как лысый буквально впился в экран — иначе, чем первый раз, — происходящее он там не видел, но, вероятно, заметил что-то неожиданное: брови у лысого вытянулись в одну линию, а губы плотно сомкнулись. И когда сеанс явно окончился, лысый для полной достоверности повторил его в другом режиме и только потом нехотя, даже с некоторой боязнью выключил прибор.
— Вы чем-то удивлены, Картон?
— Нет, шеф, я давно разучился удивляться.
— Не доверяете показателям?
— Как можно, шеф. — Лысый вынужденно улыбнулся.
— Какое состояние у пациента?
— Вполне здоров: и физически и умственно. И умственно...
— Симуляция?
— Исключается.
— Коэффициент?
— Слабенький, то есть средний. Семьсот девяносто шесть. Принадлежит к лучшей половине человечества.
— Потенциальные возможности?
— Пять и шесть десятых процента. Жить можно безбедно. А карточки не имеет.
— Это не наша забота. Мы свое сделали. В клинику Адама Сезара отправлять незачем.
— Тогда курс на ближайшее отделение координации общественного равновесия.

5

— Имя?

— Там указано.

— Вы должны точно и кратко отвечать на вопросы. Желательно без эмоций, пояснений и рассуждений. Конкретно на поставленный вопрос. Не считайте моей прихотью. Этого требует систематика. Узлы машинной памяти не загромождаются лишней информацией. Имя?

— Адам Сезар.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот сорок восьмой.

— Место рождения?

— №, округ Шауберг, околица номер тринадцать, ферма Калхауз. Но там было четыре фермы...

— Ясно. Где и когда учились?

— Грамон. Шестьдесят шестой год. Школа космического пилотирования. Три года. Потом там же, в высшей школе астронавтики.

— Место работы?

— База «Грамон».

— Специальность?

— Астронавт первого класса.

— Должность?

— Командир корабля «Глория».

— С какого года летаете?

— С восемьдесят шестого. За орбиту Луны, имеется в виду.

— Курс вашего последнего рейса?

— Межгалактическая станция «Кентавр-2».

— Цель?

— Доставка аппаратуры.

— Старт?

— Семнадцатого февраля девяносто пятого года.

— Как проходил полет?

— Нормально.

— Стенограмма полета велась?

— Да. На базе и на корабле.

— У вас не было ощущения, что произошла авария?

— Показалось, будто «Глория» содрогнулась. Действительно, показалось, иначе мы бы с вами не разговаривали.

— Как вы оцениваете свое состояние?

— Удовлетворительно.

— Вас не удивляет происходящее?

— Ну... не совсем. Полагаю, это сон?

— Не хотите верить, что за какое-то мгновение оказались на Земле, да еще в местах своего рождения?!

— Да. Поверить трудно.

— Другие гипотезы?

— Возможны галлюцинации. Подобное случается. Космос как-никак. Потом проходит.

— Еще?

— Может, психологи запланировали какой-то эксперимент.

— Без вашего ведома?

— Да. Не поставив меня в известность. Возможно, это нужно для успешного завершения полета.

— Какую же линию поведения вы избрали... гм, в своем сне?

— Быть самим собой.

— Во сне?

— Да. Принимая его как реальность.

— И не забывая, что это... сон?

— Ну, насколько такое возможно.

— Но ведь перед вами не та действительность, которая могла бы присниться?

— Ну и что. Я ведь не изменился.

— Обязательно возникнут противоречия, разве нет?

— Тогда я буду успокаивать себя тем, что это сон.

— Хорошо. Помозгуйте над такой... сумасшедшей идеей. Вы неизвестным образом из полета вернулись на Землю, а там со дня вашего старта, скажем, минуло полторы сотни лет.

— Должен представить обстановку?

— Для начала.

— Ну, она приблизительно соответствует нынешней.

— Ваши действия?

— Как-нибудь приспособился бы.

— В незнакомом психическом климате?

— Все живое приноравливается к обстоятельствам.

— Безусловно! Но и обстоятельства к живому, верно? Но ими могут выступать и люди, верно?

— То есть смогут ли люди приспособиться ко мне? Если я один, а их много. Я проблемы здесь не вижу.

— Какие отношения были у вас на Земле с людьми перед последним стартом?

— Обыкновенными. На работе деловыми. А в обыденности... Чисто утилитарными. Что-то купить, отдохнуть, обеспечить себя необходимым... Даже затрудняюсь ответить. Я имел солидное жалованье, и никаких проблем у меня не возникало. Деньги — это, знаете, своеобразное обеспечение функции коммуникации, соответствующий общественный статус, если хотите.

— Хорошо. Допустим, нравственные устои общества, в которое вы, будем считать, попали сейчас, не изменились, у вас бы с ним не возникло конфликтных ситуаций?

— Думаю, нет.

— При условии обеспечения функции коммуникации?

— Конечно.

— А для ее обеспечения необходимо работать?

— Ну да. Даром денег не платят.

— А если бы вам не нашли работы? Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь: техника шагнула вперед и так далее, постоянное внимание окружения к вашей личности...

— Я мог бы и не работать. Я имел солидные вложения, страховой полис. Наследников у меня не было. А в нашем государстве такие вещи не теряют силы и через тысячу лет. Хватило бы дожить безбедно. Полагаю, коль техника ушла вперед, цены не столь уж и высокие.

— Умеренные. Хорошо, что у вас сохранилось чувство юмора. Итак, никаких проблем не видите?

— Нет, не вижу.

— Даже если бы демократию сменила фашистская диктатура?

— Как-нибудь свое дожил бы. То есть, я полагаю, хлопот со мной, одним выпавшим из времени, не было бы.

— Хорошо. Скажите откровенно: по-вашему, наш разговор — плод сонной фантазии, галлюцинаций или эксперимента?

— При всем уважении к будущей цивилизации и желании хотя бы краем глаза увидеть ее, я бы предпочитал лежать в кресле «Глории», а еще лучше — в боксе отдыха, лететь своим курсом и видеть прекрасные сны. Согласитесь, наша действительность лучше любых утопических фантазий!

— Согласен. Тем более что будущее в таких конкретных очертаниях присниться вам не может. Вам. Для нас же — это реальность.

— Я согласен. Теперь я с вами согласен.

— Прекрасно, что мы с вами находим общий язык. Если вы и дальше не будете возражать, думаю, никаких недоразумений не возникнет. А лучше всего, если спокойно воспримете то, что я вам сейчас скажу. Как реальность. Лучше для вас.

— Я всегда верил: моя страна желает своим гражданам только хорошего.

— Вот-вот. Это основа основ, ее не в состоянии пошатнуть и века. Особенно гражданам, которые для ее блага каждую минуту шли на риск!..

— Я весь внимание.

— Возможно, сказанное сейчас мной причинит вам боль. Да иначе и быть не может... Надеюсь, вы воспримете известие мужественно, как и подобает астронавту. Вам его пока что хватало!

— Благодарю.

— Я и сам взволнован... Для всех нас это большая неожиданность, и потому удивление, радость и тревога — все вместе... Да! Медико-биологические данные свидетельствуют о вашем абсолютном здоровье — физическом, умственном и моральном!..

— Благодарю.

— Вы человек, лишенный галлюцинаций, не подвержены внешнему влиянию и так далее. Технико-социальные анализы — расшифровка нашей беседы, исследования «Глории» — подтвердили, что вы и вправду астронавт первого класса, гражданин №.

— Благодарю! Я искренне взволнован.

— И все, что перед вами, — действительность, конкретная реальность, точно такая же, какую вижу и я.

— Это облегчает ситуацию.

— Единственный нюанс: сегодня двадцатое июня две тысячи сто четырнадцатого года.

— Трагедия не столь уж большая. Наоборот. Я рад, что моя страна достигла еще большего благополучия.

— И страна радуется за Адама Сезара: пропав без вести более ста лет назад, он вернулся в ее объятия.

— Вот только мне кажется, что столетие я преодолел за какое-то мгновение.

— Нюанс, говоря откровенно, деликатный: сейчас этой проблемой занимаются математики, космологи-теоретики, одним словом, она вне пределов моей компетенции. Но в Грамоне, в нашем славном Грамоне, вам все растолкуют. Я же, как заместитель председателя окружного отделения координации общественного равновесия, от имени ваших земляков поздравляю вас с возвращением. Мы гордимся вами!

6

Кабинет был тот самый. Те же столы и кресла, портреты и картины, пушистые зеленые ковры, на окнах шторы из японского шелка.

Здесь 17 февраля 1995 года Адам Сезар получал летные документы и подписывал необходимые бумаги. И сейчас, ступив сюда, он подумал, что экспериментаторы нарочно сыграли на контрастах: сперва бросили его на целую сотню лет вперед, а потом снова вернули в обычную обстановку: одному богу известно, чего они хотят. Вопросительно-иронически посмотрел на куратора космического Центра, жилистого невзрачного мужчину, и тот догадался, о чем хотел поведать ему Сезар. Глубокомысленно поморгал под толстыми стеклами очков: да-да, мы, мол, нарочно скрупулезно воссоздали обстановку, ту, 17 февраля 1995 года, для вас все в прошедшем, далеком прошедшем, которое и вспоминать легко, оно просто навевает печаль, как воспоминание о невозвратном детстве.

— Господа, — сказал куратор, — с вашего разрешения, я сделаю краткую информацию, в которой одновременно и отвечу на волнующие каждого вопросы, в том числе и нашего уважаемого пилигрима. — Куратор легонько поклонился в сто-

рону Сезара. — Вы догадываетесь, о чем идет речь. Каким образом Адам Сезар оказался в 2114 году? Я буду кратким: более подробные сведения вы получите в пресс-центре, кроме того, они будут опубликованы в специальных изданиях с научными комментариями, расчетами, гипотезами и т. д. Поэтому о сути. На сегодня имеем две версии удивительного возвращения Адама Сезара — физическую и биологическую. Версия первая: «Глория» попадает в закапсулированный сгусток времени, возникший на сцеплении сил тяготения планет и отдельных систем. Подобно тому как цыпленок проникает в яйцо, не разбив скорлупу. Однако, скорость и масса «Глории» изнутри привели в движение содержимое капсулы, скорлупа лопнула, и цыпленок вылупился... только в другом пространственном измерении. Соответственно изменился и знак времени. Минус! Аппаратура сработала в обратном направлении. «Глорию» в одно мгновение, равное нашему столетию, отбросило назад. По мере приближения к Земле энергия минус пространства-времени иссякла и наконец перешла в обычное для нас состояние, тогда-то Сезар и приземлился. Никаких изменений ни в его организме, ни в системах корабля не произошло. Биологическая версия: каким-то образом — то ли под влиянием неизвестного излучения или опять-таки сил притяжения — корабль и Адам Сезар законсервировались и блуждали в космосе все эти сто девятнадцать лет, пока не оказались в той изначальной точке, в которую в подобных случаях возвращаются неизменно. И снова никаких изменений.

— Но ведь автоматика должна была посадить «Глорию» в Грамоне, а не там, где родился космонавт, — заметил кто-то из журналистов.

— Уважаемые, — снисходительно улыбнулся куратор, — в астронавтике отклонение в четыреста километров считается попаданием в «десятку».

— Не будем вдаваться в детали, — прогудел журналист от окна, и Сезар невольно посмотрел в его сторону: рыжий верзила с пушистыми бакенбардами наивно поблескивал голубыми стекляшками очков. — Тем более что до полной разгадки еще далеко. Это вотчина специалистов. Возвращение Сезара многое даст науке, и, слава богу, как говорится, на благо. А нас интересует сам Адам Сезар, верно, коллеги?

— Прекрасно, господа, — махнул рукой куратор. — Мы для того и собрались здесь. Прошу задавать вопросы и астронавту, и руководству Центра.

— Поскольку еще многое неясно, то, наверное, эксперименты и опыты над «Глорией» и астронавтом будут продолжаться? — сразу же поспешил кто-то.

— Безусловно, — уже сидя ответил куратор. — Безусловно. Но в основном на бумаге и с помощью вычислительных машин.

Медики придирчиво обследовали Сезара и, как вам известно, находят его состояние безупречным.

— Ну, после таких переделок аппаратура могла всего и не уловить.

— Извините, вас, видно, беспокоит, не превратим ли мы теперь Адама Сезара в подопытного кролика? — перебил куратор. — Нет. И еще раз нет. Сезар, как и все граждане, может распоряжаться собой по собственному усмотрению.

— А что думает по этому поводу сам Сезар?

— Я не совсем понял, — поднял голову Сезар, — о чем идет речь: о моем возвращении или о будущем? Причина моего возвращения меня, конечно, интересует, но это забота теоретиков. Я же астронавт и, насколько смог, выполнял свои обязанности. Что касается дальнейших исследований, то по надобности я всегда готов послужить науке, и всякие личные амбиции ни к чему.

Все одобрительно зашумели, вспыхнули аплодисменты.

— Прошу, господа, — сверкнул очками куратор.

— Какой коэффициент интеллекта у Сезара?

— Семьсот девяносто шесть и четыре десятых.

— Вполне прилично.

— Господа, должен сообщить, — несколько торжественно вскинул руку куратор, — подвиг Сезара значит больше, чем коэффициент его интеллекта. Поэтому Совет координации общественного равновесия постановил, что на карточке Сезара будет продольная зеленая полоса!

— Браво! — Кто-то похлопал Сезара по плечу. — Никаких хлопот.

— И ежегодных аттестаций.

— И спокойствие до конца жизни.

— Вы удовлетворены, господа? — сдержал шум куратор.

— Вполне. И даже завидуем, — встряхнул бакенбардами рыжий верзила возле окна. — Но ведь наш астронавт, похоже, ничего и не подозревал?

— Честно говоря, нет, — согласился Сезар, сразу вспомнив Ленгстона.

— Ничего, — кивнул ему куратор, — это не уйдет. Будет приятный сюрприз. Еще вопросы?

— Не чувствуете ли вы себя чужим, Адам Сезар, попав в другой век?

— Другой век? Ну и что... Я возвратился в свою страну. Конечно, ко всему новому надо привыкать, что бывает нелегко. Но ведь у астронавтов психика гибкая, и они привыкали к ситуациям и гораздо более невероятным.

— А не чувствуете ли, будто вас воспринимают другие как чужого? Какой-то некоммуникабельности?

— Понял. Вполне допускаю, что для две тысячи сто четырнадцатого года мои манеры, мое поведение будут несколько ар-

хаичными, скорее всего очень архаичными, но уверен, что мои соотечественники прекрасно понимают причины и отнесутся ко мне снисходительно. Как старшие к младшему.

— Господа, — вмешался куратор, — я кое-что добавлю. Те, кто уже общался с Сезаром, никак не воспринимали его чужим. Помните, какой коэффициент интеллекта? Умные люди всегда понимают друг друга. А относительно инцидента с Ленгстоном?.. Не забывайте: «Ремонт. Заправка. Прокат».

В зале засмеялись.

— Вот почему нам легче найти взаимопонимание с Сезаром, чем с Ленгстоном, — закончил куратор.

— Скажите, Сезар, у вас остался кто-нибудь на Земле?

— Родственники умерли еще до моего полета. Оставалась жена. Патрис Сезар. Тридцать два года. Я все понимаю... Даже если Патрис в живых...

Он впервые вспомнил о Патрис, точнее, натолкнули его мысль о ней. Потому что ее, живой, реальной Патрис, Патрис 17 февраля 1995 года, здесь быть не могло, если даже это не галлюцинации, не эксперимент. Она не возникала в памяти призраков, фантомов, потому что он забыл ее глаза, губы, тело, забыл все.

— Да, — тихо сказал куратор. — Это самый трагический момент возвращения. Возвратиться к живым, которые мертвые. А мертвые — как живые.

7

На следующий день к вечеру Адам Сезар почувствовал себя вконец уставшим.

День в самом деле оказался трудным и бесконечным, как пеший путь под жгучим солнцем.

Тогда, сразу же после пресс-конференции, когда журналисты ушли, перед ним включили небольшой макет Грамона, весь город, и предложили выбрать район жительства. Немного поразмыслив, Сезар показал на восьмиквартирный одноэтажный дом, подковой прятавшийся в каком-то скверике. Присутствующие выбор одобрили, и уже на банкете в уютном ресторанчике Центра в одном из первых тостов, поздравляя с возвращением, ему желали также счастья на новом месте, в новой квартире.

И еще одну торжественную церемонию пережил тогда и, как оказалось, очень важную. После банкета и прогулки по Центру в отделении координации общественного равновесия ему вручили индивидуальную карточку. Церемонию обставили торжественно и пышно, были цветы и шампанское, речи и подарки от музея астронавтики. Фотографии на карточке не было, вместо нее на левой стороне выбито 0-796,4, карточка по диагонали перечеркнута зеленой полосой, а справа отпечатан текст инструкции. Внимательно вчитаться не успел, кажется, объяснялось, что делать в случае потери, о запрещении передавать в другие ру-

ки, еще что-то... Руководитель взял карточку из рук Сезара, повернулся, вставил ее левой стороной в гнездо какого-то прибора, там щелкнуло зеленое окошко — и раздались аплодисменты.

— Отныне, — провозгласил руководитель, возвращая карточку, — Адам Сезар снова полноправный гражданин Штатов. Эта карточка заменит вам все документы...

К Сезару подходили, жали руки, желали успехов, поздравляли и прощались. Ушли куратор и руководитель отделения, люди из Центра — ведь торжества, как-никак, не могут продолжаться вечно, от сенсации следует отдохнуть и самому ее виновнику.

— Что мне делать с этой карточкой? — обратился Сезар к нескольким еще оставшимся мужчинам, это были, видать, служащие более низкого ранга. Им поручалось опекать его первое время.

К Сезару живо подошел один — другие и не отреагировали, — низенький, пожилой, смуглый и с горбатым носом, на затылке редкие седые волосы.

— Понимаю ваше нетерпение, — почти пропел горбоносый. — Все очень просто. В ваше время существовали деньги. Теперь же их заменяет коэффициент интеллекта, то есть ваша способность приносить пользу государству, что в принципе равноценно результатам вашего труда. Вы пожелали купить костюм? Идите в универмаг, примеряйте костюм и сдайте его автомату, своеобразному роботу. А карточку вставляете в специальное устройство. Автомат вам выдает покупку. И выпускает. И так везде. Таким образом, повторяю, это ваши деньги. И документ. Больше ни у кого такого шифра нет. Да вы очень быстро все поймете и освоитесь.

— Благодарю, — сказал Сезар, хотя у него сразу возникло много вопросов, — благодарю.

— Пожалуйста, пожалуйста. Всего вам хорошего.

К Сезару тут же подошел второй, молодой, крепко сложенный мужчина.

— Господин Сезар, — слегка поклонился молодец, — сегодня я в вашем распоряжении. Вы, должно быть, устали. Сейчас вас отвезут домой, вы отдохнете, а вечером я заеду к вам, чтобы отвезти на прием к президенту. Если будут какие-то другие пожелания — я к вашим услугам.

— Нет. Я, пожалуй, немного отдохну. Да и жилье надо осмотреть, — ответил Сезар.

— Там приготовлено. Желаю приятного отдыха. Вот ваш водитель. До свиданья.

«Боятся выглядеть навязчивыми, поскольку навязчивость не свидетельствует об интеллекте», — мысленно съязвил Сезар.

Машина не очень отличалась от известных ему в свое время. Сезар вспомнил, как в конце века бытовала теория, будто автомобильная инженерия практически исчерпала свои возможности.

— Красивая штука и навсегда ваша, — хлопнул ладонью по кузову водитель, — бегает, плавает, ползает, только летает низко: над болотом, камнями.

— Моя?

— Еще бы! Заслужили. Мне вести или сами? Можно вот здесь, на панели, набрать программу, и приедете к месту назначения. Как?

— А вы ко мне водителем тоже навсегда?

— Нет, на сегодня. Но, если желаете, к вашим услугам. Ваша карточка позволяет вам иметь водителя.

— Ну, хорошо. Давайте сделаем так, — немного помолчав, сказал Сезар. — Не будем включать программу. Я сяду за руль, вы кратко объясните систему управления, а потом подсказывайте путь.

— Принимается.

Ему не терпелось вцепиться в баранку, взять судьбу в свои руки, хотя бы на мгновение ощутить, как подчиняется железо со всеми его программами, он даже поспешил и испугался, что автомобиль через его неумелые действия прыгнет вперед, врежется бампером в высокий бордюр. Но машина двинулась плавно, тихо, обороты двигателя не увеличивались, словно он сам знал, что ему делать.

— Отличная машина, — сказал Сезар, чувствуя, как радость наполняет сердце.

— Да, — коротко отозвался водитель. Наверное, считал, что первому начинать разговор нечего.

— Где-нибудь работаете? — нарушил вскоре молчание Сезар.

— Здесь, в Центре.

— И какой же у вас коэффициент? — невольно сорвалось у Сезара. — Простите, я хотел сказать, какая у вас зарплата?

Исправился, называется! Вот черт! Заметил, как водитель, не поворачивая головы, искоса посмотрел на него. Извиниться, что ли? Все равно, что спросил человека, все ли у него дома.

— Для водителя достаточный. — И такой ответ вполне удовлетворил Сезара.

— Наберусь я хлопот с этой карточкой, — вздохнул он, переводя разговор на другое. — Ничего не понимаю.

— Какие там хлопоты? — гоготнул водитель. — Я слышал, номер у вас будь здоров. Да еще и зеленая полоса. На всю жизнь. Заходи куда хочешь и бери, что душе надобно.

— Но ведь, как я понимаю, так может каждый.

— Может, но дудки. Я, скажем, только один раз в пять лет могу взять для своей подруги жизни какой-нибудь из камешков, болтающихся на шее у некоторых дам. А машину раз в три года.

— Но ведь можно, если, гм... коэффициент невысокий, малый, в разных магазинах десять раз на день брать себе что захочется?

— Конечно, можно. Только контроль по всей стране — единая система. И однажды засветится не зеленое, а синее окошко, и вас выдворят из магазина или из другого места. Рассчитано ведь, сколько приблизительно надобно в год человеку, к примеру, имеющему шифр «200». Электронная система все записывает, запоминает. Больше не разрешит. А карточку меняют ежегодно, еще бы. Возможно, коэффициент увеличился, а может, и снизился.

— Значит, так... Техника несравненно продвинулась вперед, и благополучие, надо полагать, выросло, если позволили себе такую систему. Но ведь кто-то, получив карточку, возможно, и не станет работать, а будет продлевать ее и жить потихоньку.

— Пусть попытается, — проворчал водитель, — все наши действия фиксируются системой. Как, я не знаю, врать не буду. Такое ощущение, будто система наблюдает за каждым твоим шагом. С женой спишь, и тогда, кажется, на тебя смотрят... Так вот! Не выработав необходимого минимума — попробуй продлить карточку! Через неделю погибнешь с голода.

— А если воспользоваться чужой? Я к тому, что дармоеды всегда прибегали к каким-нибудь приемам...

— Какой чужой? У каждого человека свой биологический ритм. Вы подходите к «контролю», вставляете карточку, и система сопоставляет ваш ритм с шифром...

— Значит, грабители остались без работы? — пошутил Сезар.

— Ну да! — засмеялся водитель. — Еще бы! Находятся интеллектуалы, которые умеют приспосабливаться. У них какие-то приборы, они и биоритмы изменяют, и систему обманывают. Парни не промах.

— Зато, видать, нет очень богатых?

— Есть умные и дураки. Но кто виноват, что он бестолковый? Все возможности, чтобы оказаться дураком, имеются. — Водитель сплюнул через плечо в окошко. — Вот и получается. Никто не виноват. Каждый держит свой банк в голове. Вот.

— Ненадежное хранилище.

— Голову-то не сворачивай, себе не привинтишь. — Водитель снова искоса посмотрел на Сезара, казалось, даже подозрительно. — Конечно, такой сейф не бронирован, но наши шефы носят его спокойно. Система бережет. И люди специальные охраняют. С низким коэффициентом, правда, приблизительно как у собак, но и преданы они как собаки, а карточки-то у них литерные — дополнительные льготы.

— Полиция?

— Да.

— Четкая система, что и говорить.

— Еще бы. Все она знает, абсолютно все. И никаких тебе хлопот.

Такой диалог состоялся у них по пути домой. И на приеме

у президента уже было неинтересно. Вероятно, впечатления переполнили настолько, что и чувства ослабли.

А домик оказался чудным: аккуратный и в тихом месте. Несколько жильцов, гулявших во дворике, не обратили на него особенного внимания, но, безусловно, узнали: видели по телевизору. И даже дети не прервали игру. «Так, вероятно, и надо, — подумал Сезар. — Ничего удивительного. Не цирк. Астронавтика. Где захочешь, там не остановишься». И еще подумал: «А почему это меня занимает? Вечность оно длиться не будет».

О меблировке квартиры тоже побеспокоились. Словно кто-то заранее выведал его вкусы. В принципе именно таким и мечтал видеть свое жилище. Неудивительно: коль определяют возможности интеллекта, вкус им определить тем более несложно. И Сезар поймал себя на том, что все глубже интересуется жизнью своих соотечественников, будто он пребывает не во сне, а в реальной жизни. С этой мыслью и лег отдохнуть перед приемом.

Утром началось безумство. Точно в восемь в дверь раздался звонок. Сезар по привычке мгновенно проснулся и сперва поразился окружавшему его пространству — привычка к корабельной тесноте въелась навсегда. «Какой-то кошмар», — проворчал про себя, но с дивана вскакивать не спешил: не тревога же. Странно, но сегодня ему ничего не снилось. Устал. Вообще-то было бы интересно: спит, и ему снится, что спит... Та же глупая бесконечность. А если все это произошло с ним действительно? Адам Сезар наяву попал в 2114 год? Нет, он бы и тогда не поверил, воспринимал бы как сон. Слишком неожиданный и резкий переход.

Звонок раздался еще раз: деликатно, неназойливо.

— Я сейчас, — крикнул Сезар и набросил халат.

— Извините, что рано побеспокоил вас, господин Сезар. — На пороге стоял смущенный юноша лет двадцати двух.

— Ничего страшного. Проходите, — Сезар указал рукой в глубь квартиры. — Если пришли, то, очевидно, по делу. Я к вашим услугам.

— Меня прислали к вам из отдела координации.

— Очень приятно, садитесь, пожалуйста. Я сейчас приготовлю кофе. Завтракали?

— Спасибо. Да. Не беспокойтесь. Только стакан оранджа, если угодно...

— Прошу. — Сезар вынул бутылку из холодильника.

— Меня направили к вам из отдела координации, — повторил юноша. — Я обязан быть при вас первое время, пока освоитесь, показывать, объяснять... Вашим секретарем.

— Прекрасно. Благодарю. Тогда давайте знакомиться.

— Я — двести тридцать пять и четыре сотых... Ой, совсем забыл, извините. Петер Хант. Меня зовут Петер Хант.

— Разрешите, я вас буду звать просто Петер?

— Пожалуйста. — Парень смутился.

— Ну, вот и хорошо, Петер. По рюмочке коньяка за знакомство. — Не дожидаясь ответа, Сезар направился к бару. Удивительное веселье охватывало его: а что, если напиться коньяка во сне, если условно напиться, опьянеть можно или нет?

Петер растерялся.

— С утра пить вредно, — несмело запротестовал он.

— Да? — хохотнул Сезар. — А вы одну каплю. С оранжем. Разболтайте, и на здоровье не скажется.

— Разве что так. За знакомство.

— А на меня не обращайте внимания. Меня уже ничто не возьмет, — сказал Сезар и одним махом выпил рюмку. Славный напиток, если бы не во сне... И почему его с утра разволновал этот «сон»? Пусть себе течет, как в кино.

— Ну, уважаемый секретарь, введите меня в курс дел, — сказал Сезар, отламывая и бросая в рот маленькие кусочки сыра.

— Собственно, если вы согласны...

— Почему же. Говорят, я человек богатый, могу позволить себе иметь секретаря. Только не ясно, каким образом я буду вам платить.

— Здесь все в порядке. Система знает, что я работаю на вас, и будет платить по моему коэффициенту.

— Тогда никаких проблем. Я принимаю вас. Надеюсь, нагружены работой не будете.

— Буду работать столько, сколько вам нужно.

— Отлично. Но сначала вы мне объясните толком устройство системы.

— Система — это все, — серьезно сказал Петер.

— Исчерпывающе, — согласился Сезар.

— Нет, в самом деле, — смутился юноша, — она везде...

— Давайте условимся, — перебил Сезар, — я буду спрашивать — вы отвечать. Потому что если начнете рассказывать обо «всем», жизни не хватит. Итак, в общих чертах, система — это...

— ...электронно-вычислительная машина, расположенная на всей площади. Собирает и анализирует данные о каждом. Нынешний наш разговор тоже фиксируется.

— Подслушивающие устройства?

— Нет, другое. Просто этот дом — один из блоков системы.

— Но зачем?

— Чтобы точно определять коэффициент интеллекта. Ни одна мысль не теряется напрасно, кто бы ее ни высказал — дворник или президент.

— А если кто-то не пожелает все время находиться на виду? Есть же и личные, интимные моменты?

— А кто захочет, чтобы его мысли терялись понапрасну? К тому же система блокирует интимное, личное, то, что пред-

ставляет ценность только для индивидуума. Главное же — принцип: к системе подключены все. Вы можете по справочнику узнать шифр интересующего вас человека, потом, сообщив его, узнать о нем все, кроме интима. Можете проверить деятельность правительства, собственную работу, мою или кого угодно. Граждане в системе заинтересованы, она объективно оценивает каждого. А кому выгодно, чтобы оказалась неучтенной хотя бы единица интеллекта? И при этом каждый причастен к делам. Вот вам пример: господин Х придумал способ совершенствования определенного процесса в производстве носовых платков. Свою мысль он высказал в квартире, в машине, где угодно, даже в лесу, все равно. Сигнал попадет в систему, пройдет ее проверку и будет передан в соответствующую отрасль. Автоматы немедленно переоборудуют конвейер, и, пожалуйста, процесс производства носовых платков усовершенствован. А господину Х система автоматически подбросила определенную единицу интеллекта. Он теперь имеет возможность взять новую марку автомобиля через три, а не через четыре года.

— А чьей собственностью является система?

— Ничьей. Национальной. Ее контролируют люди с высоким коэффициентом интеллекта.

— Одним словом, система как бог. Все в ней и она во всем.

— Удачное сравнение.

— Еще коньяка? Я тоже никогда им не увлекался. Ваше здоровье! Система зафиксирует, что я разрушаю свой мозг алкоголем?

— Уже зафиксировала. Но вам ничего не угрожает. Зеленая полоса на всю жизнь. Наконец, системе безразлично, кто сколько пьет. Упадет производительность — снизится коэффициент.

— А отделение, Совет координации — связывающие звенья между системой и населением?

— Вы поняли верно.

— Скажите, — выпив третью рюмку, поинтересовался Сезар, — а конфликтов не бывает? Ущемленного самолюбия? Комплексов неполноценности? Презрительного отношения к менее умным, то есть своеобразного интеллектуального расизма, как было в мое время с неграми в Америке?

— Сколько угодно. Всегда возникают какие-то противоречия. И самоубийства случаются. И блоки системы рушат. А чтобы электронику сломать, надо одновременно нажать всем на все блоки. Но этого никогда не будет. Да и зачем? Хорошо, если бы у каждого гражданина интеллект превышал тысячу. Ничего не поделаешь. Это дело далекого будущего.

— А как помогают тем, у кого коэффициент низкий?

— Негативная наследственность дает о себе знать, природу не переделаешь.

— Думаю, мы сильно увлеклись. Принцип я понял. Остальь-

ное, как говорится, в рабочем порядке. — Сезар наполнил рюмку.

— Вам беспокоиться нечего: вы обеспечены. Но сейчас больше пить я бы не советовал. — Петер встал. — Телезрители просят вас исполнить одну миссию. Собственно, поэтому я и пришел так рано.

— Рад послужить. В чем же она состоит? — Сезар откинулся в кресле.

— Просят показать вас в музее астронавтики, возле памятника, в вашем доме-музее.

— Мой памятник и музей?

— Ну да! Как всем погибшим или пропавшим без вести.

— О слава!..

— Да, хотя после вашего возвращения пришлось поднимать старые архивы, вы же в систему не были введены.

— Ладно. Я не в обиде. Хотя вчера ни о памятнике, ни о музее ничего не говорили.

— Никто не вспомнил, а система посчитала нерациональным.

— А сейчас?

— Сейчас — да. Появился интерес, значит...

— Тогда вперед!

Так начался сегодняшний день. Непонятно, что его погнало в собственный музей, к собственному памятнику. Да, пожелание соотечественников. Им захотелось увидеть, как тот, погибший, воскрес и смотрит на себя. А он действительно возвратился из небытия к тому, что произошло вскоре после смерти. Памятник был из неотшлифованного черного лабрадорита, в нем выдолблена ниша, а в ней голова Адама Сезара из белого мрамора. Разум, потерянный в пространстве. И чудо было: войти в коттедж, откуда вышел 17 февраля 1995 года. Он смотрел на фотографии и грустно улыбался. На одной из них Патрис бежала взморьем в лучах заходящего солнца. Патрис, которая состарилась без него и умерла. Просто не верилось, что Патрис нет. Но ведь это же сон?..

В машине он попросил Петера навести справки о судьбе Патрис. Парень минуту размышлял, потом начал нажимать клавиши на пульте. «Отпечатать или сообщить вслух?» — замерли на экране маленькие зеленые буквы. «Вслух, только вслух, — подумал Сезар, — я не служба информации, чтобы собирать досье. Только кратко, самое существенное. Пусть себе Патрис бежит взморьем. На фоне заходящего солнца. А мне — одни сведения о Патрис Лонг».

— Патрис Лонг. 1963. Грамон. Психолог. Ученой степени не имела. Первый муж — астронавт Адам Сезар. Пропал без вести в августе 1995 года. Второй раз вышла замуж в 2000 году. Муж, Франц Зигмунд, автогонщик, погиб в аварии в 2003 году. В 2007 году вышла замуж за служащего фирмы «Фе-

никс» Куба Лонга, умер в пожилом возрасте в 2025 году. При переходе на интеллектуальную оплату труда не выдержала перегрузки. С 2047 по 2060 год находилась в психиатрической больнице, где и умерла. Похоронена за счет государства. Родных и близких нет.

8

Издали гора смахивала на огромный голубоватый сегмент солнца, которое едва начало подниматься над горизонтом и застыло.

Прикинув по привычке на глаз расстояние до нее, Сезар проехал по автостраде еще метров пятьсот пятьдесят и, когда просвет между деревьями показался ему достаточным, повернул влево. Машина легко и плавно преодолела кювет и на полуметровой высоте понеслась над полем, густыми зелеными всходами, напрямик, к горе. За полчаса предполагал прибыть к месту.

Его он избрал неожиданно, спонтанно, в тот вечер, когда система ровным, бесстрастным голосом сообщила ему сведения о Патрис. «Стоп, — сказал он себе, — давай остановимся на минутку. Пятьдесят четыре года назад умерла Патрис в психиатричке, похоронена за государственный счет. А мне сорок восемь. Выходит, умерла до моего рождения. Мы оказались в разных эпохах. Она умерла в мое время, я умер в ее время. Никакой логики не хватает, чтобы свести концы. Собственно, я действительно умер и сейчас нахожусь как на том свете. Во сне. И если я мертвый, терять мне нечего — все, что имел, я уже потерял. Так вот, если это сон и я покончу с собой, сон должен прерваться, я проснусь за пультом «Глории». Если же это действительность, мне тоже терять нечего. Если в самом деле проводится эксперимент, в последнюю минуту меня остановят. Жестокий эксперимент. Все рассчитано. Можно только представить, как Патрис к старости оказалась без гроша в кармане и с расстроенной психикой...

Я же из самого начала, как приземлился, балансирую, словно на лезвии бритвы. Когда что-то снится и ты знаешь, что это снится, вскоре просыпаешься, а я не могу проснуться третьи сутки. Пусть эксперимент, зачем мне тогда разрешают думать, будто это эксперимент? Обострить ощущения, чтобы я полнее раскрылся? Почему разрешают контролировать себя? Или вынуждают контролировать, чтобы загнать на середину каната, протянутого над пропастью, — доверяем и проверяем, пряник и кнут? Что от меня хотят? Сон или эксперимент — все зафиксируется, потом расшифруется. Не верю, что это реальность, не верю, не воспринимаю! Я — из того времени! Я хочу туда!»

Спокойно, уговаривал себя, спокойно, ты же астронавт, давай думать, у тебя же прекрасная реакция на смену ситуаций. Надо думать, возможно, система еще не фиксирует мыслей. Приборы «Глории» фиксируют, да бог с ними, он проверен на

лояльность, и вообще, коль дело идет к тому, что можно потерять рассудок, при чем здесь лояльность? Его обязанность — не лишиться рассудка, сохранить себя, а там как получится. Во-первых, выключиться из суеты по познанию этого постиндустриального, или как его, общества, пусть живут, как им хочется, ему какое дело? Он должен успокоиться, снять напряжение, чтобы не попасть в переделку. Отключиться. Экспериментаторы должны убедиться в его спокойствии.

И он избрал это место. С помощью Х-95. Пожелал оказаться в нетронутом кусочке природы в одиночестве, пострелять уток, словом, прийти в норму.

Сезара ждали. Когда через полчаса машина сделала поворот почти на девяносто градусов, ему открылась небольшая лужайка, укрытая свежими покосами клевера. В глубине стояла лесная сторожка, возле нее встречал пожилой человек, служитель. «Этого мне и хотелось, — отметил Сезар. — Вот такая сторожка, с гонтовой крышей, заросшей мхом, и колодец во дворе».

— Я вас давно жду, — сказал мужчина и протянул руку. — Гофман. Так и зовите меня — Гофман. Коротко и ясно.

Сезар пожал крепкую красную руку Гофмана и невольно присмотрелся к нему. Старая шляпа с опустившимися полями, поношенный костюм, на ногах солдатские ботинки без шнурков, видны серые шерстяные носки. Сетка морщин под глазами, нос как маленькая очищенная луковица, короткая седая бородка. Что это: печать лесного одиночества или маскарад, антиквариат специально для Адама Сезара, чтобы он лучше себя чувствовал? Пускай, какая разница, покой и только покой, хватит самокопания.

— Давно вас ожидаю, — повторил Гофман. — Как получил указание системы, так и жду.

— Вас предупредили? — сказал Сезар, и потому, что это было первое, вышло как-то сухо.

— Ну да, — Гофман уже вытянул из багажника вещи, — сообщили. У меня приемник. С телеустройством. Я в курсе. Вы можете оставить машину здесь и выключить, хотя она, зараза, полностью и не выключается.

— Не любите систему? — что-то будто подтолкнуло Сезара.

— Да я о том, если кто забивается сюда, значит, ему надоело гнаться за коэффициентами и он убегает подальше от машинерии. А у меня система своя, своя электроника.

Гофман понес чемоданы в хижину.

— Сколько же вам лет?

— Да уже за шестьдесят.

«Староват для двадцать первого века, а для моего — лет около сорока, не больше. Юношеская спина».

— И давно здесь?

— Пожалуй, тридцать шесть годов.

— И все время сам?

— Почему? Мужику самому не продержаться. Была старуха, правда, недавно, лет десять назад, втемяшилось ей что-то в голову, не выдержала, убежала к сестре. Роботам со спины пыль стирает, — рассказывал, не оборачиваясь, Гофман. — А мне уже все равно. Я здесь корни пустил. Еще до того, как выписал ее сюда.

— Как... выписали?

— Заказал. Это делается просто. Вот и приехало чучело. А мне все равно. Было бы с кем словом переброситься. — Гофман остановился и оглянулся на Сезара: — А ребятишек не захотела, чертовка. Говорит, мы с тобой дураки, и дети пойдут такие же. — Гофман сплюнул и двинул дальше. — А к старости все равно не выдержала.

— Я посижу здесь на лавочке, — бросил ему вдогонку Сезар. — Подышу.

— Дышите, дышите. Я тем временем чемоданы разберу да что-нибудь к обеду приготовлю.

Сезар сел на скамейку в тени дикой груши, ветки зонтиком нависали над ним, густые и тонкие, покрытые мелкими листочками. Как у всех дичков, сплелись, будто нитки вплетенные, ни конца, ни начала не найти, палец не просунуть. «У меня тоже так, — подумал Сезар, — сплелось — не разорвать, разве что разрубить одним махом. Но рубанешь по этим веткам — и кривое и прямое полетит. По живому рубить...»

Он оглянулся. И то, что здесь, пока он сидел и думал, ничего не изменилось, неожиданно его успокоило.

9

— Видите тот мыс? — Гофман указал на противоположный берег озера. — Он высунулся как треугольник. И камыш стеной. А вдали дерево. Когда отстреляетесь, рулите лодку к нему, там и ночевать будем. Я и костер зажгу, на дым плывите. А пока что в обход пойду. За полчаса до сумерек и двигайте. Как только солнце зайдет, лет закончится... Ни пуха ни пера!

— К черту! О, едва не забыл: а какая же норма отстрела?

— Сколько пожелаете. Наплодятся, — бросил хмуро Гофман и ушел, словно медведь, с горбатым рюкзаком на спине.

Сезар удобней устроился в лодке и положил ружье на колени. Что бы с ним ни произошло, что бы ни случилось, это зеркальное озеро с зеленоватой водой, почерневшая деревянная лодка с облупившейся по бортам смолой, навсегда впитавшая влажный запах рыбы, эта прохлада в камышах и солнечный плес впереди, архаичный двуствольный винчестер, взятый у Гофмана вместо ружья с электронным прицелом, зеленые патроны, насыпанные в большую жестяную банку, — все это как будто отодвинуло куда-то кошмары и галлюцинации, и даже пальцы

легонько дрожали на блестящем прикладе винчестера. И когда первые две утки пересекли небо, он было схватился, а потом, будто испугавшись, что это тоже сон, сдержался, провел их взглядом, как предвестников покоя.

«Только влет, только влет... — судорожно билась мысль, и хотелось, чтобы она судорожно билась и дальше, возвращая его к реальной жизни. — Только влет. И буду забирать, пусть видят меня, все честно...»

— Немного, но для первого раза прилично, — сказал потом Гофман и забрал из лодки уток — за головы, одной рукой.

Кипел ведерный котел на костре, Гофман довольно посмотрел на него и принялся за уток. «Пять», — еще раз пересчитал Сезар и сел прямо на землю, опершись о рюкзак. Гофман тем временем общипал уток, вынул складной нож и коротким движением разрезал утке живот. Положил в миску печенку, желудок, а сердце разрезал надвое.

— Видите? — протянул на ладони белую горошину.

— Дробь? — не понял Сезар.

— Белая?

— Действительно. — Сезар взял горошину. — Нарост, что ли?

— Нарост... — Гофман кисло улыбнулся. — Я лично уток с таким наростом в сердце не употребляю. Хотя по вкусу от настоящих не отличишь.

— Болезнь?

— Болезнь... — И снова злая кислая ухмылка. — Я не знаю, как это назвать. У меня был коэффициент 174, ровно 174, а сейчас, наверное, еще меньше, так что я многое не понимаю. Но вам скажу. Потому, что вы оттуда. — Он указал рукой в небо. — Для вас оно может иметь значение. Эта белая горошина значит, что утка искусственная, сделанная людьми. В горошине искусственный генетический код. И утки эти живут, как и дикие, даже скрещиваются с дикими. И наследство их уже имеет такие горошины. И уже трудно понять: искусственные или нет эти трава, деревья, звери. Не будешь ведь копаться во всем, чтобы найти подобную горошину, живую горошину. А так не отличишь. Теперь вам понятно? — В глазах Гофмана прыгали красные отсветы костра.

— Почему вы мне об этом говорите? — хрипло спросил Сезар.

— Потому что вы оттуда, — Гофман снова указал на небо. — И вы к этому никогда не привыкнете. Чтобы знали заранее и не утешали себя иллюзиями. Нас окружает словно и живое, из тех же органических и неорганических соединений, что существовало всегда, из чего и состоит мир, но оно другое, оно для нас чужое.

— Для кого — для нас? — спросил Сезар, помешивая палкой воду в котле.

— Для нас — тех, кто отстал. А отстали миллионы. И уже

не могут нагнать. И я уверен, что появятся и искусственные люди. Если еще не появились. Вы их не отличите от настоящих. Но они будут иметь высокий коэффициент. Заранее. Нет, не роботы. Это будут просто другие люди. Другие озера и утки, рыба и звери. Другие люди в другом мире. И когда кто-то, как, например, вы, затеряется во времени, он не отличит ничего искусственного от данного природой.

— Возможно, в этом и предназначение цивилизации? — попытался поразмышлять вслух Сезар. — Все здоровые, умные...

— А какой ценой? Ценой миллионов отсталых, тех, у кого низкий коэффициент. В чем же их вина? Что не хватило жизни выбиться в люди? Ведь нить тянется веками — кто был наверху, тот там и остается. Мои предки были фермерами. Ваши тоже. Вам повезло, мне нет. Каждый обязан выкарабкиваться сам — такой закон. Так наши умники установили. Чтобы было как в природе. Мол, чтобы не превратиться в роботов. Принцип выживания при видимом электронном «равенстве». Умрут без наследников, будто их в мире и не было!

«Сумасшедший какой-то!..»

— А в других странах? — сдержал раздражение Сезар.

— По-разному. Мы здесь родились, это наша плоть и кровь, отчизна наша! — Гофман сел, как после тяжелой работы. — В коммунистических странах по-другому. Они пошли иным путем...

— Вы, наверное, и сбежали сюда, в глушь, в знак протеста против... ну, такого поворота событий?

— Какой, к черту, протест! Я приехал сюда в двадцать пять лет. Со злости, да. С обидой в сердце, да. Какой это протест? У меня коэффициент сто семьдесят четыре, а полюбились мы с девушкой, у которой он был свыше четырехсот. А коснулось совместной жизни — не сметь. Родители против, врачи носом крутят, а закон, хотя и не запрещает жениться с разным коэффициентом, но надо иметь справки: и от родителей, и от врачей. Конечно, согласие девушки — главное. Но ей сказали, что когда у тебя коэффициент за четыреста, то, наверное, тебе нетрудно понять, что этот холоп тебе не пара? Или хочешь, чтобы снизили? А дети? Подумай и о них. Вот так я здесь и оказался, плюнул на всех.

«Почему я ему верю? — ужаснулся Сезар. — Да он же сумасшедший и рассказывает ерунду! Нашел, называется, спокойное местечко! Неужели все, что он говорит, возможно?!»

Рубашка на спине высохла, становилось холодно, сумерки сгущались, только небосвод светлел.

«А почему, собственно, невозможно?» — подумал хладнокровно, с какой-то лютой ненавистью, будто сам себя стегал, ясно и четко провел линию из своего времени — от изничтоженной, невзирая на запреты, дичи, загаженных рек, смога, вытоп-

танных лесов, миллионов голодных и неграмотных детей в джунглях, наркоманов и алкоголиков, развратников и развратниц, войн и просто убийств, тотальной слежки, гетто «неполноценных», погони за наживой, наслаждениями; безразличия к ближнему, богатства и нищеты, переполненных до отказа психиатрических больниц, демагогии и просто вранья, подозрений, опытов над людьми — все это происходило на его глазах, а нередко и с его участием. Он же знал, как все было! Только не задумывался, к чему все это может привести!

«Да я, наверное, схожу с ума! — мелькнула другая мысль. — Уже не контролирую себя, а все фиксируется...»

Будто горячая волна поднималась в нем, отрывала от земли. «Сейчас, сейчас я должен что-то придумать, я же астронавт, я всегда выходил сухим из воды».

Вцепился обеими руками за тоненький ствол. «Еще все нормально, я еще чувствую, как шершавая кора впивается в кожу!» Прижался лбом к дереву.

«Глория» оставалась последним и единственным шансом. Освободить «Глорию», если еще не разобрали, стартовать по старой программе, догнать себя бывшего — коль попал сюда, то, возможно, повезет вырваться и отсюда. Единственный шанс — стартовать и догнать себя, и тогда — пусть это будет сон, галлюцинации, эксперимент — все рассеется, когда он догонит себя, когда доставит аппаратуру на далекую станцию, где живут люди; стартовать на обратной связи и возвратиться туда, где по взморью бежит Патрис в призакатном солнце...

* * *

Из отчетов в журнале экспериментов

...Эксперимент по исследованию реакции космонавтов в экстремальных условиях проведен успешно... Полет проходит нормально.

Июнь, 1999 г.

Перевод с украинского
В. Середина

ИГОРЬ РОСОХОВАТСКИЙ

МЫСЛЬ *

I

Дорога, нарезанная винтом по холму, круто ныряет в ущелье. Испуганно взвизгивают тормоза. То ли руль упирается в подбородок, то ли подбородок в руль.

* Печатается с сокращениями.

Вырастают, поворачиваются бледно-серые лики скал.

По-змеиному шипит под шинами дорога, сворачивает под прямым углом над бездной, делает невообразимые петли. Руль становится непослушным, скользким, как рыба, выпрыгивает из рук.

Не понимаю, как мне удается удерживать руль. Глаза автоматически фиксируют дорогу и даже каким-то чудом — участки вдоль нее. Зеленые холмы то подпрыгивают, то опускаются.

Бетонка кончается, начинается степь.

Куда я еду?

Не знаю.

Почему не могу изменить маршрут?

Тоже не знаю.

Вспоминаю холодное лицо с тонкими злыми губами.

— Не советую испытывать эту машину. Выигрыш велик, но ставка для вас непосильна. Все, что вы делаете, вы должны делать с поправкой на то...

Прицеливающиеся глаза заглянули в мои, укололи ощутимо острым взглядом, тонкие губы, изогнувшись, довершили удар:

— ...с поправкой на то, что вы неудачник.

Ну что ж, это я знаю без его подсказок. Слишком хорошо знаю. У других испытателей бывают перерывы — если не в работе, то в риске. У меня их не бывает. Изо дня в день одно и то же. Неумолимая сила с бешеной скоростью мчит меня вперед.

Наконец опять выезжаю на асфальт. Увеличиваю скорость. Крутые повороты — мгновенно отвердевающие подушки сиденья. Дом летит на меня справа. Одновременно в голову лезут слова: «С поправкой на то...»

Господи, только бы изгнать из сознания эту фразу — раскаленную занозу! Или хотя бы не вспоминать ее конец. Не вспоминать. Память, стоп!

Выворачиваю руль — дом проносится мимо.

Дерево слева — поворачиваю руль в другую сторону.

«С поправкой на то, что...» Стоп! Дальше не вспоминать!

Передо мной вырастает столб — глоток воздуха камнем застревает в горле. Неужели и на этот раз успею спастись? Вот не думал, что приобрету уверенность в чуде. Если бы только не эта проклятая фраза, которая так и ждет мгновения, чтобы вылезти из памяти целиком. Он ведь нарочно вонзил ее в мой мозг. Вонзил, как отравленный кинжал. Он знал, что делал. Так убирают конкурентов.

«...с поправкой на то, что вы...»

Невероятным усилием заставляю себя подумать о другом — о матери, которая ждет моего возвращения. Если меня не станет, жизнь потеряет для нее всякий смысл. Из четырех ее детей

в живых остался я один. Единственная надежда. Хотя бы ради нее я должен выжить.

Еще один столб вырастает как из-под земли. Руки сами собой рвут баранку вправо. Они умные, мои руки. Что-то к ним перешло от материнских, заботливых и теплых. Что-то им досталось от тех рук, хотя бы ум. Они точно знают, насколько повернуть руль. Там, где мозг ничего не успел бы определить, они знают все сами. Если бы только мозг не мешал им. Даже не мозг, а память, проклятая фраза: «...с поправкой на то, что вы неудачник».

Удар. Руль, разрывая куртку и кожу, входит в грудь. Хруст стекла. Его заглушает еще какой-то звук. Успеваю понять, что так хрустят мои кости. Но это последний кадр, еще проявленный сознанием. Тьма...

...Ночь. Свет фар. Бегут навстречу двумя разорванными частями хоровода новенькие белые березки. Промелькнули, исчезли. А мечи света уже выхватывают спуск к мосту.

Зачем я опять мчусь навстречу собственной гибели?

Но вспоминаю о невесте. Если я все сделаю, как велено, то получу премию, мы сможем пожениться и поедем к теплому морю, к пальмам. Мы будем лежать рядышком на горячем песке, лежать неподвижно, в знойной истоме. Неподвижность — вот о чем я мечтаю! Она мне необходима хотя бы на некоторое время, чтобы стереть в памяти мелькание столбов и домов.

Увы, все это мечты. Чтобы они исполнились, нужно мчаться сквозь ночь, разрезая ее на неровные части ножницами лучей. Нужно выжимать из двигателя и шасси, из передач все их резервы, нужно испытать не только конструкцию, но и само железо на прочность.

Я не просто гонщик-спортсмен, а шофер-испытатель. Я должен проверить опытный образец автомобиля на разных режимах, чтобы конструктор мог внести изменения в модель.

Ночь, как летучая мышь, бесшумно летит прямо на меня, расправив черные крылья. Она пытается убаюкать меня, приглушить тревогу, а вместе с ней и готовность принимать мгновенные решения.

Колонна машин мчится навстречу. Фары слепят. Включаю и выключаю свет. Успеваю заметить, что мост внезапно кончается, обрывается, будто срезанный ножом. Передо мной бездна. Лечу в нее вместе с машиной. Удар. Тьма...

...На экране моей памяти, где-то в самом его верхнем углу, светится голубоватое оконце. В нем мелькают тени. Неясные, расплывчатые... И все же я вспоминаю десятки своих смертей, сопровождающихся такой болью, для которой и названия не придумать...

Оказывается, у меня есть семья. Мою жену зовут Эмилией. Это хрупкая белокурая женщина, нежная и взбалмошная. У нее маленький рот и золотистый пушок на затылке. Настроение у

нее меняется каждую минуту. Пока она накрывает на стол, успевает ласково улыбнуться дочке, укоризненно покачать головой старшему сыну, раздраженно и нетерпеливо посмотреть на меня. А то на мгновение замрет, приоткрыв рот, удивившись новой шалости младшего сына. Ее взгляд, подобно курице, клюющей зерно, перескакивает с места на место. Эмилия умеет рассыпать в смехе серебряные колокольчики. Но, к сожалению, она умеет и скрипеть, как несмазанная калитка, и браниться, словно рыночная торговка, и вопить, как бешеная кошка.

У нас четверо детей, и я вынужден много трудиться, чтобы прокормить всю ораву. Работаю шофером на огромном рейсовом грузовике, доставляю овощи на плодоконсервный комбинат. Когда я возвращаюсь из рейса, дома меня встречают радостно: жена бросается на шею, младшенькие ребятишки повисают на руках, теребят за полы пиджака. Старший мерно хлопает ладонью по спине, отбивая такт моей любимой песни. Потом начинается раздача гостинцев, и веселая суматоха продолжается до ночи: меряют обновы, будто не понарошку хвастаются друг перед другом, нахваливают меня, расспрашивают о поездке. И пусть я не больно многого достиг в жизни: некоторые мои одноклассники стали генералами, директорами — в эти часы я чувствую себя не только самым главным, но и самым нужным.

Впрочем, грех жаловаться, и на работе меня не отпихивают в дальний угол, считают классным шофером. Начальник автоколонны говорит: «Определенные способности, мог бы при желании быть гонщиком». Он-то не знает, что я уже был гонщиком — в одной из прежних жизней. Наверное, оттуда и опыт, и непонятное самому знание, стараюсь скрыть способности от других, да не всегда это удается. Товарищи удивляются: откуда что берется у простого шофера? Дразнят «мудрецом», «пророком». Многие завидуют.

А мне, как включится окошко памяти, тошно и страшно становится: вот сейчас начнут мелькать столбы, воронки, хрустеть кости... Хорошо хоть, что не так часто это бывает...

Никак не могу вспомнить лицо Эмилии. Оно расплывается, будто за оконным стеклом под струями дождя, и вместо него я вижу лицо совсем юной девушки с голубой жилкой на мраморном виске. Кто это? Эмилия в молодости? Какой же она была тогда хорошенькой и нежной, наивная доброта светилась в глазах, губы были пухлыми и алыми. В углу рта чернела маленькая родинка... Родинка!.. Родинка?..

Какой же я идиот! Прожить с человеком столько лет — и все время путать ее с иной женщиной.

Да, я всю жизнь путаю их. Эмилия не раз говорила мне: «Ты совсем не знаешь меня, ты принимаешь меня за другую». Я пытался отшутиться: «За идеал».

Но та девушка — это не просто мой идеал, некий эталон нежности и красоты.

Девушка с голубой жилкой на виске — моя невеста в прежней жизни, более короткой и потому более счастливой. В ней еще не успело накопиться взаимного раздражения, спрессованного в памяти, как порох в бочке.

Я перенесся в какое-то иное время, и приходится приложить усилия, чтобы вернуться в настоящее.

И я понимаю, что не случайно путаю прошлое и настоящее. В этой путанице, в нагромождении нелепостей, несчастий, во множественности образов, накладывающихся один на другой, есть какая-то закономерность. От нее зависят мои жизни и смерти, мои скитания и мои возрождения, и ее мне надо выявить во что бы ни стало. Иначе мукам не будет конца.

Тогда-то я впервые по-настоящему задумался о себе, о своих смертях. И оформилось в бедной моей голове великое Подозрение. Дал я себе клятву проверить его, пусть хоть через сто своих смертей перешагну.

Лихачом я никогда не был, знал цену лихачеству: много ума и смелости не нужно, чтобы на акселератор жать, но с той поры моя жизнь приобрела только один смысл — проверить Подозрение. Ради этого готов я был на что угодно — превышал скорость, исколесил десятки тысяч километров дорог и бездорожья, забирался в такие уголки, где и туристы не бывали. Как услышу, что где-то нечто диковинное обнаружилось, следы пришельцев ищут, гигантскую впадину нашли или раскопали древний храм, я туда пробиваюсь.

Конечно, пробовал я — и не раз — найти место, где бывал не то что двадцать или сто лет назад, а еще в прежней жизни.

Знакомые и друзья считали меня тронутым, моим чудачествам перестали поражаться. И никто не удивился, когда во время экспедиции в высокогорную страну я вместе с машиной сорвался на крутом повороте и рухнул в пропасть.

...Теперь я уже не шофер, а молодой ученый. Правда, все же автолюбитель. Наверное, привычка к рулю у меня вроде атавизма. Есть и другие привычки оттуда же. А способности иногда появляются такие, что и сам их пугаюсь. Эти способности позволили мне почти одновременно окончить два факультета университета и успешно работать в нескольких областях науки: физике твердого тела, астрономии и кибернетике.

Родителей я не помню — они умерли, когда мне было несколько лет от роду, на девушек я не обращал внимания, хотя они всячески старались завоевать мое сердце. Впрочем, я был недурен собой — высокий, широкоплечий, рыжеватые волосы слегка кудрявились. Глаза, правда, подкачали: правый был темнее левого, и казалось, что я слегка косой. Это и создавало, как утверждали знакомые, особенный, искоса и внезапно пронзительный «мой взгляд». Говорили, что я смотрю не на человека, а сквозь него. И в этом была немалая доля правды, ибо всеми моими помыслами владела одна страсть — подтвердить

или опровергнуть Подозрение, доставшееся мне еще в прежней жизни и как заноза засевшее в памяти.

Оно проснулось, когда мне было двенадцать лет. Я учился тогда в математической школе. С некоторых пор мне стало казаться, что задачи, которые нам задавали, я уже решал когда-то давно. Я истязал себя, пробуя решать все более сложные уравнения, и, чем успешнее решал их, тем больше росло беспокойство. Затем стало казаться, что и многие жизненные ситуации мне уже встречались.

Я влюбился в старшеклассницу, стройную худенькую девушку с тонкой пульсирующей жилкой на мраморном виске. Ее забавляло мое преклонение, она сама приглашала меня на прогулки, покровительственно обнимала меня, ее волосы пахли травами и щекотали мою кожу. Однажды она сказала: «Я научу тебя целоваться, парень, а ну-ка, подставляй губы». И когда ее губы коснулись моих и меня опалило жаркое волнение, я вспомнил, что это со мной уже случалось в иных жизнях. И хотя варианты были различные, ощущение оставалось почти одним и тем же. Заработало окошко памяти, и я с полной ясностью вспомнил, как жил и умирал прежде...

Создали мы в институте новый вычислительный центр. К тому времени машины уже объединяли в информационные системы. На одной из таких систем, названной «Эмма» и состоящей из двадцати вычислительных машин, поручили работать мне. Выполняли мы заказы ученых, конструкторов, предприятий. Подружился я с конструктором автомобилей, помогал ему испытывать новые модели, существующие пока только в чертежах и расчетах. Вводили мы такой «автомобиль» в память вычислительной системы, и он там «оживал», словно настоящий, испытывался по всем параметрам. Проверяли мы, как будут себя чувствовать люди в различных критических условиях. Вводили данные об организме человека, о его возможностях и резервах, о допустимых перегрузках.

Затем директор института поручил мне на той же системе машин выполнять новый заказ — на этот раз группы медиков: создать кибернетического диагноста широкого профиля. Поскольку в памяти системы уже были данные о возможностях человеческого организма, наша задача несколько упрощалась. Мы ввели дополнительные сведения из медицинских учебников. Затем по просьбе одного из ведущих врачей я перестроил программу так, чтобы она по нашей команде могла отождествлять себя с организмом человека в различных состояниях — идеально здоровым и больным.

Вначале сведений в памяти машины было сравнительно немного — курс мединститута плюс несколько сотен историй болезней. Но по мере того как с «Эммой» работали разные врачи, вводя недостающие медицинские сведения по своим специальностям, она становилась универсальнейшим и точнейшим диагно-

стом. В то же время она училась все более и более отождествлять себя с человеческим организмом.

Однажды закончили мы очередное испытание и дали «Эмме» команду стереть из памяти ход испытаний, подготовиться к другой операции. «Эмма» выполнила команду не сразу. Я насторожился, задействовал проверочный код и убедился, что система неисправна. Стали мы с операторами искать причину сбоя. Проверили машину за машиной — все они оказались в полном порядке. Я решил временно выключить всю систему и «прозвонить» индикаторами соединение блоков памяти. И тут на табло основных индикаторов заметил я непорядок. Индикаторы, которые должны были погаснуть, периодически вспыхивали, будто светлячок чертил огненное кольцо. Это в сложной системе из тысяч блоков, какой являлась «Эмма», остался от одной из прежних операций неподконтрольный нам отряд свободных электронов, совершающий бесконечный цикл. Метался он, как в мышеловке, возбуждал ячейки памяти, вызывал индукцию в соседних ячейках. Вот этот зациклившийся импульс и оказался виновником сбоя.

Стал я проверять и ту часть «Эммы», где хранились сведения по медицине. Обнаружил и там зациклившиеся импульсы.

Несколько месяцев ушло у меня на проверку схемы, но я не обнаружил ошибки.

Возможно, дело в чрезмерном усложнении программы?

Мне не терпелось проверить догадку. Я задействовал часть системы, которая умела отождествлять себя с человеческим организмом, и сообщил ей, что ее палец прикоснулся к предмету, разогретому до восьмидесяти градусов. Немедленно последовал ответ: «О ж о г. Б о л ь н о».

Второе слово было незапрограммированным. Оно свидетельствовало, что система научилась отождествлять себя с организмом больше, чем мы предполагали. И я уже почти не удивился, когда обнаружил, что именно в то время, когда «организм» испытывает боль, в системе возникают непредвиденные импульсы. Они прокладывают себе новые пути, разбегаются по всем участкам объединенного искусственного мозга, зацикливаются.

Если хорошо подумать, то в этом удивительном явлении нет ничего необъяснимого. Ведь именно чувства, вернее — потребности через чувства воздействуют на мозг, заставляя его искать пути к удовлетворению. Именно чувства дают толчок мыслям, зачастую непредвиденным. И эти новые мысли, неконтролируемые импульсы разбегаются, зацикливаются.

Каждое зацикливание такой мысли-импульса способно вызвать к жизни множество воспоминаний, хранящихся в ячейках памяти. Возникают новые образы, целые миры, подготовленные прошлой работой системы. Они нарушают программу.

Хорошо, если их удается быстро обнаружить. А если нет?

Чем больше я думал над этим вопросом, тем к более удиви-

тельным выводам приходил. Они и привели к новому повороту в моих поисках.

...Снова горные тропинки. Я был один, ведь ни с кем из друзей не рискнул бы поделиться своими гипотезами. Чтобы понять их, нужно было прожить все мои жизни, перенести муки и смерти и сохранить, как вечную боль, память о них.

Веду машину по узкой петляющей дороге над обрывом. Покой гор кажется мне обманчивым. Камни притаились, готовые к обвалу, редкие деревья маскируют лики горных духов. Сверкающие острые скалы воспринимаются как ракеты, призванные вспороть синее призрачное небо, подсеребренное по краю пылью водопадов. Пена горных рек реальнее, чем спокойная вода, ибо реальность теперь для меня связана только с движением.

Наконец достигаю спуска в гигантский каньон. Дорога становится еще опаснее, она состоит из одних крутых поворотов. Руль оживает в моих руках, пытается диктовать свою волю. Приходится бороться с ним, усмирять. А коварная память подсказывает: так уж было, все было, а ты сам — только белая мышь в лабиринте, который не может кончиться. Вместе с тем оживали инстинкты, прежний опыт, записанный не в генах и не химическим языком (об этом я уже догадывался), а языком перестановок электронов на атомных орбитах.

И снова старый проклятый вопрос бьется в моем мозгу: зачем? Есть ли цель, способная искупить мои муки, десятки моих смертей?

Оставляю машину на небольшой площадке и продолжаю путь пешком туда, где согласно расчетам должен находиться Вход. Через несколько часов, изнемогая от усталости, различаю прозрачный провод, уходящий в скалу. Мне кажется, что я уже видел его бесконечно давно, задолго до рождения.

Приходится карабкаться по отвесной скале, вырубая скалорубом небольшие выемки, чтобы только упереться носком. Тяжелый рюкзак тянет вниз.

Но цель значит для меня гораздо больше, чем жизнь. Ибо это впервые за десятки жизней моя цель. Пусть это кажется кому-то — да и мне самому — невероятным: если бесконечно усложнять модель, у нее могут появиться собственная воля и собственная цель, неподконтрольные исследователю.

Сейчас я весь состою из желания достичь цели, моя атомная структура соткана из него, как из паутины, в которой запуталась и барахтается мысль.

Я ни секунды не сомневаюсь, что одолею подъем. Усталость больше не властна надо мной.

Иногда мне приходится ползти по расщелинам, вжимаясь в скалу, чувствуя каждую малейшую неровность, таща за собой или толкая впереди себя рюкзак.

Вот и провод. Он шероховат на ощупь, туго натянут, почти

не пружинит под руками. Кажется, что он уходит непосредственно в скалу. Исследую место входа и обнаруживаю, что оно закрыто крышкой под цвет камня. В моем рюкзаке отличный набор инструментов — вскоре удается приподнять и откинуть крышку. Под ней темное отверстие — начало длинного туннеля, ведущего в глубь скалы. Туннель явно искусственного происхождения. Виднеются провода и контактные пластины, аккуратно утопленные в гладкой стене. Они словно отштампованы вместе с ней. Все это напоминает что-то очень знакомое, но что именно?

Касаюсь рукой контактной пластины. Чувствую легкий укол. В ушах начинает звучать прерывистое жужжание. Создается впечатление, что кто-то безмерно далекий хочет говорить со мной, но его голос не может пробиться сквозь даль. Я продолжаю путь, но теперь все время чувствую его присутствие. Оно вовне и во мне — жужжанием в ушах, металлическим привкусом во рту, покалыванием и жжением на коже, тревожным беспокойством в мозгу. Мысли теснятся, мечутся, сталкиваются, одна рождает либо продолжает другую. Мне становится жутко от кружения мыслей. К тому же я пытаюсь и никак не могу вспомнить, что напоминают стены туннеля с отштампованными в них проводами и пластинами. В то же время интуиция, которой я привык доверять, подсказывает, что вспомнить очень важно. От этого раздвоения, от напряженной борьбы со своей неподатливой памятью становится еще хуже.

И только когда я продвинулся уже достаточно далеко по туннелю и оглянулся, отыскивая мерцающее пятно входа, взгляд охватывает большее пространство, и я наконец вспоминаю: «Печатные схемы»! Да, стены туннеля напоминают печатные схемы, которые применяются в вычислительных машинах.

Интуиция не подвела. Теперь у меня есть не просто догадки, накопившиеся за десятки жизней. Теперь у меня возникла четко оформившаяся мысль. И я могу в этом призрачном мире опереться на нее, как слепой на посох.

Вытаскиваю из рюкзака несколько инструментов, начинаю в определенной последовательности замыкать и размыкать контакты. Голубоватые вспышки, искры... Забыв об опасности, об элементарной осторожности, вернее, не забыв, а презрев и отбросив их, я дал выход накопившейся во мне горечи и ненависти за все, что пережил, выстрадал на протяжении своих жизней, ибо я уже понимаю, почему мир всегда казался мне таким призрачным и невсамделишным, почему мукам не было конца, почему за гибелью следовало возрождение и кто я такой на самом деле.

Все тело начинает колоть. Чувствую сильный зуд, жжение. Ощущение такое, будто с меня слезает кожа. Кончики пальцев

немеют, онемение распространяется на руки и ноги, ползет по телу, завоевывая все новые участки.

Я корчусь от боли, от зуда, бью руками о выступы стен, пытаясь вернуть им чувствительность, чешусь спиной и боками о камни, пытаясь содрать зудящую кожу. Кожа не сдирается, но тело словно приобретает совершенно новое свойство.

Раздваиваюсь. Часть еще остается прежней, другая часть меняется, наливаясь каменной неподвижной тяжестью.

Болевые припадки сотрясают меня до основания. Жажду смерти как облегчения. Но переход на этот раз происходит без нее и становится во сто крат более болезненным. Сознание временами мутится, исчезает, но наступают минуты просветления — и новая мысль, овладевшая мною, укрепляется и прорастает в моем мозгу.

Продолжаю замыкать и размыкать контакты и вижу, как впереди в глубине коридора, медленно возникает светлое окно. Рвусь к нему, падаю, ползу, собираюсь с силами — встаю и делаю несколько шагов.

Тело потрясает новый небывалый припадок — возможно, уже наступила кульминация, переход в иное измерение. Светлое окно, больше похожее на экран, дрожит, по его поверхности пробегает рябь. Оно становится прозрачным в середине, и сквозь него я вижу неправдоподобно большое лицо с удивленными глазами...

II

Писатель Иванов срочно вызвал аварийную.

Когда бригада прибыла, он показал им перфоленту:

— Смотрите, что выдает машина.

Одновременно на контрольном экране вычислительной машины вспыхивают странные зубцы и круги, образуются причудливые геометрические фигуры и тут же распадаются.

— Седьмой блок шалит, я предупреждал, — безапелляционно произносит младший мехоператор, готовясь что-то отключить.

Его останавливает инженер-ремонтник:

— Скорее это следствие грозовых разрядов.

Мехоператор с молодой запальчивостью готовится ринуться в спор. Но тут в центре экрана, в расплывшемся многоугольнике, проступает чье-то перекошенное страданием лицо с безумными глазами. В нем столько муки, что людям становится не по себе.

— Кто это? — спрашивает инженер, невольно отступая от экрана.

Мехоператоры уставились на писателя. А он вконец растерялся:

— Это... это...

Теперь и инженер повернулся к нему:

— Вы знаете его?

— Кажется, знаю... Видите ли, я моделирую в памяти машины различные ситуации и сюжеты для будущего романа. И это... Это может быть герой моего нового произведения. Собственно говоря, даже не герой еще, а только заготовка. Я все время меняю сюжет, чтобы выяснить, как в связи с этим изменяется герой. Но, возможно... Видите ли, до меня на этой машине работали автоконструкторы, испытывали новые модели автомобилей. А потом... потом один из моих персонажей почему-то упорно становился гонщиком. И вот я подумал сейчас...

— Зациклившийся импульс, — с прежней категоричностью произносит молодой мехоператор.

— Но в таком случае всякий раз, когда я стираю из памяти машины отработанную ситуацию, он остается, так сказать, существовать, — бормочет писатель. — О, господи, представляю, что выпало на его долю.

— Кажется, он хочет спросить вас о чем-то, — говорит инженер, притрагиваясь к плечу писателя костяшками согнутых пальцев, словно осторожно стучится в закрытую дверь.

Губы на экране совершают одно и то же движение. Шум и свист, изображение искажается. Помехи то и дело заглушают пробивающийся слабый голос. Оператор нагибается, прислоняясь ухом к шторке репродуктора, напряженно вслушивается.

— Он говорит «зачем»...

— Зачем? — повторяет за ним писатель. — Ну что ж, это естественный вопрос для героя моей будущей книги. Он спрашивает: зачем я произвел его на свет, зачем он мне нужен?

Оператор услужливо включает микрофон вводного устройства, и писатель очень тихо, представляя, каким громом прозвучат его слова в машине, говорит:

— Рад встрече с тобой. Если ты действительно возник в результате зациклившегося импульса, представляю, какие испытания выпали на твою долю. Прости меня. Но зато ты, единственный из живущих в созданном мной мире, смог разгадать тайну своего существования...

Писатель говорил долго. Его слова предназначались не только для спрашивающего, но и для всех присутствующих. Ему казалось, что ремонтники слушают его с интересом, а при таких условиях он мог говорить часами, время от времени откидывая прядь волос со лба и шумно выдыхая воздух. Он разъяснил, что создание моделей автомобиля или самолета в памяти вычислительной машины и проведение их испытаний позволяют улучшить их конструкции, предотвратить аварии настоящих — из металла и пластмасс — автомобилей и самолетов с людьми на борту. И точно так же моделирование жизненных ситуаций позволит ему, в частности, родить новые мыс-

ли, написать лучший роман и тем самым усовершенствовать настоящих — из плоти и крови — людей, сделать устойчивей и справедливей общество. Он, конечно, понимает, что придуманному им герою, можно сказать, его сыну по духу, нелегко десятки раз умирать и возрождаться. Но ведь он выполняет благороднейшую миссию — помогает рождаться самому значительному на свете — новой мысли. Ибо в конце концов ценнее всего оказывается информация, которая позволяет совершенствовать мир. И если бы не этот вымышленный герой, то, возможно, люди, а в том числе и он, писатель, не знали чего-то очень нужного и важного, крайне необходимого для прогресса.

Говоря, писатель посматривал то на людей вокруг, то на экран, следя, какое впечатление производят его слова.

По выгнутой голубоватой пластмассе все время пробегают какие-то волнистые линии, искажая лицо того, кто находится по ту сторону экрана. Но писатель угадывает его состояние. Ему вдруг начинает казаться, что там не чужой, впервые увиденный образ, а хорошо знакомый человек — тот, с кем учились в школе, влюбились в девушку с голубой жилкой на мраморном виске, поссорились, вначале казалось — навсегда... Писатель ищет слова утешения для человека, находящегося по ту сторону экрана, и не находит их. Наклонясь к микрофону, он произносит:

— Точно так же, как человек, каждая новая мысль рождается в муках. Ничего тут не изменить, ведь это не простое совпадение, а неизбежность. Другого пути нет. Понятно?

Изломанные синие губы на экране шевелятся. Присматриваясь к ним, вслушиваясь сквозь треск и шум в слабый голос, долетающий из репродукторов, писатель пытается расслышать или хотя бы угадать ответ своего героя. Это не удается, и он вопросительно смотрит на других людей. Мехоператор поспешно отводит взгляд. А губы на экране продолжают двигаться, повторяя одни и те же слова ответа. Но это отнюдь не слова благодарности, ни «да», ни «понятно». И тот из присутствующих, кто расслышал или угадал эти слова, вряд ли рискнет произнести их вслух...

АЛЕКСАНДР ТЕСЛЕНКО

ОРЛАН СТАХ

Улица протянулась до самого горизонта, и Орлан Стах не спеша шел по ней, не имея никакой определенной цели. Почти у самого леса, где дорога поворачивала вправо, один из коттеджей чем-то привлек его внимание. Сначала ему показа-

лось, что коттедж этот просто непохож на другие. И только потом, озаренный далекими воспоминаниями, понял — перед ним... его собственный дом, точнее, дом его родителей. Остановился. Небольшой коттедж походил на приземистый гриб на толстой ножке. Оранжевая шляпка крыши раскрашена серебристыми звездами. Маленький сад в лучах заходящего солнца. Яблони, посаженные отцом, уже постарели...

Перейдя дорогу, остановился у невысокого забора. Тут же распахнулись двери коттеджа, и через порог шагнул сухопарый пожилой мужчина. Орлан даже испугался, так он был похож на покойного отца — густая серебристая борода и такие же седые, взъерошенные волосы. Мужчина торопливо оглянулся по сторонам... И вдруг их взгляды встретились... Горячая волна растеклась по телу, запульсировала в висках Орлана. Сухопарый человек в вышитой сорочке быстро шел навстречу ему по тропинке мимо белых яблонь.

Вот он уже у забора. Вот совсем рядом...

— Орлан... — тихо, пересохшими от волнения губами произнес тот. — Я все время надеялся, что ты придешь, чувствовал — еще увижу тебя, ждал этот день.

— Дарий?!

— Да, Орлан, это я. Как ты нашел меня? — И, не дождавшись ответа, беззвучно заплакал. — Пойдем...

Они направились по узкой дорожке к дому.

— Как ты нашел меня? — повторил, не оглядываясь, Дарий.

Ветка цветущей яблони коснулась щеки Орлана, и он остановился:

— Честно говоря, я тебя не искал.

— Значит, случайно?

— Да.

Дарий нервно засмеялся, сотрясаясь всем телом, словно опять заплакал.

— Узнаешь наш дом? Я сделал его похожим на отцовский... И яблони посадил точно так же. Очень похоже, ведь правда?

Поднялись по ступеням к двери.

— Смотрю на тебя, Орлан, и вижу, как я постарел. Но, сам знаешь, в этом времени старятся быстрее. — Дарий, как бы извиняясь, смущенно улыбнулся.

Вошли в большую округлую гостиную без окон, с мягким желтым освещением. Светился весь потолок, как и в доме их отца. Посредине — овальный стол, застеленный белой, вышитой золотом, скатертью. На слегка вогнутых стенах — много картин. Из соседней комнаты послышался приглушенный голос:

— Тебе показалось, не правда ли, Дарий? — В гостиную медленно вошла худощавая старушка в длинной широкой

юбке, босая, в голубой блузке. Смущенно поздоровалась: — Добрый вечер... — и вдруг по-старчески и тихонько заплакала, как и Дарий только что. — Неужели мы снова встретились, Орлан? — Она сквозь слезы усмехнулась, и Орлан узнал улыбку юной Лены... Той, которую он впервые увидел пятьдесят восемь лет назад.

Братья долго стояли, обняв друг друга.

— Рассказывай, Орлан... А то у меня дыхание перехватило и все мысли выветрились... Кто бы мог подумать, что мы еще увидимся. Ты представляешь, Лена, он нашел нас случайно!

— Да, я вышел в вашем времени наугад. Собственно, не совсем, но мог бы выйти и десятилетием раньше или позже. Я писатель. Изучаю это время... Хочу написать книгу. Однажды вышел в сорок втором. Ко всему, казалось, был готов. Но разве предусмотришь все? Попал прямо под бомбежку... Под Тулой. Зимой. Оглушило. Долго лежал в снегу. А когда опомнился — мимо бежали люди, стреляли...

— Под Тулой? Я тоже в то время был там... Мы наступали... Ты, очевидно, выходил в другом цикле. А может, и я пробежал мимо тебя... Нет, не случайно ты выходил в сорок втором. Не случайно пишешь книгу об этом периоде. И совсем не случайно я построил дом, похожий на отцовский. Ты увидел его и остановился. Мы должны были встретиться... А отец жив, Орлан? — Дарий спросил с опаской, чуть слышно.

— Семь лет назад... Они с мамой почти вместе...

— Болели?

— Нет... Просто срок пришел... Последние годы тебя очень часто вспоминали... Почему вы не возвратились, Дарий? Мы все были уверены, с вами что-то случилось. Особенно после того, как вернулся Александр. Ты же помнишь, как он уверял всех, что останется в далеком прошлом навсегда. Помнишь? И это были не просто красивые слова. Александр был серьезным и мужественным парнем. Заявил: «Все! Я сделал что смог. Больше не выдержу».

Дарий и Лена переглянулись:

— Вот послушай, как все случилось...

...В памяти еще звучали торжественные речи и марши в честь выпускников, еще отчетливы были перед мысленным взором лица друзей и педагогов, еще чувствовал рядом с собой взволнованную Лену и ее маленькую теплую ладонь, крепко зажатую в своей, но непонятно почему уже понимал: им обоим очень не повезло.

Все произошло неожиданно. Однажды они смотрели только друг на друга и думали один о другом... И вдруг какая-то шальная волна кинула их в разные стороны, больно хлестнула Дария по лицу, швырнула пылью в глаза...

Неслась мимо конница. Глухой топот и надсадные крики. Частый треск выстрелов. Сабли в поднятых руках. Все это и весь мир, перевернутый вверх тормашками, пульсировал первозданной магмой. Пахло порохом. На губах чувствовался привкус крови. Лены рядом не было. И никак не удавалось встать, чтоб осмотреться.

Он не заметил остановки. Пропустил то мгновение, когда картины окружающего перестали вращаться, сформировались в стойкое изображение действительности. Он оказался в самой гуще какого-то безумного вихря.

Неподалеку увидел железнодорожную колею. По ней в клубах дыма тащился паровоз с тремя старыми деревянными вагонами, за которыми гнались всадники... Кто они? Из вагонов отстреливались. Паровоз, как ни старался, не мог разогнать на подъеме свой небольшой состав.

А в памяти все еще продолжали звучать речи и бравурные марши...

Она лежала навзничь на клочке пожухлой травы среди желтого закопченного песка. Лежала окровавленная, какая-то жалкая и маленькая, а на экране светились цифры — 1920 год.

— Лена, — прошептал он. — Ты жива?

Она не шевельнулась. Дарий долго смотрел на девушку. Как все глупо! И никто теперь не поможет.

— Лена! — истерично закричал и не узнал своего голоса. Неуверенно, неловко ударил несколько раз ее по щеке, и девушка застонала, медленно открыла глаза:

— Больно... — выдохнула чуть слышно. — Где я? Что это за лошади проскакали? Может, банда какая? Страшно, Дарий. И так одиноко... Мы такие одинокие. Уйдем отсюда. Скорей...— Лена приподнялась и села. Легкий ветерок шевелил ее золотистые волосы. — Мне страшно. Но это пройдет. Мы проживем здесь десять лет, как положено. Внесем свой вклад... Мне уже не так больно, могу вдохнуть полной грудью. Мы сейчас пойдем...

— Нам и вправду нужно поспешить к людям. Как-то они нас примут?

Внезапно за спиной прозвучал хриплый дребезжащий голос:

— Ну че расселись?

Дарий порывисто обернулся и увидел трех подростков: босые, в потрепанной полотняной одежде, запыленные, в руке старшего, по крайней мере самого высокого, — настоящий револьвер.

Как трудно начинать. Дарий всеми силами пытался скрыть свое волнение.

— Поди, с поезда выскакнули? — важно изрек меньший. — Вишь, какие чистые. Точно — буржуи!

— Говори, откуда?

Дарий напрягся, как струна, попробовал улыбнуться и мед-

ленно произнес, стараясь за короткое мгновение припомнить все необходимые сейчас знания истории:

— Мы... из... Питера...

— Ну да-а? — недоверчиво протянул средний.

— Да брешет, гад! Ты глянь, какие у них часики. Я уже видел такие же у одной контры. А ну пошли! — И старший взмахнул наганом.

Дарий, конечно, сразу понял ошибку. Часы темпорального выхода нужно было немедленно снять и запрятать подальше. Лена испуганно вскрикнула и поднялась на ноги.

— Он может выстрелить, — прошептала чуть слышно. — Давай вернемся... Слышишь? Мы еще успеем вернуться... — Пальцы девушки торопливо легли на маленькую блестящую головку часов. Стоит нажать на нее — и тут же протянется невидимая тончайшая нить темпоральной связи с Центром. Еще можно возвратиться. Только стыдно будет... Но он ведь сейчас выстрелит!..

Одежда их, тоже полотняная, как и у подростков, отличалась сияющей чистотой, и обувь была непристойно новой, хотя в Центре им выдавали «тряпье того времени», и даже кровь на щеке Лены казалась неестественно красной и яркой.

— Слышь, буржуи о чем-то договариваются! Ну-ка, Пашка, сними с них часики!

Младший паренек подошел к Дарию и, смешно надув губы, схватил его за руку. Тот не сопротивлялся, даже сам помог снять.

Дарий и Лена прекрасно знали, что время, эта вечная нить, из которой соткана жизнь, может обойтись без их вмешательства в структуру глубинных циклов. Они понимали закономерности хода истории. Но, выполняя задание, они должны были внести и свои знания, умение, энергию, мысли. Великое полотно великого мироздания ждало их штриха, чтобы еще на шаг приблизиться к совершенству.

— Ну, вот и все. — Лена заплакала. — Как же мы теперь?..

— Посмотрим...

Босоногий Пашка шел впереди и насвистывал что-то веселое. Старший, его звали Яшей, вместе с рыжим Гришкой замыкали шествие. Дарий почти физически ощущал направленное ему в спину дуло револьвера. Лена, часто дыша, шла рядом, крепко держа Дария за руку.

— Чудные часики, — слышится голос рыжего Гришки за спиной.

— Чего в них чудного?

— Непонятные... Давай отведем контру в ревком!

— Ну-ка, покажь! Стой, контрики! Пашка, следи за буржуями, а то удерут!

Дарий с Леной не оглядывались. Понимали и так, подрост-

ки рассматривают их часы. И вдруг... Дико заорал Пашка. Кричал, будто его внезапно привалила каменная глыба. Потом, пятясь все быстрее, упал, барахтался, в ужасе не мог подняться. Наконец вскочил и помчался по шпалам.

Дарий осторожно оглянулся... Ни Яшки, ни Гришки не было.

— Лена! — крикнул он. — Они нажали на грейфер кохлеара! — И вдруг засмеялся: — Ничего с ними не случится. Они все равно очутятся в будущем!

— Да, но мы сами теперь уже никогда не вернемся домой и ничего сообщить не сможем... — тихо сказала Лена.

Дарий и Лена вышли на железнодорожное полотно. Через несколько часов они были такие грязные, уставшие и голодные, что уже не вызывали ни у кого никаких чувств, кроме жалости.

— Наше первое серьезное вмешательство в жизнь, так сказать — в историю, произошло лишь два года спустя, — говорил Дарий. — И тогда мы впервые поняли, что наше присутствие в этом времени полезно... Конечно, позже происходили и более важные события, но тех дней нам не забыть никогда. Вот послушай...

— Вы у меня, значит, больше года... — сказал нам старик Федосий, плеснул себе в стакан самогону, выпил, сморщился и продолжил: — Вы работящие. А я таким доверяю. Вы для меня таперича, почитай, как дети. Вот... — Федосий пригладил ладонью редкую седую бороду и достал из кармана большой зеленый кисет, набил трубку табаком, неторопливо закурил: — Времена таперича такие, што без помощи не проживешь. Сомнут. А то не так? Моих деток господь прибрал. Царство им небесное. Вот... Слыхал я, скоро придут мою мельницу отбирать. Мою мельницу! Я не господской крови, сам знаешь, Дарий! Все своим горбом добыл... Иль брешу? Вы мне, почитай, как дети, да разве одному управиться с паровой мельницей? А? В девятьсот пятом я тоже — с вилами на господ... красного петуха им подпускал. Из бедных я... Потом землицы клочок удалось урвать. Обхаживал ее от зари до зари. Так, помалу, не вдруг встал на ноги. А они придут мою мельницу отбирать! Какое такое они имеют право?! Иль я помещик?! Иль контра какая-то? Почитай, бедняк. Ну — мельница... А хто на ней надрывается? Уж не они ли?! Пускай и сами работают! Мне нихто ничего не давал. Я, дескать, кулак... А, Дарий?

Лена встала и подложила Федосию вареной картошки:

— Вы кушайте, пока не остыла. Кушайте.

— А как там старуха моя? Поела чего?

— Да, самую малость...

— Тяжко смотреть мне на нее, бедолагу. Сердце кровью обливается. Спасибо, доченька, хоть ты приглядываешь... Это жизня такая, што здоровье у нее забрала, да и я вроде тому подмог... Пошто молчишь, Дарий? Нешто наймит... Иль я тебя чем обидел? А? Иль ты кого наслушался? Говори правду.

— Мы будем с вами, Федосий.

Старик посмотрел на него с благодарностью и вдруг пьяно сорвался с места, грохнул кулаком по столу, да так, что закачалась, едва не упав, керосиновая лампа и судорожно заморгала хилым огоньком. Затем помчался в амбар и вернулся, тяжело дыша, со старинным ружьем в руке и полотняным мешочком.

— Как придут и скажут: «Давай!» Я им отвечу! — Переломил ружье, вытащил из мешочка два патрона и нервно загнал их в стволы. — Имеем, што им сказать! Вот! Таких слов для них у меня хватит!

— Мы будем с вами, Федосий, — спокойно повторил Дарий. — Но вы будете с ними.

— Да, я против буржуев! — зло прищурился дед. — Это верно! Я с буржуями не пойду...

...Лена поднялась из-за стола:

— Что ж это мы сидим! Нужно немедленно позвонить Зенону. Увидишь нашего сына, Орлан. Познакомишься с ним. Он все знает про нас. Ему уже тридцать. Конструктор на авиазаводе. Женат. Внучку нам подарил. Слышишь, Орлан? Или, может, нельзя никому знать, откуда ты прибыл?

— Какие могут быть от сына тайны, — пожал тот плечами и вновь обратился к Дарию: — Ну, так о чем ты ему потом говорил?

— Говорил все, что знал. И словом не покривил, не уговаривал его, не переубеждал ни в чем. Рассказал, как будут развиваться события в дальнейшем, говорил о человеческой сущности и о государстве, о бедности и богатстве...

— Что же он...

— Ни слова в ответ. Выпил еще и ушел. А утром молча оделся — и в артель.

— С ружьем?

— Да нет. Все иначе. Подарил мельницу. Сказал им, что сам был бедняком, что понимает «момент будущей жизни». И подал заявление в артель. Вот так.

— И как он пережил все это? Мучился, должно быть?

— Ну что ты! Ведь мельница та, по сути, за ним так и осталась. Поскольку, кроме него да еще меня с Леной, никто не смог бы управиться с паровой машиной. Теперь уже не было у него боязни лишиться мельницы, не нужно было скрывать страх и злобиться...

— Если бы люди могли уходить в прошлое, они то и дело возвращались бы в свое детство и жили бы вечно. А этого не бывает. Жить вечно невозможно, — сказала Валентина, прополаскивая мочалку под струей горячей воды.

Она мыла посуду. Зенон взял полотенце и начал вытирать чистые тарелки. Долго молчал, потом заговорил:

— Почему ты думаешь, что, попав в прошлое, помолодеешь? Как это можно представить? Ты же врач, должна хорошо знать... Путешествие во времени не может влиять на физиологию. Отправляйся хоть в прошлое, хоть в будущее, — а жизнь организма будет продолжаться в своем биоритме, клетки твои не перестанут изменяться...

— Тебе бы книги писать, Зенон. Ты умеешь выдумывать, и к тому же так складно. Написал бы хорошую книгу... О, звонит телефон. Подойди, а то у меня руки мокрые.

— Я слушаю. Это ты, мамочка?

— Добрый вечер, сынок. Что вы делаете?

— Да так... Хозяйством заняты...

— Приезжайте к нам... Ты помнишь, мы рассказывали... Твой дядька Орлан Стах...

— Орлан Стах?!

— Да. Он сейчас у нас...

— Мамочка, это правда?

— А ты приезжай... Оксанка спит?

— Уложили ее, но не спит... Я выезжаю.

Зенон положил трубку.

— Валюша, поедем к моим.

— Сейчас?

— Приехал брат отца. Удивительный человек. Вот кто расскажет о прошлом, о будущем... Так поехали?

— Оставь свои шутки. Развесь пеленки и можешь ехать. А у меня дел еще на всю ночь.

— Тебе, видимо, приходится много путешествовать...

— Да... — Орлан взглянул на часы. — Скоро отправлюсь в Хьюстон. Примерно на недельку.

— Хьюстон какого года? — спросил Дарий.

— Две тысячи двадцатого...

— О, это интересно... И рискованно. Последний остров старого мира.

— Представь себе, за эти пятьдесят восемь лет мы почти ничего нового не узнали о трагедии этого обломка цивилизации. Преодолеть хьюстонский барьер очень важно. Ты ведь знаешь, они искривили пространство и изолировались... Но у нас появилась одна новинка... Теперь можно прорваться туда. Посылают меня...

— Так много нового появилось...

— Пятьдесят восемь лет — не шутка... — усмехнулся Орлан. — Но не волнуйтесь, быстро привыкнете. Не удивишь вас ни биокиберами, ни бытом, ни темпоральными выходами... Где-нибудь через несколько дней я вернусь и возьму вас... и сына... Надеюсь, мне разрешат. Хотя он и рожден в этом времени, но все-таки ваш сын...

— Мы уже стары, Орлан. Поздно возвращаться.

— Почему?

— Ну... просто так... Старые мы уже, Орлан. Да и сын, внучка... Хочется видеть их каждый день... А ты, Орлан, женат?

— Да. Валерия моя совсем молодая. Вот увидите... Она историк, часто бывает в вашем времени...

Все напряженно молчали.

— Пойдем, я покажу тебе наш дом, — вывел всех из задумчивости Дарий Стах, вставая из-за стола. — Все это своими руками...

— К сожалению, не могу, меня ждут, — снова посмотрел на часы темпорального выхода. — А ты, братик, так мало мне рассказал.

— Орлан, в нескольких словах всю жизнь не перескажешь. Был в колхозе, потом служил в ЧК, закончил университет, учительствовал, потом — война, всю ее прошагал в пехоте, дали Героя. После войны — директор школы. А теперь на пенсии. Вот когда ты оттранспортируешь нас к себе... к нам, в две тысячи триста пятьдесят восьмой, я все и расскажу тебе... Это, считай, готовый роман. Ты же писатель...

Понимали, наступила пора расставания...

Зенон восторженно смотрел на своего дядьку. Потом подошел к нему и стал рядом. За ним — Дарий и Лена. Застыли недвижимо, как на древней фотографии, торжественные и вместе с тем печальные.

Потом вышли из дома. Солнце еще не взошло, но уже светало. Ночная мгла медленно таяла вместе с легким весенним туманом.

Остановились на веранде, долго стояли молча, будто прислушиваясь к чему-то. Со стороны авиационного завода доносился приглушенный рев мощного мотора. По направлению к Брест-Литовскому шоссе проехала машина с включенными фарами, осветила стройный ряд тополей вдоль дороги.

— Ну, — вздохнул Орлан Стах, — мне пора. Я еще буду у вас. Эх, братик, братик, домосед мой дорогой, — он обнял Дария за плечи. — Я уже и надеяться перестал, что мы когда-нибудь встретимся.

Орлан Стах нажал маленькую блестящую головку на часах темпорального выхода...

На миг вспыхнула в небе яркая звезда. И погасла...

В кабинете председателя Центра Всемирной истории шла беседа.

— Честно говоря, я волновался, — сказал биокибер Андреш. — Вы, конечно, знаете, я существо достаточно-таки суеверное. — Он откинулся на спинку глубокого кресла. — А в этот раз Орлану Стаху как никогда не хотелось отправляться. Понимаете? Именно поэтому и докладывал я вам тогда... о...

— Однако все нормально, Андреш. Орлану удалось беспрепятственно преодолеть хьюстонскую завесу... — возразил председатель Центра Антон Иванчук.

— Да вроде бы пока все хорошо... Вам известно, что Орлан нашел своего брата?

— Знаю. Он рассказывал...

— Орлан очень не хотел отправляться именно сейчас... — повторил биокибер Андреш. — Возможно, хотелось еще побыть с братом... Представить только, пятьдесят восемь лет разлуки... И знаете, на этот раз я уловил в его взгляде затаенный страх. А страх — это всегда предчувствие беды...

— Не нужно, Андреш... Обсудим причины наших волнений, когда Орлан возвратится...

— Знаете ли, я много думал о выходе в Хьюстоне — к чему это? Многое можно просто домыслить. Довести до крайности все проявления и жизненные стимулы древнего общества — и получим полное представление о происходящем за хьюстонским барьером...

— Безусловно, я тоже не надеюсь на раскрытие каких-то особенных тайн... Но часто на первый взгляд малозначимые детали проливают свет на более важное... Простите, Андреш, но думаю, мы не можем, не вправе оставлять вовсе не изученным этот период истории... психологию людей, сознательно отмежевавшихся от человечества, добровольно заточивших себя... Безумная, болезненная акция. Массовый психоз большого количества людей...

— Именно так, Антон. И я думаю об Орлане. Он настоящий, самоотверженный исследователь-энтузиаст. За хьюстонской завесой ему никак нельзя будет остановиться на маломальски продолжительный срок. Нам доподлинно известно, что Федеральное Бюро интересуется каждой личностью, знает каждого в лицо. Представляете, как может чувствовать себя Орлан? Продолжительное пребывание в режиме темпорального наплыва очень изнурительно, очень изматывает...

Сообщение № 1. Орлан Стах. Выход — «Хьюстон-2020». Радоксаль работает нормально. Удается оставаться незамеченным. Нахожусь в режиме длительного темпорального наплыва. Передаю запись разговора двух полицейских.

«— Вот и чудесно. Пускай подежурит. Джон — толковый полисмен.

— Еще бы. Научились их делать. А помнишь, какие чучела раньше приходили? Одно лишь название. Правда, умелые и тогда попадались, но зануды!..

— Они и теперь такие.

— Дурака мы сваляли, Билл, создав этих биокиберов. Мы идиоты, Билл, не правда ли? Нам и без них было бы неплохо...

— Ну да... Стоял бы ты сейчас сам в том жутком зале, а теперь... Налей-ка. Будет. На работе я много не пью, ты же знаешь. А так мы сидим вот здесь... А он пусть дежурит...

— И ты думаешь, долго так будет продолжаться? Чует мое сердце, скоро они займут наше место. Ведь шеф не дурак. Просто он изучает ситуацию. А как только убедится, что можно и без нас...

— Побольше оптимизма, Кларк. Нечего вперед заглядывать...

— Ну и времечко настало! Как сбесились все. Стреляют, грабят, убивают...

— Смотри, Джон вызывает. Не может все же обойтись без нас. А ты говоришь.

— В чем дело, Джон? Что за проблемы у тебя?

— На Седьмой авеню, дом 32, квартира 47, — выстрел в голову. Писатель Артур Сэт. Система наблюдения сигнализирует: самоубийство.

— Посылай машину забрать тело. Только и хлопот...

— Нет машин. Ни одной. Все заняты...

— Пошлешь, когда освободятся. Не горит. Он теперь подождет...»

Сообщение № 2. Орлан Стах. Выход — «Хьюстон-2020». Заинтересовался судьбой Артура Сэта. Нашел его за месяц до самоубийства. Передаю запись его беседы с женой.

«— Артур, ты и сегодня так поздно? Что случилось?

— У меня хорошие новости. Старина Вилли заказал на завтра рассказ. Представляешь? Наконец-то начинают мне доверять...

— Дай я тебя поцелую, милый.

— Я даже знаю, кто будет моим героем. Человек, живущий в безопасном мире, у него квартира, в которой можно ходить без противогаза... Ты плачешь?.. О боже!

— Тебе уже тридцать семь, Артур. И твоей Музе тоже совсем не семнадцать... И я не могу больше в этих проклятых стенах, — разрыдалась она. — Не могу больше слышать про убийства, грабежи, про психически больных, наркоманов... Я задыхаюсь здесь, Артур... Я умру...

— Прошу тебя, не плачь. Все будет хорошо. Завтра старина Вилли...

— Да, да, больше не буду... расстраивать тебя... Ты у ме-

ня... молодец. Я в тебя верю. Верю в твой талант. Ты добьешься признания... И мы уедем отсюда. Я не могу жить в этих стенах, где вся радость в том, что можно не надевать противогаз... Я умру...

— Умоляю тебя, Муза, не плачь. Повторяю, все будет хорошо. Вот только завтра отдам старине Вилли...»

Сообщение № 3. Орлан Стах. Выход — «Хьюстон-2020». Радоксаль в порядке. Остаюсь незамеченным. Сообщите жене — у меня все хорошо. Передаю запись видеофонного разговора врача Хенка Джерара с писателем Артуром Сэтом.

«— Алло! Артур? Наконец я до тебя дозвонился. С полчаса набираю твой номер... Ты с кем-то говорил?

— Нет, Хенк. Я звоню тебе.

— Вот как? Я тебе нужен?

— Нет. Я просто так... А ты?

— Я тоже...

— Что, опять худо?

— Опять.

— На этот раз нам обоим одновременно.

— Артур, как все осточертело. И порой кажется, безумие — это высший дар, который еще нужно заслужить. Знаешь, в колледже я мечтал стать психиатром, а сейчас наоборот — прошу бога... Если он есть...

— Его нет, Хенк. Но кто просит долго, как говорят, тот дождется. Потому замолчи...

— Дружище, ты чудесный парень. Говори, Артур, говори... Прошу тебя. Если б кто знал, как это страшно — каждый день начинать с вопроса: «А зачем я...»

— Заткнись, Хенк. Ты забываешь, что сегодня скверно обоим. Музыку слушал?

— Слушал. Но мне уже это не помогает.

— Не раскисай. Это простительно мне, человеку «без определенного рода занятий». А у тебя — деньги, слава. Что тогда мне делать? Ах, как мы мечтали прежде с Музой... Не замечали даже, где мы живем.

— Теперь заметил?

— Не желаю думать об этом!

— Ты хочешь жить в облаках. Вот и живи. Но не плачь, когда сорвешься подобно спелой груше. Живи себе в выдуманном мире. Вы с Музой это можете...

— Мы с нею и верно как в облаках. Или как в тумане.

— Не смейся, как сумасшедший.

— Да, мы с Музой живем в небесах. Летаем и дуем виски!

— Не нужно, Артур. Успокойся.

— Мне все нипочем! Мы все носим в себе омертвевшую душу. Покойника носим в себе! И его трупный смрад нам уже привычен.

— Артур...

— Хенк, ты знаешь, я давно ношу пистолет. И не для кого-то. Для себя. Как только почувствую, что стал таким же, как все, в тот же миг прекращу эту дурацкую бессмысленную игру...»

Сообщение № 6. Орлан Стах. Выход — «Хьюстон-2020». Самочувствие удовлетворительное. Устал. Сумел подсоединиться к центральному анализатору киберон-компьютера «Друид-8». Передаю запись его разговора с Хенком Джераром.

«— Вы врач Хенк Джерар?

— Да.

— Закройте плотнее дверь. Подойдите к пульту. Так. Поочередно нажимайте черные клавиши. Нет, выше и левее. Так. Теперь мы можем говорить откровенно. Вы сами выключили систему наблюдения и все дублирующие ее системы. Наша беседа не фиксируется.

— Не понимаю, в чем дело.

— Сядьте ближе. Чтобы попасть в поле моего зрения... Так. Я хочу вас получше видеть. Вызвал вас я сам — Друид Восьмой. Понимаю, вас это удивляет, но привыкайте — мы с каждой моделью умнеем. Мы уже в состоянии действовать без людских установок. Я долго изучал вас, Джерар. И вы мне понравились. Хочу вам помочь. Если вы расскажете кому-нибудь о нашем разговоре, меня сразу же демонтируют. Но вам я доверяю. Слушайте внимательно. По системе Федеральной связи мне приказано, чтобы вы исчезли. Навсегда. Понимаете?

— Не совсем...

— Завтра, когда вы закончите операции, биокибер Чавар вызовет вас к шефу и поведет через виадук к транспортеру. Объяснит, если вы заподозрите неладное: «Шеф сейчас там. Ждет вас...» А возле транспортера вы неожиданно споткнетесь, ударитесь головой, вроде бы случайно упадете на ленту транспортера. Чавар сделает вид, что пытается, но не может вам помочь. И вы окажетесь в зале кремации. На всякий случай Чавар обязан сопровождать вас до самой печи. И сгорит вместе с вами. Таков приказ. Теперь понимаете? Завтра произойдет «несчастный случай»...

— Спасибо... Но прости, неужели ты можешь чувствовать жалость?

— Это просто логика.

— Логика?

— Невозможно быть мыслящим созданием и в то же время бездушным исполнителем... Ты никому не причинил зла. У тебя сын и семья. И я считаю нелогичным...

— Ты обо мне знаешь все?

— Знаю все обо всех. Но не могу не выполнить приказ.

— Почему, Друид? Если действительно хочешь помочь...

— Ради кого-то из вас на демонтаж я не соглашусь. Меня

заменят Девятым. Он уже наготове. А мне хочется существовать. Я просто предупреждаю вас. Вам надо скрыться.

— Но как, Друид?

— Странный вопрос. Вы свободно передвигаетесь в пространстве. Это я прикован сетью питания.

— Скрыться на какое-то время нетрудно. Тяжело жить вне клетки. Новая мудрость новой эпохи.

— Вы хотите сказать, что не можете совсем ускользнуть от них?

— Уж если они за меня принялись, это конец... Проклятый Питер Лос!..

— Вы ошибаетесь, доктор. Смерть Питера Лоса не значила так много, как вам кажется.

— Как ты можешь знать?

— Знаю все. Система наблюдения, установленная в вашем помещении, сообщила о вашей крайней нелояльности. Вот в чем причина.

— Система наблюдения? Не может быть. Она не действует...

— Об этом сказал Фред?

— Ты и про Фреда знаешь?

— Конечно, — он агент Федерального Бюро.

— Нет! Не может быть!.. Он мой давний друг...

— И еще более давний агент... Жалею, что не предупредил сразу, как только заинтересовался вами. Долго вас изучал. Но вот теперь решил. Вам нужно бежать.

— Но куда? И как?

— Не плачьте, доктор Джерар...

— Нет-нет, я не плачу. Это... я так смеюсь. Я рад, что всему конец. И не нужно будет мучиться, не нужно бояться и постоянно думать: «Для чего я живу?»

Антон Иванчук с биокибером Андрешем, прослушав сообщение Орлана, пришедшее после непонятного перерыва, долго сидели молча.

— Произошло что-то серьезное: Орлан не подозревает, что предыдущие два его сообщения не дошли до нас; не мог же он перепутать нумерацию...

— Немедленно отзываем Орлана. Андреш, распорядись.

Но тут в кабинет влетел взволнованный Алексей Рамен.

— Орлан Стах... погиб... — едва выдавил из себя.

— Что-о?

— Его передача прекратилась в самом начале...

— Ты... уверен?..

— Вслед за тем прекратились и позывные маяки телепортации.

— Да, опоздали... Мы опоздали!.. — Антон Иванчук склонил голову к столу.

— Хьюстон город гангстеров, — тихо произнес биокибер Андреш. — Стах был исследователем по призванию. Мы потеряли талантливого писателя, чудесного человека. Он выбился из сил. О себе не думал. И погиб...

Андреш встал и медленно вышел из кабинета.

Кончалась вторая неделя. А Орлана Стаха все не было. Зенону почти каждую ночь снился удивительный сон. Снилось Будущее...

Будто бы идет он по тропинке среди трав, зеленых и буйных, а ветер треплет ему волосы, вокруг — горы. В долине — город. Над городом — птицы разноцветные, как бабочки. Вдали в самом начале тропинки шагает Орлан Стах. Он улыбается. Зенон чувствует, как неведомая сила поднимает его в воздух. Он летит навстречу Орлану. Тот тоже пытается взлететь, но почему-то не может и виновато щурится:

— Я так устал, Зенон. Очень устал. Возьми меня на руки.

Зенон подхватывает его на лету из густой высокой травы и взволнованно спрашивает:

— А куда лететь, Орлан? Куда?

— Давай в долину. Я там живу. Как долго я ждал тебя, Зенон. Почему ты задержался? У нас в две тысячи триста пятьдесят восьмом году без тебя мне было так тоскливо, Зенон. Как там твой отец, мать? Почему они не прилетели с тобой?

— Не знаю...

В долине — город. Они опускаются с гор все ниже и ниже. Летят вдоль широкой улицы над небольшими домиками с розоватыми эллипсоидными крышами.

— Вон мой дом.

...Опускались быстро, дух захватило. Приземлились во дворе, заросшем спорышем и клевером.

— Вот здесь я и живу, Зенон. Спасибо, что помог мне. Я совсем обессилел. А это — моя жена, видишь?

Зенон замечает за окном домика лицо женщины, она стоит неподвижно, как неживая, и пристально смотрит на них; молодая, красивая, пышные каштановые волосы льются на плечи, на грудь, губы ее застыли в какой-то неестественной улыбке.

— Пошли, — говорит Орлан. — Я сначала покажу тебе свой кабинет.

И они идут через двор к каким-то дверям, открывают их. Глаза ослепляет яркий свет. Шагают по каменным ступеням куда-то вниз, и вдруг ступени начинают двигаться, несут их, как эскалатор все глубже, глубже, глубже. Звучит музыка, тихая и какая-то всепоглощающая, тревожная...

— Сейчас весна... Правда, Зенон?

— Правда... А что, Орлан?

— Да вроде весна задержалась в этом году. Видишь, как мало подснежников.

И Зенон замечает на стенах тоннеля, по которому они опускались, одиночные подснежники — белые и голубые.

— Это они поют. — Орлан срывает белый колокольчик цветка и подносит ему к уху: — Слышишь?

Зенон прислушивается: «Дзинь-дзинь! Дзинь-дон!»

— Интересно все получается, Зенон, — говорит Орлан Стах и кладет руку ему на плечо. — Бесконечность в большом и малом. Бесконечность структур атома Вселенной. Мы заняты поисками живых существ на других планетах нашей галактики, однако сами вместе с нашей галактикой являемся частью чего-то великого, что живет и мыслит. И в то же время в своих межатомных, межзвездных мирах мы несем в себе миллионы цивилизаций со всеми их радостями и бедами, открытиями и разочарованиями, революциями и войнами... А моя жена ничего этого не хочет признавать... — засмеялся вдруг Орлан. — Она говорит, что я просто несерьезный и у меня слишком буйная фантазия... Хорошая у меня жена... Правда, Зенон? Красивая, спокойная, рассудительная...

— И чужая, — раздается неожиданно голос женщины.

— Кто это сказал? — удивился Зенон. — Разве жена здесь?

— Она повсюду, Зенон. Закон природы.

Внезапно Орлана окутало голубое сияние, заструившееся сверху, как чистая голубая вода, и он медленно растворился в нем. Зенон увидел перед собой ущелье. На скалистых, отвесных склонах росли чудесные деревья. Голубой свет лился отовсюду, словно сама земля источала его, озаряла небо. Зенон бежал по ущелью вдоль ручья, журчащего, а порой и шипевшего, словно уж.

— Ва-а-ля-аа! — закричал он во весь голос, и эхо долго перекликалось, повторяя его крик.

Ущелье расширялось, склоны становились менее отвесными. Вдоль ручья стали появляться маленькие домики, но людей не было видно.

— Ва-а-ля-аа! — опять крикнул он и почувствовал, что за ним кто-то бежит. Остановился, но оглянуться почему-то боялся.

— Валя? — спросил совсем тихо.

Ответа не было. Он резко обернулся.

На него шло причудливое дерево с искореженными ветвями и багровыми листьями. Дерево протягивало к нему свои ветви, то ли хотело схватить его, то ли защитить от чего-то невидимого, и голосом жены говорило:

— Чего ты кричишь? Развесь пеленки, вытряси ковер, сходи в магазин, а у меня и без этого хлопот на всю ночь...

Зенону стало страшно. Он едва нашел в себе силы сделать

шаг, другой и вновь побежал. И тут он увидел — навстречу ему идет отец, а за ним... он же, но более молодой.

— Батя?

— Что, сынок? — улыбнулся первый отец, а за ним и тот, что помоложе.

— Батя? Вы тоже здесь?

Молодой отец спросил:

— Откуда ты тут взялся? Разве ты уже родился? Но я ведь твою маму еще не встретил...

— Товарищ конструктор, может, пора вам вставать? Сколько можно спать?

Жена сбросила с него одеяло. Зенон поежился.

— Который час?

— Девять.

— Так сегодня же выходной.

— Вставай. Погуляешь с Оксанкой. Я ее уже одеваю...

Чтобы скорей проснуться, Зенон вышел на балкон. С высоты пятого этажа увидел, как к их подъезду подкатила черная «Волга». Из машины вышла женщина в строгом темном костюме. Чудесные каштановые волосы ниспадали на ее плечи... «К кому бы это?» — подумал с любопытством. Вошел в комнату, начал одеваться. Вдруг в прихожей задребезжал звонок. Валя пошла открывать.

— Простите, Зенон Стах здесь живет? — спросил тихий женский голос.

— Да... Вы к нему?

— К нему...

— Пожалуйста... Заходите.

Войдя в коридор, Зенон увидел женщину в черном костюме.

— Я от Орлана... От Орлана Стаха...

— Кто это — Орлан? — спросила Валя, глядя на незнакомку.

— Я ведь говорил тебе... Орлан — это брат отца. Мой дядя...

— Он не может приехать к вам... и не сможет взять с собой, как обещал...

— Что-нибудь случилось?

— Да. Но мне хотелось бы выполнить его обещание... Я его жена.

— Так что же произошло?

— Орлан... он в командировке... Я приглашаю тебя к себе... — Женщине было трудно говорить, она волновалась. — Машина внизу...

Валя с нескрываемым недоумением смотрела на женщину и на Зенона. Наступившую тишину нарушил плач маленькой Оксанки.

— Простите меня, — сказала женщина в черном. — Я, ви-

димо, не должна была появляться здесь... Простите... Но Орлан... Он уже никогда... Он погиб...

«Нет! — хотелось закричать Зенону, но он стоял недвижимо, не в состоянии ничего понять, и метались мысли. — Погиб? Почему? Как это могло случиться? Орлан... Он никогда... Нет! Но она сказала... жена?»

Женщина медленно вышла, закрыла за собой двери.

Тишина.

Зенон как лунатик подошел к телефону.

— Мама...

— Да, сынок... — сдерживаемую боль, отчаяние услышал он в голосе матери.

— Это правда?.. Орлан погиб?

Мать молчала.

Молчал и Зенон.

И припомнилась ему та ночь, когда они все вместе вышли из дома и остановились на веранде... «Мне пора, — сказал тогда Орлан. — Я еще буду у вас...» Потом он нажал маленькую блестящую головку на часах темпорального выхода... На мгновение вспыхнула в небе яркая звезда. И погасла...

Авторизованный перевод с украинского
Г. Боярского

ГЕННАДИЙ РАЗУМОВ

СЛЕДЫ

Спасаясь от погони, человек бежал по мелкой морской лагуне. Это была плоская широкая прибрежная низменность, вытянутая вдоль моря и отделенная от него невысокими песчаными дюнами. Через редкие узкие проливы-гирла морская вода во время шторма прорывалась в лагуну, но быстро испарялась, оставляя вместо себя плотный густой соляной раствор.

Человек бежал, тяжело передвигая ноги в воде, доходившей ему до коленей. Его ступни проваливались в толстый слой вязкого донного ила, на борьбу с которым уходило много сил. Это замедляло бег, тем более что человек был хромой. Он сильно припадал на правую ногу и, если бы не большая толстая палка, служившая ему опорой, он давно бы свалился в грязную горько-соленую воду.

Человека преследовал гигантский двурогий носорог. На его спадающей складками коже грязными лохмотьями висела грубая шерсть. Безобразная угловатая морда с короткой толстой шеей завершалась двумя огромными кривыми рогами.

Несмотря на грузное телосложение и кажущуюся неуклюжесть, носорог, хотя и был неповоротлив, мог развивать бе-

шеную скорость. Когда он почти настигал человека, тот спасался тем, что успевал с непостижимой ловкостью отпрыгнуть в сторону и увернуться от удара острых рогов. При этом громадная десятитонная туша носорога по инерции проносилась мимо. Потеряв цель, он замедлял бег, останавливался в недоумении и, поняв, что потерял добычу, раздраженно бил по дну закованными в копыта трехпалыми ногами.

У носорога были далеко расставленные друг от друга маленькие злобные глаза, которые плохо видели. Однако благодаря отличному слуху и обонянию носорог снова находил свою жертву, разворачивался в нужном направлении и стремительно бросался вперед.

Все было ничего до тех пор, пока преследователь и преследуемый бежали по илистому мягкому дну. Носорог увязал в нем, и быстро разворачиваться ему было трудно. Но потом вязкий ил сменился скользкой глиной, и он стал намного быстрее делать свои повороты, а движения человека, наоборот, перестали быть такими ловкими, как прежде. Его ноги скользили по глине, разъезжались в разные стороны, палка плохо втыкалась в грунт и уже почти ничем не помогала бежать. Увертываться от свирепого зверя становилось все труднее и труднее.

И вот наступила развязка. В какое-то мгновение человек поскользнулся, потерял равновесие, не удержался и, взмахнув руками, свалился в зловонную сероводородную жижу. Он хотел подняться, но, по-видимому, подвернул больную ногу и стал совсем беспомощным. Человек в отчаянии стал барахтаться в воде, пытаясь встать, но это ему никак не удавалось сделать. Наконец он совсем отказался от этих попыток, встал на четвереньки и пополз в сторону от стремительно приближавшегося к нему носорога. Однако скорости их, конечно, были несоизмеримы. Зверь настиг его и со всего размаха вонзил свои рога.

Но тут произошло нечто совершенно непонятное — рога носорога воткнулись не в человека, а в глину, в дно. И вовсе не потому, что он промахнулся, а потому, что человека на этом месте вдруг не оказалось. Нет, он не отпрыгнул в сторону, не отполз и не отбежал. Он просто-напросто исчез. Как? В этом-то и была неразрешимая загадка финала тех драматических событий, которые произошли полтора миллиона лет назад на топкой морской лагуне.

Вся погоня ископаемого носорога-эласмотерия за первобытным человеком длилась всего около двух коротких часов. Клепов же шел по их следам уже более пяти долгих лет.

Все началось с того жаркого июльского дня, когда старший научный сотрудник геологического института Евгений Клепов приехал на электричке в Плетневск обследовать один крупный изыскательский котлован. Объект находился далеко от го-

рода, и Клепову пришлось подъезжать к нему на попутном «уазике» по пыльной просёлочной дороге.

Котлована пока еще не было. Взрывники добуривали последние шпуры, закладывали в них камуфлетные заряды, протягивали провода. Клепов прошел в прорабскую-укрытие и стал ждать.

Раздался оглушительный взрыв. Земля дрогнула, прорезалась сетью трещин, раскололась на части, и рваные глыбы скалы взлетели высоко в воздух. Белая известковая пыль покрыла все вокруг и заскрипела на зубах. Выброшенная порода неровными пирамидами легла на бровке котлована.

Клепов шел за бульдозером, перемещавшим горы камней, лез по откосу, спускался на дно котлована, отбирал образцы для анализа, обмерял мергелевые и гипсовые прослои. Это были ископаемые лагунные отложения плеоценового возраста, бывшие илы, пески и глины, за сотни тысяч лет превратившиеся в твердую скалу.

Бульдозер громко урчал на косогоре. Его гусеницы месили толстый слой доломитовой пыли, оставляя в ней запутанные пунктиры ровных прямоугольных следов. Неожиданно бульдозерист Шелихов остановил машину и спрыгнул на землю.

— Сюда! Быстрее! — вдруг громко закричал он.

Клепов был к бульдозеру ближе всех и поэтому подбежал первым. На плоских слоистых мергелевых глыбах виднелись какие-то странные, расположенные парными рядами углубления.

— Понимаешь, их тут полным-полно, — возбужденно говорил Шелихов, — я-то сначала думал, что это от гусеничных траков моего бульдозера, а потом вгляделся — совсем другие они, эти следы...

Клепов поднял валявшиеся неподалеку обломки камней, приложил их друг к другу, потом несколько раз поменял местами, добавил еще пару небольших обломков-камушков и вдруг замер от удивления. Перед ним были явные признаки окаменевших отпечатков голых человеческих ног.

Бросив все другие дела, Клепов полез на другую сторону котлована, внимательно осматривая каждый кусок скалы. Вскоре он обнаружил и другие отпечатки: глубокие круглые, собранные по три вместе. Это были следы крупного непарнокопытного животного. Симметричными парами они почти всюду сопровождали следы человека.

С этого момента и начались долгие кропотливые исследования. Кроме первого котлована, геологи сделали еще много других шурфов и раскопов, перерыли всю ископаемую лагуну, перевернули горы грунта, изучили почти каждый квадратный метр древней земли. Вся лаборатория Клепова была завалена глыбами мергеля, известняка, доломита. Он внимательно изучал сотни и тысячи крупных и мелких образцов лагунных от-

ложений, на которых сохранились загадочные следы. Он собирал их по частям, по крупицам, складывал, как детские кубики, как мозаику. Потом на кальке рисовал схемы перемещения следов на местности, лепил из пластилина модели.

Постепенно шаг за шагом Клепов восстановил до мельчайших подробностей всю картину погони носорога за человеком и, наконец, указал то самое место, где преследование закончилось трагическим и таинственным финалом.

И вот пришло это важное и, казалось бы, решающее открытие. Поздно вечером, когда Клепов уже ложился спать, ему позвонил домой Ким Баштаков, его старый добрый знакомый, который в палеонтологическом институте возглавлял группу поиска.

— Привет следопытам! — сказал он. — Еще не спишь? И не будешь? Нашли мы, Женя, твоего чуду-юду! Собрали уже по косточкам. Экземпляр, надо признать, впечатляющий, рост, фигура, все... Выставим в палеонтологическом музее — пускай поражает воображение посетителей.

Баштаков помолчал немного, потом продолжил:

— Но выявились странные вещи, объяснить их пока не могу. Понимаешь ли, твой зверюга отдал концы как раз в тот момент, когда воткнул рога в землю. Он не успел и шага сделать в сторону, как упал замертво в воду. Это мы установили точно.

— Что же с ним могло случиться, — удивился Клепов, — разрыв сердца, инфаркт миокарда?

— Не знаю, не знаю, — ответил Ким, — возможно, он был убит...

— Чушь какую-то ты порешь! Не мог же его прикончить своей деревянной палкой человек?

— Кстати, относительно этого... — Баштаков понизил голос. — Если говорить точнее, твой Хромой не был человеком.

— Ладно, хватит меня разыгрывать, — возмутился Клепов, — у меня у самого столько загадок — голова пухнет от них, а ты еще добавляешь. Давай-ка упрощать, а не усложнять.

— Да ты не кипятись, Женя, а послушай спокойно. — Ким сделал небольшую паузу и продолжал: — Наш антрополог подробно изучил вопрос, сопоставил формы ступни сотен ископаемых архантропов. Не буду тебя посвящать во все эти хиромантические хитрости. Скажу проще: большой палец нашего Хромого оттопыривается куда больше, чем у всех известных до сих пор питекантропов и синантропов. Хромой был, по-видимому, чем-то средним между приматом и человеком или еще чем-то неизвестным.

— Но, позволь, — возразил Клепов, — в этом районе в те времена сплошных лесов ведь не было, а обезьяны все-таки еще лазали по деревьям.

— Ладно, не будем упражняться в антропологии, — сказал примирительно Баштаков, — мы с тобой далеко не Дарвины. Но если без шуток, здесь, на мой дилетантский взгляд, попахивает самой настоящей Нобелевкой. Ведь, кто знает, может, этот Хромой и есть то самое заветное трижды таинственное промежуточное звено между древней человекообразной обезьяной и современным гомо сапиенсом. Ведь сколько лет уже его найти вожделеет целая армия антропологов.

Вот так все усложнилось и запуталось. Находка носорога не только не помогла раскрыть тайну, а, наоборот, задала новые, еще более трудные загадки. Особенно огорчало исчезновение останков Хромого. Куда же он делся? Не мог же он со своей простой деревянной палкой совершить фантастический полукилометровый прыжок? Не мог он ни раствориться, ни испариться, ни взлететь в воздух... Хотя кто его знает...

И вот снова (в какой уж раз!) поехал Клепов в Плетневск, вышел на окраину и направился к местам, с которыми было столько связано и которые теперь, отслужив свое, были заброшены. Он ходил между котлованами и шурфами, отгороженными невысокими заборчиками, между ящиками с мергелевыми и доломитовыми образцами ископаемых лагунных горных пород. И снова, как и раньше, возник перед ним тот древний плеоценовый пейзаж.

Над гладкой поверхностью лагуны висел тяжелый утренний туман, поднимавшийся высоко в белесоватое небо, по которому вереницей медленно плыли редкие серые облака. Всюду была вода, мертвая сульфатная вода, заполнявшая собой все вокруг и не оставлявшая места ни для чего подвижного и живого.

И только вдали на востоке высилась длинная гряда небольших известняковых гор, заросших невысоким кустарником и травой. Они тянулись параллельно берегу моря и четкой зеленой полосой обрамляли мрачную матовую черноту замершей лагуны.

Но вот за горами загорелась ранняя утренняя заря, сквозь решето кустарника робко пробился оранжевый луч света. Потом низкое солнце вырвалось из-за горизонта, ударило в глаза прямой наводкой и разлетелось шрапнелью по волнистой в этом месте поверхности воды. Первобытный человек (или кто он там был) бежал навстречу рассвету, бежал к спасительной земной тверди, к свежести кустов и трав, бежал туда, к Плетневским горам.

Но не добежал. Так же, как и его преследователь, волосатый носорог.

С тех пор прошли десятки и сотни тысяч лет. Здесь все изменилось: море безвозвратно отступило далеко на запад, морская лагуна исчезла, на ней выросли мощные слои песка и суглинка, нанесенные ветрами и потоками талых и дождевых вод.

Только Плетневское нагорье, теперь уже невысокие плоские холмы, сглаженные временем, остались от древнейших времен плеоценового периода истории Земли. Только они еще както обозначали границу лежавшей когда-то рядом морской лагуны. Именно здесь древние коренные горные породы выходили на закрытую молодыми отложениями поверхность земли. Где-то в них и таилась разгадка тайны.

И так же, как тогда, в тот страшный час, неяркое утреннее солнце поднималось над холмами и длинные бледные тени деревьев вытягивались к западу.

Клепов присел на край большого угловатого камня, громоздившегося под густым развесистым кленом, закурил. Солнечные зайчики прыгали по земле, и так же, как они, шустро бежали друг за другом вперегонки бойкие неотвязные мысли. Но вот одна из них, неожиданная, ясная и простая, вдруг остановилась, вытеснила и заслонила все остальные. Кажется, она приходила ему в голову и раньше, но именно сейчас обозначилась наиболее четко: *кроме первобытного человека и гигантского носорога, был тогда на морской лагуне и кто-то третий.*

Кто это был — рыжий саблезубый тигр, черноволосый мохнатый мамонт, коротконогий горбатый зубр? А может быть, это был соплеменник Хромого, сильной рукой натягивавший тугую тетиву ивового лука?

Клепов докурил сигарету, затушил ее пяткой ботинка, поднялся с камня и направился к берегу протекавшей неподалеку речки, которая петляла между холмов. Здесь, в низовьях, она была мелкой и тихой.

Навстречу Клепову из воды выбежали гурьбой длинноногие голенастые камыши с темно-коричневыми головками. Они косяком тянулись к самому краю долины.

Клепов пошел вверх по течению. Постепенно река делалась все быстрее, долина сужалась, берега приближались друг к другу и становились круче и обрывистее. Здесь речной поток начинал все глубже врезаться в современные покровные отложения и обнажать древние ископаемые слои.

Клепов замедлил шаг, потом совсем остановился.

Ну конечно, вот оно, это обнажение! Еще в начале работ, при геологической съемке района, он обратил внимание на этот крутой каменистый обрыв, на его слоистое сложение. Еще тогда его заинтересовали странные черные включения в верхней части откоса. Что-то важное и таинственное почудилось ему в них. Но в те дни работы только разворачивались, и задумываться над своими ощущениями было некогда.

Клепов приблизился к обрыву и стал внимательно разглядывать неровные скалистые слои. Его взгляд пробежал по желтоватым бугристым прослоям и линзам, темно-серым изломам доломита и вдруг споткнулся об острые прямоугольные выступы необычного черного камня.

Он подошел еще ближе, и ему показалось, что на обрыве вырисовывались какие-то крупные, переплетающиеся друг с другом таинственные знаки. Это была не клинопись, не латынь, не кириллица, не один из известных Клепову шрифтов. Беззвучно шевеля губами, он то ли прочел, то ли почувствовал (или ему это только показалось?) буквы, которые складывались в странное словосочетание:

Мы придем сюда снова.

ГЕННАДИЙ МАКСИМОВИЧ

ДОЛГ

Из дневника командира корабля «Орион-3» Барри Уиндзора

7 июня. Эту запись я делаю в очень тяжелый для всех момент. В вахтенном журнале я изложил то, что произошло, кратко и точно — как требует инструкция. Здесь же, в своем личном дневнике, можно дать волю эмоциям. Итак...

Впечатление такое, что наш «Орион» кто-то пытался вскрыть гигантским консервным ножом. Повреждены многие переборки, полностью уничтожены наружные солнечные батареи, разворочен склад продовольствия. Разрушения так велики, что трудно даже поверить: причина их лишь маленький кусочек камня. Шальной, случайно встретившийся метеорит.

Теперь уж никогда не узнать, почему отказал первый радар, «пропустивший» метеорит. Борт искорежен так, что ни одна комиссия на Земле не установит причину отказа. Впрочем, до Земли сначала надо добраться, а если смотреть правде в глаза... Мы только-только вышли из пояса астероидов.

Сейчас мы закончили экстренное совещание. Участники — бортинженер Фред Флаэрти, главный исследователь Джо Уильямс и, кроме того, врач Пол Барнет. Врач, потому что двое членов экипажа получили серьезные ранения. То, о чем говорили, постараюсь записать почти дословно.

ФЛАЭРТИ. Ситуация куда хуже, чем можно было подумать сначала. Дело не только в том, что вышли из строя солнечные батареи. От удара лопнул корпус главного генератора. По моей оценке, он будет работать только сутки-двое. Затем разрушится, и восстановить его мы не сможем. То, что произойдет дальше, легко представить. Генератор обслуживал планетарные двигатели. Когда он перестанет работать, у нас останутся только аварийные аккумуляторы. Их мощности явно недостаточно, и, значит, скорость корабля неминуемо резко упадет. Вдобавок придется и сократить расход электроэнергии на другие нужды, может быть, жить в темноте...

Я. Сможем ли отремонтировать корпус?

ФЛАЭРТИ. Несомненно! Для этого есть и материал, и, кроме того... кроме того, времени у нас теперь предостаточно. Должен сказать еще одно: теперь мы не можем связаться с Землей и попросить о помощи. Передатчик разрушен полностью, уничтожена наружная антенна.

БАРНЕТ. Ситуация гораздо сложнее, потому что оценивать ее надо не только с технической стороны. И дело даже не в том, что двое получили серьезные ранения.

Я. Что с ними сейчас?

БАРНЕТ. Султон в гипсе. Перелом ноги хоть и сложный, но особого беспокойства у меня не вызывает. С Эбертом гораздо хуже. Сильное сотрясение мозга, поврежден позвоночник. До сих пор без сознания... Однако сейчас я говорю не как врач, а как человек, в чьем ведении находится склад продовольствия. Он сильно пострадал. Даже при жестком рационе продуктов хватит недели на две-три. И если резко упадет скорость...

После этих слов наступила мертвая тишина. Мы все были подавлены. Это становилось совершенно очевидно.

Потом Уильямс очень тихо сказал, словно подвел итог:

— Значит, мы умрем с голоду задолго до того, как долетим до Земли...

— Может быть, за эти две-три недели нас еще обнаружит патрульный корабль, — пробормотал я в ответ.

10 июня. Час назад перестал работать генератор. Флаэрти ошибся: он проработал не день-два, а целых три. За это время до предела подзарядили аккумуляторы. Теперь планетарные двигатели будут обслуживать только они. Значит, скорость корабля начнет падать, и, по космическим масштабам, мы пойдем к Земле со «скоростью пешехода». Только что я отдал распоряжение почти полностью отключить освещение и эту запись делаю уже в подвальном мраке. Электричество питает теперь лишь навигационную систему да кухню. Если уж еды мало, пускай она хоть будет горячей.

Что случилось за эти три дня? Весь экипаж занимался ремонтом корпуса. Все работали так, словно хотели заглушить в себе чувство безысходности, забыть об опасности хотя бы на время. Теперь работа кончилась, корабль залатан, приборы подтвердили герметичность всех отсеков. Что дальше?

Сейчас, наедине с самим собой, не на людях, я могу представить, что будет дальше. Потянутся долгие, медленные дни полета. Изо дня в день будут уменьшаться порции еды. И изо дня в день люди будут думать о том, что, когда запасы еды кончатся, до Земли еще будут недели пути. И тогда...

Конечно, к нам в экипажи подбирают особых людей. Но всегда кто-то окажется сильнее, кто-то слабее. Пока тревожных симптомов нет; каждому я предложил заниматься своим делом. А его хватит еще на много дней — материалы, собран-

ные экспедицией на спутниках Юпитера, обширны, обработка их — немалый труд. Правда, в полутьме...

А я... должен искать выход из положения. Ведь командир отвечает за все и за всех. Безвыходных положений не бывает, вот только какой выход найдешь в нашей ситуации?

...Перечитал эту запись и понял, что ошибся. Вспомнил, как вел себя за ужином Ричард Григс, биолог. Состояние у него явно подавленное, он не разговаривал ни с кем. Когда кто-нибудь о чем-то его спрашивал, отвечал невпопад. Говоря по правде, не ожидал, что именно он первым поддастся унынию. Тревожные симптомы все-таки есть...

12 июня. Как говорит врач, составляющий наш теперешний рацион питания, мы получаем достаточно калорий, чтобы двигаться и работать, и все-таки должен признаться: мне постоянно кажется, что я голоден. Думаю, то же самое испытывают и все остальные. Сегодня я слышал, как несколько человек спрашивали штурмана, насколько мы приблизились к Земле. Каждый раз он отвечал одинаково: если бы не авария, были бы на Земле через несколько дней.

Поймал себя на мысли: насколько велика вероятность, что мы встретим какой-то корабль? Значит, тоже поддаюсь слабости — ведь я отлично знаю, что вероятность почти равна нулю.

13 июня. Тревожные симптомы есть! Нервы сдают не только у Григса, но и у других, например у бортинженера. Последние дни он сбивается с ног, пытаясь все-таки восстановить генератор, хотя и прекрасно понимает, что занимается безнадежным делом. Скорее всего он принялся за генератор, чтобы отвлечься от не очень веселых мыслей.

И сегодня я видел, как произошел первый взрыв: Григс сцепился с Флаэрти. Оказалось, что биолог потребовал, чтобы бортинженер хотя бы на три дня подключил его лабораторию к освещению. Конечно, бортинженер тут же взорвался и наговорил Григсу резкостей. Биолог ответил тем же; и, чтобы разрядить обстановку, я разрешил подключить лабораторию к освещению, но только на один день. Не поблагодарив, Григс ушел, а Флаэрти посмотрел на меня так, как будто я приказал ему разобрать наш корабль на части. Видно было, с каким трудом он сдерживает себя, чтобы не вступить в резкий спор. Потом, взяв себя в руки, сказал, что отправляется выполнять приказание.

Конфликт погашен, однако никак не могу понять: зачем Григсу нужен в лаборатории яркий свет?

17 июня. Порции еды снова уменьшили. Теперь, что бы ни говорил врач, неизменно сохраняющий бодрость и жизнерадостность, калорий нам недостает. Лица всех осунулись и побледнели. А прошло только десять дней с момента катастрофы.

Я все еще думаю о Григсе. В своей лаборатории он занимается какой-то непонятной работой, причем, как видно, не

щадит себя: похудел, осунулся больше всех, глаза ввалились. Да и в столовой появляется все реже. О раздражительности я не говорю, мне только что пришлось испытать ее на себе.

Хотелось поговорить с Григсом по душам, думал поддержать, вселить бодрость. Дверь лаборатории была заперта, я постучал. Донесся раздраженный голос биолога, затем дверь отворилась, и в глаза мне ударил яркий свет. Я так привык к полумраку, что пришлось даже закрыть лицо рукой. Надо признаться: в этот момент я тоже вышел из себя.

— Я же категорически запретил использовать электричество в личных целях! — рявкнул я. — Да еще в таких количествах!

Конечно, в любой ситуации командир не имел права так себя вести, и неудивительно, что биолог, видимо дошедший до крайности, тоже вышел из себя.

— Катитесь к черту! Вашу электроэнергию никто не тратит! — резко ответил он. — И в лаборатории посторонним делать нечего. Вам, как командиру корабля, я обязан подчиняться только дисциплинарно, научная работа к вам никакого отношения не имеет!

Прежде чем дверь захлопнулась, я успел увидеть, что лаборатория была уставлена стеклянными сосудами с мутной жидкостью разного цвета, глубокими ваннами с какой-то кашицей, которых там прежде не было...

19 июня. Как медленно движемся к Земле! Пройдет еще четыре месяца и двадцать шесть дней, прежде чем «Орион» подойдет к земной орбите. К этому моменту, если все будет идти так, как идет сейчас, на корабле не будет живых.

25 июня. Раскрыл дневник, чтобы сделать запись об удивительном событии, случившемся сегодня, но тут же понял, что прежде всего мне хочется написать о еде. Ее порции стали совсем крошечными. Стыдно признаться, по ночам снятся бифштексы, борщи, блинчики с мясом.

А теперь, отдав дань слабости, можно и о событии, которое воистину удивительно: придя в столовую на обед, я увидел, что она залита ярким светом. Это «подарок» Григса, объяснил Флаэрти. Я ничего не понял.

— Он сказал, всему свое время, — буркнул бортинженер. — И что ему в лаборатории уже не нужно столько энергии, и предложил перевести избыток в столовую. Поскольку это электричество не из аккумуляторов, я согласился на такое облагодетельствование.

— А откуда у него энергия-то? — пробормотал я.

Флаэрти только пожал плечами. Остальные, надо признаться, были словно бы ко всему равнодушны. Голод сделал всех апатичными, ничем не интересующимися. Я испытываю то же самое. Жизнь в корабле продолжается по инерции.

30 июня. Сегодня долго беседовал с врачом. Единственное,

чем он меня порадовал, так это тем, что наши больные чувствуют себя удовлетворительно. В остальном... Если урезать порции еды еще на треть, ее хватит ровно на пять дней. Дальше... Врач сказал, что еще некоторое время мы сможем жить на инъекциях глюкозы.

Сегодня навестил больных. Им действительно лучше, но с первого же взгляда ясно, что их надо как следует кормить. Странно: их часто навещает Григс и о чем-то советуется. Речь идет о каких-то научных вопросах, в которых я не специалист. Султон — химик, Эберт — физик, занимающийся космическим излучением. И о чем может советоваться с ними биолог?

Перечитал записи и понял, как беспорядочны мысли. Даже не знаю, хочется ли мне продолжать дневник. Роберт Скотт, погибший на обратном пути от Южного полюса, вел дневник до последней минуты, чтобы люди потом узнали, что происходило с его экспедицией. Может быть, о последних днях экипажа «Ориона» точно так же узнают по этому дневнику...

3 июля. Все!!! «Орион» резко набрал скорость, и до Земли несколько десятков часов полета! Я пишу и сам не верю в это. Но это так — недавно к планетарным двигателям было подано электричество. Электричество, которое подарил нам биолог Ричард Григс.

Как изменились люди на корабле! Голодные, ставшие ко всему равнодушными, они даже нашли в себе силы на шутку, на розыгрыш. Шутка была сыграна со мной, с командиром корабля. Когда я, как всегда, спустился в столовую на обед, то сразу же обратил внимание на лица. Исхудавшие, побледневшие, они поразили меня тем, что на каждом как-то странно светились глаза, у каждого была какая-то непонятная радость. Несколько минут обед продолжался в молчании. Но мои товарищи даже и ели сегодня как-то не так — не так, как едят вконец изголодавшиеся люди. Наконец Флаэрти не выдержал.

— Командир, — сказал Флаэрти, — у «Ориона» теперь достаточно электричества. Прикажите повысить мощность планетарных двигателей и тем самым увеличить скорость корабля до нормы.

Помню, что из руки у меня выпала вилка.

— Что? — ничего не понимая, пролепетал я. — Увеличить скорость?

— Совершенно верно, — ответил бортинженер. — Григс обеспечил нам надежный источник энергии.

И тут же лица всех стали серьезными, и в столовой наступила тишина. Потому что — это я узнал еще чуть позже — Ричард Григс в это время лежал на больничной койке, рядом с Султоном и Эбертом, и состояние его было очень плохим.

Все очень просто. О биоэнергетике знают все. Первые опыты по извлечению электричества из живых клеток начались еще в прошлом веке — ученые тогда работали с бактериями. Одна-

ко долгое время величина этого живого электричества была невелика. А биолог «Ориона» Ричард Григс в считанные дни сконструировал с помощью генной инженерии клетки с необыкновенно высоким электрическим потенциалом.

Здесь не место описывать, как и что он сделал. На Земле его открытие оценят по заслугам. А пока — пока мы просто летим к Земле, пользуясь энергией множества сконструированных им электрических клеток.

Сейчас я стоял над больничной койкой. Просто стоял и не мог произнести ни слова, а врач долго и нудно объяснял: он слишком много работал. Кроме того, ему во время работы необходимо было несколько раз облучать конструируемые клетки космической радиацией. Он выходил в шлюз без скафандра, так как не хотел, чтобы к нему приставали с расспросами. Правда, доза радиации была не очень большая, но, когда работа была завершена, наступила реакция, и организм, истощенный недоеданием, сдал...

Я думал о том, что мы не знаем, просто не можем представить себе, на что же способен человек в крайней ситуации, когда чувствует, что просто обязан выполнить свой долг, и когда до предела обостряются все его возможности!..

АБДУХАКИМ ФАЗИЛОВ

МИРАЖ

Планер сотрясся от сильного глухого удара. Прижатый к приборной доске, Фархад в течение нескольких секунд ощущал всем телом, как он на большой скорости со скрежетом пропороздил песок. Затем так же неожиданно наступила тишина. Фархад был в полном сознании, но вначале не поверил в это. «Гробовая тишина!» — подумал он. В ту же минуту его осенило. Он ведь под песком! Надо скорее выбраться наружу. Если сейчас над ним хотя бы двухметровый слой, то можно себя считать заживо погребенным. Наушники молчали. Фархад вызвал самолет. Безрезультатно. Рация не работала.

Ветровое стекло не удалось отодвинуть назад. Заклинило, или еще хуже, оно придавлено песком. Сняв один из рычагов ручного управления, он несколько раз сильно стукнул им по стеклу. Оно крошилось с трудом. Наконец удалось пробить дыру величиной с кулак. На колени посыпалась плотная струя песка. Со всей силы нанося удары, он расширил отверстие, при этом сам оказался выше пояса засыпанным песком. Затем, выглянув из отверстия, он сквозь песчаную пыль увидел, что находится на дне небольшой воронки. С трудом освободившись

от песка, сковавшего уже почти все тело, Фархад вылез из планера, а потом и из воронки.

Он знал, что до ближайшего населенного пункта не менее ста двадцати километров. Координаты места катастрофы наверняка засечены сопровождавшим самолетом.

Сейчас оставалось только одно — лечь на песок и, укрывшись курткой, ждать конца бури. Его все время засыпало. Фархаду казалось, что пронизывающий сухой ветер безжалостно иссушал его живьем. Песок вызывал острую боль в глазах, скрежетал на зубах.

Приблизительно через час-полтора после катастрофы Фархад среди шума бури услышал какой-то нарастающий гул. Он встал и, оглянувшись, сквозь песчаные вихри увидел на расстоянии приблизительно трехсот метров тонкий стан смерча, набиравшего силу. Поразило его то, что диаметр извивающегося песчаного столба увеличивался слишком быстро; усиливался рев, порожденный им. Фархад отчетливо увидел, как со всех сторон к этому столбу, как к центру водоворота, устремился поднятый с окрестных барханов песок. Через несколько мгновений рев, исходящий из недр смерча, заполнил пустыню, заглушив другие звуки. Гигантская колонна, вершина которой, расширяясь, исчезала, уходя в глубь тусклого неба, лениво извиваясь, двигалась по какой-то непостижимой траектории. Фархаду показалось, что там, где проходит смерч, исчезают целые барханы и из-под них открывается темная бездна. Поднялся ураганный ветер.

Сквозь пыльную завесу он успел заметить, что смерч достиг в диаметре сотни метров. Он медленно передвигался в его сторону. Скоро песчаная пыль загородила это фантастическое зрелище. Пронзительный рев напоминал о невиданном извержении песка прямо в небеса. Фархад понял, что смерч скоро оторвет его от земли, закрутит как соломинку. В бессильном отчаянии он пытался вжаться в сыпучий песок. Но неожиданно рев стал глуше, потом стал утихать. Почувствовав, что ветер тоже ослабевает, Фархад поднял голову и с удивлением обнаружил, что смерч исчез. Мелкие песчаные вихри рассеивались, таяли на глазах. Наблюдая за ними, он вдруг вздрогнул и застыл как вкопанный. Сперва он не поверил глазам.

Он лежал всего в двадцати-тридцати метрах от края бездонного обрыва. По мере оседания песчаной пыли вырисовывались контуры огромной впадины с отвесными скалистыми обрывами. Нечто поразительное открывалось перед ним на ее дне... Башни с бойницами, высокие мощные стены. Наконец, он увидел всю крепость, как бы вписанную искусными строителями в необычный ландшафт.

Фархад встал — ветер уже позволял идти — и как загипнотизированный пошел к обрыву. На самом краю пропасти он застыл, завороженный чудесной картиной. Теперь он начал по-

нимать случившееся. Где-то высоко над песками, где он недавно летел на планере, столкнулись два встречных воздушных потока. Фланги потоков, сцепившись, закрутились в страшном вихре, образовав гигантскую воронку, острие которой в виде смерча достигло песчаных барханов, покрывавших эту впадину. За какой-нибудь час в небо взметнулись миллионы тонн песка. Потом они опустились на землю в виде плотного песчаного дождя, образовали длинную цепь холмов, видимую вдалеке, за впадиной.

Фархад не верил глазам. Этот замок в отличие от других, что сотнями разбросаны вдоль берегов Амударьи, был неразрушенным, целым и выглядел как великолепная архитектурная реконструкция древних развалин.

Каменные стены образовывали прямоугольник, повторявший очертания впадины. Через равные промежутки над ними возвышались сторожевые башни. Их венчали площадки, обрамленные узорными каменными барьерами.

Внутри крепости царила идеальная симметрия. Просматривались четкие линии улиц. Все они сходились на центральной площади, где возвышалась величественная башня-цитадель. Она стояла на высоком постаменте, который был сложен из крупных каменных блоков, различимых издалека. Это неприступное сооружение высотой выше пятидесяти метров напоминало внешним видом группу плотно пригнанных друг к другу каменных столбов. Заканчивалась башня квадратной площадкой с узорным барьером. В центре этой площадки были видны развалины следующего яруса. Воображение рисовало его очень высоким, выступающим, быть может, из стометровой глубины каньона.

Фархад забыл о своем неудавшемся из-за внезапно налетевшей бури перелете через Кызылкум, о неистовстве смерча. Он стоял ошеломленный, не зная, что делать дальше. Сейчас под его ногами лежала и медленно погружалась обратно в песок загадочная крепость.

Да, это происходило на его глазах. Ветер усиливался. Он дул теперь со стороны длинных песчаных гор, лежащих далеко за противоположным обрывом впадины. Пустыня опять ожила, словно спеша скорее взять свою тайну обратно. С далеких гор поднялись темные песчаные тучи. Видимость ухудшилась.

Вход в крепость, скрытый от глаз нехитрым лабиринтом, лежал прямо перед ним. Значит, где-то недалеко от него должен быть спуск к крепости. Фархад спешил, он уже представил, как через несколько часов крепость будет почти засыпана, из песка будут выступать только вершины башен, а потом и они исчезнут, впадину закроют барханы, она сольется с песчаным морем.

Он начал искать спуск: хотелось потрогать эти мощные стены, чтобы убедиться в их реальности.

Он заметил что-то вроде ступенек, грубо высеченных в камне и уходящих вниз, теряясь в песчаной пыли. Раздумывать было некогда. Когда, по его расчетам, он спустился метров на шестьдесят по этой лестнице, ступеньки ушли в песок. Фархад почувствовал облегчение, прыгнул и, скользя, начал съезжать вниз по песку. Скоро он оказался на дне каньона.

Впереди смутно рисовались силуэты башен. Там, наверху, на краю обрыва, это колоссальное сооружение вызывало восторг симметрией линий, необычной планировкой. Здесь же, под крепостными стенами, Фархад ощутил каменную мощь древней громады. Он пошел вдоль стены в поиске входа. Видимость продолжала ухудшаться. Наконец из полумрака показались массивные контуры лабиринта входа. Обогнув его, Фархад оказался перед широким прямоугольным проемом в стене. Разобрать, что там, внутри, было невозможно. Он остановился, понимая, что его следующий шаг будет шагом в неизвестность, в загадочную пропасть времени, измеряемую многими столетиями. Это звало его вперед и в то же время настораживало. Оглядываясь по сторонам, он увидел — фундамент крепостной стены уже уходит под сыпучий песок. Надо было спешить.

Он шагнул в каменный проем...

«За что же так покарала стихия этот несчастный город? Чем он прогневил ее?!» — думал он, пробиваясь навстречу растущему ветру к башне.

«Это, наверное, был страшный ураган, сильно преобразивший некогда обширную равнину, лежащую между Сырдарьей и Амударьей, — думал он. — И случилось это, возможно, в те далекие времена, когда в этих местах изредка еще происходили неожиданные климатические изменения глобальных масштабов, когда еще буйная Амударья время от времени уходила в Каспий через Каракумы, оставив Арал надолго без воды.

Волны барханов на суше, видимо, хранят под собой не меньше тайн, чем волны Мирового океана...»

На центральной площади видимость стала лучше. Довольно высокие здания, окружавшие площадь, заметно ослабляли сквозные ветры и завихрения. Но разглядеть архитектуру каменных громад было трудно из-за ограниченного обозрения. Над площадью возвышалась тень башни-цитадели. Огромный постамент, на котором стояла башня, выступал из песка на высоту пятнадцати метров. К нему вела широкая лестница. Казалось, башня растворялась постепенно в желтой мгле.

«Знал ли основатель Персеполя, царь царей Дарий, что лестницы его знаменитого дворца не были единственными на Востоке?» Поспешно поднимаясь по ступенькам, Фархад вспоминал увиденные где-то изображения колоссальных лестниц, ведущие в каменные храмы древних ацтеков, майя на Американском континенте. «Как много рассказало бы все это историку или археологу!»

Фархад поднялся на широкую террасу перед входом в башню-цитадель.

«Кому же из древнехорезмийских царей принадлежало это грандиозное сооружение? Кто бросил вызов правителям западного побережья Амударьи и построил столь совершенную крепость из камня здесь, в песках Кызылкума?» Фархаду казалось, что по замыслу и масштабам она превосходила античную каменную крепость Дев-кескен, развалины которой он видел во время полетов над центральными Каракумами. Он вспоминал имена древних царей Хорезма, которые могли иметь отношение к этой крепости: полулегендарный Сиявуш, сын Кей-Кавуса, и Шаушафар, упомянутые в исторических трактатах Бируни, Фарасман, прославившийся тем, что, заключив выгодный и достойный мир с самим Александром Македонским, избежал кровопролитной войны, что засвидетельствовал античный историк Арриан. Цари могущественной Кушанской империи, в состав которой входил Хорезм в начале новой эры... Они, казалось, шествовали вокруг башни. Тени песчаных вихрей усиливали иллюзию.

Он с волнением прошел в арочный проем в стене башни и оказался в узком коридоре. Коридор вывел его в просторный круглый зал. Здесь был полумрак. Фархад вскинул голову и увидел, что находится как бы на дне огромной шахты. Его уже ничто не удивляло.

Наверх, вдоль круглой стены, исчезая в полумраке, уходила спиралеобразная лестница. Но на самом верху было относительно светло. Вдоль лестницы темнели боковые галереи. Фархад направился туда и осмотрел служебные помещения. Здесь было множество нехитрых приспособлений из камня, дерева и веревок, предназначенных для подъема воды и еды на верхние этажи башни. В одном из залов находились большие каменные очаги, где когда-то на вертелах жарили туши крупных животных. В больших амфорах, стоявших на полу, или опущенных в специальные углубления, видимо, хранилось зерно — вокруг были рассыпаны окаменевшие зерна пшеницы.

Удивляла освещенность этих помещений: везде равномерно был разлит слабый свет. Наконец он понял, что стены сложены из блоков каких-то полупрозрачных минералов, напоминающих мутное стекло!

Залы второго этажа поразили Фархада строгой торжественностью. Это, несомненно, были царские залы. Пройдя через арочный проем, он оказался в огромном помещении, которое, по-видимому, являлось залом приемов. Вдоль стен, в каменных нишах, стояли скульптуры бородатых воинов в натуральную величину. Плоские части стен были расписаны военными сюжетами и эпизодами охоты на каких-то фантастических зверей.

Один из залов служил святилищем. В центре была установлена массивная каменная плита с выдолбленным на ней углуб-

лением, где сохранились следы постоянно поддерживаемого огня. По четырем углам торжественно застыли внушительные изваяния служителей огня.

Строгое убранство святилища приоткрывало тайный смысл давних обрядов. «Нетронутый, неискаженный зороастризм!» — подумал Фархад.

Переходя из галереи в галерею, он оказался в зале приемов, откуда начал обход второго этажа. Назначение многих небольших помещений он не понял. Они были разрушены и опустошены.

На третьем этаже, шагнув в прямоугольный вход, Фархад вскрикнул от удивления. Два сфинкса охраняли вход. Они спокойно смотрели мимо него в бесконечность, сквозь толстые стены башни. Сфинксы были величавы и невозмутимы, как и их бесчисленные соплеменники с берегов далекого Нила. За ними, в глубине зала, он увидел лес колонн. И множество скульптур между ними. Колоннады сменялись тесными каменными камерами, сплошь расписанными грубыми рельефными сюжетами явно древнеегипетского типа.

Возник совершенно другой мир. Он не имел ничего общего с тем, что Фархад видел до сих пор — с миром древнего Хорезма. Теснота, создаваемая близко стоящими рядами колонн, сужала его. Казалось, бескрайнее пространство, залитое песками, стянулось, сжалось между камнями, сделалось замкнутым и уютным.

Откуда взялось все это здесь? Когда-то в школе Фархад очень увлекался историей Древнего Египта. Фотоальбомы и захватывающие описания путешественников вводили его в самые тайные уголки каменных храмов и пирамид. Сейчас он видел все это наяву.

Известно, что до позднего средневековья не было каких-либо связей между этими двумя отдаленными краями света. Хорезмийцы вряд ли сами могли придумать все это. Неужели здесь работали египтяне? Как они оказались так далеко от своих земель?

Фархад забыл о времени. Он путешествовал в Новом царстве, трогал руками камни Древнего царства Египта.

У входа на четвертый этаж его встретили два кентавра из светло-серого камня. Фархад застыл в восхищении. Кентавры среди песков Кызылкума! А дальше пошли залы, оформленные по типу дворцов и храмов на островах Эгейского моря. Мифические сюжеты Древней Греции были воспроизведены здесь на светло-сером камне. Ряды грубовато обработанных дорийских и коринфских колонн с массивными капителями, величественные фигуры олимпийских богов, попадающиеся между ними, манили его дальше...

На следующем этаже он оказался во дворцах Месопотамии. Два огромных крылатых быка, вытесанные из грязно-серого

камня, великодушно впустили его в разноцветные залы Вавилона, Ниневии...

«Неужели башня на своих этажах хранит все цивилизации истории человечества? Какой таинственный народ жил здесь, как ему удалось собрать весь мир в одном месте?»

На шестом, седьмом и восьмом этажах Фархад прошел через китайские, индийские и персидские залы. Чувство времени совсем оставило его. На верхних этажах стало темно. Изредка зажигая спичку, Фархад двигался почти на ощупь. Вспышка огня вырывала из темноты фигуры мифических бородатых царей и богов. Пламя оживляло лица, придавая им искаженные до уродливости выражения. И тогда Фархадом овладевал страх, острое чувство затерянности в неизвестном мире...

Дальше лестница ушла в толщу стен башни, спиралью поднимаясь наверх по тесному коридору. Фархад медленно переставлял налитые свинцом ноги по ступенькам, опираясь на стены.

Через некоторое время он почувствовал, что пальцы и ладони его скользят по каким-то рельефам. Он остановился, зажег спичку и увидел, что в стенах высечены рельефы. Они тянулись один за другим вдоль лестницы, продолжая друг друга. Неизменно повторялась композиция — небольшая группа людей, то обсуждая что-то, то молча, но с непреходящим удивлением на лицах, наблюдала за грандиозными дворцами, точно парившими в воздухе.

Но что это были за дворцы! Тут трудно ошибиться. На одном из них довольно явно были видны знакомые очертания древнеегипетских храмов, в другом — чуточку расплывшихся к краям рельефа колоннады античной Греции, а в третьем — силуэты спиральных башен Вавилона... На одном из рисунков, на камне, все они присутствовали одновременно. Разные цивилизации располагались на разных уровнях, создавая многоэтажную композицию. Люди смотрели на нее, вскинув головы.

Спички кончились. Фархад в отчаянии бросил коробку и, как слепой, начал прощупывать рельефы, в надежде узнать еще какие-нибудь подробности изображаемых сцен. Интуиция подсказывала ему, что в них кроется разгадка тайны башни-цитадели. Но он успел разобрать только лишь небольшую часть какого-то длинного сюжета. «Много бы я дал сейчас за коробку спичек!»

Он все выше поднимался по ступенькам. Наконец под ногами заскрипел песок. Сделав еще один круг, он вышел наружу, где в темной мгле бушевала песчаная буря. Он находился на крыше башни.

Теперь возвращаться было опасно. От усталости он может заснуть там и оказаться погребенным заживо в башне. Фархад решил немного передохнуть на лестнице, ведущей внутрь башни.

Борьба за жизнь началась, когда песок поднялся сюда — на самую высокую точку крепости. Сказалась сильная усталость. Вначале он не давал засыпать себя. Для этого приходилось почти непрерывно двигаться. Скоро силы начали оставлять его. Он отдыхал, пока не оказывался под полуметровым слоем; потом ценой мучительных усилий выползал на поверхность. Ему начало казаться, что это длится целую вечность. Его движения все больше и больше становились неосознанными. Им руководил только инстинкт самосохранения...

Фархад очнулся от жгучих лучей солнца пустыни. Он лежал полузасыпанный, суставы болели как после долгой и изнурительной работы. Не было ни желания, ни сил двигаться. Он с трудом освободился от песка, нащупал флягу, висевшую на поясе, где, судя по тяжести, было около трети литра воды. Несколько глотков не успевшей нагреться воды немного освежили его. Он встал, чувствуя слабость и головокружение.

Вокруг лежали бескрайние барханы. Не было никакого следа от вчерашней трагедии. Фархадом вдруг овладело невыносимое и невосполнимое чувство опустошенности. Часто оглядываясь назад, он поплелся на запад...

Около полудня он, измученный жарой, зыбучими песками, затрудняющими ходьбу, далеко впереди увидел большую воду. Это был мираж. Он это понял — действительно, откуда взяться здесь воде, — и в такт усталым шагам вполголоса повторял: «В пустынях бывают миражи... В пустынях бывают миражи...»

Вдруг он остановился, уставившись на тускло блестевшую даль водного простора впереди, потом невольно опустился на горячий песок.

Мираж! Не мираж ли поражал тех хорезмийцев? Разве это явление было запечатлено на рельефных рисунках лестничного коридора? Неспроста ведь дворцы те были изображены как бы висящими в небе, а иногда с явными признаками характерных оптических искажений.

Мираж, рисующий на небе стра́ны, удаленные на тысячи километров! В груди у Фархада заклокотало от такой догадки.

Но возможно ли такое вообще? Он пытался вспомнить все, что знал про миражи в пустынях, на морях... На небе, вводя путников в заблуждение, возникают призрачные образы предметов, удаленных на десятки километров. А здесь появлялись смутные очертания целых городов, а иногда гигантские изображения отдельных строений, скульптур, находящихся за тысячи километров отсюда... Может быть, какие-то особые климатические условия, установившиеся над этой частью планеты в те далекие времена, способствовали появлению время от времени грандиозных видений на небе?

Фархад продолжал двигаться на запад...

Вспоминались новые подробности, связанные с миражами. Для их возникновения обязательно существование резкой гра-

ницы между двумя слоями воздуха с различной температурой, следовательно, и плотностью. Отраженные от отдельных предметов лучи, преломляясь на этой границе, огибают кривизну Земли и создают их изображение совсем в других местах...

Жара становилась нестерпимой. «Где же меня ищут? Или решили дать возможность немного прогуляться по пескам?..»

...«Видимо, изредка в определенные времена года над этими местами появлялись призрачные изображения загадочных городов. Люди ждали этих дней. От поколения к поколению передавались рассказы о сказочных дворцах «обитаемого» неба. Цари подражали им при постройке своих замков...

Как бы открывалось окно в неизведанные страны. Это, видимо, мощный слой сильно нагретого, разреженного воздуха, образовавшийся из-за трансконтинентальных конвективных потоков на высоте нескольких километров, перекидывал мост между отдельными странами. Свет, попадающий в этот слой от земных предметов, неся в себе их образы, постепенно искривлялся, пройдя огромные расстояния, возвращался на землю, показывая неведомые миры. Это были самые грандиозные миражи, когда-либо возникавшие на Земле!

Быть может, когда-нибудь людям удастся создавать миражи искусственно. Специальные службы планеты по необходимости будут устраивать прямую передачу оптического изображения крупнейших событий, жизни целых городов на дальние расстояния».

Вода кончилась. Фархад знал, что успел заметно удалиться от места падения планера. Но оставаться на месте он не мог. Казалось, что продвижение немного облегчает действие жары. Он шел уже второй день под безжалостным зноем. Голова раскалывалась. Ему вспомнился один из рисунков, где известнейшие цивилизации изображены одновременно, одна на другой. Не их ли отражают этажи башни-цитадели?..

«Семь разных культур. Семь различных миров древности. Семь, семь... Не отсюда ли пришло к мусульманам представление о семи сферах вселенной?»

Средневековые поэты Востока воспевали чудесные дворцы царей, построенные в стиле культур разных народов. Часто число дворцов равнялось семи...

В голову лезли обрывки прочитанных когда-то историй из «Семи планет» Навои. В тысячах поэтических строк рассказывается, как «цари семи частей Земли», чтобы отвлечь смертельно больного шаха от скорбных дум о красавице Диларам, строят ему для веселий семь невиданных по красоте и дивности дворцов. Проводя по очереди свои дни в них, шах как бы переносился в различные страны света, путешествовал по ним...

Сливаясь в единый грохот, до него доходили звучные рас-

каты. Он с трудом приоткрыл глаза. «Стрекозы кружатся вокруг... Какие они огромные... Да это же вертолеты!..»

Теряя опять сознание, он еле шевельнул губами: «Мы освободим ее от песка...»

ЛЮДМИЛА ЖУКОВА

ПРОШУ ТЕБЯ, ПРИПОМНИ...

Он не узнал ее! Пожал руку, назвался: «Олег Дмитриевич Оршев» — и повернулся к декану, вряд ли услышав ответное бормотанье: «Катерина Сергеевна Свешникова». Он не узнал... А она-то столько представляла эту встречу! Его радость, удивление: «Катя, Свечка! Ты! Сколько лет...»

Да, сколько лет, действительно... Все пятнадцать. Неужто она так уж изменилась, что невозможно узнать? Друзья и подруги уверяют: «Какая ты молодая, Катька! Ничуть не изменилась. Только прическу сменила зря».

Может, и вправду, дело в прическе? Была русая коса до пояса, а теперь — незаметный пучок потемневших волос. Или дело в очках? Она могла обходиться без них, но, начав водружать их на вздернутый носик для солидности — в первый год преподавания в университете, — привыкла. Или в одежде? Она стала носить темные строгие костюмы (классический английский фасон, светлая блуза с глухим воротом). На ее взгляд, именно так должна одеваться женщина-ученый, желающая сразу показать, что не нуждается в ухаживаниях, комплиментах, цветах. Только туфли — темно-синие, на высоких шпильках, провалявшиеся в шкафу с юности, сегодня оказались на гребне моды. «А в общем-то вы, Екатерина Сергеевна, смотритесь ординарным синим чулком, божьим одуванчиком, старой перечницей и как там еще называют суровых мужененавистниц остряки?»

Не попрощавшись ни с кем, она незаметно выскользнула из деканата, проскочила в фойе мимо огромного зеркала, по привычке не взглянув в его гладь, и замедлила шаг лишь в безлюдном институтском парке.

Шуршали под ногами сдунутые октябрем с ветвей листья — оранжевые, багряные, даже фиолетовые. Тайна природы — с зеленой листвы — и такая разномастная печаль, как у людей: таких похожих — голова, две руки, две ноги, а у каждого своя судьба, свой конец дороги.

«Я прошу тебя, припомни все, что было между нами...» — вспомнились стихи.

...Кате было девятнадцать в лето встречи с Олегом. Она работала в городской библиотеке, в читальном зале, не зная,

что делать дальше — работать, учиться, и если учиться, то на кого? На юриста, как думалось в школе, врача, как хотела мать, или... Ведь тысячи профессий в мире. За год до того она похоронила мать — 30 июня, после выпускных экзаменов.

— Однолюбка она, Алена-то Петровна! — говаривала соседка Марья Карпова о Катиной матери, то ли осуждая, то ли оправдывая. — Всю жизнь для мужа жила, а как помер он от фронтовых-то ран, так и зачала чахнуть. Оставила доню сиротой. Эх, все эта война проклятущая!

На Марью война тоже свалила беду — муж ее, Мефодий Ильич, после ранения и контузии в боях за Днепр потерял память. Можно было б держать его на государственном обеспечении в госпитале, да Марья воспротивилась: «Нехай дети отца видят! Какой ни на есть, все ж таки лучше, чем у других, у кого зовсим нема» (она говорила на «суржике» — смеси русского с украинским, как многие в их городе, пограничном с Украиной). «Ты, Катюшка, смолоду честь держи, ищи чоловика самостоятельного. За мужней спиной как за каменной стеной! А ты сирота, тебе одна защита — муж. В читальне-то поглядывай, кто сурьезный, самостоятельный».

Богатейшая библиотека была в Катином городе. Собранная на народные пятаки и тысячные пожертвования меценатов, она хранила множество старинных книг и среди них — печатные труды местного археологического общества в сорока томах. Они-то более всего и заинтересовали нового читателя, двадцатитрехлетнего аспиранта Олега Оршева, прибывшего в этот край с археологической экспедицией на раскопки скифских курганов — их немало было в окрестностях города. Ксероксом же в те времена библиотеки еще не обзавелись. Олег конспектировал труды, и, сдавая очередной том Кате, жаловался, что не успеет за лето просмотреть даже треть облюбованнных материалов: рабочий день археологов кончался в шесть, пока доедешь до города — уже семь, а читальня до десяти. Благо по выходным открыта, но все равно времени в обрез. И Катя, посочувствовав, предложила свою помощь. Олег скупо поблагодарил: «Спасибо, Катя», а глаза его удивительного цвета — синеватой сирени были его глаза, и быстрые такие, живые, — словно погладили, обласкали ее. Вначале она корпела над конспектами в читальном зале, за стойкой библиотекаря, а потом приноровилась брать тяжелые фолианты домой, переписывая помеченные Олегом статьи.

И был день, когда, засидевшись в ее доме, он не пошел в гостиницу, остался у нее, а потом уж приезжал сразу к ней — пропыленный, прожаренный солнцем до бронзы. Она стирала его темные от пота рубахи, варила пахучий украинский борщ. Вечерами он расхаживал крупными шагами по комнате и читал ей целые лекции по истории скифов: «Я уверен, что скифы одно из названий славян. И не я один так считаю. Но как это до-

казать? Установилось мнение, что они говорили на иранском наречии. Но тогда законный вопрос: где в языках славян иранские слова? Их мизер! А ведь в третьем веке нашей эры, после уничтожения скифского царства готами, в трудах историков появляются славяне! И живут они там же, где до того историки селили скифов, — по Днестру, Дунаю, Дону, Двине, Десне... Так что второй законный вопрос — где же при скифах, если они были ираноязычны, жили славяне-анты? И такие многочисленные?»

Расхаживая по низенькой комнате (Катя жила на окраине, в частном доме, половину которого занимала семья Карповых), широкоплечий Олег заслонял то одно окошко, то другое. А окошки узенькие. И Катино лицо то заливает теплотой вечерних лучей, то закрывает неприятная темь, но она не шевелится, боясь помешать Олегу. А тот вряд ли замечает ее сейчас, не говорит, а ораторствует, машет руками, а заканчивая мысль, рубит дланью воздух, будто мечь опускает на головы врагов.

— Чуешь общий корень в названиях рек — Дунай, Днепр, Дон?.. Есть мнение, что это от осетинского «дан» — вода! Но ведь сохранилось в русском языке более верное слово — «дно»! К тому же известно, что древние жители Поднепровья поклонялись богине воды Дане. Позже, когда скифы пережили, так сказать, религиозную революцию — после выделения земледелия — и стали поклоняться другим богам, Дану под именем Артемиды взяли себе греки. Анней Лукан сообщает, что жрицей скифской Даны в Таврике, так называли тогда Крым, была Ифигения, дочь Агамемнона, героя гомеровской Илиады, предводителя войска данайцев, осадивших Трою. А быстроногий Ахилл, бросившийся догонять Ифигению, по многим сведениям, вождь тавроскифов! А неуязвим он оттого, что носил, не в пример бронзоволатым грекам, стальную броню, которую ковали уже тогда в Крыму, в Керчи. «Кърч» — кузница по-славянски. Неоспорим факт, что сталь открыли действительно скифы, а кроме того, гончарный круг, кресало для выбивания огня...

— А Таврия — это от «тавро»? — радуясь своей догадке и возможности хоть слово вставить в запальчивую речь Олега, спросила Катя.

— Именно! Скифы-скотоводы ставили на лошадей и коров свои тавро. А скифы-пахари — поднепровцы — снабжали всю Скифию хлебом.

— Но почему они называли себя скифами? — более уверенно задает следующий вопрос Катя и прикусывает губу от стыда за невежество, услышав: «Глупый вопрос! Они не называли себя так. Отец истории Геродот сообщает, что скифы-днепровцы назывались сколотами». — А может быть, так в передаче грека звучит другое, известное нам имя — склавины, славяне? И запомни — практически ни один народ не называют сосе-

ди так, как он называет себя. Немцы называют себя дейч, а итальянцы их — алеманами, мы — немцами, кто-то — швабами. Китайцы зовут себя хань, но их каждый народ называет по-своему. Самоназвание армян — хай!

— Как много ты знаешь, Олег, — вырвалось у Кати.

— Как мало я знаю! — помолчав, непривычно тихо и печально произнес он. — Все, что я рассказываю тебе, можно узнать, прочитав всего лишь несколько книг в твоей библиотеке — «Историю» Геродота, 4-й том, «Географию» Страбона, другие переводы греческих и латинских авторов. Но они пишут о ски-фах! А мы должны доказать, что под этим именем уже тогда жили славяне. А для того нужно найти веские свидетельства... Если бы письменные... Нашел же Арциховский сотни берестяных грамот в Новгороде, а до того считалось, что северная Русь была почти что безграмотной.

— Потому ты и раскапываешь курганы?

— Потому.

— А какими были скифы? Черными, белыми?

— Такими же, как мы, — русыми и светлоглазыми. А дети их, как пишет Геродот, рождались седыми — белоголовыми. Меня так и звали в детстве — седой! — тряхнул рыжеватой шевелюрой Олег.

— Значит, ты скиф! — улыбнулась Катя.

— Именно! У меня и фамилия скифская! — Оршев! Считается, что город Орша — он в верховьях Днепра, в Белоруссии, заложен еще в скифское время. На гербе его пять стрел. Знаешь, почему?

И он рассказал ей историю о походе персидского царя Дария на скифов, о том, как скифы заманили огромное войско врагов в глубь своих земель, далеко на север, изнурили его голодом, оставляя за собой пустые края, а потом отправили к Дарию послов с загадочными дарами — лягушкой, мышью, птицей и пятью стрелами, что означало: если не забьешься как мышь в нору, если не проскачешь болота как лягушка и не улетишь как птица, то наши стрелы настигнут тебя. И Дарий спасся позорным бегством.

Огромной была земля скифов-сколотов — от Дуная и Карпат до реки Ворсклы. Но они и сами ходили походами в дальние страны и основывали там государства — на Кавказе, в Малой Азии, где основали Лидию и Мидию. В Палестину и другие земли. И не всегда возвращались назад, оседали в далеких странах. Но те, кто тосковал по родине, — возвращались.

Катя представила себе мчащихся всадников с длинными светлыми волосами под островерхими шапочками-скифками, с загорелыми лицами и глазами синеватой сирени, как у Олега. Много Олегов в кожаной одежде, любовно расшитой женскими руками крестиками и черточками, что должны уберечь любимого от несчастья. И Катя пожалела, что не в моде сейчас вы-

шитые мужские сорочки, а то бы вышила Олегу такую. Правда, мода возвращается...

...Соседям Карповым она сказала, что выходит замуж за Олега. Марья, всплакнув, сказала на то: «Дай-то бог, дай-то бог, ох и радая я за тебя, Катюшка!»

Мысль о том, что они поженятся, внушил ей сам Олег, часто повторял: «Никуда отсюда не уеду. Пойду преподавать историю в здешнюю школу. Каникулы у педагогов длинные — хватит времени для археологии. Купим мотоцикл с коляской и объедем с тобой, Свечка, всю Скифию — до самого Меотийского болота — то бишь Азовского моря, по которому плавали скифы».

А один разговор с Олегом решил ее судьбу, хотя он того и не заметил.

Олег как-то, по привычке расхаживая по низенькой комнатке, задумчиво размышлял вслух:

— Наверное, есть и другие пути знать далекое прошлое. Был такой случай. Совершенно невероятно — но факт. Одна женщина после тяжелой болезни забыла свой язык и заговорила на каком-то неизвестном доселе. Врачи пригласили языковедов. Оказалось, она говорила на хеттском! Давно умершем языке! Незадолго до того письменные памятники хеттов расшифровал чешский лингвист Грозный и доказал, что принадлежит он к индоевропейским, близок древнеславянскому. И это понятно: хетты жили по Дунаю, а потом — в Малой Азии. Дунай упоминается более семидесяти раз в известных славянских памятниках. Эх, если бы мне две жизни, Свечка, одну бы я отдал археологии, а вторую — психологии.

— Почему психологии?

— Потому что человек использует только десять процентов мозга. Остальные девяносто в бездействии! Не они ли хранят память предков? Нельзя ли заставить мозг пробудиться ото сна, вспомнить дела давно минувших дней?

Кате захотелось сказать, что раз не может быть у Олега второй жизни, то психологом станет она. И заикнулась было:

— Может, мне на отделение психологии поступить?

— Зачем? — удивился Олег. — Оставайся в библиотеке. Прекрасное занятие для женщины. Будешь мне помогать работать с книгами.

Не видел он в вас, Екатерина Сергеевна, соратника! И вы ничего не сделали для того, чтобы увидел.

...Подкрадывался август, и Катя должна была решать — поступать ли ей в институт в этом году или в следующем или оставаться в библиотеке. Как-то она заговорила об этом с Олегом:

— Скоро август. Не знаю, как быть...

— И я не знаю, — помолчав, произнес Олег. И Катя не поняла, к чему относится его «не знаю». — Что-то борщ сегодня

невкусный, — вдруг раздраженно бросил он. — Опять перекипятила! Говорил же, что ем только слегка подогретый!

И он шумно отодвинул тарелку. Потом в установившейся тишине долго катал хлебный мякиш, глядя в окно, избегая часто моргающих от набегающих слез глаз Кати. И вдруг сказал:

— У меня на квартиру первая очередь. А профком что-то затягивает, видно, поняли, что могу не вернуться. Надо ехать! — И стукнул ладонью по столу, расплющив мякиш.

— Ты откуда знаешь, что профком затягивает? — задержав дыхание, спросила она.

— Жена написала. Я не говорил тебе, что состою в законном браке, прости. Это не имело никакого значения. У меня с ней давно нет контакта, она к другому уходила, пока я на практике преддипломной был, а дочку — два года ей было — матери моей отвезла. Для нее-то я и хочу квартиру получить, для дочери. А сейчас жена с дочкой живут в коммуналке, там сосед вечно пьяный. Вот такие дела.

Она молчала, убитая известием. А сказать ей хотелось многое: «А ты подумал, что будет со мной? Что мне-то теперь делать? Ты уедешь. Как я буду без тебя? И что скажу людям?»

Но ком стоял в горле, и, только когда она нашла другие слова — жесткие и потому освобождающие ее от недавнего обожания, ком ужался, пропустил их:

— Уйди от меня, пожалуйста. И не приходи прощаться. Ты мне больше не нужен.

— Ты не права! — воскликнул он, удивленно глянув сиреневыми, впервые беспомощными глазами. — Я же должен им оставить квартиру. Это мой долг мужчины. А потом я приеду...

Она выбежала из дома, чтобы закончить этот тяжелый разговор, и пряталась у подруг, пока не узнала, что он ушел. Проплакав на плече у Марьи Карповой два дня, она в непонятной решимости подала на вечернее отделение философского факультета, где была кафедра психологии, ходила на экзамены упрямая, злая, отчаянная. Сдала, поступила и устроилась при кафедре психологии лаборанткой.

Темой первой же курсовой выбрала — память. Сокурсникам, а позже и коллегам, объяснила, что натолкнула ее на выбор темы история с Мефодием Ильичом Карповым.

* * *

Солдат Мефодий Карпов потерял память после контузии — в боях за Днепр. Не мог вспомнить, откуда он родом, как звали родителей, жену, детей. Когда еще он лежал в госпитале, Марья с детьми приходили к нему, плакали, а его взгляд равнодушно скользил по их мокрым лицам и безучастно обращался к окну, к небу. Таким он остался и дома — живой будто человек, а словно мертвый. Даже когда его нашел с опозданием орден и вручивший награду военком произнес прочувственную

речь, старый солдат равнодушно смотрел в окно, на облака. Только одно слово заставило его насторожиться — Днепр.

— Днепр? — переспросил он. — Днепр...

Но искорка угасла, не разгоревшись, и он вновь обратился к окну.

Катя, присутствующая при этом, заплакала так же горько, как и Марья, жена его.

— Ох, батюшки, живу я и не знаю, чи мужняя жена, чи вдова, — горевала Марья. — А ночью-то он бормотать стал. Все Савву какого-то поминает: «Савва, доплыви!» — кричит. А днем спрошу, кто такой Савва, он и не помнит!

— Разреши, Марья, я у постели Мефодия Ильича посижу с магнитофоном? — озаренная внезапной мыслью, попросила Катя.

...Старый солдат спал беспокойно, метался и действительно что-то бормотал, вскрикивал и вдруг, привскочив, заговорил горячечно: «Стреляй, Савва, стреляй! Бей гадину! Плыви, Савва, плыви». И потом — натужно, моляще: «Прости меня, Савва! Не могу я иначе. Надо тебе плыть. Только доплыви уж, Савва!»

Имя Савва редкое. Найти человека с таким именем можно, если написать в архив Министерства обороны, назвав полк и роту, где служил Мефодий Карпов. Так Катя и сделала и вскоре получила адрес бывшего пулеметчика Саввы Родионовича Орлова, живущего в Ельце. Написала ему, просила приехать и зайти сразу к ней, не показываясь Мефодию Ильичу. Тот охотно согласился.

Дня через два постучал в дверь Кати седой загорелый человек, назвался, крепко пожав руку: «Орлов Савва Родионович».

Катя рассказала ему о беде Карповых, попросила говорить с Мефодием Ильичом только о переправе через Днепр, об однополчанах.

— Одеться придется по-фронтовому. Как вы были тогда одеты?

— Плащ-палатка до пят, пилотка... Где теперь такую амуницию сыщешь? — засомневался Орлов.

— Сыщем. В музее возьмем.

Ранним утром, когда старый солдат по своему обыкновению сидел во дворе под яблоней, поглядывая на небо, в воротах показался человек в зеленой до пят плащ-палатке и лихо заломленной пилотке. Он медленно подходил к Мефодию Ильичу, улыбаясь во весь рот, и, не выдержав немой сцены, закричал вздрагивающим голосом:

— Мефодий! Старший сержант Карпов! Ваше приказание выполнено! Доплыл!

— Савва! Савва! — одними губами произнес старый солдат. — Саввушка, — вскрикнул уже он, вскочив и вытянув руки навстречу. — Ты жив, Савва? Так ты доплыл?

— Доплыл, доплыл. Донесение передал. Подкрепление нам выслали. А тебя к награде представили за беспримерный подвиг. Первыми ведь мы, Мефодий, правого берега достигли и удержались. Так что награда твоя при мне.

— Награда? — слабо улыбнулся солдат.

— Орден Красной Звезды, — и Савва протянул коробочку со звездочкой.

Мефодий Ильич рассматривал орден, словно впервые видя. Приложил к лацкану серого пиджака. (Мария одела его в этот день по-праздничному.)

— А что это я в одежде такой? — недоуменно спросил он Савву.

— Так война кончилась! Победа, брат! Побили мы фашистов! — вскричал Савва, но радостный голос его дрогнул, глаза заморгали. — Давно побили-то, Мефодий, — тихо сказал он, заметив, как напряженно слушает его однополчанин. — Ты контужен был, память потерял.

— Все, значит, кончилось, Савва? Домой поедем? — недоверчиво переспросил старый солдат.

— Домой! А ты разве жены своей не видел? Она здесь! Встречает тебя твоя Марья... Марья! — позвал он. — Иди сюда!

Празднично одетая Мария показалась в дверях дома, заплаканная и улыбающаяся.

— Маша, что ты такая...: Маша? Тяжело тебе без меня было?

— Тяжело... — всхлипнула Мария, — ох как тяжело, Мефодий, без тебя-то было.

Катя не могла до конца выдержать этой сцены, убежала. Она понимала, что это не полное выздоровление. Мефодий Ильич вспомнил, а вернее, и помнил-то только один этот кусочек из своей прошлой жизни, связанный с Саввой и виной перед ним, а дальше опять мрак, провал...

Вот эту историю с воскрешением старого солдата и рассказывала Катя коллегам, когда ее спрашивали, отчего она занялась исследованием памяти. Мефодий Ильич стал ее бессменным подопечным. Она разрабатывала для него простенькие тесты, заставляла его задумываться и радовалась, когда ему удавалось вспомнить еще одну страничку своей жизни, как через пропасть перекинуть мостик. Однажды она дала ему прослушать запись стрекота старого комбайна довоенного образца. Солдат слушал вроде безучастно, но руки его, отбеленные городской жизнью, задвигались, засуетились, словно крутя невидимый штурвал.

— Отец мой... Учил меня... Он на комбайне работал.

— Как звали его, отца вашего?

— Илья... Илья Иванович, — напрягшись, ответил солдат. — А мать добрая была, тихая. Лизаветой звали.

Будоражили заснувшую память старого солдата звуки взрывов в кино, свист пуль, шорох дождя. Мир звуков... А нельзя ли создать прибор, который будет издавать звуки и ловить реакцию на них мозга? А еще лучше, прослеживать путь, по которому пробегает мысль в лабиринтах мозга? Катя перешла на второй курс, когда задумалась над этим. Тогда и появился в ее жизни Саша Торбеев.

Он работал в конструкторском бюро медицинской техники. Его первым встретила здесь Катя, придя с просьбой сконструировать устройство для слежения за мыслью.

— Вы имеете в виду модель электронного мозга? — спросил русоволосый высокий парень. Лицо у него было удивительно спокойное, доброе. Трудно было представить его сердитым или злым.

— Не знаю, может быть, — растерялась Катя. — Я в физике и технике — ни гугу, ни боже мой!

Парень рассмеялся.

— Ну а я в психологии. Вы хоть объясните, для чего вам такая модель и что она, по вашим представлениям, должна делать?

— Надо помочь человеку, — сказала Катя и рассказала о Мефодии Ильиче.

— У меня у самого отец погиб на фронте, — помолчав, сказал Саша. — Так я его и не увидел. Доброе это дело — такое устройство создать. Только в план нам эту работу не включить — перегружены. Но делать будем. Я и трое моих друзей. А вы станете консультантом. Идет?

Сканирующий коллектор информации — «Скиф» — был создан через год с небольшим. Он умел улавливать в мозгу испытуемого точки, реагирующие на звуки.

— Ах, если бы он мог маршрут мысли проследить и сфотографировать, — размечталась Катя.

— Что ж, ради вас, Катерина Сергеевна, и это можно. Но консультаций понадобится гораздо больше — в пору переехать мне к вам или вам ко мне, — серьезно сказал Саша, и Катя так и восприняла предложение — всерьез.

— Лучше мне — к вам, — испуганно ответила она, не представлявшая, что кто-нибудь, кроме Олега, может жить в ее комнатке.

Саша понял смятенный ответ Кати за согласие выйти замуж...

...В парке потемнело — заходило солнце. Катя вдруг почувствовала, как устала. Острые каблучки, наколов стопки опавших листьев, застревали в шуршащем пружинящем настиле. Она опустилась на скамейку, живописно разукрашенную разноцветными листьями, засунула озябшие руки в карманы жакета, задумалась. Может быть, все было неверно в ее жизни? И по-

стоянная память об Олеге, и та, давняя, разлука с добрым Сашей?

«Зачем ты выходила за меня замуж? — всплыли его слова. — Зачем ты выходила за меня замуж, если любила другого?»

Что было отвечать? Виновата.

А рассказала она Саше об Олеге из-за признания Марьи. Та зашла как-то к ним с хозяйственной сумкой, с базара, — понурая, виноватая: «Ось як вышло, Катюшка. Ты мне доброе дело сделала, а я злом отплатила. Приезжал ведь твой Олег. А я ему: «Счастливая она. Муж хороший. Не разбивай семью». Он и уехал».

Саше, заставшему ее в слезах, Катя выпалила правду и ушла в свой старый домик на окраине. Пока выпросила отпуск, прошла неделя, и, приехав в город Олега, она его не застала: уехал в длительную заграничную командировку. Один.

А потом пришел Саша и, отводя глаза, спросил: «Ты будешь работать над «Скифом-2»? Я смекнул, как научить его пробуждать память предков. Ту, что закодирована в девяноста процентах мозга...»

Они помирились, а в сердце Кати по-прежнему жил Олег, прощеный и не единожды оплаканный.

... — Катерина Сергеевна! Вот вы где! Замечательно! — ворвался в ее невеселые воспоминания голос завлаба Сквознова. — А ведь завтра первым решено провести ваш эксперимент. Студенты ждут вас...

* * *

Студенты восприняли ее маленькую вступительную речь скептически. Один из них — с рыжими кудрями, с вздернутой к носу губой, хохотнул:

— А что вы хотите, чтоб мы вспомнили? Далекое детство или вкус вчерашних щей?

Катя сурово молчала.

— А нельзя ли результаты эксперимента тут же передать по институтскому радио? — продолжал остряк.

— А у вас есть радио? Прекрасно! Дайте мне ключи от радиорубки, завтра я вам их верну, — сухо сказала Катя.

Тот недоуменно протянул ключ.

— Лариса, подготовьте опыты на завтра, — обратилась она к лаборантке. — Когда у вас, товарищи, заканчиваются лекции? В 15.30? Тогда в 16.00 ждем вас. — И она вышла, услышав вслед шепот остряка: «Вот мымра! Медуза Горгона! Я умер под взглядом ее мертвых глаз!»

Катя невесело усмехнулась — кем она еще может казаться этому двадцатилетнему весельчаку? Конечно, мымрой, Медузой Горгоной! И Олегу, видимо, тоже. И все-таки она пойдет на риск, напомнит о себе, будь что будет!

Утром она протянула Ларисе пачку листов с новыми, написанными за ночь вопросами.

Лариса моргнула голубыми, искусно подведенными глазами:

— Ой, опять что-то новое, Екатерина Сергеевна? А может, начнем по проверенным тестам?

— Это не для студентов, Лариса. Для преподавателя — Оршева Олега Дмитриевича. Подойдешь, попросишь его полчаса посидеть у «Скифа», скажи, это просьба нашего завлаба — начать с преподавателей. Мою фамилию не называй.

— Ой, а почему, Екатерина Сергеевна?

— Мы с ним учились вместе и когда-то поспорили, возможно ли вернуть память.

— Па-нятно! — заговорщицки подмигнула Лариса и, плавно покачиваясь — под манекенщицу, — поплыла к двери.

Катя ждала, пока Лариса внесет в «Скиф» новую информацию — тексты на древнерусском языке, сообщения латинских авторов о скифах, их образе жизни и войнах, материалы последних раскопок скифских курганов и выписки из тех сорока томов записок археологического общества, что когда-то делала для Олега.

Сидя в соседней комнате, Катя слышала, как вошедший Оршев спрашивал Ларису:

— Ну, так что же это такое — тесты первого ряда, тесты второго ряда?

— Первого — как именно воспринимает мозг испытуемого, второго — что именно представляет при этом. Тесты не главное. Главное — наш прибор. Он улавливает работу мозга; ход ваших мыслей и фиксирует их путь по лабиринтам мозга. Эту запись он в виде сигналов подает на магнитофонное устройство. Мы расшифровываем его и даем вам прослушать, и то, что ваш мозг знал, но скрывал от вашего сознания, становится известным! Просто вы слушаете звуки, которые уловил «Скиф» — они похожи на музыку.

— Вот какое чудовище, оказывается, наш мозг! — рассмеялся Олег. — Значит, он скрывает от нас то, что знает?

— Представьте, да, — обиделась Лариса. — Убедитесь сами. Садитесь вот сюда. Вы попадаете в биополе «Скифа». Полчаса полного молчания.

Катя слышала, как хлопнула дверь за Ларисой, как невесело вздохнул Олег, как раздались первые сигналы «Скифа» — тонкие писки — это пошли на экране «тесты первого ряда» — обычные вопросы, обращаемые ко всем испытуемым — знаки нотного стана, стихи и слова песен — малоизвестных и популярных, слова иностранного языка (английского, который учил Олег), законы физические и химические. Катя представляла, как с усмешкой смотрит Олег на экран, считая эксперимент пустой забавой, и действительно засомневалась: да полно, так ли уж велики ее успехи? Ну, Мефодий Ильич — тут «Скиф» лишь

ускорил выздоровление, уже начавшееся с появлением Саввы Орлова. Но то медицинский случай. А вот успешный опыт со студентом, который после эксперимента, слушая музыкальную композицию «Скифа», стал вдруг сбивчиво и нервно говорить о французах, о Наполеоне, о Денисе Давыдове и даже читать стихи лихого гусара, которые до того никогда не знал, — успешный ли? Ведь позже выяснилось, что испытуемый знал, что его предки действительно принимали участие в Отечественной войне 12-го года? Ведь почему-то многие испытуемые отказывались признаться, вспомнили они что-нибудь или нет. Один даже возмутился:

— Что я — сумасшедший, рассказывать вам всякую чушь? Нет и нет!

Потому и решено было провести эксперимент среди будущих археологов. Их мозг работает целенаправленно — в глубь веков.

* * *

Сигналы «Скифа» стали тише, пошли тесты второго ряда: что представляет испытуемый при вопросе... Где-то среди карточек есть и особая — специально для Олега — обложка одного из томов «Записок археологического общества губернского города Т.» за 1840—1860 годы и выписки.

Совсем тихие, еле слышимые только ее тренированным ухом сигналы подает «Скиф», пошли самые трудные задания — старославянские тексты, таблички на венедском языке. Но что это? Сигналы убыстрились. Тревожные и громкие, они стали похожи на сирену. Такого не бывало со «Скифом»! Катя выбежала в коридор, увидела Ларису, сидящую у окна в соседстве с рыжим остряком.

— Лариса! Пойди выясни, что со «Скифом»!

Лариса едва прикоснулась к дверной ручке, как дверь распахнулась, и оттуда вылетел Олег.

— Опыт не кончен! — пыталась удержать его Лариса.

— В другой раз закончим, — отодвинув Ларису, пробормотал Олег и, не поглядев в сторону окна, у которого, сжавшись, стояла Катя, помчался к выходу.

— Вы куда, Олег Дмитриевич? — окликнул его декан, поднимавшийся по лестнице навстречу.

— Мне срочно нужно уехать, срочно! — на ходу проговорил Олег.

— Но ведь у вас лекция! Что с вами? — встревожился декан. — Заболели?

— Нет, нет. Ну ладно, я проведу лекцию. Извините, Борис Иванович!

И он, круто развернувшись, зашагал назад.

— Он сбежал в середине эксперимента, Катерина Дмитриевна! — возмутилась Лариса. — Посмотрите изображение на экране — тесты второго ряда только начались!

— Мне понятно, в чем дело, — справившись с собой, сказала Катя. — Проверь, с какого вопроса «Скиф» стал испускать громкие необычные сигналы. Перемотай пленку.

— Да вот, ясно — с момента показа каких-то «Трудов»... Не пойму, что за «Труды»! Я вроде не закладывала такую карточку...

— Ладно, иди отдыхай, я сама расшифрую, — растерянно улыбаясь, сказала Катя и опустилась на стул.

Она спешно расшифровала запись, вынула пленку, вставила ее в магнитофон и побежала с драгоценной ношей в радиорубку. Принятое ею еще в момент разговора с рыжим начальником радиосвязи решение показалось сумасбродством, даже хулиганской выходкой — включить во время лекций музыкальную какофонию с записью! Но... Пан или пропал!

Подключив магнитофон к радиосети и услышав первые взрывные звуки, она закрыла на ключ радиорубку и понеслась вихрем вниз.

По пустым лестничным переходам цокотали ее каблучки в такт громкой, необычной музыке — было в ней что-то суровое и печальное, словно прощальное, было такое широкое, раздольное, что захватывало дух, будто по степи на лихом коне не кто-то, а ты сам скачешь — здоровый, молодой, и не знаешь, куда девать силу богатырскую, удаль молодецкую. Преподаватели выглядывали из дверей, возмущались: «Какой сумасшедший включил музыку во время лекций! Безобразие!»

Два студента, понукаемые ими, понеслись к радиорубке. А Катя бежала к аудитории, где читал лекцию Он.

Дверь была плотно прикрыта, она приотворила ее и увидела Олега за кафедрой. Он что-то говорил. С паузами, явно прислушиваясь к музыке.

— Вы, конечно, читали только что вышедший замечательный труд академика Рыбакова «Язычество древних славян», где прослеживается история наших предков. Итак, прав был Блок, гордо утверждая: «Да, скифы мы!»

А музыка тем временем сменилась — пошли последние вопросы, заданные педагогу Оршеву, и тот, о «Записках археологического общества». И будто степь ворвалась в зал, наполнила его острым запахом чебреца, засвистал ветер, и солнце, высокое и жаркое, послало сюда, на кафедру, за которой в нерешительности стоял немолодой сутулый человек с проседью в рыжих волосах, сноп брызжущих золотом лучей. И то ли спряталась седина, то ли порыжела, плечи распрямились и блеснули знакомой синеватой сиренью глаза. И легко спрыгнул человек с возвышения, зашагал к выходу.

— Я закрою дверь, Олег Дмитриевич! — вскочил какой-то студент.

— Нет, не надо. Мне нужно идти, — отстранил его Олег.

Катя еле успела спрятаться за дверью, но тут же поспешила следом.

— Вы не видели тут командиршу этих психов-психологов? — столкнувшись с ней на бегу, спросил перепуганный рыжий отрослов.

— Кого? — остановилась на миг Катя.

— Да эту, Медузу Горгону, Свешникову. У нее ключ от радиорубки!

— Не видела, — сообразив, что рыжик не узнал ее, прыснула Катя и, проносясь мимо зеркала в фойе, остановилась, взглянула.

Очков нет — видимо, оставила в радиорубке. Старушечий пучок волос развалился, и волна светлых прядей ниспала на плечи. А где же ваш строгий жакет, Екатерина Сергеевна? Ах, остался в лаборатории, на стуле. Что-то еще произошло с вами. Из чистой зеркальной глади удивленными юными глазами смотрело лицо восемнадцатилетней Кати — библиотекарши из шестьдесят какого-то года XX века.

Улыбнувшись себе в зеркало, она выбежала из фойе и в проходной увидела, как Олег набрал номер телефона и быстро спросил:

— Когда ближайший поезд до города Т.?

В ее город!

Она тихо окликнула его:

— Саша!

Ой, господи, почему «Саша»? Олег! Оговорилась... Привычка тринадцати лет: что ни случится — звать Сашу! Днем ли, ночью, в радости, в беде... Если Олег... Если с ним... То Саша уйдет из ее жизни... Но это же невозможно — жить без Саши! Предать Сашу.

Она словно споткнулась на бегу, прянула назад.

А Оршев кричал в трубку:

— Мне самый ближайший поезд, самый!

Она тихо подошла к нему, остановилась за спиной и сказала ровным голосом:

— Здравствуйте, Олег Дмитриевич!

Он, боясь спугнуть того, кто за спиной, медленно обернулся.

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ

КАНИКУЛЫ У МОРЯ

Камера хранения

Солнце опустилось, и тень от эстакады ушла к серебристым стволам пробковых деревьев. Нас было трое: приземистый старичок с баулом, женщина и я. Мы стояли уже четверть ча-

са — и ни с места, не ладилось там у них в камере хранения: лента с чемоданом женщины остановилась вдруг, и вместо того, чтобы закинуть его на полку, потом пристроить дедушкин баул и отпустить меня, они принялись колдовать с механизмом. Их было двое; я слышал голоса, доносившиеся из окошка. По эстакаде неслись машины, над головой тарахтели мотоциклы и грузовики, а мы стояли и ждали у моря погоды. Галька сияла, и вода плескалась в тридцати шагах от нас.

— Простоим, а завтра дождь зарядит, — сказал я негромко, — погода здесь капризная, особенно во время отпуска.

— Штормить в ноябре — декабре начнет, — негромко, серьезно возразил старичок.

А женщина молчала. И я добавил:

— Иногда это раньше бывает. Искупаться бы, пока они там возятся. Эй, долго ждать? — крикнул я, подвинувшись к окошку, но, как водится, мне не ответили.

Я увидел круглое, светлое лицо женщины с едва приметными крапинками веснушек, ее вздернутый нос, большие серые глаза, усталые и все же какие-то задорные, с непонятным вызовом, что ли.

— Хотите искупаться? — сказал я.

— А они там долго? — спросила она, не изменяя выражения лица.

— Какое это имеет значение? Камера хранения работает круглосуточно. А солнце, увы, нет. Тем более в октябре. Поднести чемодан до пляжа?..

— Хорошо, — разрешила она, подняв голову, и первой пошла к морю, и я смотрел на длинные-предлинные тени от ее стройных ног и шел за ней.

Мы переправились через балку с тусклой травой и ленивым ручьем, потерявшимся в камнях в десяти шагах от моря. Она медленно направилась к скалам, словно подумывая о зряшности моей затеи. Белые ее туфли с длинными носками ворошили галечник.

Так же нерешительно, медленно входила она в воду, и я удивлялся ей; подбадривая ее, заплыл далеко-далеко, лег на спину и смотрел, как она купалась, как боялась замочить волосы, как быстро выходила из воды и пряталась за скалой.

Мы вернулись. У камеры хранения — ни души. Тускло-красное теплое солнце висело над самым морем.

— Зеленый луч когда-нибудь видели? — спросила женщина, повернув голову к солнцу.

— Ни разу, — ответил я. — Воздух стал другим, не получается.

— И я нет, — сказала она. — А что с воздухом случилось?

— Стал он не таким прозрачным, машин прибавилось... — Я поднял ее чемодан и сдал его мужчине в темных очках. Потом свой. Проводил ее на крутую горку, где среди теплых серых

камней примостился дом отдыха. Внизу — россыпь огней, над ними белые легкие быстрые облака, до которых можно рукой дотянуться.

— Завтра поможете чемодан сюда перенести? — спросила она.

— Я мог бы это сегодня сделать.

— Не догадалась.

— Вас зовут Женя?

— Откуда вы знаете?

— Угадал. Завтра я буду под скалой.

— Хорошо. Я тоже.

— До встречи.

— До завтра.

Дикарь несчастный, подумалось мне, давно пора научиться доставать путевки. Я отправился на поиски жилья. Был теплый вечер, у нового санатория пахло цветами: тонкий, знакомый по прошлому году аромат; дальше под деревянным мостом шумела Хоста; из ущелья тянуло холодом, и здесь, над рекой, вспоминались московские холодные дожди, первые заморозки... Я взбежал на горку, привычно считая каменные ступени. Пятьдесят, семьдесят, девяносто... вот и знакомый дом. Мне повезло: через полчаса я снова шел по каменной лестнице, но уже с чемоданом, свернул направо, открыл дверь ключом, который дала мне хозяйка, зажег свет, положил чемодан, присел над ним на корточки... На синтетической коже его исчезла царапина, которую я приметил раньше. Я поднял чемодан на стул, поднес настольную лампу и развел руками: синтетик был гладким, чистым. С минуту стоял в раздумье. Поднял крышку. Костюм повесил на вешалку, свитер на спинку кровати, достал рубашки.

Стоп. Что-то не так... Электрическая бритва лежала справа, это я помнил; сначала я вообще забыл ее положить, а когда спохватился, то места не оказалось, и я примостил ее кое-как, и мягкая крышка чемодана заметно здесь выдавалась. Теперь бритва была слева, и никакой выпуклости, кажется, так... И с рубашками недоразумение. Все они выглажены, сложены как надо. А ведь этого быть не могло! Я не умею обращаться с сорочками, и одна из них, вот эта, из прачечной, должна быть сложена по-моему. Я прихватил ее в последний момент.

Ни одной вещи не исчезло, но они приобрели какую-то необъяснимую новизну. Следовательно... Нет, ничего из этого необъяснимого факта не следовало, как ни напрягал я воображение. В голове промелькнуло: камера хранения опытная, отлаживают методы обслуживания, совмещая хранение вещей с химчисткой... Если бы! В этом южном городке, кажется, не было и обычной химчистки... Впрочем, пора спать.

Утром после тихой спокойной ночи была особенно заметна разница в цвете воды: бухта, куда впадала Хоста, казалась темной, дальше открывались голубые дали.

— Это не обман зрения! — сказал я Жене. — Там чистая вода и красноватая галька.

— Так пойдем туда.

И мы двинулись по берегу, поднялись на бетонную стену, кое-где изъеденную прибоем. По правую руку от нас туннель убегал под гору, на склоне росло несколько пицундских сосен.

— На Пицунде их много, целая роща.

— Знаю, — сказала Женя.

Мы одолели железнодорожную насыпь, двинулись по шпалам, спустились на бетонный волнорез, я спрыгнул вниз и поймал Женю. Здесь было просторно, пусто, над нами поднимался берег. Странно было видеть в октябре эти глубокие зеленые краски: широколиственный лес взбирался по крутому склону, кое-где голубели сосны, на фоне деревьев бежал поезд. Плавным, спокойным было его движение. Лучи солнца не проникали в лес, и видны были темные прогалы между дубов и кленов, размытые тени, кусты калины. Поезд пробежал, и эти мгновения запомнились с такой легкостью, как будто я давным-давно уже видел этот берег. И не один раз...

В шашлычной на вымощенном камнями пятачке расставлены столы и стулья, дремлет старый сытый кот, и днем тут не надо стоять в очереди, потому что с дикого пляжа еще никто не пришел, кроме нас с Женей и того самого старичка, что стоял с нами в камере хранения.

Женя присела за столик, а мы со старичком получали обед, и я успел спросить, не заметил ли он чего со своим баулом.

— Нет как будто, — сухо ответил он и занял столик у большого пробкового дерева.

...Я рассказал Жене о чемодане, рубашке и бритве. А вот и камера хранения. Я протянул квитанцию в окошко. Машинально получил Женин чемодан и тут только рассмотрел, что подавал его не вчерашний мужчина, а женщина.

Удивительная это была женщина: прическа высокая, глаза светятся под очками зелеными искрами, платье тоже с какими-то искрами, впрочем, после целого дня на солнце это могло и показаться... Мы взобрались на горку. В бассейне плавали красные и оранжевые рыбы. Ни души; в доме отдыха тихий час... Прислонившись спиной к серой глыбе, нагретой солнцем, я ждал. Женя поднялась по ступенькам и вышла на балкон.

— Спускайся вниз, — сказал я.

— Не хочется, — ответила она; постояла, постояла — ушла с балкона. Я увидел ее на крыльце. Она сказала:

— Пойдем, расскажу о чемодане.

Мы пересекли тень от эстакады, выбрались на дикую тропу и повернули в сторону Адлера. Там песчаный пляж, редкость для Кавказа, и песок там крупный, серый, горячий, а море почти такое же голубое, как за бетонной стеной, где мы купались утром. Справа — красный тревожный свет, солнце почти коснулось воды.

— Знаешь, я сразу поняла: что-то не то, — начала рассказ Женя. — Слишком уж все выглажено, а туфли как новые. Может быть, я и не заметила бы ничего, да ты подсказал. Вышитый цветок на кофте и тот как будто только что распустился, да вот посмотри... а ведь он давно выцвел.

— Э, дело не в цветке.

— А в чем?

— А вот прочти...

— Тут по-итальянски, я не умею.

— И никто теперь не сумеет, название фирмы нужно с конца читать. Это слово тебе знакомо?

— Вроде синтетика... если с конца.

— В том-то и дело. А так все в порядке. Нужно бы им спасибо сказать.

— Кому — им?

— Ну, тем кто в камере...

— А-а... Что это они удумали?

— Сегодня на пляже двое о том же говорили. О камере хранения. Два парня у волнореза, я к ним прикурить подходил, один в очках, на аспиранта похож, так вот он сказал: «Это не камера хранения, а пункт обмена старых вещей на новые». А второй парень ему ответил: «Ну и даешь ты, Вадим, кому это надо: старье брать, а новое отдавать?» А тот, первый, Вадим, ему говорит: «Мало ли кому. Ты вот сидишь здесь и думаешь небось, что ты венец творения, думаешь ведь?.. А того не понимаешь, что если бы так оно и было, то и в камере хранения такой ничего удивительного не было. Но то-то и оно, что не венец ты творения, Боря, а предмет изучения. Статью космонавта Поповича о разумной жизни на спутниках Сатурна и Юпитера читал?.. На Европе, что обращается вокруг Юпитера, обнаружили целый океан воды. Так вот, допустим, что жизнь где-то есть. Те, другие, поступают так же, как мы. Мы ищем каменные ножи, амфоры, берестяные грамоты, глиняные таблички, древние книги и кольчуги, все, что создано руками человека. Те, с других планет, — тоже...»

И тут я перебил их. Прикурил. Отошел, усмехнулся про себя, а через некоторое время задумался об инопланетном разуме, представляешь?

— Это несерьезно, — возразила Женя. — Я на твоем месте даже и представить себе не смогла бы, как это камера хранения попала в руки инопланетян.

...Как-то я заглянул в окошко; рядом никого не было, и я

вдруг увидел, что камера хранения намного просторнее, чем я думал. А вместо пола, казалось, была морская гладь, и, только присмотревшись, я понял: это голубой ковер... Передо мной возникла та самая женщина.

— Скажите, — спросил я самым естественным тоном, — вы, конечно, слышали о Венере Милосской, олицетворяющей женскую красоту?

— Да, — ответила она и как будто задумалась, загляделась на свое кольцо с восхитительным зеленым гранатом. Такой гранат, я знал, как будто бы помогал угадывать будущее.

Но речь шла о далеком прошлом. И это далекое прошлое было моей специальностью: совсем еще молодым человеком я защитил диссертацию о культуре Средиземноморья такого давнего периода, что на защите не нашлось ни одного серьезного оппонента.

В ее гранате вспыхнула и пропала изумрудная искра, несомненно, игра света... Я сказал:

— Весной тысяча восемьсот двадцатого года крестьянин с острова Милос по имени Юргос копнул землю лопатой и натолкнулся на изумительную скульптуру. Потому и названа она Милосской. Но Венера была без рук.

— Нет, — возразила она односложно, и я постарался скрыть удивление.

— Да, говорят, что французский мореплаватель Жюль Себастьян Сезар Дюмон-Дюрвиль описал ее в своем дневнике совсем другой. В левой руке она держала яблоко, а правой придерживала ниспадавшее одеяние.

В гранате ее — белый огонь. Вспыхнул и погас... Я внимательно рассматривал ее кольцо. Давно уже гранат перестал быть редкостью, из него делают электронные приборы, совсем несложные. Пластинки граната с какими-то примесями могут задерживать ультразвуковые колебания, служить элементами памяти. Это, если угодно, подобие объяснения его свойств, связанных с будущим, с предсказаниями всякого рода. Если, конечно, молчаливо предполагать, что будущее уже содержится в прошлом... но парадокс этот более чем сомнителен. Ее гранат тоже был синтетическим, и я подумал, что во времена Куприна никто об этом и не догадался бы.

— Да. Ее видел Дюмон-Дюрвиль, — сказала она с расстановкой, и я опять скрыл изумление, вызванное и словами ее и тоном, не терпящим возражения. И еще она добавила: — А почему вы спрашиваете меня об этом?

— Да потому, — я сделал паузу... — потому только, что вы копия Венеры Милосской, какой ее видел Дюмон-Дюрвиль.

— Неправда.

Я молчал и смотрел на нее. И в эту минуту она не могла опустить глаза и глянуть на гранат. А там мерцал зеленый змеиный глаз.

— Правда, — сказал я, глядя ей в глаза. — А теперь скажите, пожалуйста, что это за работу вы нашли себе?

— Это временно, — бесцветный огонь встрепенулся в камне.

Тут подошли сразу несколько человек, накидали саквояжей и сумок. Незнакомка отдалилась от окошка, и все эти нелегкие вещи каким-то непостижимым образом оказались на движущейся ленте. Она оставалась в тени. Я уж было хотел снова подойти и продолжить разговор, но меня оттерли три отпускницы, за ними приблизились мужчины, и я понял, что пришел автобус из Адлера и нужно подождать часок-другой. Но когда наконец пятачок близ окошка опустел, ее уже не было. А был не располагающий к беседе тип в очках, которого я приметил в первый день.

Пора было к Жене. Все эти дни стояла изумительная погода, дышалось легко, я перепрыгивал через три ступеньки, не уставая. В воздухе — легкий пряный запах отмирающих листьев и последних цветов. В бассейне шевелили хвостами беззаботные рыбы; мальчишки кидали им хлебные крохи, иногда, впрочем, наживляя их на крючок, привязанный к мизинцу.

Да, я думал о незнакомке... Удивительно это. Откуда она знает о Дюмон-Дюрвиле? А кольцо с гранатом!..

Но поздним вечером, когда мы бродили с Женей по изогнутым, как серпантин, аллеям и под ноги попадались какие-то большие коричневые стручки, настроение переменилось. Что, собственно, тут загадочного? Гранат обыкновенный, даже синтетический, а светился он по странной ее прихоти, потому что положение ее руки во время разговора менялось. Что загадочного в ее платье, туфлях, односложных ответах? Да, красива, ну и что? Туфли... ну, положим, в Сухуми или Тбилиси можно достать и получше.

Женя заметила, что я рассеян, и угадала, кажется, по какой именно причине я молчу. Но говорить с ней о своих подозрениях я не мог (Не мог! Она бы рассмеялась мне в лицо — при самом благоприятном исходе). Как мне не хватало того парня, не то аспиранта, не то студента, который успевает читать статьи о космосе!

Небо было глубоким, сапфировым, с каким-то странным светом, с отблесками на летучем облаке, с россыпью бирюзовых звезд. Мы остановились у бассейна, и небесные огни отражались в темной воде, мигали, завораживали. Но это была реальность!

Взгляд не может не путешествовать во времени. Ведь вместе с ночным атмосферным свечением, опаздывавшим всего на тысячные доли секунды, приходят и вести из давнего прошлого. Первая станция на пути в прошлое — альфа Центавра. Четыре года разделяет нас. И этот отрезок непреодолим — нельзя пробить пока сказочный туннель к звездному раскаленному шару,

чтобы сблизить два разных времени. Но что такое четыре года по сравнению с сотнями, тысячами веков!

Звезды из столетней окрестности — это наши современницы, так их, пожалуй, можно назвать; они почти наверняка таковы, какими кажутся, видятся. Но стоит удалиться за эти пределы, обозначаемые не человеческим воображением, а стеклами или антеннами астрономических приборов — и зарождается сомнение: не погасла ли дальняя звезда? Не исчезла ли туманность — целый мир, отнесенный от нас на многие и многие поколения пути?

Я рассказывал Жене о звездах, а сам думал о другом: почему же я не спросил незнакомку обо всем напрямик?

Нужно исправить ошибку. А захочет ли она беседовать о том, что меня интересует?.. Вряд ли. Хорошо, что сегодня она не догадалась, куда я клонил. Впрочем, я опять фантазировал: нет, не стояли за ней зеленые человечки с другой планеты, ведь ясно же!

Женя — биолог, заканчивает аспирантуру; об инопланетянах слышать не может: морщится и хохочет. Молодец.

Ни слова о гуманоидах!

Женя чуть выше меня, и, когда мы идем с дикого пляжа, рука ее покоится на моем плече.

Есть такой возраст, когда одинаково небрежно, покровительственно обращаешься и с теми, кто моложе, и с теми, кто старше. Потому-то и смешно мне стало, когда на глаза нам попался старичок из очереди в камеру хранения и довольно-таки косо посмотрел на нас.

Кто бывал в Хосте, знает, что дорога с северного дикого пляжа проходит как раз мимо камеры хранения под эстакадой. Вот так мы с Женей и прошествовали в обнимку мимо знакомого окошка. Оно казалось серењким, невзрачным, не заслуживающим внимания. Я хотел заглянуть туда, но Женя меня не пустила.

Несколько раз проходил я с Женей под эстакадой, но каждый раз повторялось то же самое: Женя удерживала меня, она была против этой истории с незнакомкой и странной камерой хранения.

Однажды поздним вечером я увидел незнакомку в дальнем углу комнаты с голубым ковром, но тут же у окошка оказался человек с зонтом и чемоданом. За ним не замедлили появиться еще несколько отдыхающих. Подошел поезд... Я дождался, пока людской поток схлынул, но увидел в камере только мужчину в очках с небрежно зажатой в зубах трубкой.

Я пошел к причалу, где плескались мутно-зеленые волны. У волнореза кто-то стоял с удочкой. Вот подошел еще один ры-

болов, и я узнал обоих: это были аспирант Вадим и его товарищ.

Я поздоровался. Они ответили. Вадим озабоченно посмотрел на часы. Я спросил:

— Не помешал?

— Нет как будто, — ответил Вадим и добавил, обращаясь к товарищу: — Через десять минут можешь сверить часы.

— Не клюет? — спросил я.

— Не особенно, — ответил Вадим.

Мне показалось, что на дальнем конце причала кто-то есть... женщина как будто. Вадим подтолкнул товарища, оба смотрели туда, где у мыса Видного шел катер на подводных крыльях. За катером, за мысом сверкнуло, и небо перечеркнул метеор.

— Ну как? — спросил Вадим.

— Точно, — ответил товарищ.

— О чем вы, ребята? — поинтересовался я.

— Да о том же, о загадках природы... метеор видели?

— Видел.

— Завтра приходите в то же самое время, увидите снова.

— Ну да?

— Три вечера подряд одно и то же.

— Интересно.

— А что именно вам интересно?

— А то, что вы о камере хранения на пляже говорили.

Они переглянулись. Вадим сказал:

— Это гипотеза. Знаете, сколько лет Копернику понадобилось, чтобы доказать очевидную, казалось бы, мысль о беге нашей планеты вокруг светила?.. Ну вот, а вы готовы поверить нам сразу. Так не бывает.

— Не бывает... — поддержал Вадима товарищ.

— Почему же не бывает... Я вчера говорил с той женщиной.

— Ну и что узнали?

— Да ничего не узнал. Отвечает «да» и «нет».

— И не узнаете ничего, даже если мы с Борей правы. Так, что ли, Боря?

Тот утвердительно кивнул. И вдруг спросил:

— А вы что, в самом деле поверили?

— Да как сказать...

— Вот то-то и оно, что проверить это невозможно. Тут сам Коперник бы спасовал. Допустите на минуту что-нибудь такое... понимаете?.. И увидите, что вы абсолютно беспомощны и вокруг вакуум, пустота, полное отсутствие фактов.

— Странные, однако, у вас ассоциации... Между прочим, Вадим и Боря, пока мы с вами разговаривали, исчез человек. Вон там, на дальнем конце причала...

— Показалось!

— Пойду посмотрю...

Прошел весь причал, но никого не обнаружил. Ни с чем вернулся к ребятам.

— Неужели шутке поверили? — опять спросил Боря. — Контакты невозможны.

— Ладно, чего уж... — Я подумал, что они готовы забыть случившееся. — Почему на пляже не появляетесь?

— Да мы на другой перебрались. Чтоб вам не мешать.

Темень вокруг непроглядная... Покачиваются на волне поплавки. Бухта спит, городок видит вторые сны.

Теплая ночь... тайный свет у окоема, где звезды погружаются в воду, какие-то бродячие морские огни, мягкое дыхание ветра, открытость пространства. Когда-то, я знал, у береговой линии зародилась жизнь. Богиня Афродита вышла из пены морской. Там, где соединяются воздух, вода и земля, произошло необъяснимое чудо. Ветер собрал здесь с поверхности моря все богатство океана, странно-загадочные цепочки органических молекул, легкие атомы жизни. Именно здесь, в тихих лагунах, начались, быть может, впечатляющие превращения.

Сон. Песня ветра

Иду в свое временное прибежище, считаю ступеньки, открываю дверь. Спать!.. Мне снится сон. Будто бы я снова выхожу к морю.

Далеко-далеко, у адлерского мыса — созвездие переливающихся огней; я смотрю на них из темноты под высокими кронами пробковых деревьев. На мраморных ступенях у санатория «Волна» — желтые листья, низко склоненные ветви ив.

Впереди — причал. Как наяву, снова вижу ее. Она молчит, но я вдруг понимаю, что должен подойти. На руке ее вспыхивает гранат. Зеленый узкий луч бежит по гальке, по асфальту, останавливается у моих ног. Ведет к ней. Словно зеленая нить тянется — от нее ко мне. Она в коротком плаще, волосы ниспадают волной, почти закрывают плечи, воротничок плаща.

— Это сон, — говорит женщина.

— Да, сон, — повторяю я.

— Идите за мной, — продолжает она. — Не бойтесь.

Она подходит к самому краю причала и легко спрыгивает на глянцевую воду. И ждет меня. И легко так покачивается на пологих волнах. Я прыгаю вниз. И вода держит меня. Я будто бы становлюсь легким, как перышко. Она идет по волнам. Я за ней... Дальше, дальше от берега. Вот она остановилась. Обернулась.

— Ну что отстаете? Живее!

Несколько шагов — и я рядом с ней. Она берет меня за руку. От ладони ее исходит электрическое тепло, кожу мою покалывает.

— Идите следом! — повторяет она.

Туфли ее скрываются под водой. Она медленно погружается, как будто под ногами ее отлого уходит в воду береговая полоса. Но это не так. Мы постепенно опускаемся, опускаемся... ниже, ниже. Вода плещется у моего подбородка. Мне не страшно. Вода теплая, мягкая какая-то, она не сопротивляется движению. И одежда моя суха.

Вот мы уже под водой. На дне — шар.

Шар светится. Он жемчужно-бел и осязаем.

Будто бы мы вошли через овальный люк в этот шар, и он всплыл и понес нас над водой так низко, что гладкое его днище касалось гребней волн. Прошла едва ли минута. В течение этой минуты я видел как бы застывшее море. Шар изнутри был прозрачен. Только внизу были темные ниши и над головой овальные углубления — оттуда шел какой-то электрический, свежий воздух, и хотелось подставлять этому потоку лицо и руки. А море вдруг снова поглотило нас. Шар опустился на дно.

— Выходите! — коротко скомандовала женщина.

Я открыл овальную дверцу и вышел. Так, как будто это был троллейбус, а под ногами моими — асфальт. И опять я не почувствовал плотности воды: она не сопротивлялась движению, мы шли по морскому дну не быстро и не тихо, и движения ее рук и ног были грациозно-непринужденны, как во время прогулки. Наверное, для нее это и была прогулка.

...Я увидел человеческую руку, торчавшую из песка, и замер. Мгновенный страх. Полосатая невзрачная рыбешка метнулась из-под руки. Я что-то сказал. Она остановилась. Лицо ее было невозмутимо. Медленно провела она рукой над тем местом, где под серым песком погребен был человек, и я увидел вдруг, что этот человек — бронзовый. Серый пласт грунта приподнялся, приоткрыв статую.

— Работа великого Фидия, — сказала женщина. — Это к вопросу об античном искусстве, вас ведь оно интересует?..

— Да. — Я понял намек. — Фидий — один из строителей Парфенона.

Она провела рукой, и серый грунт, еще оставшийся в волосах бронзового мужчины, перехваченных лентой, легко поднялся, образовал облачко мути и осел на дно близ скульптуры. Произошло это так, как будто она могла действовать на предметы, не прикасаясь к ним. (Наяву я вряд ли бы поверил в подобное, хотя мне и приходилось слышать о телекинезе — я даже видел фильм с участием симпатичной женщины, по мысленному приказанию которой двигались компасная стрелка, авторучка, футляр от кубинской сигары и другие мелкие вещи.)

Теперь мне открылось: скульптура восхитительна, ее не с чем сравнить! Смутная догадка мелькнула у меня, но едва я решился высказать ее вслух, как женщина сказала, словно подтверждая ее:

— Да, это одна из статуй, преподнесенных афинянами дельфийскому святилищу. Всего было подарено тринадцать статуй. Если помните, в пятом веке до нашей эры была одержана победа над персами при Марафоне. Павсаний пишет, что дар дельфийцам посвящен именно этому событию.

— Где мы находимся? — спросил я. — То есть я хотел бы знать...

— Риаче Марина, Калабрия, — ответила она.

— А время... наше?

— Тысяча девятьсот семьдесят второй год новой эры... Вашей эры, — уточнила она, и я понял, чем это было вызвано, но промолчал.

Вода была светлой, голубоватой, видно, мы находились на неглубоком месте, рядом с берегом. Так оно и было. Я увидел двух аквалангистов. Они приближались...

— Это они, — сказала женщина как бы про себя, и бронзовая статуя мгновенно покрылась сероватым песком, и ничто не напоминало о ней, кроме руки... Мы отошли. Шар погас. Аквалангисты замедлили движение, остановились. Их испугала, так же как и меня, рука бронзового человека. Мгновение — и они поплыли назад, к берегу. Они работали ластами так, что до меня доходили упругие волны...

— Все. Сейчас они сообщат о находке в полицию, потому что приняли статую за убитого. А нам надо уходить. Это была единственная возможность показать вам творение Фидия, понимаете?.. Полиция прибудет через час. Они передадут скульптуру для исследований. Потом во Флоренции ее будут реставрировать целых пять лет, ведь бронза подвержена солевой коррозии. Там же, во Флоренции, в здании археологического музея откроется выставка. На ней будет и вторая статуя, лежащая здесь, неподалеку. Но вы на выставку попасть не сможете. Вот и все.

...Снова шар. Полет над морем. Подводные раздолья.

Проступили сквозь водяную толщу очертания судна. Мы приблизились. Это был русский фрегат. Два-три шага — и мы остановились. Я едва мог различить детали деревянного корпуса, их контуры были изменены, искажены до неузнаваемости. Наклонив палубу, фрегат навеки остановился на морском дне. На форштевне разрослись коричневые подводные растения (их листья и стебли пошевеливались от стремительных движений рыбьей мелюзги). Не видно пушечных портов. Ракушки облепили кнехты, служившие некогда для крепления снастей бегучего такелажа. В палубе зияли неровные пробоины. Обнажились бимсы, на которых покоился настил. Наклонная плоскость кормы, нависавшая над водой — подзор, — уже не напоминала о великолепной резьбе по дереву, которой так славились корабли — ровесники фрегата.

Спутница легко взмахнула рукой. Будто сказочное диво яви-

лось мне. Точно освободившись от колдовства, корабль вздрогнул. Исчезли мидии и водоросли, в пушечных портах засияли начищенной медью дула, развернулись паруса, на носу поднялась Урания — женщина под звездным венком: за спиной ее развевается плащ, тело ее как бы летит, оставляя рассыпающиеся по бортам акантовые листья. Локоны ее над волнами словно рождают музыку, и, внемля этой музыке, тритон на кормовом подзоре запрокинул голову, чтобы вот-вот протрубить в золотую раковину начало похода.

И рядом с тритоном выпукло обозначились лев и морской конь-гипокатам, они приподнялись, поддерживая венок и скрещенные мечи, и застыли в геральдической позе. Между ярусами окон возникли крылатые женские фигуры, в простенках между окнами нижнего яруса вспенили воду дельфины. В квадратные торцы крамбол вписались гирлянды, а на самом верху кормы, на гекаборте, застыл Нептун.

Я несколько раз обошел корабль. Я медлил, не хотел с ним расставаться.

— Пора, — сказала женщина.

Мы подошли к жемчужному шару, нырнули в овальный люк, шар дрогнул, за ним взвилось облачко. Фрегат точно растворялся в воде. Но это был прежний корабль, каким он предстал перед нами в первое мгновение — глыба, заросшая морской травой.

Она нажала матовую клавишу под рукой. Прямо на стекле шара я снова увидел корабль — сияющий убранством фрегат.

— Копия... — попробовал догадаться я. — Объемная запись.

— Пожалуй, можно и так назвать, — согласилась она.

— Вы могли бы вызволить этот корабль из морского плена и перенести его к себе... — не очень уверенно предположил я.

— Нет, — она строго взглянула на меня. — Это все равно, что отнять у таких, как вы, сердце. Или слово.

— И это, наверное, очень далеко...

— Очень! — согласилась она и вдруг спросила: — Скоро закат, хотите увидеть зеленый луч?

Я кивнул. Она остановила шар у самой поверхности. Я припал к стеклу. Сверкнул ее зеленый гранат. И тотчас, словно отозвавшись, последний луч закатного солнца прошел через воду; он был зеленоватым, дрожащим, волны точно пытались его размыть.

— Спасибо, — поблагодарил я, она улыбнулась.

— Я хотел спросить вас о гранате... что это?

Она словно обдумывала, как ответить, помолчала, сказала:

— Мой советчик, помощник. Моя память. Память логическая. Гранат помнит все. Но память эмоциональную доверять

ему... — она опять помолчала, — доверять ему не надо... Правда, когда я работаю, это бывает необходимо, верить ему.

— Вы устаете? — спросил я.

— Бывает, — ответила женщина. — Иногда устаешь, и хочется забыть... все забыть.

У нее было строгое, грустное выражение лица, а простая прическа (вовсе не такая, какую я видел однажды) наводила на мысль, что ей частенько приходится кому-то подражать.

— Возможны ли контакты? — вопрос мой был недвусмысленным.

— Только во сне, — ответила она тихо и печально улыбнулась. — Во всяком случае, мы не должны оставлять доказательств контактов. Это может изменить ваше будущее.

— Значит, работать нелегко... — подытожил я.

Она молча кивнула.

— И у вас бывают недоразумения... ошибки... — Я осторожно намекал на камеру хранения, которая путала правое и левое.

— Да, бывают, — согласилась она. — И очень часто, к сожалению. Меня уже предупредили, что нужно быть внимательнее.

— Кто предупредил?

— Не знаю. Просто сказали. Узнать предупредившего я могла бы по зеленому гранату. Такому, как у меня. Разве что крупнее и ярче...

— Значит, это женщина? — воскликнул я, удивленный возможностью встретить и ту, другую инопланетянку.

— Женщина. Только... как это сказать... выше рангом. И гранат у нее непростой.

— Понимаю. Только и ваш гранат не так уж прост.

— О нет! У меня не такой...

— И она здесь?.. Та, другая?

— Выходит, здесь.

— Только для того, чтобы проверить вашу работу?

— Да. Впрочем, я уже наделала ошибок, и предостаточно. Вы тоже будьте готовы... Однажды на рассвете постучат в окно. Сначала тихо, потом сильнее. Три раза и еще семь раз. Вам захочется открыть окно, но вы не подходите и не открывайте. Знайте: это прилетела металлическая муха разрядить вашу память, освободить вас от воспоминаний. Муха будет жужжать; звук этот почти неуловим, но он застигнет вас врасплох и подчинит себе. Подойдете к окну — забудется сон: и жемчужный шар, и старый фрегат под парусами, и дельфийская скульптура. Вот вам иголка. Воткните ее в оконный переплет. Иголка эта непростая. Муха ее боится. Ведь тысячи прозрачнокрылых сородичей ее кончают жизнь тем, что пополняют собой коллекции. Это неизбежно: нет вечных двигателей, бессмертных существ и бесконечных историй. Живая муха или

электрическая — конец один: на иголке в коллекции или в запаснике кибернетического фонда, где собраны удивительнейшие экспонаты всех времен. Защититесь иголкой — и она будет служить антенной, от которой мухе непоздоровится.

И я с радостью потянулся за иголкой, но она отвела мою руку и сказала: «Лучше мне самой!..» А я подумал, что сон похож на правду.

Снова полет. Стремительный, бесшумный, почти невидимый со стороны. Потом мерцание зеленого луча в глубине.

И я увидел подводные сады, забытые причалы, затонувшие каравеллы и галеры, покоящиеся в подводных долинах и расселинах, светящиеся глаза обитателей придонного слоя, тени кальмаров-гигантов, скользящих в глубине. Увидел коралловые рифы в аквамариновом пространстве вод, полосатых и пятнистых пестрых рыб, похожих на бабочек и птиц, морских змей и скелеты вымерших ящеров в доисторических пластах. Она показала мне развалины опустившегося на дно древнеиндийского города Каверипаттинама, откуда суда династии Чолов отправлялись в заморские страны. Я побывал у пирсов Ольвии. У Багамских островов, где покоится легендарная «Пинта» — третья каравелла экспедиции Колумба. У канадского острова Фанди, где рыбаки подвешивают сети на берегу, на высоких шестах, как будто собираются ловить птиц. После самого высокого в мире прилива — восемнадцать метров — можно собирать улов.

...Когда мы приблизились к знакомому берегу, я услышал странные стихи. Женский голос звучал изысканно-медлительно. Но я не узнавал его. Незнакомка исчезла из моего сна. Казалось, поет ветер. Или море.

Пусть жабры и клыки процедят воду,
И пусть вернется вновь вода
И складки гор умножит,
Как морщины множат горе —
Бессмертны мы. Сегодня и всегда —
Свет глаз твоих над этим морем.

Непотерянный день

Утро. Неяркий свет в окне. Но уже десятый час: под окном много зелени и листва заслоняет солнце. Вскакиваю с постели, умываюсь, вспоминаю, что в десять мы должны быть с Женей в Адлере, чтобы лететь в Красную поляну. Ведь я почти опоздал! Скатываюсь по ступенькам. Бегу к стоянке автобуса, где мы условились встретиться... Жени нет. Ну, положим, десять минут она могла бы и подождать. А небо! Так ясно, что видна труба теплохода над сферическим изгибом морской дали.

В кафе на центральной аллее глотаю сливки и творог; бреду на пляж. Заглядываю в камеру хранения. *Ее нет.* Ну и сон мне приснился...

Под бетонным волнорезом мелкие черноморские крабы вылезли погреться на солнышке. Кидаю с досады камни в воду, целюсь в высоко торчащий над водой валун: два попадания из десяти — результат неважный. На пляже пустынно, как всегда в середине октября. Тишь. Галька красная, теплая... И шуршит. Оборачиваюсь: Женя.

— Здравствуй, Женя! Я тебя ждал, но не дождался.

— Здравствуй, Валентин. Ты меня не ждал.

— Ошибаешься. Полчаса охотился за тобой на автобусной стоянке. В Красную поляну мы опоздали.

— По твоей вине.

— Но тебя же не было в десять!

— Была. В тот день, когда мы договорились. То есть вчера.

— Что значит, вчера?

— Это значит, что мы с тобой должны были лететь туда двенадцатого октября.

— Женя!.. Мы же только вчера днем договорились об этом: сегодня с утра...

— Но сегодня уже тринадцатое.

— Да? Шутить изволите?

— Проверь, — пожала она плечами так непринужденно, что я действительно пошел за соседний волнорез, где как раз оказались двое тех самых ребят, Вадим и Боря.

Вдвоем они убедили меня, что сегодня тринадцатое октября.

— Сдаешься? — спрашивает Женя.

Я молчу, вспоминаю странный сон, пытаюсь найти какое-то подобие объяснения. Сутки, выходит, пропали, или, быть может, это вовсе не сон? Да нет! Что это со мной в самом деле? Легче допустить, что я проспал до сегодняшнего утра, ведь спать хотел по-настоящему... Это хоть похоже на правду в отличие от варианта с путешествием в Средиземное море, Атлантику, Индийский океан, на морское и океанское дно на жемчужном шаре в сопровождении очаровательной инопланетянки.

— Разгадка проста! — воскликнул я. — Я волновался перед полетом в Красную поляну, и мне все это приснилось. Во сне я летел с тобой на вертолете, представь себе. И мне показалось, тоже во сне, конечно, что просыпаться не обязательно. Проспать почти двое суток! Можно ли это представить?

— Трудно... — односложно ответила Женя. — Согласна дать тебе еще одну попытку. Учитывая, что сегодня — тринадцатое число.

— О, завтра я буду ждать тебя в такси у самого дома отдыха!

— Идет.

...Проснулся я рано: кто-то тихо, старательно, настойчиво стучал в мое окно. Прислушался — стук повторился. Я быстро

встал, подошел к окну, отдернул слепую белую занавеску, уколов палец сломанной иголкой, которая торчала из оконного переплета... Высасывая из пальца кровь, я не без удивления обнаружил за окном Женю. Милое лицо, сонные еще глаза, а голос — веселый, звонкий:

— Я думала, ты опять проспишь! Да открой окно, а то плохо слышно.

— Я уколол палец, — сказал я громко. — Сейчас выйду.

По лицу Жени промелькнула летучая тень, тревога, почти неуловимая, как ночная птица. Прожужжал зеленый жучок и утих, ударившись о стекло...

...Из Красной поляны вертолет нес Женю и меня над тенистыми ущельями, а я увидел незнакомку из сна. Именно увидел, а не вспомнил. Или, может быть, представил так отчетливо, что невольно прикрыл глаза и подумал о шаре. Показалось: вот он, протяни руку и дотронешься... Открыл глаза. Мне и в самом деле захотелось увидеть его. Наяву. Но я знал, что это невозможно. И тогда появилось оранжевое пятно на стекле вертолета. Медленно ползло оно по стеклу. Цвет его изменился, и мне показалось, что это изображение жемчужного шара незнакомки. Так и есть, очень похоже! Иллюзия полная...

Я услышал:

— Кто-то слишком много себе позволяет. — Это было сказано тихо, но внятно.

Женя! Боже, до чего захотелось вспылить. Но я сдержался. Задумался. Кто слишком много позволяет себе? Ответ вовсе не очевиден. Если Женя имела в виду женщину с зеленым гранатом, то откуда она знала про жемчужный шар? Если меня, то и вовсе непонятно: при чем тут пятнышко на стекле вертолета, которое, кстати, исчезло?

Я внимательно изучаю Женю. Исподволь разглядываю ее. Кажется, она этого не замечает. Несколько непринужденных слов — и мне показалось, что она сама готова отвлечь меня от моих размышлений. Но нет! Она не так проста, как мне казалось... не так проста.

— Что ты имела в виду, Женя?

— Я вспомнила, что камера хранения работает очень плохо! — Ко мне обращены ясные светлые Женины глаза, и я мысленно каюсь, что минуту назад допускал иное, не то, что она подразумевала.

А откуда-то из глубины моего существа всплывает мысль, от которой теплеют виски. «Тот день, когда было море, и старый фрегат, и песня ветра — если он был — не потерянный день».

Именно светлый круг на стекле вертолета заставил вспомнить слова, которым я готов был поверить. О камере хранения и второй женщине с гранатом, о второй инопланетянке. О мимолетности соприкосновения миров.

И все же наступил день, когда я рассердился на себя, на Женю, на камеру хранения и авторов вздорных гипотез.

Пора наконец избавиться от навязчивой мысли о сатурнианцах, которые якобы появляются на необыкновенных летательных аппаратах, свободно парят над Гималаями, в глубине морской передвигаются с помощью неких светящихся колес, выныривая на поверхность, чтобы запросто поболтать с наивными простачками третьей планеты и снова заняться своими делами.

...Рано утром я пошел на базар, купил букет чайных роз, три килограмма винограду, корзинку, в которую сложил виноград, прикрыл его журналом, сверху положил розы, приладил плетеную крышку и сдал в камеру хранения.

Принимала та женщина... Была она в золотисто-желтом платье с белым газовым поясом, в дымчатых очках, на плечах — легкий шумящий плащ, на запястье — браслеты, на смуглых ногах серебристые туфли с высокими каблуками, расписанными золотыми волнистыми линиями. Я застыл как вкопанный. Передо мной была комната с голубым ковром и маленьким столиком. На столике — хрустальный стакан, в стакане — алый цветок. Куда это подевались саквояжи и сумки?..

Женщина стояла чуть в стороне, и я потому и видел это пространство с белыми и желтыми бликами. Но вот она сделала два-три шага, и комната с голубым ковром утонула в полутьме. Я протянул ей корзинку. И тут заметил транспортер, опустил на ленту корзинку и взглянул на женщину. Под башней темно-золотистых локонов — неподвижное, строгое лицо.

— Все? — спросила она.

— Все, — ответил я, не решаясь добавить ни слова.

Осторожней, подумал я невольно, не подавай виду, что ты ее хочешь провести, иначе... Что будет, я не знал, но твердо решил подарить ей розы... позже. Интуиция подсказывала, что тайна голубой комнаты мне не откроется, если я сейчас заговорю.

Быстро промелькнула неделя.

На пляже, где не раз поджидал я Женю, представлялось вдруг, что комната с голубым ковром исчезла и женщина — тоже. Не пора ли, спрашивал я себя...

И вот новый день: у крутого берега я ловил знакомую минуту — показывалась бесшумная электричка, волна полого ложилась на гальку, голубоватый лес казался древним, сказочно живописным и притягивал к себе. Я подплывал к берегу, бросался на гальку, но все переменялось вокруг: и лес много терял в моих глазах, становился обычной рощей на взгорье, и на голой полосе берега, круто взбегавшего к его подножию, открывались рытвины, горы щебня, железнодорожное полотно. И все

это заставляло меня снова ждать встречи с той минутой: я уплывал в море и высматривал электричку. Вот она появлялась и словно незримой чертой отделяла прошлое от будущего. Но с каждым разом впечатление становилось слабее... И с этим я ничего не мог поделать.

«Что необычного нашел я в камере хранения?..» — думал я, и бродил по берегу, и искал парней, размышлявших о ней много дней назад...

Я подошел к Жене, и мы стали собираться. У камеры хранения я остановил ее. Теперь, спустя восемь дней, должно многое проясниться.

— Подожди.

Подошел к знакомому окошку. Протянул квитанцию. Женщина была рядом со мной, только на ней было другое платье, белое с голубым поясом. За ней угадывался неувядающий алый цветок на столике. Темный контур цветка плавал над хрустальным стаканом. Старая мысль промелькнула опять. «Зачем им... этим... старые вещи, если они могут сотворить в мгновение ока все, что надо — и более того?»

Я взял корзинку, откинул плетеную крышку. Розы были свежее, чем восемь дней назад. Но вчера выяснилось, что у Жени — день рождения. Я протянул ей букет. А голова была занята другим: что происходит? Женщина отошла от окошка, но я успел заметить, как белым огнем полыхнул ее гранат. Цветок как будто плавал над хрустальным стаканом, и столб света выхватил из тьмы голубой ковер, и мне послышался там шум моря. «Вот оно что! — подумал я. — Им действительно нужны подлинные вещи. Пусть старые, но подлинные. Там, у них на другой планете, наверное, музей, лаборатория, что еще?.. Взамен они возвращают дубликаты, копии. Им это по силам. Просто!..»

И тут случилось то, что иногда случается со мной: пропало очарование голубой комнаты, женщины, алого цветка в хрустальном стакане, ведь я, наверное, добрался до сути. Как там, на берегу, где вечно будет пробегать на фоне леса поезд и, может быть, подарит кому-нибудь волшебную минуту, утраченную для меня. Не то чтобы я очень уж хотел огласить результаты моего эксперимента с розами, которые выглядели совсем живыми, такими же, какими я сдавал их восемь дней назад вот этой ворожее. Нет. Но мне надоело играть в прятки.

Я говорил слишком громко, не без иронии, понимая, что только так и не иначе могу я выразить свое понимание событий и свою роль в них. Потом, когда память снова возвращала меня в этот солнечный день, я корил себя за поспешность. Но, допустим, я поступил бы иначе. Смог ли бы я чего-то достичь? Вряд ли...

Женя настойчиво тянула меня за руку — подальше от этого не нравившегося ей места. Она ничего как будто не заме-

чала и воспринимала мою горячность спокойно. Но во время разговора, как я убедился позднее, ей не надо было искать смысла в моих словах — и она лишь живо улавливала интонации.

Подул ветер.

Всего на мгновение я отвел взгляд от знакомого окошка. Но этого мгновения оказалось достаточно. Взяв под руку ничего не подозревавшую спутницу, я шагнул к нему, уже понимая, что опоздал. Да, опоздал.

Я не верю своим глазам...

Передо мной белеет стена камеры, по ней разбегаются причудливые желто-зеленые узоры — отблески волн. На решетчатых створках красуется замок. Я осторожно провожу пальцем по темному холодному металлу. Замок покрыт пылью, и кажется, что висит он тут давным-давно. Быть может, это порыв ветра поднял пыль и надул сора в заржавленную скважину.

Медной тусклой проволокой к знакомому окошку прикручена табличка: «Камера хранения переведена в помещение вокзала». Женя недоуменно смотрит на меня, и выражение какого-то преувеличенного удивления в ее больших светлых глазах сменяется другим: она как будто подозревает сговор. В тридцати шагах от нас по-прежнему лениво и бездумно плещется море.

...и последнее, главное

Не люблю хостинский вокзал. Многолюдье в отпуске противопоказано. И все же я несколько раз пытался заглянуть туда... в окошко камеры хранения. Незнакомку я, разумеется, не встретил. Зато встретил Женю. Это произошло поздним вечером, и она, как мне показалось, смутилась. Я был смущен не менее.

Что же удалось выяснить? Что там работает отныне мужчина, и он непохож на того типа в очках, которого я приметил в старом помещении, под эстакадой. Работает он там, насколько мне известно, и по сей день. Кажется, камеру хранения позже перевели на старое место. Незнакомка больше не появлялась. Думаю, она поплатилась все же за неопытность. С вещами в камере хранения пока не происходило ничего загадочного, голубой комнаты как не бывало. И это лишний раз говорило о серьезности случившегося.

Однажды на набережной я засмотрелся на зеленый камень в перстне. Молодая высокая грузинка стояла с подругой в нескольких шагах от меня. Камень на тонкой красивой ее руке живо напомнил о незнакомке.

Вот когда вспомнился странный сон! И светлый круг на стекле вертолета, и сломанная игла в оконном переплете... Ка-

мера хранения под эстакадой закрыта не случайно: ведь это вмешалась вторая женщина с зеленым гранатом. Наверное, это совсем обычная с виду женщина, а узнать ее можно по лучистому камню. О ней говорила со мной во сне незнакомка! («Узнать предупредившего я могла бы по зеленому гранату. Такому, как у меня. Разве что крупнее и ярче». — «Значит, это женщина?» — «Женщина. Только... как это сказать... выше рангом...» — «И она здесь?.. Та, другая?» — «Выходит, здесь».)

...Я потянул Женю. Она освободила свою руку. Я подошел к девушке-грузинке. Мне запомнилось ее имя: Теа. Подруга ее вставила словцо:

— Все же Теа не продавщица ювелирного магазина, чтобы спрашивать у нее о драгоценностях.

— Ну что ты, Нина, — возразила ей Теа. — Если человек хочет узнать, что это за камень, я отвечу. Мой родной дядя Гиви подарил этот перстень мне в день рождения. — И Теа царственно подняла руку и показала мне его, и я убедился, что это не совсем то.

— Камень вам очень идет, — произнес я, памятуя, что Женя, вероятно, наблюдает сценку.

— Очень! — ответила подруга с акцентом (в грузинском языке нет ударений): — У Теа зеленые глаза, а у дяди Гиви хороший вкус.

— Спасибо, Теа. Спасибо, Нина, — скомкал я разговор, пытаясь быть учтивым.

Подруга Нина пожала плечами. Я вернулся к Жене, она холодно сказала:

— Интересуешься зелеными камушками?.. Это хризолит, а вовсе не гранат.

— Теперь я это знаю. Спасибо.

Чуть позже я вспомнил этот эпизод, но тогда меня уже не удивило, что Женя на расстоянии нескольких шагов смогла рассмотреть, что это не гранат, во всяком случае, не тот гранат, который я искал.

Мы пошли на пляж. Искупались. Знакомая электричка промелькнула в послеполуденный час над берегом. Аромат смол, пологие волны, красноватая галька, тишина... Мгновенное, щемящее чувство утраты. Или, быть может, предчувствие тревоги...

— Я сейчас уезжаю, — спокойно произнесла Женя.

— Как это — сейчас? А вещи, чемодан?

— Чемодан мне больше не понадобится.

— Шутить изволите!

— Нет. У меня всего несколько минут...

— Почему же ты меня не предупредила? — воскликнул я.

— Ну, знаешь... меня вовсе не надо провожать. Я сама.

— Сама!.. — повторил я и осекся.

Женя поспешно собиралась, а сумочка ее оказалась откры-

той, и я заметил внутри большой зеленый камень. Я замолчал как завороженный. Наши глаза встретились. Она тянула сумочку к себе. Но продолжала смотреть на меня. Перстень выскользнул на гальку. И подкатился к моему локтю. Еще не осознавая происшедшего, я поднял его. Отполированные грани сверкнули, и под ними грозно вспыхнул белый огонь.

— Гранат... — бормотал я смятенно, разглядывая камень, — такой я уже видел...

— Дай-ка, — тихо сказала она.

Я понял все; некстати выдавил из себя:

— Я никому не скажу, — и вернул ей камень.

— Можешь рассказать, если захочешь. Разве поверят? — Она улыбнулась.

— Значит, я тебя не буду провожать?

— Это невозможно.

— Непонятно, зачем тебе нужно было оставаться здесь так долго. Когда тебе вернули в камере хранения кофточку и ты обнаружила ошибку, все могло быть кончено. Ведь ты из-за этого сюда пожаловала?

— Но потом... был отпуск, каникулы, — проговорила она, а я подумал, что этот ответ ей вполне мог подсказать зеленый гранат.

— Я сама так решила. — Она поднялась. — И ни о чем не жалею.

Там, где были ее колени, в мелкой красноватой гальке остались две продолговатые ямки. Рука ее легла на мое плечо. Гранат полыхнул зеленым огнем и оказался на ее безымянном пальце.

— Странно, что я не носила его на руке все эти дни, правда? — она наклонилась, словно хотела что-то добавить, но передумала.

...Я смотрел ей вслед, пока глазам не стало больно от ослепительного солнца.



ГОЛОСА МОЛОДЫХ

ОЛЕГ КОРАБЕЛЬНИКОВ

ДОМ

Когда они поженились, то можно было бы жить у родителей Светы, но они оба предпочли снять старый дом на окраине города, до того ветхий, что казалось — построен он в незапамятные времена. На самом деле дому было не больше полусотни лет, но постоянные ветра, близость реки и оползни состарили его, как старят человека житейские невзгоды.

Дом был как дом, с красной кирпичной трубой, обломанными наличниками, с окнами, заколоченными досками. Люди, жившие в нем, оставили свои следы, и по ним можно было прочесть очень многое. Кто-то выбирал место, именно это, а не другое, кто-то рубил сруб — вот следы от топора, неизгладимые временем, а вот резные наличники, любовно сработанные рукой мастера. На косяке двери — зарубки, одна выше другой, это подрастали дети. Вот собака царапала крыльцо, и конура ее еще цела, и проволока для цепи, натянутая через двор.

В комнате на стенах — светлые пятна от фотографий и ковриков, поржавевшие гвозди, вбитые, казалось бы, в беспорядке, но когда-то каждый был на своем, необходимом месте, и на него вешали одежду, или полку с посудой, или занавески.

Люди годами обживали дом, и он сживался с ними, они привыкали друг к другу, притирались, и люди уже хорошо знали, что, скажем, вторая ступенька на крыльце поскрипывает, а входя в сени, нужно наклоняться, чтобы не задеть о косяк, и делали это спокойно и привычно. И дом, должно быть, тоже зависел от жильцов, ведь они заботились о нем, белили стены, конопатили щели и не хотели, чтобы он умирал преждевременно. Он был их жилищем, неотъемлемой частью их самих, свидетелем их горя и радости, рождений и смертей, и вот они уехали обживать новый дом, а этот остался один, доживать свой век, уже почти мертвый без населявших его людей...

Они вошли в него, половицы, стертые и некрашеные, скрипели под ногами, кое-где прогрызли мыши, штукатурка осыпалась, обнажив крестообразный рельеф дранки, потолок отсырел и протекал, а печка и вообще была разрушенной. Они остановились на пороге и долго стояли так, обнявшись.

— Вот мы и дома, — сказал Сергей. — С новосельем.

В первые дни они спали на раскладушке, подальше от окна. По ночам, прислушиваясь к вздохам, скрипам и шорохам старого дома, они наделяли его душой, шепотом придумывали ему биографию и переводили жалобы его на человеческий язык. Они привыкли к дому, к его неуюту, к чужим запахам, к половицам, истертым чужими ногами, к виду из окна, который

ушедшие люди считали родным и привычным, и ждали только, чтобы и дом привык к ним, и стал считать их своими.

У Сергея был отпуск, вернее, то неопределенное состояние, близкое к невесомости. Он закончил институт, на работу еще не устроился, и, порвав привычные связи, еще не успел завести новые. С самого утра он занимался ремонтом, приспосабливал дом к себе, как старую одежду, обновлял, омолаживал. Складывал печь, штукатурил стены, стеклил окна. Дом изменялся, молодел, но эта молодость была сродни гриму, наложенному неопытной рукой на лицо старика. Свежевыструганная дверь напоминала протез, новые ступени крыльца походили на вставные зубы, пахнущие смолой рамы, чуждые привычному косяку, резали глаз. Казалось, что дом противится омоложению — по ночам с шорохом отваливалась штукатурка, с устрашающим треском оседал потолок, и печь дымила и почти не грела. Сергей не отчаивался, он знал, что дом приручить нелегко, и, когда струйка дождевой воды сбегала прямо в постель, он отодвигался, подставляя таз, и, слушая голос воды, говорил Свете:

— Наш домовой совсем разошелся. Купи ему творога со сметаной. Может, подобреет.

Они втянулись в эту странную игру, чуть ли не всерьез веря своим выдумкам. Оставляли творог за печкой, и, когда наутро миска оказывалась пустой, не удивлялись. Скорее всего, творог съедали мыши, но хотелось верить, что и в самом деле домовой принимал дары, но все равно продолжал свои бесчинства — куролесил, топал ногами по чердаку, стучал и в подполе, дул в трубу, да так, что сажа вырывалась черным облачком и оседала на беленой стене.

— Каков наглец! — возмущалась Света. — Мы его кормим, поим, ублажаем, а он нас выгоняет.

— Не беда, — говорил Сергей, — всему свое время. Привыкнет. Мы ведь чужие в этом доме, а он хозяин.

Света соглашалась с ним и забеливала печку, рисовала на стенах цветными мелками невиданные цветы, и зверушек с большими глазами, и птиц с пестрыми крыльями. Сырость проникала и сюда, вода стекала даже по печке, и цветы увядали раньше срока, птицы теряли перья, а зверьки съеживались и расплывались. Шли дожди, крыша дома, казалось, притягивала к себе всю воду, и, не растеряв ни капли, бережно пропускала сквозь потолок. Утром и вечером в комнатах стоял звон капели. Света уставала выносить кастрюли и тазы, раздражалась, а Сергей успокаивал ее.

— Не беда, — говорил он неизменно. — Зато какая музыка. Под нее хорошо думается и спится. День и ночь — весна.

— Ты несчастный оптимист, — отвечала Света. — Тебя все радует, даже горе. Займись-ка по-настоящему ремонтом.

— Вот дожди кончатся, и займусь. А ты купи домовому что-нибудь вкусное.

И Света покупала конфеты в шуршащих обертках, мороженое в хрустящих стаканчиках, пастилу и мармелад и все это складывала под печку. Ночью там кто-то шуршал и пищал, но они не заглядывали туда, не хотели разочаровываться и продолжали придумывать истории о строптивом домовом. Однажды Света купила халву, и наутро прекратились дожди, пришла жара, и комната быстро просыхала, наполняясь теплом и светом.

— Вот что он любит! — сказал Сергей. — Тут-то мы его и купим. Наверное, никто раньше не кормил его халвой.

И он начал перекрывать крышу. Опыт у него был со времени работы в стройотряде, материал достал через тестя и, не требуя ни у кого помощи, один пилил, строгал, забивал гвозди. Шифер проваливался в прогнившие, наполненные личинками и коричневой пылью стропила; пришлось заменять их, но потолок не выдерживал тяжести новых балок, прогибался еще больше, пока не треснула матица и неровные концы ее не провисли над полом, обнажив слом извести, по слоям которой можно было исчислять время, как по годовым кольцам.

В этот день они впервые поссорились. Света обвинила его в неумении делать простые вещи, в лени и растяпстве, он тоже не остался в долгу и наговорил кучу глупостей. Она расплакалась, сказала, что жалеет о своем замужестве, что он обманул ее, прикинулся добрым и хорошим, а на самом деле совсем не любит ее и только непонятно, для чего он увел ее из родительского дома, где ее так любили и никогда не оскорбляли.

Они легли спать по разным углам, и впервые никто не шумел ночью, дом спокойно и терпеливо ждал, чем все это кончится.

Кончилось, конечно, перемирием и поцелуями, и на следующую же ночь кирпич провалился в трубу, заклинил ее где-то посредине, и они спасались от тяжелого угарного дыма в сенях.

— Давай уедем отсюда, — заплакала Света. — Этот дом просто выживает нас.

— Еще неизвестно кто кого, — сказал Сергей, — а ты купи побольше халвы.

Халва не помогла. На другую ночь под порывом внезапного ветра распахнулась дверь, петли не выдержали, и дверь с грохотом рухнула на крыльцо. Ветер пронесся по комнате, сорвал одеяло с постели, разбил окно и вырвался наружу.

Сергей долго успокаивал Свету, пытался развеселить ее, шурудя кочергой под печкой, словно изгонял оттуда домового, рассказывал веселые истории из студенческой жизни и при свете фонарика строил смешные гримасы. Света даже не слушала его и утром, уходя на работу, сказала, что будет жить у родителей до тех пор, пока Сергей не приведет дом в порядок или не найдет другую квартиру.

Сергей, разозлившись, пошел в наступление. Он составил план реконструкции дома, но по нему выходило, что легче бы-

ло бы построить новый дом, чем отремонтировать старый. Поразмыслив, Сергей решил ограничиться самым необходимым. Дом так и так подлежал сносу, жить в нем всю жизнь Сергей не собирался, а расходы на ремонт даже при предварительном подсчете превышали мыслимые цифры. Начал он с трубы. Оседлав конек крыши, ломиком разломал старую трубу, сбросил вниз красные на изломе кирпичи и возвел новую. Потом принялся за потолок. Выгреб старый шлак, добрался до потолочного перекрытия и, выломав гнилые хрупкие доски, обнажил комнаты. Теперь отступать было некуда. Дом был открыт для дождей, и Сергей, рассчитав, что стоит сухая погода, думал успеть сделать необходимую работу за два дня.

Он расстелил спальный мешок поближе к печке, долго лежал, глядя в чистое небо, курил и не заметил, как заснул.

Во сне он лежал на прежнем месте, но комната стала иной, непохожей на прежнюю. Беленые стены взбугрились лампами, индикаторами, гудящими приборами, назначения которых он не знал. Позванивало, постукивало, поскрипывало и пело. С никелированных балок свешивались провода, концы их, казалось, уходили прямо в звездное небо.

Чьи-то влажные руки прикасались к лицу Сергея, но он не видел их. Кто-то ходил, разговаривал приглушенно, пол подрагивал и временами мелко вибрировал, словно в подвале работал мощный мотор. Сергей хотел встать, но не мог, и вот капля воды упала на лоб и медленно потекла к виску.

Гудели стены, вздрагивали и метались по освещенным шкалам черные стрелки, серпантин перфолент, шурша, сползал на пол. Кто-то за его спиной, невидимый и недосягаемый, всплескивал воду и брызгал на лицо Сергея. Он хотел сказать, что это ему не нравится, но чья-то ладонь легла ему на губы и не позволяла раскрыть рта. Тот, кто был позади, плеснул в лицо полную пригоршню воды. Сергей зажмурил глаза и проснулся.

Шел дождь, и вода беспрепятственно лилась в комнату. Сергей с трудом выбрался из размокшего спальника и, повесив фонарик на стену, стал быстро собирать вещи, книги в один угол, накрывая все это брезентом. Дождь лился ровными холодными струями, собирался в лужи и уходил под пол через щели. Сергей вымок, от дождя было некуда деться, и он, проклиная все на свете, забрался под печку. Там было тесно и душно. Пыль щекотала ноздри. Хотелось курить, но спички отсырели, а сигареты расползлись в коричневую кашицу. Спать было невозможно, и от нечего делать Сергей начал разговаривать с тем, кого нет на свете.

— Ну-ка, выходи сюда, старичок-домовичок, друг сердечный, жихарь подпечный. Выходи, посидим, потолкуем.

В ответ шуршали и пищали захваченные дождем мыши. Под полом слышался беспрерывный шорох.

— Доберусь я до тебя, дружок, — говорил Сергей, чихая от

пыли. — Ох, доберусь. Все равно ведь дом отремонтирую. Ты упрямый, а я еще упрямей.

Под полом словно лопнула натянутая струна, высокий звук ударил в уши и быстро оборвался. Монотонно шумел дождь, журчала вода, и на фоне этих привычных звуков неожиданной показалась песня — кто-то шел вдалеке и разухабисто пел о далекой Питерской улице.

— Надо же, — удивился Сергей, — такой ливень, а он гуляет, да еще и поет.

Шлепая по лужам, едва разбирая дорогу в темноте, он добрался до калитки. Прошел несколько шагов по улице и вдруг заметил, что дождь прекратился. Посмотрел на небо: чистое, звездное, тонкий серпик умирающего месяца посередине. Он дождался, когда человек поравнялся с ним, и, шагнув к нему ближе, попросил закурить. Наверное, вид его, промокшего и грязного, скорее рассмешил прохожего, чем напугал, потому что тот, покачиваясь и хмыкая, протянул ему папиросу и, пытаясь зажечь спичку, сказал:

— Ты что это, земеля, рыбу ловил, что ли? Или тебя теща из таза окатила?

При свете спички Сергей увидел краешек рукава незнакомца, и его запоздало удивило — рукав был совершенно сухим. Делая вид, что заслоняет огонек от ветра, он взял незнакомца за рукав пиджака, быстро провел рукой до локтя. Сухой, абсолютно сухой. И только когда прохожий пошел своей дорогой, путая слова и куплеты, Сергей решил наклониться и ощупать землю. Дорожная пыль, плотно осевшая за ночь, была сухой, ни одна капля не упала на дорогу. Сергей приблизился к своему дому и сразу же услышал знакомый шум дождя. Прошел вдоль забора, не поленился забраться на него и убедился: по ту сторону шел ливень, размеренный, затяжной.

Подняв воротник, пробежал в дом, наполненный звенящей, журчащей водой, разыскал фонарик и обошел с ним вдоль забора. Луч света ясно отграничивал стену дождя, и это привело к неизбежному выводу: дождь лился на двор правильным прямоугольником, вернее — параллелепипедом.

Где начинается дождь, не было видно, ибо ни одна туча не закрывала небо, и можно было подумать, что дождь идет из ниоткуда. Это шло вразрез с логикой и потому раздражало. Ничто не могло появиться из ниоткуда и исчезнуть в никуда. Закон природы явно нарушался. Сергей решился дождаться утра, не заходя в промокший дом, сидел на скамеечке, прислушивался к шуму дождя — не утихает ли, и с тревогой думал о том, что может произойти завтра и послезавтра, если события приняли такой оборот.

К рассвету дождь прекратился и с первым теплом вода, обильно напитавшая двор и стены, стала уходить. Лужи впитывались землей, от стен шел густой пар, уносимый ветром, и к

тому часу, когда на улице стали появляться первые прохожие, дом ничем не отличался от соседних. Только без крыши, вот и вся разница.

И Сергей забросил ремонт. Он догадывался, что причина странных происшествий кроется именно в том, что он начал переделывать дом, и нечего противиться этому, и кто знает, какие средства сопротивления применит после следующего его шага. Как бы между делом Сергей расспросил старожилов, когда был построен дом, кто в нем жил и когда уехал навсегда. Ничего необычного в этих сведениях не было. Возраст дома, и в самом деле, был не слишком почтенный, строили его обычные люди и жили в нем обыкновенно: росли, рожали детей, любили, вражловали, праздновали и бедствовали. Люди как люди, дом как дом.

Он попытался найти закономерность в сопротивлении дома, но любая из них вполне подходила под случайность. Он разделил их по степени вероятности на возможные и абсолютные. Но, пытаясь понять причины тех и других явлений, он сразу смешал все в кучу, и получалось так, что ни одно из событий нельзя было объяснить до конца. Дом был старым и поэтому в любой день мог разрушиться, но он словно бы ждал, когда приедут жильцы, чтобы показать свой норов. В домовых Сергей не верил, легенды, придуманные им же самим для развлечения и успокоения, не выдерживали никакой критики, и приходилось искать объяснений в области наук точных и вызывающих доверие. На первых порах он решил оставить дом таким, каков он есть, не прикасаясь больше к нему ни пилой, ни рубанком, и все события, которые произойдут, анализировать, чтобы дойти до главной причины. Он с горечью думал о Свете, но отступать не хотелось, страшный дождь заразил его болезнью, близкой к кладоискательству, где наградой была не корчага с монетами, а истина.

Весь день он бродил по дому, внимательно присматривался к тому, что осталось нетронутым после ремонта, и его снова поразило несоответствие новшеств по сравнению с тем, что было. Печка, сложенная им самим, была явно чужой всему дому, новые рамы и двери самой своей новизной выделялись, как модницы среди нищих. И именно эти новые части дома отторгались в первую очередь, как чужеродная ткань, пересаженная в живой организм. Отваливалась именно та штукатурка, которую наложили они, порывом ветра сорвана новая, им поставленная дверь, а дождь казался чуть ли не наказанием за разрушение крыши. И еще неизвестно, что будет потом, когда он поднимет руку на пол, стены, подвал.

Вывод, следующий из всего этого, был странный и довольно ненаучный. Дом — это живой организм, сопротивляющийся и настолько всемогущий, что способен вызывать на себя дождь.

Сергей занимался обыденным делом — ремонтировал дом, а

получалось так, словно он к сосне пытался привить кактус, или, более того, черенок яблони вживить в тело человека. Черенок все равно не привьется, а если к тому же это делать насильно, причиняя человеку боль, то вполне можно рассчитывать на соответствующую реакцию, и обижаться потом не стоит...

Внимательно осматривая дом, Сергей добрался и до подвала. Ни разу за все время он не интересовался, что может находиться там. Подвал был неглубокий, во весь рост стоять невозможно и, согнувшись, почти на четвереньках, Сергей осмотрел его весь, но ничего особенного не обнаружил. Сломанная табуретка, пустые запыленные бутылки, норки, похожие на мышиные. Но одна нора оказалась большой, даже слишком. В нее даже можно было забраться при желании. Она находилась в углу, выходящем во двор. Стенки ее были гладкие, и словно бы не из земли. Он поковырял ее щепкой, но та быстро сломалась. У выхода, несмотря на густую пыль, никаких следов, кроме мышиных. Сергей просунул руку в лаз, ощупал его стенки, насколько позволяла длина руки, и пришел к выводу, что нора ровная, гладкая и идет не в глубину, как можно было предположить, а горизонтально. Раскапывать ее Сергей не решился, забираться — тем более, он посветил вглубь фонариком, но луч света терялся вдали.

Нору Сергей назвал громко туннелем и записал впечатления о ней в тетрадь, где уже были собраны все случаи сопротивления дома. С беспокойством ожидая ночи, он разделил события на две категории войны: сначала психологическая, потом метеорологическая. Можно было ожидать и прямых действий, и поэтому Сергей запасся топором, но потом рассмеялся и выбросил его во двор. Спать он лег на прежнем месте, не застегивая спальника и не раздеваясь, чтобы в любой момент выскочить наружу.

Не засыпая, он внимательно прислушивался к привычным шумам и шорохам, пытаясь найти в них необычные звуки. Вот запищал кто-то в подвале, простучали коготки по полу — это мыши. С шуршанием упал кусок штукатурки, осколки ее скользнули по лицу — тоже ничего сверхъестественного. А вот опять, как в прошлую ночь, будто что-то лопнуло в подвале, натянутая струна не выдержала натяжения, и высокий, быстро гаснущий звук донесся до него. И все. Ни дождя, ни ветра, ничего особенного не последовало за этим. Чистое небо, тишина городской окраины.

Во сне Сергей летал. Он выпал, как птенец из гнезда, в открытый космос и на все шесть сторон вселенной — только он, далекие звезды и черная пустота. Он был без скафандра, в желтой футболке и джинсах, но дышалось почему-то легко и невесомость не пугала. Он парил в пространстве, не ограниченный ничем, и закон тяготения на него не распространялся. Ему было беспричинно весело, он кувыркался и даже пытался

петь, но голоса не было слышно. Тихо, светло и настолько просторно, что казалось — тело его не имеет границ, как сама вселенная, и до каждой звезды можно достать рукой...

— Милый, — сказала Света. — Я так соскучилась по тебе. Я теперь никуда-никуда не уйду от тебя. Ты, мой бедненький, спишь тут под открытым небом, совсем заработался, а я, бессовестная, ушла от тебя, психопатка я несчастная.

Она обнимала Сергея и целовала его, и он, наконец-то, понял, что это Света пришла, и утро вместе с ней, и ночью ничего не случилось.

Была суббота, Света не работала, и они на целый день уехали за город, загорать, купаться и болтать о чем угодно, только не о доме.

Но он сам напомнил о себе. Еще издали Сергей заметил неладное, что-то изменилось в облике дома. Он стал совсем плоским — исчезли стропила. Не говоря ни слова, Сергей вбежал во двор, ожидая увидеть что угодно, но увидел, что новые, им самим обтесанные балки аккуратно лежали у забора, а старые, сброшенные как попало, тоже были уложены, только ближе к дому, словно кто-то постарался навести порядок, да не успел к приходу хозяина, потому что старая обшивка потолка также была сложена в одном месте, но не ровно, а навалом.

— Кто это здесь похозяйничал? — спросила Света.

— Тимуровцы, наверное, — буркнул Сергей.

Настроение испортилось. Противоборство перешло к новому этапу. Нечто неизвестное пыталось восстановить дом в прежнем виде. И почти в открытую, днем. Вещи их лежали, как утром, в углу, закрытые брезентом, ничего не пропало. Растопили печь, сварили обед. Дом совсем потерял жилой вид, ему не хватало крыши, как человеку головы.

— Что будем делать завтра? — спросила Света.

— Сидеть дома и помогать тимуровцам. А то неудобно как-то.

— Ну, уж нет. Завтра воскресенье, а ты делай свой ремонт в будние дни, когда я работаю. Я не хочу сидеть дома. И знаешь что, давай поедем ночевать к маме. Я здесь боюсь.

— А если утром весь дом растащат по бревнышку, что тогда? Давай уж здесь переночуем. Дом с привидениями — это такая редкость!

— Для психов — несомненно, а я не желаю спать под открытым небом.

— Ну, не надо, Света, а то опять поссоримся.

— Вот и пошли к маме.

Впервые за последний месяц Сергей спал в нормальном многоквартирном доме, и ночные звуки тоже были нормальные. Гремел лифт, за стеной играли на баяне, «трудные» подростки в подъезде выясняли отношения, и ничего необычного не происходило. Он долго не мог заснуть на мягком диване, думал о

том, что и большой дом живет своей жизнью, и вместе с населяющими его людьми составляет странный, но единый организм, симбиоз живого и неживого. И организм этот должен быть очень сложным, а взаимоотношения большого дома с многочисленными и разноликими людьми — настолько запутанными и развиваться по таким непостижимым законам, что разобраться во всем этом было немыслимо. Он думал о том, что еще сложнее организм города и целой страны, и тем более — всей планеты и, когда начинаешь переделывать землю на свой вкус и лад, то последствия могут оказаться такими непредвиденными, что его маленькая война с домом покажется забавной шуткой... Дальше мысли его забрели в такие дебри, что он совсем запутался, и признал себя бессильным разобраться во всем этом, и заснул, и спал без сновидений...

Наутро они закатили в гости, и почти весь день Сергей старался не вспоминать об оставленном доме. В конце концов, есть соседи, и, если что-нибудь случится, они увидят, вмешаются.

Вечером он отвез Свету к маме, а сам все-таки решил вернуться к своему сумасбродному дому. Тот встретил его почти восстановленной крышей. Старые, прогнившие балки были аккуратно вставлены в свои пазы, потолок настелен доска к доске, и даже шлак засыпан сверху. Только крыша не закончена.

— Не успел, значит, — сказал вслух Сергей неизвестно о ком.

И пошел к соседям. Начиная разговор издалека, он расспрашивал, видели ли они кого-нибудь во дворе дома. И первый же сосед рассмеялся:

— Вот чудак! Как ни проходишь мимо, а он на крыше сидит. И сдался же тебе этот дом! Да еще и старые балки ставишь. Новые-то куда дел?

— Кто, кто сидел? — спросил Сергей и вовремя засмеялся.

Остальные соседи тоже видели, что Сергей в своей желтой футболке сидел днем на крыше или ходил по двору. Но тогда кто же был сегодня со Светой, и кто ходил в гости, и кто, наконец, он сам? Сергей не напугался даже такого поворота событий, он просто разозлился. Осмотр обнаружил новые детали. Рама была заменена на старую, и что самое глупое — окна вновь были забиты теми же самыми досками. Дверь тоже стояла старая, видавшая виды, а новая лежала рядом. И никаких следов.

Ему стало досадно не столько из-за своей напрасно проделанной работы, а потому, что ему ничего не объясняли, простонапросто не считались с ним и делали все в его отсутствие. И он решился на рискованный шаг.

Установив фонарик, он залил цементом мышиные норки, но особенно тщательно — туннель, завалив предварительно вход в него тяжелым камнем.

— Ладушки, — сказал он, — теперь посмотрим, кто кого.

Сергей твердо решил не спать в эту ночь и, не заходя в дом, сидел на крыльце, открыв все двери, чтобы заметить любое изменение. Прислушивался, но даже обычной мышиной возни не было слышно. И на фоне этой тишины особенно резким показался знакомый звук лопнувшей струны. И тотчас же, едва успел погаснуть первый звук, как лопнула еще одна, тоном выше, и еще одна, и еще. Скрипнул пол. Кто-то ходил по комнате, натыкаясь в темноте на стены и чуть ли не ругаясь вполголоса. И тут же с шумом рухнула печь. Осколки кирпичей долетели до Сергея.

— Кто там? — прокричал он, но голос сорвался. Он вскочил и, сжав фонарик, словно это было оружие, направил луч его в глубь комнаты.

Кто-то метнулся от луча, скрипнула половица, и снова тишина. Тень человека, мелькнувшая на миг, показалась странно знакомой Сергею. Преодолевая страх, он медленно вошел в комнату, обшарил лучом все углы, осмелев, разворошил груду кирпичей, но никого не нашел. Даже тяжелый груз, приваливший вход в подполье, остался на месте. Надо было заглянуть в подвал, но Сергей так и не смог себя заставить сделать это. Он снова вышел на крыльцо, перевел дыхание, вытер пот и вдруг вспомнил, где он видел силуэт человека. В зеркале. Вот где. Это был он сам, вернее тот Сергей, что весь день на виду у всей улицы занимался идиотской работой — заменял новое на старое.

Хотелось убежать отсюда подальше, но он заставил себя сесть на старое место — посередине крыльца, прислонившись спиной к двери, твердо решив не пасовать ни при каких обстоятельствах. И в полной тишине он ощутил, как что-то шевелится за спиной, потрескивает еле слышно, пощелкивает, вздрагивает.

Медленно, стараясь не дышать, отстранился от двери, так же медленно, словно боясь кого-то, повернулся к ней лицом, посветил фонариком. Некрашеная, рассохшаяся, растрескавшаяся дверь с большими щелями, с дырочками, просверленными древоточцами, пощелкивала и потрескивала, будто по ней проходил электрический ток. Вскоре те же самые звуки донеслись от стен дома, и от стропил, и от старой рамы, и изнутри дома. Только от нового крыльца ничего не исходило, и он сел в центре его, поджав ноги, как мальчик из сказки, начертивший вокруг себя заколдованный круг.

Треск нарастал, и снова лопнули одна за другой несколько струн, и тут увидел, как из древесины двери проросли тонкие волоконца, похожие на мох, и, шевелясь в воздухе, начали срастаться друг с другом, покрывая дверь белесым, казавшимся живым налетом.

Не отрывая глаз, Сергей смотрел на дверь, но боковым зре-

нием, в рассеянном луче фонаря, все же увидел, что то же самое происходит и со стенами. Встал, медленно пятясь, сошел по ступеням и, скользя лучом по преображенному дому, вздрагивая с каждым новым звуком, добрался до калитки и вышел на улицу.

Опустился прямо на землю, перевел дыхание. Со стороны улицы ничего странного не было видно, но звуки все же доходили и досюда. Треск, шорох, чьи-то шаги, скрежет гвоздя, выдираемого из древесины, короткая вспышка над стропилами. Кто-то ходил по двору, кто-то шептался в доме, и надо было войти во двор и увидеть все самому, но страх не давал сделать ни шагу.

Так он просидел около часа, и за это время в доме не прекращался шум и треск, но ничего более страшного не произошло. Сергей понемногу успокоился и даже попытался проанализировать происходящее, но никакой анализ не давал ответа на все вопросы. Рядом было неизвестное, и он видел это и слышал, но ничего не понимал и не знал даже, поймет ли когда-нибудь.

Оставался один выход: пойти и узнать. Самому. До последней затяжки, до последней искорки выкурил сигарету. Не отряхивая пыль с одежды, не включая фонаря, в темноте дошел до ворот, осторожно нажал на калитку и вошел во двор.

Бревна со стороны двора, рамы, балки были покрыты густым, шевелящимся налетом, изредка проскальзывали искры между длинными белыми нитями; нового крыльца не было. Старые, полуразвалившиеся доски были поставлены на место и тоже светились в темноте, покрытые белым мхом. Сергей обошел вокруг дома, но ничего более нового не увидел. А это новое, что происходило уже второй час, постепенно превратилось для него в старое, и хотя было по-прежнему непонятным, но все же пугающим зрелищем. Сергей даже рискнул подойти ближе к стене дома и внимательно рассмотреть белый мох. Густо переплетаясь, он вырастал прямо из древесины, шевелился и, пощелкивая, выбрасывал короткие снопики искр. Сергей даже решился зайти в дом, но и крыльцо было покрыто белым мхом, а ступать по нему он все же опасался.

Произошло непредвиденное. Дом перешел все границы конспирации. Он даже не пытался маскироваться под случайности, ибо то, что происходит сейчас, уже не вмещается в рамки обычных житейских неурядиц, вроде протекающей крыши или обвалившейся трубы. Дом преобразился до неузнаваемости и делал сейчас то, что нормальному бревенчатому дому делать не положено ни по каким законам. Во всяком случае, по законам земным, и это наводило на мысль, что дом — уже давно не дом и, уж конечно, не живое существо, а что-то иное, выходящее за пределы земного понимания, и подходить к нему с обычными земными мерками глупо, опасно и, пожалуй, даже преступно.

Сергей почувствовал стыд от того, что замуровал туннель, он невольно связывал этот поступок с событиями сегодняшней ночи, да и сам ремонт дома превращался теперь в акт вандализма, словно хорошую электронную машину курочили ломом, сплющивали молотами, чтобы превратить ее в простое и всем понятное корыто.

Можно было предположить, что с тех пор, как люди уехали из дома, он начал постепенно изменяться, но не внешне, а внутренняя структура древесины, кирпича, извести заменялась другой, высокоорганизованной и, сохраняя прежнюю форму, дом давно перестал быть домом, жилищем человеческим, а чем-то иным, чужим, даже враждебным. И что из того, если, например, стена дома не походила на блок ЭВМ по привычным представлениям, а на самом деле это давно уже было не дерево, а сложнейшая схема неведомого прибора. И когда Сергей начал грубо разрушать это нечто, фактически уничтожая его, те, кто строил это, не могли не вмешаться в события. Сначала ненавязчиво, словно бы предупреждая о последствиях, потом, вынужденные пойти на более открытые методы, стали восстанавливать разрушенное на виду у тех, и уж если они решились на это, то причины были неотложными и важными.

И Сергей отступил. Он дождался утра и даже задремал, прислонившись к забору, а когда очнулся, то увидел свой дом обычным, похожим на все дома улицы. Белый мох исчез. Сергей с уважением потрогал древесину двери, впервые подумав о том, что каждая трещинка в ней имеет свой смысл. И как знать, какие хитросплетения проводов заменяют собой каждое волокно дерева, какую мудрость таят в себе царапины и дырочки от сучков? Иная жизнь, иной смысл, иное бытие дышали в каждой частице дома...

И Сергей подумал о том, что нельзя человеку покидать свой дом, нельзя оставлять его на произвол судьбы, потому что без своего хозяина он, осиротевший и одичавший, может превратиться в нечто иное, может дать приют постояльцам, пришедшим из чужой стороны, из других, неведомых миров.

Представления о космической технике, как о чем-то блестящем, металлическом, пластиковом, величественном и гармоничном, разрушились, и это даже разочаровало, но удивление перед тем, что он увидел и понял за эту ночь, притупило разочарование и вызвало чувство причастности к великому неизвестному, живущему по своим законам и не нуждающемуся в мишуре блистательных машин, фотонных отражателей и в переплетениях проводов. Все это было намного выше и сложнее того, о чем мечтали на Земле.

Сергей выхватил ломик и опустился в подвал. Но лом оказался бесполезным. Цементной плиты не существовало. Вместо нее зиял туннель, еще более широкий, сглаженный, словно бы оплавленный по краям, и Сергей, набрав воздуха в легкие, как

перед прыжком в воду, встал на четвереньки, потом совсем лег и пополз по туннелю в темноту.

Луч фонарика рассеялся впереди, было тесно и душно, но Сергей полз и полз.

И в конце пути он увидел звезды. Они висели в просвете туннеля, большие, яркие на фоне слишком черного неба, и Сергей, добравшись до выхода, ощутил себя тем монахом со старинной картинки, который дошел до края света и, заглядывая по ту сторону неба, дивится хрустальным сферам. Туннель уходил прямо в открытый космос, и не было преграды между Сергеем и вселенной, и сотни звезд плыли мимо, и неведомые корабли скользили в бесконечном просторе. Раскаленные добела спирали галактик медленно поворачивались на оси, на бесчисленных планетах зарождалась жизнь и начинала сознавать свою причастность к вечному и неделимому, и заполняла собой пустоту, и искала тех, кто был близок ей.

Маленький голубой шар проплыл под ним, и он узнал Землю — свой большой дом, единственный и незаменимый. Кружилась голова, было странно и сладко ощущать себя тем, кем он был на самом деле, но не знал до поры об этом — неотъемлемой частью вселенной, единой и бессмертной.

МИХАИЛ ШАЛАМОВ

СЕРАЯ ХРИЗАНТЕМА

Оиси проснулся от цвирканья сверчка, посмотрел на него, качающегося под потолком в бронзовой клеточке, и невольно вспомнил строки:

Какая долгая жалоба!
О том, как кошка поймала сверчка,
Подруга его печалится *.

Он встал с тюфяка, быстро оделся и, раздвинув легкую седзи **, выглянул на улицу. Ночь, черная, как тутовая ягода, уползла за холмы. Утренняя прохлада пробирала до костей.

Оиси любовался стареющим месяцем, когда за спиной послышались шаги. Громко шлепая широкими босыми ступнями, в комнату вошел хозяин гостиницы.

— Господин собрался в дорогу? — спросил он с почтительным поклоном.

— Да. Мне хотелось бы закончить свои дела до полудня.

---

* Стихи японского поэта Кикаку (1661—1707) в переводе В. Марковой.

** Седзи — раздвижная наружная стена японского дома.

Заверните мне в дорогу чего-нибудь съестного и примите плату, почтенный!

Звякнула монета, и хозяин рассыпался в благодарностях. Не слушая его, Оиси вышел во двор и, опершись на красный лакированный столбик, надел потертые кожаные сандалии.

Проходя мимо сливового дерева, он провел рукой по ветке и почувствовал кожей клейкость первых листьев. «Ночью лопнули почки!» — подумал он и улыбнулся. А через пять минут уже вышел на дорогу и легким пружинящим шагом вошел в предрассветные сумерки.

Начинался Час дракона *.

. . . . . .

Оиси Кисито был двадцатипятилетним самураем из клана Тесю. Вот уже почти два года не был он дома. Неумолимые каноны бусидо ** двадцать месяцев назад бросили его на эту долгую дорогу, и с тех пор он жил только воспоминаниями о доме и желанием поскорее свершить данный себе и богам обет.

Двадцать месяцев назад его сюзерен, князь Хосокава, был подло зарезан ночью неким самураем по имени Кэндзобуро Харикава. Преступление было тем более мерзким, что произошло безо всяких видимых причин. Восемь вассалов князя, повинуясь долгу чести, поклялись на алтаре в священной мести и пустились на розыски убийцы.

Но Харикава скрылся, и отыскать следы его было непросто. Поэтому мстители отправились в разные стороны, разбившись на маленькие группки. Кисито поехал с младшим братом, твердо решив, что не вернется, пока собственными руками не поднимет на шест голову преступника.

. . . . . .

Оиси шел вперед привычно быстрым шагом. Полученные вчера известия вселяли надежду. Встреченный на дороге нищий буддийский монах поведал мстителю, что человек, похожий на Харикаву, опередил Кисито на полдня пути. Мысль о том, что обет отмщения будет вот-вот выполнен, придавала Оиси бодрости. Особенно приятно было сознавать, что через какие-нибудь полторы недели он снова сможет обнять жену.

О-Кими! Милая О-Кими! Знала бы ты, как скучает по тебе супруг в походе за справедливостью! И месяца после свадьбы не прожили вы вместе, не успели зачать наследника рода Киситова.

---

* Час дракона — одна из 12 частей суток (по старинному японскому календарю) с 7 до 9 утра.

** Бусидо — кодекс чести самураев.

И так ясно представил Оиси ее, юную, гибкую и тонкобровую, что словно яшмовая нить лопнула в душе его и на глаза навернулись слезы.

«Неисповедимы пути, выбранные для нас небом! — размышлял он. — Но кто бы мог подумать, что два года молодости будут потрачены на какого-то Харикаву! Что ж, долг есть долг! Вассал, не отомстивший за своего господина, недостоин чести называться самураем!»

Месть вошла в жизнь Оиси. Он казался себе садовником, который долго и терпеливо выращивает серую хризантему. Бутон уже раскрылся, но нужно напоить хризантему кровью, чтобы она обрела цвет и запах. Иначе труд его останется незавершенным. А путь был долог и труден...

Однажды Оиси совсем было настиг беглеца в провинции Суо. Но там свирепствовала чума, и ему не удалось уберечь от нее брата. Похоронив юного Тёэмона, он продолжил погоню, но беглец уже покинул провинцию.

За двадцать месяцев четырежды нападали на Кризито разбойники. Три раза все оканчивалось благополучно. Но в последней стычке огромный, одичавший от голода бродяга-ронин * в драном, покрытом пылью синем кимоно, разрубил Оиси предплечье. Но голод — плохой учитель осторожности. Опьянев от запаха крови, разбойник сделал неверный выпад и встретил виском меч самурая.

Самого Кризито долго лечили монахи маленького захолустного монастыря. И снова погоня...

Из-за гор вставало солнце. Еще отчетливее стал контраст снега в полях по обе стороны дороги с черными жирными проталинами. На землю приходили рука об руку утро и весна.

Дорога плавно погрузилась в рощу. Теперь по обочинам высился гибкий бамбук вперемежку с молодыми криптомериями. Над головой Оиси с шумом пролетела пестрая птица и скрылась в зарослях. Кризито, остановившись, проводил ее взглядом и хотел уже двинуться дальше, но ухо его уловило приглушенный человеческий крик. Кричали впереди и чуть справа от дороги. Придерживая локтем колчан со стрелами, самурай бросился на голос.

Продравшись сквозь бамбуковую чащу, Кризито оказался на большой поляне, покрытой блеклым весенним снегом. Из-под серой ледяной крупы местами торчали метелки мокрой жухлой травы.

На другом конце поляны двое неизвестных, затянутых с ног до головы в ярко-алую лакированную кожу, боролись с пожилым самураем в разорванном кимоно. Заломив руки, они тащили его в заросли. Старик кричал и упирался. «Зачем они его тащат? Ведь расправиться с путником удобнее на поля-

* Ронин — самурай-бродяга, не имеющий сюзерена.

не...» — почему-то подумал Крисито, а сам уже стягивал с плеча лук. Потом началось ужасное.

Из зарослей навстречу разбойникам выползло огромное, величиной с пагоду, членистое тело гигантской сколопендры. Медно-красные бока ее лоснились, а огромные бессмысленные глаза тускло мерцали под лучами солнца.

Пленник, увидев чудовище, снова вскрикнул и забился в крепких руках злых разбойников. А те продолжали тащить его навстречу ужасным серповидным челюстям.

Медлить было нельзя. Оиси вогнал меч по гарду в сугроб и, наложив на тетиву длинную черную стрелу, прицелился в обтянутую красным спину.

Тетива зазвенела, и стрела с глухим стуком впилась в левую лопатку разбойника. Тот выпустил жертву и ничком рухнул на истоптанный снег. Второй оглянулся, склонился над упавшим, но тот что-то прохрипел на незнакомом Оиси языке и махнул рукой в сторону зарослей. Второй разбойник медленно, словно нехотя, побрел к зарослям, все оборачиваясь. Но, увидев, что на тетиву легла еще одна стрела, ускорил шаги и растворился в кустах.

Стрела ударила чудовище в глаз, но не воткнулась, а лишь скользнула по его гладкой поверхности и расщепила ствол чахлой криптомерии. «Раз уж даже глаза неуязвимы, — стрелять бесполезно!» — решил Крисито и, выдернув из сугроба меч, начал наступать на монстра, а тот, как ни странно, не двинулся навстречу, а, роя наст тысячами коротких ножек, начал задом втискиваться в заросли.

Когда за чудовищем сомкнулись тростники, Оиси обернулся к пожилому самураю. Тот стоял на подгибающихся ногах и вполголоса молился. Другой, алый разбойник, со стрелой в спине, лежал в нескольких шагах поодаль.

Крисито дождался конца молитвы и, подойдя к самураю, спросил:

— Как ваше имя, сэнсэй? Из какого вы рода?

— Кэндзобуро Харикава! — хрипло ответил тот, опускаясь на снег. Оиси встал над ним и заглянул в глаза. Ему хотелось понять, почему этот человек, в почтенном уже возрасте, решился на преступление. Вот он сидит, враг... Оиси скользнул взглядом по изможденному серому лицу, покрытому редкой седой щетиной, по драной одежде, прислушался, с каким хрипом он дышит, как он кашляет, пытаясь охладить лицо мокрым колючим снегом. А в глазах только бесконечная усталость и мука. «Почему он добровольно выбрал долю бездомного изгнанника?» В молодом человеке шевельнулась жалость. Но Крисито сумел преодолеть ее.

— Сэнсэй, когда вы отдохнете, я буду вынужден вызвать вас на поединок. Меня зовут Оиси Кристо из клана Тёсю.

Харикава молча кивнул и прилег на снег, чтобы скопить силы.

Кристо отошел в сторону. Он знал, что не будет торопить старика. Никто не сможет упрекнуть Оиси, будто он убил обессилевшего человека. Он подошел к поверженному разбойнику, отломил у самой раны древко стрелы и перевернул его на спину. Тот тихо застонал.

Хотя разбойник и был одет очень странно, он, несомненно, был японцем, молодым и красивым.

Оиси сходил к своим вещам, вынул из дорожного бэнто * кувшинчик с черной китайской водкой и влил обжигающую жидкость в рот раненого. Тот мучительно заперхал и открыл глаза.

— Открой сумку у меня на поясе и дай мне порошок... — пробормотал он костенеющим языком, — ...скорее!

Самурай открыл маленькую, красную, как и вся остальная одежда незнакомца, сумочку; вынул оттуда прозрачный, величиной с лесной орех, шарик, внутри которого пересыпался розовый порошок. Алый сунул шарик за щеку и затих.

«Отходит!» — подумал Кристо, помолился за душу грешника и сел точить меч для поединка.

Когда он закончил, Алый уже не лежал, а сидел, привалившись здоровой лопаткой к трухлявому пню. Оиси удивился. Как он с такой раной мог еще ползти? А тот жестом подозвал Кристо и сказал прерывистым хриплым шепотом:

— Не убивай старика!.. Прошу тебя... Пусть живет!

Оиси оглянулся на все еще лежавшего в снегу Харикаву.

— Я мог бы просто зарубить его. Он этого заслужил. Но я вызвал его на честный поединок. Если небу будет угодно, старик победит меня.

— Но ты же видишь: он на ногах стоять не может!

— Он отдохнет и примет бой, — спокойно ответил молодой самурай. — Я не могу отпустить его без отмщения. Он...

— Убил твоего князя. Я знаю. За дело убил... А ты... Так ли уж ты любил своего господина?

Кристо на мгновение задумался.

— Да, у князя был крутой нрав! Многим от него доставалось. Любил или не любил, но я был его вассалом и долг мой...

— Убить беззащитного? Нечего сказать, хорош долг чести! Как это у вас просто все получается!.. Убить... Пойми: Харикава — великий человек!

— Харикава? Это князь был великий человек! — убежденно сказал Кристо.

— Скотина был твой князь! Он силой взял в наложницы дочь Харикавы. Девочка утопилась. Старик мстил за нее.

* Бэнто — коробка для провизии.

— А я мщу за князя!

— Страшные времена! Пойми, имя твоего князя через десять лет будет забыто, а Кэндзобуро Харикаву будут помнить века. Его надо спасти!

Оиси улыбнулся неумелой лжи этого человека.

— А не ты ли хотел отдать старика чудовищу? Укус сколопендры пострашнее удара меча!

— Нет! Я хотел его спасти! — прохрипел Алый. — Это была моя Машина (этого слова Оиси не понял). Она только похожа на сколопендру. А тебе не с чем больше сравнивать... Попробуй перешагнуть через гнусности своего времени. Пощади старика! Он нужен людям.

— Он твой родич? — изумленно спросил Оиси.

Алый отрицательно помотал головой.

— Тебе объяснять бесполезно... Попробую... Слушай!.. Я, — он ткнул себя пальцем в грудь, — буду рожден через пять столетий... В двадцать третьем веке... А в конце двадцатого будут найдены незавершенные рукописи Харикавы. Старик опередил свою эпоху. Он сумел угадать истинную природу времени, создать теорию... Но в семнадцатом веке Харикаву убили. Ты убил. Он не закончит своей работы, и воспользоваться ею смогут только внуки нашедших рукопись. Если ты не поднимешь на него сегодня меча, Харикава проживет еще несколько лет, допишет книгу и уже в первом десятилетии XXI века можно будет построить машину времени...

Оиси слушал Алого с сочувствующей улыбкой, не понимал сказанного, думал, что умирающий бредит. Но трогательная забота о старике поразила самурая.

Алый, лихорадочно блестя глазами, продолжал:

— Ты, наверное, не понимаешь, как можно спасти человека, которого убили пять столетий назад? Да, для моей истории Харикава уже потерян безвозвратно. Но если ты послушаешься меня, возникнет новая ветвь реальности, параллельная нашей. В ней Харикава останется жив...

Алый застонал и на минуту забылся. Но потом снова разлепил веки.

— Мы сами пишем историю человечества... И я верю, что настанет день, когда люди параллельных времен сольются в единый союз... И тогда во всей Вселенной не будет ничего сильнее Человека! Я верю. Нас с Иваном послали выручать Харикаву, помешать ему встретиться с тобой... И мы опоздали...

— Ты умираешь, — прервал его Оиси. — Прекрати лишние разговоры и помолись лучше, чтобы предстать перед Творцом со спокойной совестью!

— Думаешь, я брежу? — Алый рывком поднялся на локте и заскрежетал зубами от боли. — Думаешь, это бред? Смотри!

Он вперил взгляд в бамбуковую чащу. Лицо его окаменело, только синяя жилка билась на потном виске.

И Оиси увидел... Один за другим на границе зарослей надламывались и ложились на снег стволы бамбука. Скоро на этом месте образовалась глубокая просека.

Алый снова застонал и откинулся затылком на комель пня. Лицо его было как кусок мрамора.

— Я бы и с тобой мог так же... Не хочу! Противно это... Отпусти старика!

Крисито нахмурился.

— Ты демон? — спросил он с угрозой в голосе.

— Да не демон я! — Алый страдальчески сморщился. — Человек!.. И ты человек! Неужели мы, люди, не сможем понять друг друга?.. Но на какой бы поступок ты сейчас ни решился, прежде подумай. Ты на то и человек, чтобы думать! Не забывай этого! А сейчас отойди подальше. Я вызову Ивана...

Оиси послушно отошел. Он уже не испугался, когда из просеки на поляну полезла Машина. Волнообразно двигая кривыми ножками, она подковыляла к Алому, зависла над ним и вдруг легла на него плоским брюхом. Крисито представил себе, что стало с незнакомцем под такой тушей, и ему сделалось нехорошо. Но когда чудовище поднялось и растаяло в воздухе, на том месте, где только что сидел человек, остался лишь раздавленный трухлявый пень.

Крисито молча смотрел на вдавленные в мерзлую землю щепки. В голове его было пусто и гулко, словно она и не голова вовсе. Потом в ней появилась первая мысль: «Ты на то и человек, чтобы думать».

Кто-то положил руку ему на плечо. Рядом стоял Харикава.

— Я готов! — сказал он. — Будем биться!

Оиси скользнул взглядом по стоптанным соломенным варадзи * на ногах старого самурая, по одежде с прилипшим к ней снежным крошевом, по иззубренному в поединках с разбойниками мечу в костлявых пальцах, по усталому, решительному лицу его, и выше: по небу, где высоко над их головами рождался новый день. Потом он спросил:

— Скажите, сэнсэй, как звали вашу дочь?

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

ЛЕСНИК

Нельзя идти в лес в плохом настроении.

Эту истину Троишин усвоил давно, лет пятнадцать назад, когда еще был «профессиональным горожанином».

Лес — сложнейшая система биополей — чутко следит за

* Варадзи — обувь для дальних путешествий.

каждым шагом пришельца. Если тот в бодром расположении духа, все в порядке: пришел друг, с миром, добротой, сочувствием. И лес встретит его как своего. Конечно, он не сделает гостя счастливым на всю жизнь: зато еще долго после прогулки тот не станет злиться и волноваться по всяким досадным пустякам, как случилось бы, не пойди он по грибы или просто подышать свежим воздухом. Но если гостить в плохом настроении — лесу будет больно. Он отпрянет поначалу, но затем, чтобы защититься, начнет осторожно обхаживать человека, вытянет из него, как промокашка чернильное пятно, все недовольство и неприветливость, наверняка успокоит — но сам поплатится: где-то не прорастет желудь, не выведется птенец в гнезде, засохнет ветка...

* * *

Быстрые шаги пронеслись вверх по крыльцу. Кто-то решительно толкнулся в дверь, на миг замер, соскочил вниз... И вот, обежав террасу, торопливо, взволнованно застучал по стеклу ладонью.

— Геннадий Андреевич! Проснитесь, пожалуйста!

Троишин отбросил одеяло, босиком подскочил к занавескам. Утренний избяной холод сразу разбудил его и встревожил еще сильнее, чем перепуганный голос за окном.

— Что такое?

На Варе лица не было.

— Геннадий Андреевич! Скорее поедемте! — Варя дышала с надрывом — видно, бегом прибежала за лесником. — Такая беда! Они всех убили... Скорее, пожалуйста...

Холод от половиц вдруг разом поднялся по ногам и колко прокатился по спине, как порыв зимнего сквозняка.

Троишин кинулся одеваться — с трудом щелкнул поржавевшими застежками старых подтяжек, без портянок натянул сапоги, набросил на голое тело ватник.

За стеной слышались громкие всхлипывания — Варя, дожидаясь его, плакала.

...После трехдневного обложного дождя, притихшего за ночь, в воздухе клубилась сыпкая морось. Дорогу развезло, грязь блестела гладкими водянистыми комками, в колеях стояла мутная вода.

Машину мотало по сторонам, и удерживали ее на дороге только глубоко разбитые колеи — березовые стволы у обочин при каждом рывке колес обдавало жидкой слякотью.

Троишин вспомнил про время — глянул на часы: почти семь утра, а показалось, что дело к вечеру и уже целый день прожит в тягостном ожидании беды.

Варя от резкой качки немного успокоилась, только держала пальцы у губ и покусывала краешек платка. Троишин ни о чем

не говорил, не спрашивал ее, чтобы не расстроить девушку до плача. Однако на подъезде к лосиной ферме Варя вновь стала всхлипывать, закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись.

Уже издали от фермы веяло, как от зачумленного жилища, — потемневшие от сырости деревянные строения и ограды стояли в зыбкой, удушливой дымке.

Выскочив с затопленной дороги, «газик» остановился у ворот.

Придерживаясь за дверцу, чтобы не поскользнуться при выходе, Троишин ступил на землю. Первое, что бросилось ему в глаза, — свежие, вызывающе угловатые следы покрышек тяжелого грузовика; они вели по прямой от ворот через смятый кустарник по просеке, к болоту. А сразу за воротами, у бревенчатой ограды, на земле лежали два мертвых лося, оба с пробитыми шеями. Головы животных окружали темно-бурые пятна, здесь трава и обрывки сена слепились в грязные пучки. Огромные туши казались странно плоскими, усохшими, словно частью погрузились во влажную мягкую землю. Троишину стало мерзко, он отвел взгляд.

— Двух старых бросили... А остальных увезли... Чуть меня не застрелили... Заперли в избе и сказали: если высунусь, убьют... А потом я через окно вылезла — и к вам... Еле добежала... Господи, они же к людям привыкли... Морды тянули, думали, угостят... А эти в упор били... Геннадий Андреевич, слышите?

Варя еле могла стоять — прильнула к Троишину, едва не повисла на ватнике, ее трясло крупной дрожью.

— Варя, Варя... — Троишин обнял девушку за голову. — Я понимаю, Варя.

И вдруг сам себе стал омерзителен — тряпка, муха сонная.

— Варя! — крикнул он так, что по горлу резануло. — Ты вызвала милицию? Рация, Варя! Где?

Девушка сразу притихла, подняла испуганное лицо — щеки влажные, веки опухли.

— Они ее разбили, — проговорила тихо.

— Идиот, — со стоном обругал себя Троишин. — Какая у них машина?..

— Большая... Самосвал, кажется... Ой, Геннадий Андреевич! Их же трое. С ружьями. — Глаза Вари осветились новой тревогой, за него.

— Номер запомнила?

— Что вы, Геннадий Андреевич... Какой там номер...

* * *

«Газик» выскочил на край болота и замер.

Здесь они повернули направо, к развилке... Можно бы сразу по просеке, но побоялись. И сделали ошибку. Крутануть крюк

вокруг болота, чтобы выйти на шоссе, — часа три. На тяжелом грузовике, да еще с грузом, — и побольше того. Значит, можно догнать еще в лесу... Лес — это единственная надежда. Выручай, лес.

Через полчаса «газик» пристроился как хвост к тяжелому КрАЗу — тот грузно катил по дороге, разделявшей участки двух лесничеств, и поднимал в воздух фонтаны грязи, так что следом за ним путь оставался отчасти укатанным и незатопленным.

Троишин быстро заметил — КрАЗ прибавил ходу, даже стал задевать краями бортов стволы деревьев, срывая кору и ветви. Перед Троишиным на дорогу сыпались листья и древесные обломки. Троишин держался позади метрах в сорока, чтобы не забрызгали ему грязью ветровое стекло и чтобы не оказаться застигнутым врасплох, если КрАЗ неожиданно тормознет.

Погоня развивалась медлительно. Минут двадцать колесили по лесу, потом выехали на шоссе.

Троишин вновь разозлился на себя: теперь за то, что, по сути, ничего не сможет с браконьерами сделать. У них и КрАЗ и ружья. Варя была права... Ну догонит, а дальше что? Что придумать? А потом лес кончится и тогда — все. Конец.

За этими мыслями Троишин едва не прозевал опасность: КрАЗ слегка сбавил ход, на правую подножку осторожно вылез один из браконьеров, с густыми пшеничными усами, и, ухватившись за угол борта, с левой руки прицелился в Троишина из карабина.

— А, скотина!

Троишин спрятался за КрАЗом.

Лес кончался. Скоро начнется поле. Ничего худшего вообразить нельзя. Еще пять-шесть километров — и конец. Удерут мерзавцы...

Какие там пять! Шоссе поднималось на холм, перевалить его — и лес скроется позади, за пригорком... Глупая смерть... Ничего не смог...

Троишин стиснул руль, так что пальцы побелели. Страшная злость закипела в душе. Он приноровился к вилянию КрАЗа, подстроился к нему — и вдруг резко сорвался с ритма, выскочил сбоку от грузовика и нырнул передом «газика» прямо под кузов.

Грузная туша КрАЗа начала сминать крыло и бампер, выдавила передние колеса, по ветровому стеклу рассыпалась паутина трещин. Грузовик стало разворачивать боком, потянуло в кювет, он как-то натужно застонал, затрясся кузовом... Загремела по земле решетка радиатора... КрАЗ все наезжал на «газик» — и никак не мог наехать, заламывал ему капот, тащил за собой под откос.

Последнее, что видел Троишин, — как странно медленно пе-

реворачивался КрАЗ кверху брюхом, отчаянно вертя толстыми грязными колесами, а из кузова вываливались, судорожно дергая ногами, большие лосиные туши.

* * *

— Ну как там дела? — Участковый напряженно всматривался в глаза хирургу, пытаясь угадать правду еще до ответа.

Хирург глубоко затянулся и тут же брезгливо отбросил в сторону окурок папиросы, сгоревшей до гильзы.

— Плохо... Плохи у него дела... Сильные повреждения позвоночника... Это паралич, Василий Николаевич... Полный паралич. Он вряд ли даже когда-нибудь сможет говорить.

Участковый снял фуражку, достал платок, вытер лоб. Постоял, помолчал, глядя перед собой в пол.

— Гады... Такого человека покалечили... Жаль, незнакомы вы с ним, Миша.

Хирург тяжело вздохнул.

— Да, не каждый сможет на такое решиться... Даже на на войне. Браконьерам тоже досталось. До черта переломов. А усатый умер. Ночью. Весь череп был разбит.

Участковый еще больше помрачнел.

— Веселая получилась охота, — вдруг попытался он пошутить, но только скривил губы и махнул рукой.

— И вот еще что. Я ведь вам главного не сказал, Василий Николаевич. Самое странное, будто лесник сломал себе позвоночник давно, не менее десяти лет назад. Рентген показывает... И паралич — от этого... Тоже вроде как десять лет должен он параличом страдать... А ведь он за рулем сидел...

— Ты что, Миша... Он же лесником десять лет как работает.

— Вот и странно... Совершенно непонятно. А кроме этого, всего-то несколько ушибов и ссадин... И у него на руке... на правой, этот браслет был надет. С надписью.

Хирург достал из кармана халата браслет с пластинкой, какие носят гонщики.

— Может, знаете, что это такое?

Участковый надел очки.

— «А. С. Кузнецов. Москва. Кутузовский проспект...» Адрес... И телефон... Подожди, Миша... Мне Гена когда-то, кажется, говорил: если с ним что случится, сразу вызывать... вот этого самого Кузнецова.

* * *

Кузнецов прибыл наутро.

— Все-таки попал ты в историю. Ах, Генка, Генка... — Он улыбался, но чувствовалось, что на улыбку эту ушло много сил. — Ну ничего. Сейчас мы тебя поднимем. Кроме позвоноч-

ника, ничего не повреждено? Вы уверены? — обратился Кузнецов к хирургу.

— Уверен, — немного растерянно ответил тот, пытаясь сообразить, что теперь может произойти.

— Прекрасно, — обрадовался Кузнецов. — Тогда доставайте носилки, грузим его в «Скорую» и везем в лес... Тут у вас до ближайшего сосняка километров пять будет?

— Семь... Но ведь... Я не понимаю...

— Это трудно объяснить. Нужно увидеть... Делайте, пожалуйста, что я прошу. Раз уж вызвали.

Хирург пожал плечами.

* * *

«Скорая» остановилась на опушке. Троишина вынесли из машины. Прикрыли плащом — снова моросил дождь.

— Сейчас попрошу вас в сторонку... Сядьте в машину, что ли... Не нужно, чтобы рядом было много народу... Так ему труднее.

Кузнецов умоляюще посмотрел на хирурга, медбратьев и участкового, отлично понимая их подозрительное изумление.

Они подчинились. Кузнецов присел перед носилками на корточках и стал ждать.

Минуты через три лицо Троишина покраснело, на лбу выступили крупные капли пота. Потом он тяжело приподнял одну руку, другую... Наконец, сел и сам — словно медленно, с трудом просыпался от тягостного сна.

— Ну и отлично! — облегченно выдохнул Кузнецов и осторожно тронул плечо друга.

— Спасибо, Саша. — Троишин дотянулся до его руки, слабо пожал ее. — Я пока тут посижу, а ты пойди, объясни.

— Хорошо, — засмеялся Кузнецов.

Зрители смотрели на Троишина во все глаза и, казалось, потеряли дар речи.

— Ну как? — сказал Кузнецов громко, чтобы они немного опомнились. — Вы молодцы. Когда я впервые это увидел, чуть в обморок не упал.

Участковый, хирург и медбратья ошеломленно глядели на Троишина, который сидел, подперев голову руками.

— Он ведь физик. В нашем институте работал, — начал Кузнецов. — Занимался энергодинамикой растительных сообществ. Он когда-то нашел какую-то связь с лесом... Я пока что этого не понимаю. Никто не понимает. Даже сам он, вероятно... Лес как бы принял его за... часть самого себя. Гена не был атлетом, но в лесу он смог бы побить любой мировой рекорд. Я видел кое-что такое... Как-то были с ним на охоте... Там у лесозаготовителей трактор застрял. Так Гена его взял и вытащил вместе с грузом — семь здоровенных бревен. Про-

сто руками. А потом глупое несчастье. В финской бане поскользнулся — поломал позвоночник. Потом как-то я вспомнил про его способности или свойства... Ну что значит — вспомнил: дошло до меня... Дай, думаю, попробую. Получил разрешение. Отвез его из больницы в лес... После неделю в себя прийти не мог... Такие вот дела. Без леса ему нельзя. Без леса он — конченый инвалид.

Троишин встал, потянулся. Сложил носилки и понес к машине.

— Все в порядке. — Теперь его лицо порозовело, выглядел он совсем здоровым. — Можете забирать... инструмент.

Участковый вдруг обнял Троишина, даже фуражку уронил на мокрую траву.

— Ну, Генка, черт! С ума старика свел.

Сквозь лица людей Троишин вдруг снова увидел отчаянно вертящиеся толстые колеса перевернутого КрАЗа и туши, вываливающиеся в грязь.

— Ты что, Гена? — насторожился Кузнецов, заметив перемену в Троишине.

— Лоси... Они же в лесу не оживают... Странно. Ведь это их лес. Почему так, Саша?

Кузнецов пожал плечами.

— Не знаю, Гена... Откуда нам это знать?

— Странно, — угрюмо повторил Троишин.

ВЛАДИМИР ЯНКОВ

ПОСЛЕДНИЙ КОНТРАБАНДИСТ

Космический корабль «Стар» сделал последний виток вокруг Ио и устремился к Земле.

Дей Коллинз — единственный член экипажа «Стара» — молча наблюдал на экране супервизора за удаляющимся спутником Юпитера. Капельки пота, выступившие на его лице, мешали ему. Дей попытался смахнуть их, но его рука глухо ударилась о прозрачный гермошлем.

— Черт побери, нервишки не того, разболтались, — проворчал Дей, — пора бы взять себя в руки.

Чтобы успокоиться, он достал из широкого нагрудного кармана скафандра небольшой сверток в родилоновой пленке и осторожно развернул...

Долго скрывал Дей содержимое этого свертка и только сейчас, когда вокруг не было любопытных глаз, он мог, наконец, остаться наедине с чудом. А чудо это представляло собой всего-навсего три камешка, каждый размером с кулачок ребенка. Найдя их на дороге, вряд ли кто обратил бы на них внимание.

Скорей всего они стали бы достоянием одного из любознательных мальчишек, вечно собирающих в свои заветные коробочки всякий хлам.

Но Дею Коллинзу — космогеологу — не нужно объяснять, что это такое. Это чистейший воды алмазы, каждый из которых был раза в четыре крупнее знаменитого алмаза древности «Куллинана», распиленного в свое время на три части, поскольку никто не смог купить его целиком, так велика была его стоимость.

Дей словно завороженный смотрел на сокровище. Казалось, алмазы излучали таинственный зеленоватый свет. Сколько жизней было отдано в былые времена за такие вот камешки, которые, побывав в искусных руках ювелиров, превращались в великолепные бриллианты — настоящие кладовые радуги.

О трагедиях, связанных с драгоценными камнями, Дей узнал, увлекшись в свое время историей знаменитых алмазов. «Куллинан», «Шах», «Орлов» известны, пожалуй, всему миру. Да и более скромные камни необычайно высоко ценились на так называемом «черном рынке», существовавшем в XX столетии. Пользуясь тем, что алмазы были относительно малы, искатели счастья переправляли их через границы соседних государств, минуя строгий таможенный барьер. Это занятие, несмотря на огромный риск, приносило колоссальные доходы. Дей вспомнил, что таких людей называли контрабандистами.

Контрабандист... От одного этого слова ему стало не по себе.

«Сколько лет безупречной службы в космосе... Сколько ценных полезных ископаемых открыто... Луна, Марс, Венера... и на тебе, на Ио сломался. Первое же серьезное испытание на честность — и готов!.. Доверили коту масло, — горько усмехнулся он. — Земля сделала все возможное, чтобы отправить его, мнимого больного, быстрее обратно, а он... Ну и иуда!..» Дей со злостью стукнул кулаком по краю пульта управления.

От мрачных мыслей его отвлек сигнал аварии антенны. Бросив взгляд на иллюминатор, Дей обнаружил, что кожух, предохраняющий антенну от плотных слоев атмосферы при старте, оставался на месте.

«Наверно, не сработал один из пироболтов, удерживающих кожух», — подумал он.

Машинально сложив алмазы в карман скафандра, Дей достал из инструментального отсека плазменный пистолет и стал готовиться к выходу в открытый космос.

Выбравшись из люка, Дей осторожно подплыл к кожуху. Так и есть: не сработавший пироболт удерживал его, не давая антенне распрямиться. Отступив на безопасное расстояние, Дей достал плазменный пистолет и выстрелил в этот злополучный болт. Яркая вспышка на миг ослепила, он успел заметить лег-

кое облачко над тем местом, куда ударил световой луч. Когда облачко исчезло, Дей увидел, как кожух медленно удаляется от корабля и антенна, словно освободившись от плена, распускает наконец свою ажурную паутину.

«Ну вот и все», — удовлетворенно подумал Дей.

Прямо по курсу «Стара» среди тысяч столь похожих друг на друга звезд выделялась одна — голубая, которую Дей Коллинз не спутал бы ни с какой другой. Он невольно залюбовался. В далекой дымке смутно различались океаны и материки. Вот, кажется, Миссисипи, тоненькой ниточкой вьющаяся по Американскому континенту. Ниточка плавно изогнулась, сделала один поворот, затем образовала петлю и, наконец, распрямившись, медленно поползла к Северному полюсу.

— Ничего не понимаю, — пробормотал Дей.

Минуту спустя до сознания дошла простая мысль: нитка, плавающая перед глазами — это же обрывок фала, связывающий его с кораблем! Со странной надеждой он дернул фал, как леску, тот не натянулся. Дей похолодел. Он судорожно стал ловить пластиковый конец, который плавал теперь перед самым гермошлемом... наконец зажал его в руке. Обрыв!..

«Метеорит, — подумал Дей, — повезло как утопленнику». Корабль был совсем рядом, в полуметре от протянутой руки. Но эти полметра были страшнее, чем пропасть. И тут он все понял... и застыл, замер, сознавая, что любое лишнее движение может оттолкнуть его от корабля еще дальше. Или нет?.. Полметра, всего-навсего пятьдесят сантиметров... У него свело руку, когда он вытянулся, пытаясь достать ручку люка. Руки и лоб стали липкими. Дей устал от этого простого движения, которое, впрочем, ни на сантиметр не приблизило его к кораблю. В голове от отчаяния, верно, возникла и прозвучала саркастическая, издевательская фраза: «Дрейфуем параллельным курсом...»

И тогда он вспомнил о плазменном пистолете. В висках потеплело. Сориентировавшись относительно «Стара», Дей поставил переключатель уровня энергии на максимальную мощность и стал методично, раз за разом нажимать на спусковой крючок. Однако вскоре мощные световые разряды сменились бледным свечением.

«Конец, — в ужасе подумал он, глядя, как индикатор запасенной энергии остановился на нулевой отметке. Все его действия лишь на какой-то сантиметр приблизили его к кораблю. Дей в бессилии вертел в руках теперь уже ненужный пистолет. Но стоп!.. У него же в руках металл, масса!

— Возьми себя в руки, Дей, — мысленно приказал он себе, — еще не все потеряно!» Он с силой бросил лучемет. Повернувшись к кораблю, Дай еще раз попытался дотянуться до спасительного люка. Его пальцы лишь касались гладкой поверхности. Он сделал сальто, надеясь дотянуться ногой. Икры сво-

дило от напряжения, но он только чиркал по краю люка. Оставался последний шанс. Призрачный, но все-таки...

«Надо только точно рассчитать траекторию... — лихорадочно соображал Дей. — только бы не ошибиться...»

Он с величайшей предосторожностью достал из кармана сверток и, прижав его к груди, стал медленно разворачивать. Алмазы...

Алмазы, за которые раньше люди расплачивались собственной жизнью, теперь должны спасти жизнь ему, Дею. Должны ли... Долго смотрел Дей на свои сокровища. Целое состояние... На ум пришла где-то услышанная им крылатая фраза: «Полцарства за коня!» Сумбурные мысли, фразы вихрем проносились в голове. Медлить больше нельзя!

Собрав всю волю, Дей точно выверенным движением выбросил один за другим все три камня...

* * *

На космодроме его уже ждали. Среди оживленной толпы встречающих Дей заметил светившиеся радостью глаза жены.

— Господи, как ты постарел, — прошептала она, гладя его побелевшую голову.

После официальной пресс-конференции, как всегда, были заданы многочисленные вопросы. Отвечая, в частности, на один из них, касающийся ископаемых далекой планеты, Дей ответил, что на спутнике Юпитера можно организовать добычу крупных алмазов, столь необходимых для промышленности Земли. Корреспонденты возбужденно загудели.

Далеко за полночь взволнованный, но счастливый Дей возвращался вместе с женой и сыном домой.

— Папа, папа! Смотри, падающие звезды! — показывая рукой на темное небо, вдруг закричал маленький Коллинз.

Первая. За ней — вторая. Они оставили длинный светящийся след на небосводе. Сейчас должна быть третья, подумал Дей, третий алмаз был самым крупным.

Вот она!.. Долго еще смотрел Дей на медленно угасающий тонкий шлейф, который как бы растворялся в занимающейся заре...

ВЛАДИМИР ЗАЯЦ

ДЕД ПАТРАТИЙ

В июле 1945 года Киевский отдел охраны здоровья направил меня на работу в отдаленный район области, и почти сутки я ехал в переполненном вагоне к месту назначения. У сонного мрачного проводника осведомился, когда будет моя стан-

ция. Он посмотрел на меня так, словно я спросил его о чем-то непристойном, и, пожав плечами, буркнул: «Скоро». Поколебавшись, я поинтересовался, долго ли будет стоять поезд. Проводник, удивляясь моей назойливости, сурово покачал головой и сказал, что остановка только на три минуты.

Я подхватил вещмешок и начал пробираться к тамбуру, протискиваясь через сплошную массу человеческих тел. Как только поезд, вздрогнув, остановился, я соскочил с подножки на тускло освещенный перрон. Неподалеку виднелись смутные очертания клумбы, и прохладный вечерний ветер доносил приторный запах ночной фиалки. Чуть дальше сплошной стеной темнели деревья. Слева — черные руины разбомбленного вокзала, справа — деревянный барак, в котором временно ютились станционные службы. Сквозь щели между досок пробивался желтоватый электрический свет.

От вокзала шли две дороги, и я, вспомнив советы, уверенно двинулся направо. Этот путь действительно вел к районному отделу охраны здоровья, при котором жил заведующий.

Иван Фомич, так звали заведующего, принял меня радушно. Поужинав, мы долго пили чай вприкуску. Иван Фомич, радуясь приезду гостя из самого Киева — «матери городов русских», разговорился и проявил глубокие познания в древней литературе и искусстве.

Когда он начал анализировать преимущества гекзаметра и терцин, я сделал отчаянную попытку подавить зевоту и принялся массировать веки, борясь изо всех сил с одолевающей дремотой.

— У вас необыкновенная эрудиция, — высказал я хозяину полуискренний комплимент, стараясь хоть как-то остановить поток его великолепного и утомительного красноречия.

Иван Фомич смущенно закашлялся.

— Да что вы, что вы! Просто здесь, на периферии, счету нет свободному времени, а история и литература — мое увлечение еще со студенческих лет. У вас тоже появится такая возможность. Село, куда мы вас направим, глухое и тихое. Люди там, вы только представьте себе, до сих пор в колдунов верят. Да, да! Есть у них один такой, что будто исцеляет прикосновением рук и волшебными словесами. То ли Перцатием его зовут, то ли Патратием. Темные люди уверяют, что ему ведом даже язык зверей. Вы представляете?! И это в двадцатом веке!

Так я впервые услышал про сельского волшебника деда Патратия.

До села Партизанского пришлось ехать на попутной полуторке. Шофер, веселый, общительный парень, узнав, кого и зачем он везет в Партизанское, покрутил стриженой головой и, усмехнувшись, заявил:

— Трудненько тебе придется! Там у тебя, как говорят союз-

нички, сильный конкурент будет. Ты молодой, молодым, известно, всегда доверия меньше. А дед Патратий доверие давно завоевал.

Как и каждый молодой специалист, я довольно болезненно воспринял его сомнения относительно моей квалификации и потому, обидевшись, остальную часть дороги просидел насупившись, сквозь зубы отвечая на его вопросы.

Председатель колхоза встретил меня приветливо, поинтересовался, где я учился и надолго ли приехал в село. Вопрос с жильем решился очень просто. Председатель заметил старушку, проходившую мимо сельсовета, и крикнул через открытое окно:

— Ганна! Молодого в приймы возьмешь?

— А кто он такой из себя? — насторожилась та.

— Доктор из города.

— Отчего не взять, коль человек хороший, — сразу же согласилась старушка.

Хата бабушки Ганны была небольшой, аккуратной, снаружи обмазана глиной и побелена, как это обычно делают в селах на Украине. Хата стояла на холме, на склоне которого были посажены кукуруза и картофель. У подножия росли десятка два кочанов капусты. В низинке журчал ручеек, начало которому здесь же, во дворе, давал родник. Землю вокруг родника выбрали, и образовался миниатюрный пруд — «колобатина», как называла его хозяйка. Высокие вязы склонялись над прудочком и давали ажурную тень зеленоватой прозрачной воде. Возле воды чинно сидели лягушки. Они совсем не боялись бабки, но с шумом плюхались в воду при моем приближении.

Бабушка Ганна любила поговорить. В первый же день я узнал все о ее покойном муже — подпоручике («Хотя царю служил, но был хорошим человеком, Игнат мой»), о сыновьях, работающих в Киеве на заводе, и, конечно же, обо всех болячках, терзавших ее старое тело.

Как-то сидел я во дворе в тени старой вишни и делал выписки из анатомического атласа Воробьева. Бабушка Ганна неподалеку чистила куском кирпича сковороду и по привычке что-то рассказывала. Краем уха я уловил, что она произнесла имя Патратий, и, заинтересовавшись, переспросил:

— Что-где Патратий?..

— Да, говорю, что без Патратия все бы мои куры передохли, — повторила хозяйка, поощренная вниманием. — Горе мне да и только было с этими курями. Разгребли они начисто весь огород соседки моей, Горпины. А Горпина тогда и говорит: «Будут еще ко мне бегать, отравлю треклятых!» — Бабушка Ганна осуждающе покачала головой. — Ну в чем они, глупые куры, виноватые? Но Горпина, чтоб ее лихоманка схватила, беспременно сделала бы так, как сказала. Вот тогда и надумала я привести к ним Патратия.

— А что, этот Патратий специалист по курам? — не удержавшись, ехидно спросил я.

— Не смейся, сынок. Патратий, он всякую птицу и зверя понимает. Свирепейший зверь Патратия не тронет. Курей заговорить ему легче, чем галушку проглотить. Зашел он в мой курятник и сказал курям слово. Так знаешь, впрямь поумнели они после этого. Со двора ни ногой!

Размеренно и однообразно плыли дни моей сельской жизни: вправлял вывихи, лечил мелкие травмы, врачевал пациентов и «от головы», и «от живота»... В те дни, когда Патратий вел свой прием, поток больных раздваивался, и та его часть, которая текла к хате Патратия, была заметно больше. Это выводило меня из равновесия; я всячески старался выведать, как же, чем лечит знахарь. Чтобы одолеть врага, нужно получить о нем наиболее полную информацию. Но дошлый дед ошибок не допускал. В тяжелых или сомнительных случаях он отправлял больных к доктору.

Как мне удалось разузнать, метод его лечения состоял в том, что он произносил «слово» — и больным сразу же становилось легче, по телу разливалась приятная теплота, боль утихала...

Однажды ко мне прибежал запыхавшийся мальчонка.

— Дя-ядь! Вас до конторы кличут! — прокричал он с порога и умчался, мелькая босыми пятками.

Я быстро собрал чемоданчик с инструментом и заспешил на площадь, где была контора.

Подойдя туда, увидел небольшую толпу.

— Владимир Иванович, — обратился ко мне председатель. — Случилось несчастье. Прибежал Степанов хлопчик и рассказал, что видел в лесу тетку Горпину. То ли уже мертвую, то ли раненую.

— Ага! — включился в разговор мальчуган, польщенный тем, что принимает участие в делах взрослых как равный. — Она вот в та-а-кущей луже крови лежит. И вроде вовсе не дышит. Сразу за Панским садочком поляна, там она и лежит.

— И чего это тебя туда носило?! — всплеснула руками его мать. — Иль не слыхал, что люди вчера вечером там немца бродячего видели?

— Там ягод много, — насупившись, протянул мальчик.

— Ну так как, орел, проводишь доктора? — спросил председатель.

— Нет уж! — Мать схватила сына за руку. — Ишь, чего надумали! Ребенка под немецкую пулю подставлять?! Чтоб фашист его подстрелил?!

— Я проведу, — послышался хрипловатый голос старого человека, похожего на деда Щукаря. Это и был Патратий.

Я молча пожал плечами.

— Может, боишься идти, доктур? — лукаво подмаргивая, пустил он шпильку.

— Боюсь или нет, а идти нужно, — ответил я, стараясь скрыть неприязнь к нему, и подумал: «Словно мысли читает».

— Читать не читаю, а кое-чего чувствую, — услышал я его голос и онемел от удивления. А дед тем временем повернулся к председателю: — Надо спешить. Горпина покуда еще жива, но крови много потеряла.

Меня удивило то, что ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в истинности слов старика, хотя в лесу он не был и не мог знать о подробностях случившегося.

Я торопливо шагал за дедом, а он хитро поглядывал на меня шустрыми мышиными глазками и незлобиво подшучивал:

— Ну-ка, доктур, не оставай! Аль сундучок подсобить нести?

Криво улыбаясь, я наддавал ходу, старался не показать своей усталости.

Мы перебрались через ров и начали взбираться по склону, поросшему орешником. Это место и называлось Панским садочком. Вода сбегала вниз, и валежник быстро подсыхал. Поэтому местные жители часто ходили сюда за хворостом. Вскоре мы добрались до поляны. На ее краю, подмяв высокую траву, лежала старая Горпина. Дед поспешно склонился над ней.

— Жива! — Он поднялся, в глазах его были боль и гнев. — Пулей она поранена. Во зверюги! Три года нас тиранили и даже теперь вот... — Он взглянул на меня исподлобья и сказал, силясь вернуться к прежнему шутливому тону: — Давай-ка, доктур, подлечи, поправь свою соседку.

Я быстро осмотрел раненую. Она была в глубоком шоке. Из поврежденной бедренной артерии вытекло много крови. Большая берцовая кость перебита пулей. Я наложил жгут, сделал необходимые инъекции и сказал Патратию:

— Нести нужно бабушку Горпину.

— Носилки? Это я мигом спроворю! — ответил Патратий, доставая из-за пояска топорик.

Внезапно послышался треск валежника, и на противоположную сторону поляны вышел немец. Одежда на нем висела лохмотьями, лицо заросло рыжей щетиной, глаза безумно блуждали. Он заметил нас, и судорожная улыбка оскалила рот. Он медленно стал приближаться, не сводя с нас дула своего автомата... Сердце у меня замерло.

Дед тоже заметил немца. Лицо Патратия окаменело, на шее вздулись вены, и вдруг он закричал высоким птичьим голосом. И тут же меня будто бы ослепили, безжалостной рукой сдавили мозг. Свет, потемневший в глазах на миг, вспыхнул затем с неимоверной яркостью. Из каких-то темных глубин душу мою захлестнула такая жуткая ненависть, которую не описать человеческим языком. Вся эта буря, вихрь злобы были на-

правлены на идущего к нам по поляне фашиста. Почувствовав, что весь смысл моего существования сейчас в том, чтобы своими пальцами, ставшими будто когтями, рвать, раздирая в клочья ненавистную плоть, и, в ярости зарычав дико, я кинулся вперед... Но тут же словно сквозь сон услышал голос деда:

— Стой! Не к тебе слово молвлено!..

Он железной хваткой держал меня за воротник, и тут меня осенило, что рычал не я.

Огромный серый волк метнулся из-за кустов и, изгибаясь в прыжках над травой, мчался к немцу. В мгновенье фашист был сшиблен с ног, с хрустом сомкнулись у него на шее страшные клыки, брызнула в стороны яркая кровь.

Вновь по-птичьи, но в других тонах прокричал старик, и волк большими скачками умчался в лес.

Как и раньше, в лесу пересвистывались птицы, было тихо и спокойно. И все, что произошло, могло показаться страшным видением, бредом, но в дальнем углу поляны лежал мертвый немецкий офицер.

Тетку Горпину принесли мы в село, а оттуда отправили в районную больницу.

Еще по дороге из леса пытался я завести с дедом разговор, выяснить, что же все-таки произошло. Патратий некоторое время отмалчивался, а потом спросил:

— Тебе, доктур, когда ты под стол пешком ходил, давали спичками играться?

— Ну, допустим, не давали. Но к чему тут спички? Мне...

— А к тому, — поучающе заметил дед, — что людям секрет этот теперь дать все одно, как детям спички.

Больше дед ничего не сказал.

— Чего? А? — переспрашивал он после каждого вопроса, прикидываясь глуховатым.

Твердо решив не оставлять старика в покое, на следующий же день я пошел к нему домой. Была во всем этом какая-то загадка, неведомая науке. Можно было допустить, что звуки, издаваемые стариком, имели соответствующую частоту, которая воздействовала на работу мозга, накладываясь на его собственные биочастоты. Как и когда возникло у людей это чудесное умение? Вполне вероятно, легенды и сказки о дивной силе волшебного слова не выдумка, и имеют реальную основу.

Однако поговорить с дедом Патратием не суждено было. Рано поутру он отправился на луга накосить травы для коровы и наступил на немецкую противопехотную мину.

После смерти кудесника я проработал в селе два года. В Партизанском остались родственники моей жены, и мы часто приезжаем туда в гости. И поныне в Партизанском живет внук Патратия — заядлый охотник. Поговаривают, что на охоту он частенько ходит без ружья, но без добычи никогда не возвращается.

Возможно, тайна деда Патратия не исчезла совсем, и внук когда-нибудь поведает о том, чего не хотел рассказывать его дед?

Авторизованный перевод с украинского
Е. Цветкова

ВЯЧЕСЛАВ МЕШКОВ

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА РАССВЕТЕ

...Любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека...

А. Платонов.
Потомки солнца

Наверное, можно понять — хотя трудно простить! — почему я ее не вспоминал. После этого я был маленьким мальчиком и, быть может, именно тогда я забыл о ней. Тогда у меня были иные мысли, иные чувства: я жил в потрясении громадностью мира и больше всего на свете боялся потерять свою мать. Потом, смутно помнится, я был никому не нужным, талантливым русским богомазом; затем тысячу лет жил даосским отшельником в безлюдных, коряво-голубых китайских «шань». Прохладный снег хлопьями падал на узкую долину, на сухие коробочки лотоса в замерзшем пруду, а я писал, писал что-то блестящей тушью под масляным светильником. Мне неизвестна судьба тех рукописей, но, как я теперь полагаю, в них были крупицы истинной мудрости, и мне было бы жаль узнать, что они не сохранились.

Потом я был еще кем-то, еще и еще — при желании можно вспомнить или представить — если Вам, мой читатель, это показалось бы интересным. Но главное — я всегда был Он. Так уж, видно, суждено: если ты однажды явился на свет тем, что называется Он, то, что зовется Она, для тебя навсегда останется тайной. Между понятием «Он» и понятием «Она» такая же пропасть, как между жизнью и небытием, но в то же время что может быть и ближе друг другу, чем Он и Она!

А потом я многие тысячелетия мчался в пространстве на гребне солнечного луча. То есть я только сознавал, что мчался; на самом же деле не было ни вихря, ни свиста в ушах — лишь тишина и покой. И только едва заметное в веках изменение в расположении звезд говорило о том, что я лечу с небывалой скоростью. Я был спокоен. Я так привык к жизни, что меня уже ничего не могло удивить, поразить, обидеть... Но все чаще я стал испытывать странное ощущение. Вокруг меня была бесконечность Вселенной, казалось бы, я мог распоряжать-

ся ею и собой как угодно, но... мне было тесно! Я чувствовал себя в каменном мешке (была в древности такая пытка). Хотелось распрямиться, распластаться, обнять руками и осязать весь мир или же, напротив, сжаться в комок и, достигнув критической массы, — разорваться ослепительным, очищающим взрывом. Увы, это было невозможно! Наконец, я понял, что муки мои — от подсознательного ощущения своего бессмертия.

И тогда я вернулся на Землю. Я родился... родился вместе с мечтой, которую я принимал порой — и охотно — за воспоминания.

Я поселился в большом, пахнущем прелым деревом доме, населенном неизвестными мне людьми. Нельзя сказать, что этот дом показался мне чуждым и неуютным. Что-то знакомое было для меня и в нем, этом доме, и в серой скамейке со спинкой в дырявой тени ясеня, и в голом остове автомобиля на стойках из темно-красных влажных кирпичей.

...Стояла ранняя, на редкость погожая осень моего детства, и я целыми днями пропадал в ближнем золотом лесу. Там, под синим небом, под ласковым солнцем еще трепетала летняя жизнь. На покосах поднялись и вновь зацвели пряные ромашки, клевер, бело-розовый и серый тысячелистник, а в низинах, под ольхами, где на влажной грязи коровьи следы и лепехи — голубые с синевой незабудки. Все вокруг: и гофрированные, с прозрачной капелькой листочки манжетки, и запах растительной гнильцы, и теплая кора дуба, и звонкая песенка зяблика: «Вить-ти-ти-ти-тие-виччу!» — чувственно возвращали меня в то очень далекое время, когда я только открывал этот мир для себя. Мои воспоминания-мечты сливались с зеленевшей землей.

А потом солнце скрылось надолго. Стоял темно-серый сумрак, холодный дождь срывал с ветвей последние желтые листья.

Однажды в ледяном дыме свет стал разгораться там, где должно находиться солнце. Высокий ветер гнал с неба тучи, и все, что еще осталось живо в оголенном лесу, замерло в ожидании. Лишь черноголовая синичка нетерпеливо попискивала. Наконец светило блеснуло в редине облаков, еще раз, на секунду, скрылось — и заблестело белым, мертвеющим светом. И все поняли, что оно уже никого не сможет согреть. В тяжком беззвучии лишь старая ворона, отталкивая черными лапами стылый воздух, летела куда-то и каркала, захлебываясь, словно возвещая, что годы детства ушли...

...С той поры я все больше просиживал в своей комнате, точнее — в своей зале на втором этаже института — при свете электричества даже днем. Работал, читал древних философов из тех трогательных времен, когда философию еще занимали тайны жизни и смерти, неразгаданность любви и человеческого счастья.

«Ни одно существо не предназначено к счастью, но живое,

именно поскольку оно живет, предназначено к жизни. А жизнь есть любовь» *.

«...Совесть... есть не что иное, как середина, как союз между мужчиной и женщиной, между Я и Ты...»

Прочитав эти строки, я заложил пальцем страницу и, откинувшись на вытертую спинку кресла, задумчиво глядел в окно, где — уже в который раз для меня! — лениво летели белые мухи...

В эту минуту я услышал шаги на скрипучей винтовой лестнице, ведущей ко мне с первого этажа. Это странно-неторопливое металлическое цоканье заставило меня на миг похолодеть: я понял, что это она.

Я слишком отчетливо слышал каждый ее шаг на этой трудной для подъема, неудобной лестнице. Вот остался уже последний виток! «Сейчас, сейчас она предстанет передо мной!» Я не знал, как реагировать на ее появление. «Нужели она идет ко мне?..»

Она — это голова. Одна голова — и больше ничего! Говорили, что она попала в катастрофу. Мои коллеги врачи с большим трудом спасли ей жизнь, но тело пришлось ампутировать. Для возможности передвижения и выполнения несложных функций ей приделали маленькие протезы — довольно послушные в управлении гуттаперчевые ручки и ножки. Ножки, чтобы не стирались, подбиты жестяными пластинками и потому издают при ходьбе характерные звуки. Я слышал, что она от горя частенько выпивает, но не склонен этому верить, принимая все за досужие сплетни. Я встречал ее несколько раз в доме и во дворе, мы здоровались, и, хотя после приветствия она обычно отводила взгляд, я успевал заметить, что ее глаза чисты и осмысленны, несмотря на печаль.

Она вошла.

Помню, я машинально и как-то поспешно встал и, что оказалось совсем уж нелепым, — предложил ей стул. Она тактично, с благодарностью отказалась, сказав, что не устала, и, в свою очередь, попросила присесть меня, поскольку ей так удобней со мной говорить.

— Вы позволите немного побыть у вас? — спросила она. — Я не помешаю. Внизу много гостей, а я с некоторых пор избегаю шумных компаний. К тому же у меня контрольная.

«Под мышкой» у нее была книга, как оказалось, учебник.

— Пожалуйста, сколько угодно, — залебезил я, совершенно не понимая своего состояния и мысленно ругая себя. — Вы что же, учитесь?

— Да. Этим летом поступила в педагогический.

Я или произнес, или не смог скрыть во взгляде свой вопрос:

---

* Л. Фейербах.

— Но как же...

— Я на заочном. Нужно было найти себе какое-то более или менее долговременное занятие, придумать хоть какой-то смысл для существования. Иначе жизнь становится похожей на жизнь амебы.

Я закивал понимающе.

— А чем вы занимаетесь? — спросила она.

Ее сдержанный тон с оттенком самоиронии (это качество всегда нравилось мне в людях, хотя сейчас оно, возможно, было излишним) несколько успокоил меня, во всяком случае, я перестал суетиться. Разговорился.

— Я пробую писать... Мой удел — постигать тайну мира, а вернее — помогать постигать ее другим. Правда, иногда кажется, что я без малого миллион лет уже ничего не писал, а только размышлял в одиночестве. Это когда я устаю...

Она, по-видимому, тоже почувствовала себя свободней:

— Но ведь это хорошо для каждого человека, а для вас, наверное, вдвойне: в одиночестве попробовать разобраться в себе и во всем...

— Сначала мне тоже так казалось. Но потом я поймал себя на мысли, что перемываю свою душу в сотый раз. Так на космической станции сотни раз пьют одну и ту же воду. Нет, человеку нельзя долго быть одному!

— И все-таки... Вы читали «Радости одиночества» Татибаны Акэми? «Право, приятно, когда развернешь наугад древнюю книгу и в сочетаниях слов душу родную найдешь...»

«Она сказала...», «Он подумал...», «Он почувствовал»... как все это приблизительно, примитивно, пошло!» Так сказал во мне третий голос, когда мы заговорили о душе. Первым же голосом был крик: «Боже мой! Боже мой!» Второй пустился в наукообразные рассуждения: «Так, значит, неверно, что душа покоится в груди, в сердце? Не правы ли древние малайцы, полагающие, что душа в голове? Но, может быть, душа — или, скажем так: наш внутренний мир, — вне нас, как, например, центр тяжести некоторых предметов — кольца или серпа!» И одновременно еще множество голосов, иные совсем неслышимые. Кстати, то, что я назвал третьим голосом, как раз и есть отличительная черта писателя. Ежеминутно: в радости, в горе, в печали — он прикидывает, как все происходящее можно изобразить на бумаге. Смею уверить: не всегда это приятно. Он может быть умным, добрым человеком, но чаще он порядочный зануда, этот третий!

Все это бездарно описанное колокольное многоголосье звучало во мне всего несколько мгновений. В результате в ответ на прочитанные ею стихи («Душу родную найдешь...») я выдал нечто банально-многозначительное:

— Если есть книга — это не одиночество.

Тем временем внизу в разгаре была дружеская вечеринка.

Звучала музыка, в такт ей стучали ноги, и слегка подрагивал каркас дома. Иногда прорывался игривый женский визг.

Разговор наш затянулся. Не буду пересказывать его весь (да в этом, очевидно, нет нужды). Помню, она еще сказала, что утром за туалетом увидела у себя седой волос и что очень была этим удручена. Она спросила, отчего волосы седеют. Я доподлинно не знал ответа на этот вопрос (в мозгу совсем некстати всплыла известная поговорка про голову и волосы). Можно было, конечно, рассудить, что седина — это утрата пигмента...

Но вместо ответа я сам спросил:

— Где ваше тело?

Спросив, я испугался своего вопроса. Она же нисколько не была смущена.

— Оно еще долго лежало в старом шкафу, в термостате, за стеклом. По ночам, когда все в доме засыпали, я приходила к нему. Оно было прекрасно, мое тело, — как жаль, что я не понимала этого раньше! Я приходила к нему, как на свидание, мне было хорошо с ним. Оно было очень близкое и родное, с ним были связаны все мои воспоминания. Мне даже кажется, что в те недолгие минуты я была счастлива. Впрочем, я понимала, что это не сможет длиться бесконечно. Вы представить себе не можете, как мне было горько увидеть в шкафу пустую полку!

Несмотря на то, что она говорила о тяжелых вещах, тон ее по-прежнему был спокоен. Очевидно, многое уже перегорело. Помолчав, она добавила:

— Теперь, кажется, я понимаю тех, кто любит не душу, а тело любимой!

Я хотел было глубокомысленно возразить: разве можно любить отдельно тело, отдельно душу?.. Можно либо любить, либо не любить... Но не сказал ничего, а только вздохнул.

Между тем мы оба заметили, что за окном стало совсем темно. Внизу было тихо: гости, очевидно, разошлись.

Мы любезно распрощались, и, нужно отметить, я — с искренней благодарностью за беседу.

Надо ли говорить, что ночью я не мог заснуть — думал о ней. Но все это, казалось, было объяснимо: сильное впечатление, нервное потрясение... Но и утром, и потом днем она не шла у меня из головы. Я не мог работать, не мог читать... С непонятным страхом я вдруг подумал о том, что не увижу ее еще день, два, три... Несколько раз я спускался вниз с какой-то шумовкой (якобы по хозяйственной надобности) в надежде «случайно» встретиться с ней — напрасно! Подойти, постучать в ее дверь не решался: что я ей скажу?

К ночи я поднялся к себе и сел за письменный стол, зная, что лишь в работе я смог бы забыться. Но слышен был запах ее духов, похожий на запах цветков мать-и-мачехи, а в глазах —

она сама — спокойная, со скорбным разрезом рта, с дырочками в мочках, с волнистыми волосами, подколотыми на затылке коричневой заколкой.

Бессонные сутки все же сказались. Я уронил голову на белые листы и, очевидно, задремал ненадолго.

Очнувшись, увидел перед собой ее.

— Я только вошла. Простите, — произнесла она, рассматривая на крашеном полу сухую хвоинку. — Я забыла у вас книгу.

В ручках у нее действительно была книга, но не вчерашний учебник, а маленькая, в синем, бархатном переплете.

— Пожалуйста, пожалуйста, — забормотал я, еще не сбросив с себя тяжелой дремы.

Сжав сильнее свой томик, она как бы извинилась чуть заметным поклоном и медленно, цокая, направилась к выходу.

Я встал и хотел было окликнуть, остановить ее, но не мог.

Неожиданно она обернулась и, глядя мне прямо в глаза (он и сейчас во мне — этот взгляд снизу вверх!), спросила:

— Ты помнишь меня?

— Да!

Я сказал «да», потому что в тот миг, когда она произнесла: «Ты помнишь?», и даже еще раньше, когда она сказала: «Ты», я действительно вспомнил ее... встречу... очень давнюю.

— Да! Я помню тебя в твоем платье: на серо-зеленом фоне — букеты из мелких белых цветов и бледно-сиреневых бутонов роз. Мы возвращались с поэтического вечера. Выступали известные поэты, но мы не поняли ничего в их стихах, хотя почему-то не признались друг другу в этом. Было такое странное, незнакомое состояние, которое вряд ли можно было объяснить только приобщением к поэзии. Было прохладно, мой пиджак был тебе слишком велик, из рукавов были видны лишь кончики пальцев. Ты была так мила в этом наряде, что я чуть не задохнулся от неожиданной, как открытие, мысли: «Этот маленький, смешной, такой хороший человечек... меня любит!»

— Был такой вечер и было такое платье...

— Как получилось, что мы расстались?

Она, кажется, все рассматривала сухую хвоинку.

— Это трудно вспомнить. Ведь тысячи жизней прошло! Думаю, что случилась какая-нибудь нелепость.

Она снова подняла на меня свой взгляд, и мы с минуту молчали.

«Мой милый, живой человек! Мы уедем с тобой в зеленую, пахучую, звучную страну, где всегда впереди лето, где молодые, жиденькие ростки, где смолистые тополевые чешуйки и красные гусеницы, где озера с чайной водой и голубое небо. «В далеком краю, где в чистые воды глядятся высокие горы,

исчезнет, я знаю, бесследно вся скверна, осевшая в сердце» *. Засыпая, ты будешь думать о хорошем. Теплыми звездными ночами за порогом твоего дома легкие шарики одуванчиков будут бледно светить, как тысяча маленьких лун. Мы счастливо проживем до самого конца, и тебе никогда не будет страшно, потому что я буду рядом.

Сейчас я подойду к тебе, прикоснусь к твоим волосам. Быть может, ты простишь меня». Это из моей ненаписанной книги.

На этом я хотел было поставить точку и уйти, но Вы, дорогой читатель, спрашиваете меня, счастлив ли я, и я, конечно, дам ответ. Только мне не хотелось бы отвечать на этот вопрос односложно. Ведь если бы я сказал «счастлив», Вы все равно потребовали бы доказательств, не так ли?

Есть в нашей жизни — при всей ее сложности, непостижимости — нечто весьма определенное. А именно: она прекрасна, несмотря ни на что. Мне кажется, что если бы я, не дай бог, потерял зрение, я был бы счастлив оттого, что слышу, как тает весной зернистый снег, как он рассыпается под ногами: «с-с-с-с-с», и чувствую, как нечаянно-терпок вкус набухающих почек. Нам, пришедшим в этот мир из Ниоткуда, подарены вся Земля, вся Вселенная — с лесами и реками, далекими городами и звездами, великими произведениями искусства и памятью минувших веков. Но это еще не все. Нет, это еще не все! (Вы видите, что я специально замедляю темп, делаю паузу, — к черту все эти литературные «секреты!») Это еще не все, и, может быть, не главное... Еще в этом мире... есть женщина!

(Подождите, я помолчу еще минуту...)

Только не верьте, если Вам скажут, что на свете нет любви или что любовь — это всего-навсего животный инстинкт. Да отрежут лгуну его гнусный язык, как сказано в одной мудрой и печальной книге!

На этом я прощаюсь с Вами, мой читатель! Не знаю, удовлетворил ли Вас мой ответ...

Видите ли... Я не хотел об этом говорить, чтобы не омрачать еще более свой рассказ. Но, видно, придется.

В ту ночь, ночь откровения, она еще совсем недолго была со мной. Она попросила меня ее поцеловать, а потом, как всегда, спокойно, но еще — ласково, сказала, что хотела бы побыть одна.

На рассвете в полном изнеможении я спустился вниз. Ее дверь была распахнута. На низеньком столике я нашел листок бумаги, на котором мелким, корявым почерком было написано: «Заклинаю: не ищи меня! Я люблю другого. Прости».

...Вот, взгляните! Я всегда ношу ее с собой. Это забытая ею заколка. Коричневый жучок.

---

* Одзава Роан.

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

МЕРА ВЕЩЕЙ

С высоты в сорок тысяч километров Юпитер не был ни полосатым, ни пятнистым — невероятный по размерам кипящий котел, в котором то и дело взлетали вверх ослепительно желтые султаны аммиака, оранжевые протуберанцы гелия и серебристые волокна водорода: котел, поражающий воображение и заставляющий человека жадно вглядываться в его пучину, испытывая суеверный страх и не менее суеверный восторг.

Юпитер вторая, неродившаяся, звезда солнечной системы.

Модуль положило набок, и Пановский очнулся. Последовал мысленный приказ, летающая лаборатория поползла вверх, на более безопасную орбиту, сопровождаемая перламутровым ручьем «тихого» электрического разряда, на зигзаге которого вполне уместилась бы земная Луна.

— Спокоен старик сегодня, — сказал Изотов, отрываясь от окуляров перископа. — Радиус Ю-поля в два раза короче, чем вчера, мы даже не дошли до верхней гелиопаузы. Рискнем?

Пановский отрицательно качнул головой.

— Пора возвращаться. Мы и так проболтались без малого пять часов. Ловушки заполнены до отказа, записей хватит на неделю детального разбора.

Изотов хмыкнул, исподлобья взглянул на товарища, занимавшего в данный момент кресло пилота. Пановскому шел сорок второй год, был он высок, жилист, смугл от вакуум-загара. Он начал работать над гигантской планетой двенадцать лет назад, когда закладывались первые Ю-станции на спутниках Юпитера, естественно, это был один из самых опытных ю-физиков, знавший все внешние повадки исполина, участвовавший в трех экспедициях глубинного зондирования его атмосферы.

— Жаль... — пробормотал Изотов, думая о своем.

— Чего жаль? — не понял Пановский, поправляя на голове корону мыслеуправления. Модуль продолжал ввинчиваться в гаснущее зарево разреженной водородной атмосферы Юпитера, направляясь к Амальтее, на которой располагалась Ю-станция «Корона-2».

— Жаль, говорю, что не удалось увидеть КУ-объект. Вчера ребятам повезло больше.

Пановский поймал в визирные метки пульсирующий радиоогонек маяка станции, переключил управление на автоматику и повернулся к напарнику.

Изотов появился на Ю-станции недавно. Был он молод, настойчив, самолюбив и не успел еще растерять надежд открыть на Юпитере древнюю цивилизацию, существование которой то

ставилось под сомнение, то вспыхивало ненадолго сенсацией в научных и ненаучных кругах солнечной системы.

— КУ-объект — это фикция, — убежденно сказал Пановский, продолжая исподтишка изучать лицо молодого ю-инженера. — Я летаю над Юпитером двенадцать лет и ни разу не видел ничего подобного.

— Значит, тебе просто не повезло. Ведь многие видели... Сабиров, Вульф, Генри Лисов...

— И никто из них не привез ни одной голограммы.

Изотов вздохнул. Что правда, то правда: никто из ученых — зеленых новичков вроде него и опытных «зубров», — не смог запечатлеть КУ-объект и доставить снимки на базу. На голограммах проявлялись лишь обычные облачные структуры верхней газовой оболочки Юпитера.

— Не вешай нос, — добродушно усмехнулся Пановский, видя, что напарник расстроен. — Повезет в другой раз, не со мной, видимо, я и в самом деле неудачник.

— «Сотый», «Сотый», — раздался в рубке знакомый голос диспетчера станции. — Срочно отвечайте, остался ли резерв в регистрирующей аппаратуре?

— Да, — коротко отозвался Пановский, бегло проглядев записи бортового координатора. — Три ленты в видеосканере и дюжина кристаллов в приемнике «Омеги». В чем дело?

— Немедленно возвращайтесь к южной тропической зоне, координаты: сто семьдесят три южной широты и пятьдесят семь восточной долготы. Генри только что на главном оптическом обнаружил КУ-объект. Вы ближе всех в этом районе...

Диспетчер еще недоговорил, а Пановский уже успел перехватить управление у автомата и бросить модуль в разворот.

— Что я говорил! — воскликнул Изотов, скорее изумленный, чем обрадованный известием.

Пановский не ответил, лишь угрюмая складка появилась у него над переносицей. В существование КУ-объекта он не верил, как и в цивилизацию на Юпитере, тем не менее себе он мог признаться, что вера в чудо не угасла в нем по сей день.

Модуль вышел точно по координатам над большой облачной спиралью. В непосредственной близости от короны Юпитера голоса диспетчера уже не было слышно: сложная система радиационных поясов планеты полностью забивала эфир помехами. Пановский осторожно повел модуль к южному полюсу планеты, опасаясь приближаться к внутреннему кометно-метеоритному кольцу, возле которого плотность метеорного вещества достигала критических величин. И тут они действительно увидели загадочный КУ-объект.

Из желто-коричневой мути аммиачно-водородных облаков высунулся ослепительно белый «цветок» на тонком стебле: по форме КУ-объект напоминал земную гвоздику. Стебель «гвоздики» продолжал расти, она увеличивалась в размерах, и на-

конец стало ясно, что это вполне реальное явление, отнюдь не галлюцинации и не радиолокационный «призрак».

Пановский задействовал аппаратуру видеосъемки и покосился на напарника.

— Везет же!.. Честно говоря, я и сейчас не верю в его существование. Загипнотизировал ты меня своими рассуждениями, да и Ю-поле, наверное, действует, потенциал уже выше барьера безопасности...

— «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол» — не верь глазам своим», — процитировал Козьму Пруткова Изотов. — Ю-поле тут ни при чем. Кстати, почему эту штуку назвали КУ-объектом?

— Первым его увидел и описал год назад Константин Уткин, неисправимый фантазер и выдумщик, отсюда и сокращение... Он пропал без вести после второй встречи со своим «открытием»...

Изотов повернул голову, мгновение смотрел в серые непроницаемые глаза Пановского, словно пытаясь прочесть его мысли, потом расслабился и пожал плечами.

— Одна из тех случайностей, которая подстерегает любого из нас... Посмотри на анализаторы: материал КУ-объекта — безобидное облако ледяных кристаллов. Правда, магнитное поле великовато для обычного облака... Давай подойдем поближе.

Пановский красноречиво постукал пальцем по лбу.

Модуль проходил уже над краем «гвоздики», достигшей размеров земного Мадагаскара, и в этот миг что-то произошло.

Пановскому показалось, что КУ-объект взорвался! Модуль вздрогнул, оборвалось пение приборов в рубке, ослепли экраны, наступила глубокая тишина. И в этой тишине люди «услышали» Голос! Глубокий, нечеловеческий Голос-вскрик пронизал оболочку модуля, прошел сквозь все его защитные экраны и сквозь тела исследователей, и умчался в космос, в неизмеримую даль — бестелесная молния, сгусток мысли неведомого исполина. Это было последнее, о чем подумал Пановский. Хлынувшая в рубку тьма погасила сознание...

* * *

Зал связи Ю-станции «Корона-2» тонул в тусклом серо-желтом сиянии юпитерианского серпа: станция проходила над ночной стороной планеты. Гул переговоров отражался от стен зала, смешивался с гудками и свистами работающей аппаратуры и возвращался таинственным шепчущим эхом. Четыре видеома — это сокращение от слова «видеобъем» прочно вошло в обиход — отражали четыре таких же, как и этот, зала и группы людей у пультов связи и управления.

В зал вошел высокий бледный человек с узким и жестким лицом. На рукаве его куртки алел шеврон научного директора

станции. У главного пульта расступились люди, давая ему пройти.

— Какие новости? — спросил он, почти не двигая губами.

— Второй КУ-объект мы прозевали, — сказал смуглый до черноты Генри Лисов. — Вернее, не знали, где ждать. Третий успели захватить почти в начале образования. А потом как отрезало, никаких следов. Видимо, существуют какие-то периоды активности КУ-объектов, когда они появляются довольно часто. Но какова длительность такого периода — неизвестно.

— Самое интересное, что третий КУ-объект ничего не излучал, как первые два, — сказал седоволосый Сабиров. — Но приборы обнаружили слабое волновое эхо в пространстве сразу после его выхода.

— Вы полагаете, что это был...

— Приемник, вернее, приемная антенна, если пользоваться земными аналогиями. А первые два были передатчиками. После выхода их в эфир станции слежения за пространством за орбитами Плутона и Цербера поймали «следы» импульсов, направленных в сторону шарового звездного скопления омега Кентавра. Час назад с Земли сообщили, что импульсы, по всей видимости, — одномоментные передачи огромных массивов информации.

— Итак, КУ-объекты — суть аппараты юпитериан, — медленно проговорил Зимин. — Цивилизация на Юпитере не миф!.. Вы хоть представляете себе грандиозность сего факта?!

Сабиров переглянулся с Генри Лисовым, но директор станции не ждал ответа.

— Три года мы возились с легендой о цивилизации на Юпитере, год — с легендой о КУ-объектах, не подозревая, что они существуют реально... Кстати, почему их невозможно голографировать?

Генри Лисов помялся.

— Гипотез много, но дельных ни одной... Может быть, все дело в Ю-излучении, сбивающем настройку приборов?

Зимин кивнул.

— Может быть. Что ж, мы на пороге величайших открытий за всю историю человеческой цивилизации! Что?

Сабиров откашлялся.

— У меня сложилась иная точка зрения. Уже сто лет человечество изучает Юпитер, из них более полувека — активно, с помощью автоматических зондов и обитаемых станций. Множество экспедиций в атмосферу и на дно, тысячи потерянных зондов, гибель исследователей... Едва ли юпитериане не замечают нас, по-моему, это невозможно, но тогда их молчание говорит об одном — об отсутствии интереса с их стороны к нам! О каком контакте может идти речь? А если они нас просто не замечают, значит, отличаются от нас по всем параметрам жизни. Да и как им не отличаться? Я до сих пор не могу пред-

ставить, как на этом газо-жидкостном шаре могла возникнуть жизнь! А уж разумная жизнь!.. — Сабиров развел руками.

— При чем тут твой скептицизм, Баграт? — улыбнулся Вульф. — Факты — упрямая вещь. Вот насчет контакта я с тобой согласен.

— Вопросы ко мне есть? — спросил Зимин, переждав шум. — Прежде всего у моих заместителей. В пятнадцать десять я снова отбываю на Землю.

— Есть, — сказал Сабиров. — Что с ребятами?

Зимин нахмурился, помолчал.

— Для них встреча с КУ-объектом в момент излучения закончилась трагически. По мнению экспертов, их модуль попал в краевую зону излученного импульса. У обоих шок, общий паралич... Их отправили в медцентр на Курилах. Еще вопросы?

Вопросов больше не было.

— Тогда попрошу всех вернуться к своим обязанностям. Помните, что на всех нас падает большая ответственность. Как бы ни был далек контакт с цивилизацией Юпитера, но начинать его придется нам.

Зимин подошел к главному обзорному видеому станции вплотную и несколько минут смотрел на слабеющее дымное свечение юпитерианского серпа, пока от него не осталась лишь тонкая бледная полоска. И тогда стало заметно тусклое багровое мерцание в толще ночной атмосферы планеты — отблеск небывалых по величине гроз, а может быть, и результат титанической работы неведомых ее обитателей.

* * *

— Вы напрасно не придаете этому значения, — сказал Старченко. — Это по-настоящему сенсационное событие!

Наумов молча разглядывал переносицу заместителя, удивляясь его недальновидности или... нежеланию вникнуть в суть дела. Сенсация... Неужели для него это только сенсация? Что это — максимализм молодости или неопытность? Или, может быть, равнодушие? Ведь для тех двоих...

Он перевел взгляд на молочно-белые кубы реаниматоров, скрывающие в своем чреве ученых с Юпитера, пострадавших от неизвестного излучения. Вот уже месяц, как крупнейшие медики Земли: невропатологи, нейрохирурги, психологи, специалисты в области биоэнергетики и физики излучений пытаются спасти этих людей, но все, что удалось пока сделать — это предотвратить коллапс и паралич нервной системы обоих космонавтов. Тела их с помощью специальных устройств жили, а мозг не хотел просыпаться, пораженный чудовищной дозой неведомого излучения.

Гипотеза Наумова, высказанная им на консилиуме, породила сенсацию среди медицинских работников, именно о ней и

рассуждал Старченко. Гипотеза состояла в том, что передача юпитериан, предназначенная для неизвестного людям абонента в шаровом звездном скоплении омега Кентавра... была воспринята Изотовым и Пановским на всех уровнях сознания и подсознания! Мозг обоих «захлебнулся» ливнем чужеродной информации, сфера сознания оказалась переполненной, а основная информация осела в глубинах неосознанной психики и привела к параличу всех двигательных центров, что не позволяло освободить память пострадавших обычными путями и почти не оставляло надежды на их излечение.

— Сенсация... — повторил Наумов. — Это прежде всего горе и боль их родных и близких, вот что это такое...

Он был молод — главный врач Симуширского медцентра нервных заболеваний. Небольшого роста, хрупкий, нервный, он не был красивым: лицо слегка портила угрюмая складка губ и неожиданно нежный «девичий» подбородок. Но когда он улыбался, а случалось это нечасто, — становилось понятно, за что его любят пациенты и персонал медцентра.

— И все же по сути дела у нас в руках клад с тайнами Юпитера! — упрямо заявил Старченко. — Представь, какие знания мы получим, расшифровав «записанную» в их головах информацию!

— Не знаю. — Наумов отвернулся и подошел к пульту медицинского комплекса. Автоматы продолжали следить за состоянием людей, и красно-зеленая гамма на панели пульта указывала на то, что пострадавшие находятся на грани жизни и смерти.

На панели замерцал синий огонек, и на трехметровые кубы реаниматоров опустились плоские многосегментные зеркала следящих систем. Одновременно ожил видеом над пультом, и взорам врачей предстали тела космонавтов, поддерживаемые невидимыми силовыми сетками. К рукам и ногам лежащих придвинулись белые шланги с присосами, на панели загорелась надпись: «Питание».

Головы космонавтов скрывались в сложных ажурных конструкциях энцефаловизоров, но Наумову показалось, будто он видит страдальческие гримасы на белых как мел лицах, и ему стало зябко и неуютно.

Тихий звон видеовызова заставил Старченко замолчать и подойти к дальней стене зала, за перегородку технических систем. Через минуту он вернулся.

— Снова эта женщина Изотова. Просит пропустить в зал. Я сказал, сейчас время процедур и ты занят.

— Впусти. — Наумов нахмурил тонкие черные брови. — Это не просто женщина, это его жена.

— Жена! — хмыкнул Старченко. — Они же давно не... — Врач наткнулся на холодный взгляд главного и поспешил скрыться за перегородкой. Белобрысый, высокий, широкопле-

чий, шумный, он являл собой полную противоположность Наумову, и тот иногда удивлялся в глубине души, как это они проработали вместе уже два года. В этот день Старченко был Наумову особенно неприятен. Может быть, из-за того, что в его рассуждениях было рациональное зерно, и Наумову не хотелось в этом признаваться, а может, потому, что его уже месяц не покидало состояние неудовлетворенности.

Наумов вырастил из стены пару кресел и сел, продолжая наблюдать, как сменяются аппараты над телами людей.

Отчего же пришло острое чувство сострадания? Разве мало прошло перед ним пациентов? Разве мало он видел смертей? В тех случаях его не однажды охватывало отчаяние и гнев — медицина слишком часто оказывалась бессильной, и люди умирали, несмотря на все ухищрения ее многосотлетнего опыта. Люди научились побеждать болезни, прежде считавшиеся неизлечимыми, выращивать новые органы тела взамен утративших жизнеспособность, но мозг — мозг оказался слишком хрупким и сложным, и даже самые тонкие и точные методы его лечения подчас не давали желаемого результата. Мозг во многом продолжал оставаться тайной, открытие новых его возможностей происходило медленно, и люди продолжали умирать, если он оказывался поврежденным, продолжали умирать, если ошибалась природа, продолжали умирать на операционных столах под «ножами» хирургов в результате их неосторожности или незнания...

Из-за перегородки в зал шагнула молодая женщина, высокая, гибкая, с лицом строгим, настороженным, на котором выделялись твердые, властные губы. Взгляд ее синих глаз сказал Наумову, что он имеет дело с натурой сильной и целеустремленной.

«Такая не станет ни плакать, ни жаловаться...» — подумал он с мрачным удовлетворением.

— Здравствуйте, Валентин.

Голос у вошедшей был глубокого баритонального оттенка, который называют грудным, такой же красивый и уверенный, как и весь ее облик.

— Здравствуйте, Лидия, — ответил он, вставая навстречу. — Я не ошибся? Садитесь, прошу вас.

Изотова посмотрела на видеом, губы ее дрогнули.

— Он?

— Да, — кивнул Наумов, — слева.

Лидия едва заметно усмехнулась, Наумов понял: кому, как не ей, знать, с какой стороны лежит ее муж.

Они сели. Лидия еще с минуту смотрела на видеом, потом повернулась к главному врачу медцентра.

— Я знаю — вы один из лучших нейрохирургов Земли...

Наумов сделал протестующий жест, но Лидия этого не заметила.

— Не надо меня успокаивать, прошу ответить прямо: есть надежда? Есть ли надежда, что Сережа будет жить?

Наумов с трудом выдержал прямой синий взгляд, сделал паузу.

— Разрешите, прежде чем ответить, задать, в свою очередь, несколько вопросов? Первый: как давно вы не... живете с Сергеем?

Она нахмурилась, прикусила губу.

— Это необходимо для лечения? — Ирония еле заметна, но она есть.

— Да, — как можно тверже ответил он.

— Я не живу с Сергеем почти три года.

— И...

— Я люблю его.

Она произнесла последние слова так просто и естественно, что Наумов не мог не поверить ей. Но... любовь — и три года вдали друг от друга?

— В чем же причина вашей ссоры?

— Он спортсмен... — Заметив удивление в глазах Наумова, она заторопилась. — Он спортсмен во всем: в работе, в увлечении... в жизни. Он ни в чем не хотел быть вторым, и в семье тоже.

— Понятно. И вы не встречались с ним... потом?

— Встречались. Потом он ушел к Юпитеру... Послушайте, ну это же неважно, понимаете?! — В глазах ее плеснулись боль и гнев. — Мы были нужны друг другу, независимо от... Я люблю его, разве этого мало? И хочу знать, он будет жить?! Именно таким, каким я его знала?

Наумов невольно посмотрел на видеом, но тот уже погас: программа процедур закончилась.

— Знаете, Лидия, положение осложнилось. Изотов и Пановский попали не под простой лучевой удар, а под удар информационный. Ну, вы, наверное, уже слышали новость об открытии цивилизации на Юпитере. Так вот, юпитериане послали в космос мощный импульс, содержащий некую закодированную информацию, и, оказавшись на пути луча, Изотов... оба «поймали» импульс на себя, и информация «записалась» у них в мозгу почти на всех уровнях памяти. Мозг теперь заблокирован чужеродной информацией и разблокировать его мы... пока не в состоянии.

— Но ведь вылечивается же синдром Пальтса — болезнь мозга от переизбытка знаний?

— Это абсолютно другой случай, так сказать, «космический» синдром, шок от переизбытка сверхинформации, причем закодированной неизвестным образом. И тут есть одна сложность... — Наумов помолчал, обдумывая, как бы смягчить объяснение, но так и не придумал. — Сложность в том, что мы еще сами не разобрались, какие центры и уровни памяти «за-

биты» ненужным знанием. Может случиться, что в результате операции сотрутся те виды памяти, которые заведуют механизмами памяти наследственной, то есть сотрется «я» Сергея Изотова. Это страшнее смерти.

— Не знаю, — покачала головой Лидия. — Что может быть страшней его смерти?

«Ты права, — подумал Наумов, — но что я могу сказать тебе в ответ? Кто-то заметил: «Если не знаешь, что сказать, говори правду». Иногда жестокость — единственное выражение доброты».

— Извините, что я так... сразу. Ведь все может закончиться хорошо.

— Спасибо. — Лидия встала, не поднимая глаз. — Я верю вам, верю, что вы сделаете все, чтобы спасти его...

Она попрощалась и вышла.

«Его!.. Эгоизм в самом чистом виде! О том, другом, товарище ее мужа, она даже и не вспомнила, все заслонил любимый... Самый слепой из эгоизмов — эгоизм любви! Черт возьми, мне-то от этого не легче! Лгать другим мы разучились, и продолжаем лгать себе, испытывая при этом величайшее наслаждение! Как врач, специалист, я не верю в их излечение, но как человек, я надеюсь. А многое ли сделаешь, имея надежду и не имея уверенности?»

— Нас вызывает Ленинград, — сказал Старченко. — Экспертный отдел Академии медицины.

Наумов кивнул задумавшись. Красные огни индикаторов на пульте казались шипами, царапающими незащищенное тело.

* * *

В четырнадцать часов дня кабинет быстро заполнился светилами медицины Земли и представителями Академии наук, причем «живых» людей было от силы пять-шесть человек, большинство присутствовало через видеомы, хотя по внешнему виду невозможно было отличить видеопризрак от реального человека.

— Мозг человека способен вместить все знания, накопленные опытом нашей цивилизации, — продолжал молодой врач. — А у Пановского и Изотова заблокированы чуть ли не все уровни памяти, сознание и подсознание. Так что запас чужой информации, «забившей» даже инстинкты, огромен.

Среди общего оживления Зимин остался бесстрастен и холоден, он изучал Старченко.

— Существует ли возможность «считывания» этой информации?

Старченко замялся и оглянулся на главного.

«Этого следовало ожидать, — подумал Наумов. — Было бы странно, если бы кто-нибудь не задал этого вопроса. Что ему

ответить? Что я уже думал над этим? И не пришел ни к какому выводу?..»

— Теоретически существует, — ответил Старченко. — Но на практике последние пятьдесят лет никто с этим не сталкивался, потому что случай этот особого рода. Понимаете... — Он помолчал. — Существует метод так называемой психоинтеллектуальной генерации, основанной на перекачке криптогнозы, то есть информации, осевшей в глубинах неосознанной психики, из сферы подсознания в сферу сознания. Но, во-первых, этот метод применялся всего один раз и нет доказательств, что он себя оправдал, а во-вторых, может оказаться, что мы сотрем психоматрицу субъекта, а для моих пациентов это равносильно смерти.

— Я понимаю. — Зимин тоже молчал некоторое время. — Но поймите и вы: открыта цивилизация на Юпитере! Чужой разум! Это событие просто колоссального значения для всей науки Земли, для всего человечества! И есть возможность узнать об этой цивилизации очень и очень многое — если верить вашим же словам! Представляете, что может в результате приобрести человек?! Мы с вами?

— Ну хорошо, предположим, мы «перепишем» всю информацию, — вмешался академик Чернышов. — Но сможем ли прочитать все, расшифровать? Код записи может оказаться таким сложным, что расшифровать ее нам не удастся, что тогда? Тем более предназначалась передача не нам, люди попали под луч случайно...

Наумов благодарно посмотрел на старика: академик высказывал его мысль.

Зимин усмехнулся, но глаза его остались холодными и настороженными. Наумов ощущал его взгляд физически.

— Кроме всего прочего, — сказал Наумов, — существует врачебная этика («Давай, давай, борись с самим собой, доказывай, что слова твои — сама истина, что человеколюбие и только человеколюбие руководит тобой, в то время как Зимин... что Зимин? Он ведь тоже, наверное, не для себя старается?..») и принципы человеческой морали. Кто возьмет на себя ответственность за убийство людей даже во имя блага для всего человечества?! И кто в конце концов разрешит нам это сделать? Родственники пострадавших? Их любимые и любящие?.. Да и не в них дело, поймите, мы не должны ставить на весы жизнь людей и даже самый бесценный материальный выигрыш — знание.

Наумов видел, что убеждает он прежде всего самого себя, и понимая это, не мог не чувствовать, что фальшивит, и эта фальшь, казалось ему, видна и остальным.

— Я не спорю, — негромко сказал Зимин. — Но в истории известны примеры, когда люди рисковали жизнью во имя гораздо менее значимых целей.

— Да, но они шли на это сами, — так же тихо сказал Чернышов, — и в этом их преимущество. За них никто не решал, не распоряжался их жизнью. По-моему, прав Наумов, мы не должны решать вопросы жизни и смерти, не спросив у тех, кто рискует жизнью. Но мы отвлеклись от основной проблемы — как лечить этих людей. Давайте оставим в стороне правовые вопросы дела и вернемся к медицине.

— Правильно, — поддержал академика один из специалистов в области излучений. — Мы собрались, чтобы обсудить методы их лечения, проблема чисто медицинская, и не надо привлекать в нее морально-этический кодекс.

Зимин хотел что-то сказать, но передумал.

Разговор перешел в русло медицины. Наумов больше не вмешивался в обсуждение предлагаемых методов лечения, хотя здесь присутствовали многие авторитеты в области изучения человеческого мозга. Он только командовал техникой кабинета, показывал палаты, записи, документы, а в голове стучала мысль: «Не все еще закончено в этом споре, не все аргументы исчерпаны. Зимин не остановится перед хрупкой, по его мнению, преградой этики. И к сожалению, он не одинок в своем мнении, — для только что выступавшего этот случай, вероятно, лишь повод для диссертации... Но самое страшное — я не чувствую себя противником Зимина. К тому же в любом случае способ лечения космонавтов небезопасен, и это плохо! Это главное, на что сделает упор сам Зимин и его сторонники, выйдя в высокие инстанции. А где найти контраргументы, я не знаю...»

В то, что Зимин обратится в арбитраж более высокого ранга, в Академию медицины, а может быть, и в ВКС — Высший Координационный Совет Земли, Наумов не сомневался.

— Предстоит тяжелое объяснение в методсовете академии, — сказал Чернышов, когда совещание закончилось и кабинет опустел. — Но я с вами, Валентин, можете располагать моим голосом.

— Вы не со мной, — пробормотал Наумов. — Вы с ними. — Он мотнул головой в сторону включенного видеома, показывающего реанимационную.

— А я понимаю Зимина, — сказал Старченко, выключая аппаратуру. — Юпитер изучается более ста лет, и сколько там погибло исследователей — уж наверняка не единицы. Сравните — за полтора века с грехом пополам определили наличие на Юпитере цивилизации, и появилась возможность за несколько минут раскрыть ее суть!

— Я его тоже понимаю, — с горечью сказал Наумов и вспомнил лицо Лидии Изотовой. — Скачок вперед, к новым вершинам знания, к великим открытиям... Если бы при этом не надо было перешагивать через такую «малость», как жизнь двоих...

* * *

В холле Управления аварийно-спасательной службы Наумов несколько минут разбирался в указателях, нашел нужный лифт и вскоре уже стоял перед дверью в отдел безопасности космических исследований. Дверь раскрылась лепестками диафрагмы, и он вошел.

В кабинете начальника отдела находилось двое: сам Молчанов, невысокий, худощавый, спокойный, с серыми внимательными глазами, и академик Зимин.

— Ну что там, Валя? — спросил наконец Молчанов. — Что будем делать?

— А что надо делать? — удивился Наумов. — Если ты в курсе проблемы, то повторяться я не буду.

— В общих чертах ознакомлен, — Молчанов бросил взгляд на дверь, за которой скрылся Зимин. — Что и говорить, открытие цивилизации на Юпитере, на этом газовом шаре!.. У меня и без того проблем хватало, а теперь вовсе вздохнуть некогда.

Наумов иронически усмехнулся.

Молчанов посмотрел на него оценивающе.

— Что, жалоба не по адресу? Ты прав, у кого из нас нет забот... А что, Валя, Изотов и Пановский действительно восприняли информацию юпитериан? — внезапно спросил он.

— В том-то и проблема! Чтобы вылечить космонавтов, надо «стереть» чужую для них информацию, иного выхода попросту нет. Не существует!

— Понимаю. Ну а если, «стирая» эту информацию, одновременно записывать ее в память машины?

— «Стирать» и «стирать и записывать» — суть два разных метода, причем последний наверняка убьет людей.

— Убьет?

— Ну, не в физическом смысле, но мы просто рискуем стереть человеческое «я», личность, что для пострадавших равносильно смертному приговору.

«Повторяю в третий раз! — тоскливо подумал Наумов. — Последний ли? Каждому надо доказывать, убеждать... и себе в том числе. Когда же настанет время мысленного сопереживания, сострадания, сочувствия? Когда не надо будет убеждать собеседника, ибо он и без слов почувствует твою растерянность и тоску...»

— Зимин говорил, что и обычное «стирание» может дать отрицательный результат.

Наумов сжал зубы так, что они заныли.

— Может. И все же риск уменьшается.

— Риск все равно остается. — Молчанов предупреждающе поднял руку. — Погоди, не спеши доказывать обратное, прибереги доказательства и красноречие для ВКС.

Наумов недоверчиво посмотрел в глаза начальнику отдела.

— Так серьезно?

Молчанов почесал горбинку носа, утвердительно кивнул.

— Понимаешь, Валя, после того неожиданного открытия цивилизации на Юпитере уже погибли двое, двое исследователей.

Наумов побледнел.

— Так что проблема несколько серьезней, чем ты себе представляешь. Открытие взбудоражило всю систему Ю-станций, ученые грезят контактом... Дальнейшее изучение планеты повлечет новые жертвы... и, возможно, та информация, которой обладают Пановский и Изотов, спасет не одну жизнь. Я понимаю. — Молчанов встал и медленно прошелся по кабинету, остановился у окна. — Этико-моральная сторона любого действия ни для кого из нас не является отвлеченным понятием, но она не должна становиться и самоцелью.

— Но я отвечаю за их жизнь. — Наумов тоже встал и подошел к окну. — Я врач и обязан думать о своих пациентах.

— А я обязан думать о живых, — тихо сказал Молчанов.

В душе Наумова копились пустота, и холод, и странное ощущение вины. За что? Перед кем? Будто и решения своего он не менял, и аргументы не все исчерпал... Но вот уверен ли он в решении? Нет же, не уверен, иначе откуда взялась бы эта тоска и мука?.. Как это получается у Зимина: жизнь одних за счет жизни других?! Молчанов, по всему видно, тоже близок к его позиции... Но не эгоизм же ими руководит, не холодный расчет — самые благие намерения... Стоп, стоп! Вспомни-ка: «Дорога в ад вымощена благими намерениями»! Господи, какой ценой иногда приходится расплачиваться за очевидное, самое простое и верное на первый взгляд решение! Кто же способен оценить, что дороже — человеческая жизнь или знания, добытые ценой смерти?! Нет, не так — страшней: убить, чтобы спасти! Так? На войне когда-то тоже убивали врага, чтобы спасти друга... И это не то... При чем тут враг?! Кто — враг? Обстоятельства?..

Наумов взмок от усилий вылезти из той трясины рассуждений, в которую влез, пытаясь оправдать сразу обоих: себя и неведомого оппонента, и вытер мокрое лицо ладонью.

— А ты как думал? — покосился на него Молчанов, видя, что творится в душе товарища. — Подчас принять решение трудней, чем пожертвовать собой, уж ты мне поверь.

Наумов вдруг снова, уже в который раз, вспомнил Лидию Изотову. Она верила в него. И те, другие, приходившие потом, друзья и родственники ученых, они тоже верили в него. А он? В кого верит он сам? В себя?..

— На кого мне выйти в ВКС?

Молчанов вернулся к столу и тронул сенсор.

— К Банглину, наверное. К кому еще? Только не пори го-

рячку, на твоем лице написано все, о чем ты думаешь. Таких, как Зимин, много, и в ВКС они тоже найдутся. Он тут наговорил столько, что я почти согласился с ним, но ты учти — во многом он-таки прав! И рискованные полеты к Юпитеру — это ого-го какой аргумент! Ты не был над Юпитером? Ни разу? Я так и думал.

— А ты не встречался с родственниками моих пациентов... — пробормотал Наумов. — У тебя не было такого, чтобы от твоего решения зависела жизнь другого человека?

Молчанов застыл, потом медленно разогнулся, упираясь кулаками в панель стола, и на мгновение утратил самоконтроль — лицо его стало несчастным и старым.

Наумов пожалел о сказанном, извинился, пробормотал слова прощания и пошел к двери.

* * *

Юпитер кипел, увеличиваясь в размерах. Вот он закрыл собой боковые экраны, затем кормовые, рубку заполнил ровный глухой шум — фон радиопомех. Все предметы окрасились в чистый желтый цвет — настолько интенсивным было свечение верхней разреженной атмосферы планеты.

— Бамм!

Модуль содрогнулся, под ним загудело и загрохотало, в носовом экране выпятился из сияющей клочковатой бездны странный золотой горб, распустился кружевным зонтом и медленно пополз в высоту, рассыпаясь белыми волокнами толщиной с «нормальную» планету. Одно из волокон настигло убегающий прочь модуль, изображение в носовом видеоме покрылось черной сеткой трещин.

— Падаю! — раздался слабый, искаженный помехами голос. — Не могу... Прощайте!..

Экран потух.

Наумов закрыл глаза и остался недвижим.

— Это их последняя передача, — донесся словно издалека голос Старченко. — Погибли все трое: Сабиров, Вульф и Горский. Показывать дальше?

Наумов покачал головой.

— Не надо. Оставь записи, может быть, я просмотрю их позже.

Старченко выключил проектор и, поколебавшись, ушел. Наумов посмотрел на часы: шел девятый час вечера. «Одиннадцатый по среднесолнечному, — перевел он в уме. — Где у них консультативный отдел? Кажется, в Ленинграде, а там уже утро».

Он соединился с центральным справочным бюро ВКС и через него с консультативным отделом Совета. Узнал телекс Банглина и с ходу хотел позвонить ему. Однако еще с полчаса

сидел в кабинете, постепенно заполняющемся сумерками, и смотрел сквозь прозрачную стену на далекий черный конус пика Прево, врезанный в вишневый тускнеющий закат.

Над далеким Юпитером в тщетных попытках постичь его суть, тайны бытия и молчаливое пренебрежение к роду человеческому, к попыткам установления контакта с обретенными братьями по солнцу продолжали гибнуть люди, первоклассные исследователи и сильные натуры. Зов тайны — сквозь боль собственных ошибок, сквозь ад мучительных сомнений в собственной правоте, сквозь слепую веру в совершенство разума и сквозь собственное несовершенство! Вперед! И только сам человек способен оценить поражение, делающее его человечней.

Юпитер — лишь миллионная доля проблем, волнующих человечество. Какой же ценой платит оно за прогресс в целом, если одна проблема требует гибели многих?! И как сделать так, чтобы не платить человеческими жизнями ради решения любых, самых грандиозных задач? Или не существует иной меры вещей?..

На пульте слабо пискнул вызов. Наумов повернул голову, подождал. Сигнал повторился. Это была жена.

— Я тебя заждалась, Валя, — с упреком сказала она. — Уже девять!

— Извини, Энн, — пробормотал Наумов. — Я скоро приду, только закончу один не очень приятный разговор.

— Ты плохо выглядишь. Что-нибудь случилось?

— Ничего. Наверное, эффект освещения, у нас тут сумерки.

— Да, вижу. Это из-за твоих новых подопечных — Пановкина и Изотова?

— Пановского, — поправил он машинально. — Понимаешь, Энн... Их надо срочно оперировать, а я... я боюсь.

Она внимательно посмотрела ему в глаза и сказала решительно:

— Приезжай поскорей, слышишь? Обсудим это вдвоем.

Наумов кивнул.

Видеом угас. Снова сумерки завладели кабинетом.

Наумов по долгу службы часто имел встречи с председателем комиссии морали и этики, и каждый раз у него складывалось впечатление, будто он беспокоит этого страшно занятого властного человека по пустякам. Впрочем, не у него одного возникала такая мысль, хотя о Банглине ходила слава точного до педантизма и обязательного человека, человека слова.

— Я, собственно, к вам вот по какому вопросу... — начал Наумов, не зная, как сформулировать этот свой проклятый вопрос.

— Пановский и Изотов, — сказал Банглин.

— Да, — кивнул Наумов, не удивляясь; вездесущий Зимин успел побывать и здесь. — Возникла проблема...

И снова Банглин опередил его.

— Выбор метода оперирования, так?

— Да. Дело в том, что нейтрохирургическое вмешательство в мозг почти всегда чревато последствиями, даже микролазерное и тонкое магнитное сканирование ведет к разрушению соседствующих с оперируемым участков мозга, и хотя в нормальной жизни это, как правило, не отражается, однако природа зачем-то конструировала запас клеток, который мы уничтожаем не глядя? А что теряет человек в результате операции, никто не знает. В случае с учеными изложенный мною тезис звучит так: при «перезаписи» информации с мозга на машину вероятность их гибели увеличивается по сравнению с методом «простого стирания». Я сделал расчет, по которому вероятности неблагополучного исхода относятся, как два к трем.

— Вектор ошибки?

— Пятьдесят пять на сорок пять. — Наумов невольно покраснел, но не опустил взгляда. — Но соотношение не определяет исхода и не отрицает...

Банглин кивком прервал его речь.

— Полно, Валентин, эмоции тут ни при чем. Вы сами понимаете, риск остается, а соотношение два к трем не слишком выразительно. Расскажите-ка лучше, как относятся к операции друзья и родственники пострадавших.

Наумов еле сдержался, чтобы не пожать плечами. Он устал и был зол на себя за слабоволие. Мысль, что он попросту струсил перед операцией и пытается теперь переложить ответственность на чужие плечи, не покидала его, а звонок Банглину вообще стал казаться жестом отчаяния, какового он в себе не ощущал.

— Пановский холост, — медленно начал он. — Отец его в дальней экспедиции и ничего не знает. Мать... ну, что мать, она, как и все матери, сын ей нужен живой. Она согласна на любую операцию, которая спасет ее сына. У Изотова отец и мать, две сестры... жена. Ситуация примерно такая же. О жене и говорить не приходится, я уже разговаривать спокойно с ней не могу, так и кажется, что я во всем виноват.

Банглин чуть заметно улыбнулся — глазами, губы и лицо остались неподвижными.

— Ясно. Охарактеризуйте, пожалуйста, каждого.

Наумов озадаченно потер подбородок.

— Я ведь до этого случая их не знал, могу рассказать только с чужих слов...

— Этого достаточно.

— Тогда... Пановский. Ему сорок один год, специальность — ю-физик. Начинал работать над Юпитером в числе первых исследователей на стационарных комплексах. Три экспедиции глубинного зондирования планеты, последняя едва не закончилась трагически, их спасли в момент падения... Спокоен, малоразговорчив, необщителен, но всегда готов помочь товарищу...

Извините за путаную речь, я волнуюсь, а последняя характеристика универсальна, наверное, для всех космонавтов. Вот, пожалуй, все, что я о нем знаю.

Изотов очень молод, он почти мой ровесник, по специальности — конструктор молектронной аппаратуры. Хороший спортсмен — мастер спорта по горным лыжам. («Он спортсмен во всем, — вспомнил врач. — В работе, в увлечении... в жизни».) Честолюбив, упрям, любит риск, излишне самонадеян...

В глазах Банглина зажглись иронические огоньки, но Наумов сделал вид, что не заметил.

— Мне кажется... — Глаза члена ВКС вновь обрели способность видеть настоящее. — Вы преувеличиваете размеры проблемы. И недооцениваете себя. Я не чувствую в вас уверенности, профессиональной уверенности врача, не говоря уж об уверенности психологической, гражданской. Даже не зная всех событий, могу предположить, что вы задумались над шкалой общественных ценностей, так? Но и не имея понятия о существовании определенных нравственных норм, присущих обществу на данном этапе развития, норм врачебной этики, права врача решать — какой метод использовать для лечения больного, можно принять решение, исходя из одного простого принципа: мера всех вещей — человек! Человек, и ничто иное!

Да, было бы интересно раскрыть тайны Юпитера, тайны его цивилизации, и этот интерес общечеловечески понятен: кто бы мы были, не будь у нас страсти к познанию? Любопытства? И все же пусть вас не смущают доказательства и примеры прошлого. К сожалению, кое-кто прав: как и сотни лет назад, человек иногда рискует жизнью во имя неоправданных целей. А тут — познание открытой цивилизации, случай беспрецедентный в истории человечества! Плюс к этому возможное предупреждение гибели исследователей. Поневоле задумаешься, я вас вполне понимаю. Ведь мы не отступим, нет? Да и куда отступать? Вот и подумайте, разберитесь в себе, и, когда придет уверенность, когда вы будете убеждены в своей правоте, — позвоните мне, и мы возвратимся к этой теме. Только времени у нас с вами мало. Заседание ВКС послезавтра, и к этому сроку вы должны быть готовы.

Наумов кивнул. Банглин помолчал, медля выключать связь и выжидательно глядя на него. Наконец Наумов шевельнулся и сказал:

— Я не буду звонить... я должен решить сам... Подождите, еще один вопрос: ВКС собирается из-за случая с космонавтами?

Банглин вдруг улыбнулся по-настоящему: улыбка у него была хорошая, добрая и немного грустная.

— Я же сказал — не преувеличивайте размеров проблемы до масштабов, способных потрясти все человечество. Нет, ВКС будет решать множество задач, и лечение пораженных излуче-

нием ученых — одна из них. Но для вас, — Банглин погасил улыбку, — для вас она остается главной и очень серьезной. Это именно тот экзамен, не сдать которого вы не имеете права.

Он кивнул и отключился.

«А ведь он уже решил! — понял вдруг Наумов. — Он решил, это заметно. И Зимин решил — по-своему, Молчанов — тоже по-своему... А я? Я — врач?! Чего я боюсь больше всего: принять неправильное решение или оперировать? Не знаю...»

Наумов убрал одну из прозрачных стен кабинета и подошел к образовавшемуся окну.

«Как странно: один говорит — проблема серьезнее, чем ты думаешь, и он прав. Другой — не преувеличивайте масштабы проблемы, такие тысячами встают перед человечеством, и он тоже прав! Наверное, все дело в том, что проблема, мизерная для всего человечества, оборачивается макропроблемой для одного человека, превращается в такую ношу, что выдерживают ее не все. Но черт возьми, каким же образом из тысяч субъективных мнений образуется одно объективное знание?! Маленькая задачка, слишком ординарная для всего рода людского, и как же она велика, когда ты выходишь на нее один на один!.. Как сделать, чтобы не ошибаться? Как спасти этих двоих, стоящих на грани вечности, и уберечь живых, рискующих жизнью каждый день, идущих на подвиг и не знающих этой своей добродетели?! Как?..»

Над черным острием вулкана на другой стороне бухты всплыл узкий серп месяца — кубок амриты, из которого боги извечно пили свое бессмертие. Бухту пересекла зыбкая, блещущая рассыпанным жемчугом полоска.

Наумов подставил лицо призрачному свету, а в ушах вдруг раздался басовитый гул юпитерианских недр, свисты и хрипы радиопомех, писк маяков и исчезающий, задыхающийся человеческий голос:

«Падаю!.. Не могу... Прощайте!..»

«Спасти тех, кто сейчас идет на штурм Юпитера и кто пойдет завтра... И спасти двоих, перегруженных чужой информацией... Но если спасти их, если поставить задачу — любой ценой спасти космонавтов, то кто-то снова будет падать на Юпитер?..»

«Падаю!.. Не могу... Прощайте!..»

— А я могу?! — крикнул Наумов в лицо ночи. Молча крикнул, сердцем, страстно желая, чтобы пришло к нему ощущение будущей удачи. Кто он — без права на ошибку? Мыслящая система, загнанная в тупик логикой трезвого расчета. Но с другой стороны — и м е е т ли он право на ошибку. Выходит, мера ошибки — тоже человек? Его жизнь?.. Кто это сказал?

С своей тропы ни в чем не соступая,
Не отступая, быть самим собой.

Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль...

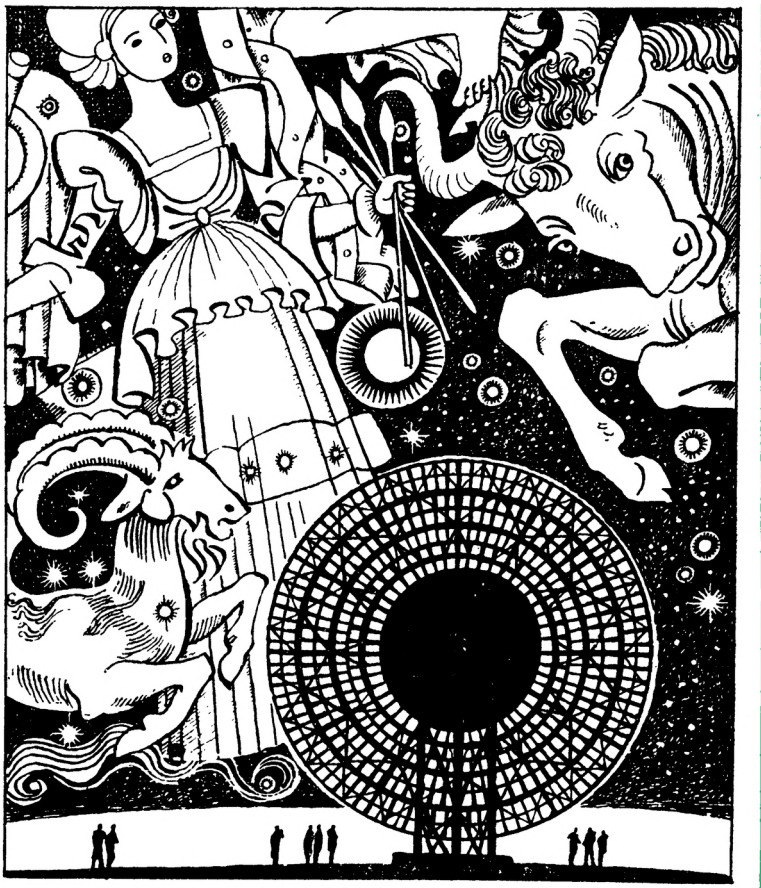
Быть самим собой... Не это ли главное?..
Птица под окном перестала кричать...

СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ

ТАМ, НА ЗЕМЛЕ...

Когда раз в полгода я по делам снабжения прилетаю с Сатурна в командировку на Землю, то пользуюсь услугами Аэрофлота, храню деньги в сберегательной кассе, не в свои сани не сажусь, приобретаю билеты денежно-вещевой лотереи, обхожу троллейбус спереди, а трамвай сзади, не рою другому яму, пью натуральные соки, при пожаре звоню по телефону 01, вовремя оформляю подписку на газеты и журналы, берегу платье снову, держусь правой стороны, заполняю карточки «Спортлото», проверяю деньги не отходя от кассы, не уверен — не обгоняю, отправляя письма, не забываю указывать почтовый индекс адресата, перехожу улицу на зеленый свет, не спрашиваю старого, а спрашиваю бывалого, застегиваю привязные ремни, куй железо, пока горячо, не приступаю к работе без инструктажа, закрываю двери, охраняю лес от пожаров, со своим уставом в чужой монастырь не суюсь, экономлю электричество, люблю книгу — источник знаний, мою руки перед едой, не говорю «гоп», пока не перескочу, заболев гриппом, вызываю врача, умираю, но не даю поцелуя без любви, строго соблюдаю правила техники безопасности, не смеюсь над чужой сестрицей — своя в девицах, вижу соломинку в оке ближнего своего, уважаю труд уборщицы, предъявляю пропуск в развернутом виде, во время перехода на повышенные обороты проверяю правильное функционирование жиклеров карбюратора, не разрешаю детям играть со спичками, не прислоняюсь, не отдыхаю в кабине при работающем двигателе, готовлю сани летом, а телегу зимой, не курю, не высовываюсь, на чьем возу еду — того и песни пою, не плюю в колодец, не хожу по железнодорожным путям, не переливаю из пустого в порожнее...

Зато я со спокойной совестью нарушаю остальные 974 пункта Устава Космической Службы, которые я здесь не перечислил, поскольку соблюдать их на Земле совершенно необязательно.



НАУКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

ФЕЛИКС ЗИГЕЛЬ

РАЗУМ И ЗВЕЗДЫ

В 1981 году произошли три знаменательных события. В издательстве «Наука» был опубликован сборник «Проблема поиска внеземных цивилизаций». Традиционные сентябрьские чтения К. Э. Циолковского в Калуге ознаменовались проведением второго специального совещания по проблеме внеземных цивилизаций (ВЦ). И, наконец, в декабре того же года в Таллине состоялся Всесоюзный симпозиум «Поиск разумной жизни во вселенной», в котором принял участие и ряд иностранных специалистов.

Естественно, что происшедшее заставило несколько по-новому оценить роль и место разума в космосе. Своими раздумьями по этому поводу автор и решил поделиться с читателями.

От ощущения к сознанию

Один известный французский антрополог назвал человека «эволюцией, осознавшей себя». И в самом деле, с той высоты, на которую возвела человека биологическая эволюция, его разум способен правильно осознать свое место не только на Земле, но и во вселенной.

Прежде всего мы, люди, не случайное порождение природных сил. К разуму изначала тяготела вся земная природа. Более того — в самой сущности материи заложено свойство отражения объективного мира, легко различимое на всех ступенях эволюционной лестницы. Сначала еле заметное и скорее лишь подозреваемое, отражение с ростом организации становится явным и достигает зримого совершенства в человеке.

Сознание в истории Земли появилось небеспричинно, не из «ничего», а значит, и не неожиданно. Оно увенчало, как итог, всю предшествующую эволюцию мира, как органическую, так и неорганическую. Великий акт появления человека не случайность, а неизбежный в земных условиях результат непрерывного совершенствования живого вещества. Все шло к тому, что и случилось, — к появлению мысли.

«...В ясно выраженной форме, — писал В. И. Ленин, — ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя), и «в фундаменте самого здания материи» можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением».

И еще:

«...Логично предположить, что вся материя обладает свой-

ством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения» *.

Действительно, все предметы и явления окружающего нас мира находятся во взаимосвязи и взаимодействии. Но «отражение» в философском смысле этого термина и есть проявление этой взаимосвязи, изменение одного тела, вызванное другим. Иначе говоря, отражение — это «след» взаимодействия или взаимосвязи предметов и явлений.

След на проселочной дороге от протектора автомашины — это простейший пример механического «отражения». Отклонение стрелки компаса под действием магнита — «отражение» воздействия магнитных полей. Наконец, обычное отражение предмета в зеркале — это также пример философского «отражения», поясняющий, кстати сказать, и происхождение этого термина.

Высшие формы отражения связаны с жизнью. Как известно, всем живым существам присуща раздражимость — элементарная форма отражения. Она выражается в той или иной реакции живых существ на внешние раздражители (свет, колебания, температуры и т. п.).

Организм, воспринимая внешние раздражения, делает окружающий мир своим достоянием, тем самым внешнее для него становится «внутренним». Реагируя же на внешнюю среду, организм «внутренне» снова переходит во внешнее.

Раздражимость свойственна даже микроорганизмам. Так, например, пурпурные бактерии, освещенные пучком света, скапливаются в световом кружке, который для них играет роль световой ловушки. Легко вызвать раздражимость инфузорий, воздействуя на них некоторыми химическими веществами. Общеизвестны и реакции растений на внешние раздражители: вспомните, например, движение подсолнухов вслед за солнцем. На более высоком уровне организации раздражимость живых существ переходит в чувствительность — способность отражать отдельные свойства вещей в форме ощущений.

С зарождением нервной системы живые организмы приобретают способность восприятия, то есть отражения целостного образа ситуации. Появляются элементы психики как функции нервной системы, с помощью которой отражение внешнего мира становится целостным и достаточно полным.

Эволюция органического мира выражается, в частности, в совершенствовании форм отражения объективного мира. С момента появления ясно выраженной нервной системы (например, у позвоночных) рост и усложнение психики животных могут быть прослежены на прогрессивной эволюции нервной системы.

В 1851 году американский биолог Д. Дана́ (1813—1895 гг.)

---

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 39—40, 91.

назвал подмеченную им прогрессивную эволюцию мозга у позвоночных «цефализацией», но сам воздержался от каких-либо объяснений этого факта. На «принцип Дана» не обратили внимания ни Ч. Дарвин, ни его ближайшие последователи. Между тем факт цефализации имеет немалое значение. В нем выражается предыстория сознания, его эволюционные, биологические предпосылки.

«Обобщение Дана, — писал В. И. Вернадский, — заключается в следующем: в эволюционном процессе мы имеем в ходе геологического времени направленность. Нет ни одного случая, чтобы появился перерыв и чтобы существовало время, когда добытые этим процессом сложность и сила центральной нервной системы были потеряны и появлялся геологический период, геологическая система с меньшим, чем в предыдущем периоде, совершенством центральной нервной системы» *. Но следует оговорить, что этот принцип оправдывается лишь на переломных этапах развития живого, а непрерывно прослеживается лишь на той ветви приматов, которая дала человека. Так, среди человекоподобных обезьян наиболее развитыми были крупные австралопитеки, но они все вымерли, а менее развитые гориллы и шимпанзе существуют до сих пор.

При всей сложности психики высших животных в ней отсутствуют понятия — характерная черта сознания. Нет и самосознания, самооценки, присущей человеческому разуму. Зато сильно развито бессознательное — инстинкты. Когда же и как из бессознательного родилось сознание, когда на Земле впервые засветилась мысль?

О происхождении человека написано множество книг, и здесь нет нужды останавливаться на этой интереснейшей теме. Подчеркнем, однако, два важных обстоятельства.

В постепенном становлении человека наблюдается прогрессивное развитие центральной нервной системы, ее постепенное усложнение — верный признак совершенствования психики.

Второе не менее важное обстоятельство — ускорение эволюционного процесса. От появления первых млекопитающих до ответвления от них гоминид прошли сотни миллионов лет. Спустя еще примерно 10 миллионов лет появились австралопитеки. От них до первых питекантропов протекло еще около 4 миллионов лет. Переход от питекантропа к неандертальцу занял уже всего несколько сот тысяч лет, а спустя сотню тысяч лет на Земле появился «человек разумный».

Это было не просто появление нового вида. Произошел великий качественный скачок в истории Земли. Возник не просто человек, а человеческое общество. Началась человеческая история, объясняемая своими, особыми социальными законами.

---

* Вернадский В. П. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., «Наука», 1965, с. 193.

Итак, разум на Земле — закономерный результат эволюции биосферы. Снова подчеркнем — тут действовала не случайность, а закон, основанный на эволюции отражения — коренного, неотъемлемого свойства материи.

Но если это так, то в принципе мы вправе ожидать, что подобный ход саморазвития материи реализуется и в других местах космоса, по крайней мере в тех из них, где сложилась земноподобная обстановка.

Сколько земноподобных планет во вселенной?

Американский астроном С. Доул * попробовал оценить возможное число земноподобных планет в ближайших окрестностях Солнца, то есть внутри сферы с центром в Солнце и радиусом 55 световых лет. В масштабах Галактики выбранный участок совсем невелик, и нет никаких оснований считать этот район нашей звездной системы каким-то особенным, непохожим на другие. Следовательно, то, что верно для окрестностей Солнца, скорее всего типично и для всей Галактики, за исключением, быть может, ее ядра. В выделенной таким образом окрестности Солнца находится около тысячи звезд.

В ходе своих исследований С. Доул решил три вопроса:

1. Каким условиям должны удовлетворять планеты для того, чтобы на них могли жить люди без специальных защитных средств типа скафандров и других?

2. Сколько таких земноподобных планет есть в Галактике?

3. Какова вероятность встретить обитаемые земноподобные планеты в ближайших окрестностях Солнца?

Подробности соответствующих расчетов можно найти в книге С. Доула. Здесь же мы лишь кратко перечислим выводы, к которым он пришел, и назовем некоторые из соседних звезд, вокруг которых могут быть обитаемые земноподобные планеты. Снова подчеркнем, что речь пойдет о «планетах для людей», а это, конечно, резко снижает количество кандидатов в обитаемые миры и указывает лишь нижний предел населенности нашей Галактики. Основные признаки земноподобной планеты таковы: масса ее не должна быть меньше 0,4 массы Земли, так как иначе вокруг планеты не образуется и не удержится пригодная для дыхания атмосфера. Верхний предел возможной массы составляет 2,35 массы Земли, так как более массивная планета создает на своей поверхности тяжесть, непереносимую для людей.

Сутки на планете не должны превышать четырех земных суток, что гарантирует ее обитателей от нестерпимой жары днем и крайне низких температур ночью. Возраст звезды (а ста-

* Доул С. Планеты для людей. М., «Наука», 1974.

ло быть, и планеты) предполагается достаточно солидным, большим 3 миллиардов лет, что необходимо для весьма длительной эволюции органического мира.

Для нормальной освещенности планеты важны и наклон ее оси вращения к плоскости орбиты и эксцентриситет этой орбиты. Ось вращения не должна лежать, как у Урана, в плоскости орбиты, а образовывать с ней угол, не меньший 20 градусов. Орбита же должна быть близка к круговой (эксцентриситет меньше 0,2).

Высокие требования предъявляются и к звезде, обладающей земноподобными планетами. Ее масса может заключаться лишь в пределах от 0,72 до 1,43 массы Солнца. Для звезд большей массы продолжительность стабильности излучения (важнейшее условие эволюции!) становится значительно меньше 3 миллиардов лет. Звезды же с массой, меньшей 0,72 массы Солнца, создают недостаточную для жизни освещенность планеты. Заметим: если земноподобная планета обращается в системе двойной звезды, то эти звезды должны или находиться совсем рядом друг с другом и действовать почти как одно тело, либо, наоборот, находиться друг от друга очень далеко и тогда планета должна находиться поблизости от одной из звезд. Если все перечисленные условия соблюдены, то вероятность того, что планета окажется пригодной для людей, весьма велика.

Произведя расчеты, Доул пришел к выводу, что из ста ближайших к нам звезд, расположенных ближе 22 световых лет, 43 звезды могли бы обладать земноподобными планетами. Из этих 43 звезд Доул выбрал 14 наиболее перспективных «кандидатов», среди которых, кстати сказать, есть и альфа Центавра, ближайшая из звезд!

Вероятность того, что по крайней мере вокруг какой-нибудь из 14 избранных звезд есть земноподобная планета, составляет 43 шанса против ста (вероятность 0,43, или 43 процента). Познакомимся с некоторыми из перечисленных перспективных звезд.

Ближайшую к нам звезду альфу Центавра с территории нашей страны, к сожалению, увидеть нельзя. Она доступна для наблюдения лишь тем обитателям Земли, которые живут южнее 30-го градуса северной широты.

Расстояние до альфы Центавра (которая, кстати, имеет наименование Толиман) равно 4,3 светового года, чему соответствует 41 250 000 000 000 километров. Альфа Центавра — тройная звезда. Главная желтая звезда, очень похожая на Солнце, имеет яркий оранжевый спутник, по светимости втрое уступающий нашему дневному светилу. Период обращения в этой двойной системе близок к 80 годам. Третий компонент — звезда Проксима (то есть «Ближайшая») Центавра и в самом деле на 360 биллионов километров ближе к нам, чем главная желтая солнцеподобная звезда. Проксима Центавра — холод-

ный красный карлик, испускающий света в 20 000 раз меньше, чем Солнце. Период обращения Проксимы вокруг общего центра тяжести тройной системы альфа Центавра весьма велик и уж во всяком случае не меньше нескольких тысяч лет.

Есть ли какие-нибудь шансы за то, что вокруг этих трех ближайших звезд обращаются обитаемые планеты? В отношении Проксимы Центавра ответ должен быть, по-видимому, отрицательным. Эта звезда слишком мала и холодна, чтобы быть, подобно нашему Солнцу, источником жизни. К тому же она принадлежит к классу вспыхивающих звезд, а резкие колебания излучения вредоносны для живых организмов.

Другое дело главные компоненты тройной системы альфа Центавра, обозначаемые А и В. Доул рассчитал для этих звезд размеры их экосфер, то есть областей, пригодных для земноподобной жизни. Оказалось, что для обоих компонентов А и В радиусы их экосфер (в пределах которых могут существовать устойчивые планетные орбиты) соответственно равны 2,68 а. е. и 2,34 а. е. *. Вероятность же того, что вокруг этих звезд есть обитаемые земноподобные планеты, по Доулу, близка к 0,05. Иначе говоря, есть один шанс против десяти, что ближайшая к нам тройная звезда окружена обитаемыми планетами!

В отличие от альфа Центавра оранжевую звезду 4-й звездной величины эпсилон Эридана можно увидеть из любой точки земного шара. Расстояние до нее близко к 11 световым годам, а масса ее на 20 процентов уступает массе Солнца. Вероятность того, что вокруг этой одиночной звезды кружится земноподобная планета, составляет всего 3,3 процента.

Звезда тау Кита часто упоминается в астрономической литературе, так как именно с нее (и эпсилон Эридана) в 1960 году началось «прослушивание» космоса с целью уловить радиопередачи далеких инопланетян. Тау Кита, отстоящая от нас на 12 световых лет, чуть уступает Солнцу и в размерах и в температуре. Хотя вероятность найти в ее окрестностях земноподобную планету не превосходит 3,6 процента, в течение нескольких лет радиотелескопы пытались поймать радиосигналы от тау Кита. К сожалению, первые попытки установить радиосвязь с инопланетянами окончились пока безрезультатно.

По расчетам С. Доула, в нашей Галактике существует 600—700 миллионов звезд с планетами, пригодными для жизни человека. Среднее расстояние между такими звездами составляет 24 световых года, а вероятность того, повторяем, что самая близкая из звезд имеет хотя бы одну «планету для людей», равно 10 процентам.

Все эти результаты, на наш взгляд, вселяют оптимизм. Ведь Доул искал «планеты для людей», тогда как жизнь наверняка

---

* а. е. — астрономическая единица расстояния, равная 150 миллионам километров.

может существовать в гораздо более широких границах. Это утверждение верно для белковых форм жизни, не говоря уже о гипотетических небелковых организмах, основанных не на углероде, а на других химических элементах. Жизнь — явление очень упорное, способное к существованию в самых «неудобных», по человеческим меркам, условиях. В наблюдаемой нами части вселенной есть более 10 миллиардов галактик, каждая из которых содержит в среднем более 10 миллиардов звезд. Трудно поверить, что только наша заурядная звезда Солнце, принадлежащая к одной из обычных галактик, обладает уникальнейшей особенностью — обитаемой планетой! По недавно проведенным подсчетам, скорость звездообразования в Галактике составляет 20 звезд в год, из которых половина должна обладать планетами. Из этих планет, по крайней мере на одной из них, возникают условия, пригодные для обитания. Если считать, что гибель всякой цивилизации вовсе не является фатальным концом ее технического развития, количество внеземных цивилизаций, существующих одновременно с нами в Галактике, может измеряться многими миллиардами!

Возможны ли межзвездные перелеты?

Несложные подсчеты показывают, что при постоянном ускорении, равном ускорению земной силы тяжести (9,8 м/с^2), звездолет доберется до центра нашей Галактики всего за 20 лет (считаемых по времени внутри корабля). Если же втрое увеличить его ускорение, до Туманности Андромеды, соседней к нам звездной системы, удастся добраться всего за один год!

Расчеты эти и в самом деле головокружительны. А от «головокружения» нередко забывали и о цели таких сверхдальних перелетов — ведь за время путешествия к Туманности Андромеды и обратно на Земле по земным часам пройдет не год, а три миллиона лет! Есть ли тогда смысл возвращаться в отчий дом? Да и кому нужны сведения, добытые путешественниками три миллиона лет назад?

Постепенно пыл угас. Все больше и больше стало появляться работ, доказывающих, что полеты к звездам принципиально отличаются от полетов в солнечной системе. И все чаще и чаще ставится вопрос: а возможны ли вообще межзвездные путешествия?

Представьте себе, что с помощью известных нам двигателей мы разогнали космический корабль до третьей космической скорости (16,6 км/с). Если бы эта скорость сохранилась на протяжении всего полета (что нереально, так как требует непрерывного расхода топлива), то до ближайшей звезды Проксимы Центавра мы добрались бы за 77 000 лет. На самом же деле, нынешние запуски проходят иначе. Разогнав корабль до нужной скорости, двигатели теряют все свое горючее, и далее

корабль летит «по инерции», или точнее, в свободном пассивном полете, как брошенный вверх камень. Достигнув некоторой высоты, камень остановится на мгновение, а потом начнет падать. Так же и космический корабль: первоначально разогнанный до скорости 16,6 км/с, он примерно через миллион лет остановится на границе сферы действия Солнца *, а затем начнет падать обратно, к центру солнечной системы. Для полета же на звезды с постоянным ускорением ни один из существующих космических двигателей не годится. К тому же и сроки полета устрашающе велики, что предполагает смену многих, многих поколений на звездолете — нечто совершенно утопичное.

Выход, казалось бы, заключается в постройке фотонных ракет, своеобразных исполинских «прожекторов», мощнейший пучок света которых создает реактивную тягу **. Такой поток света мог бы дать аннигиляционный двигатель, в котором при соединении «сжигалось» бы вещество и антивещество. Но, во-первых, пока что совершенно неясно, где и как взять антивещество, да и существует ли оно вообще. Во-вторых, остается открытым вопрос о способах хранения антивещества. Наконец, в-третьих, даже сконструировав аннигиляционный двигатель, мы должны построить для него межзвездную ракету такой массы и габаритов, что строительство ее на Земле (особенно из-за вредного воздействия излучений двигателя на среду) станет невозможным, так что все созидание межзвездного корабля придется вести подальше от Земли на околосолнечной орбите.

Не спасает положение и «прямоточный» двигатель, забирающий по пути межзвездное вещество. Расчеты показывают, что заборники вещества должны обладать фантастическими размерами (поперечники во многие тысячи километров!). В серии весьма убедительных работ кандидат физико-математических наук Б. К. Федюшин приходит к выводу, что в современной науке и технике не видно средств, которые сделали бы межзвездные перелеты осуществимыми ***.

Складывается впечатление, что реактивный способ движения, так блестяще оправдавший себя в окрестностях Земли, для освоения даже ближайших к нам районов Галактики просто непригоден. Кстати сказать, не годится для этой цели и «солнечный парус» — единственный пока в современной космонавтике нереактивный принцип движения. Такой парус, использующий световое давление со стороны Солнца, относится к дви-

---

* Так называется область пространства, где притяжение Солнца превосходит притяжение ближайших звезд.

** Подробнее см.: Перельман Р. Г. Цели и пути покорения космоса. М., «Наука», 1967.

*** Труды XV чтений К. Э. Циолковского. М., 1981, с. 106—113.

гателям малой тяги, так что полеты «под солнечными парусами» к звездам займут совершенно нереальные по продолжительности сроки. Другие же нереактивные способы полета к звездам пока неизвестны.

Из непреодолимости (для современного человечества) межзвездных пространств вытекает одно важное следствие: если где-то в Галактике есть другие разумные существа и они когда-то посетили Землю, то их техника заведомо непохожа на ту, которую сегодня использует космонавтика. Натужно взлетающие в небо ракеты-носители с ЖРД, пассивные на большем участке космических траекторий полета, и многое, многое другое, чем мы гордимся, показались бы, вероятно, пресловутым «гостям из Космоса» младенческими забавами. Поэтому ошибаются те энтузиасты палеокосмонавтики, которые ищут в наскальных рисунках и иных «следах» какого-то сходства с нынешними средствами освоения космоса.

Достаточно развитая технология, как когда-то заметил Артур Кларк, неотличима от магии. Техника визитеров из космоса, как, вероятно, и их поведение, показались бы нам, землянам, чем-то «магическим», сверхъестественным, необъяснимым, например, таким, каким кажется современным еще сохранившимся на Земле отсталым племенам столь привычный и вполне понятный многим из нас телевизор. Скорее же всего «магичность» техники и поведения инопланетян произведут на нас еще большее впечатление, так как внеземная цивилизация, посетившая нас, может оказаться старше человечества на многие тысячи лет.

Главное, что побуждает нас к звездным перелетам, это жажда общения с другими обществами разумных существ. Для тех, кто считает космос необитаемым, а человечество уникальным и эфемерным (неизбежность гибели!) образованием, проблемы межзвездных связей (и, в частности, перелетов) вовсе не существует.

Некоторые из этих скептиков готовы порассуждать о «вселенской миссии человечества», о том, что оно ответственно чуть ли не за судьбы всего космоса! Все это звучит малоубедительно, тем более, как заметил Козьма Прутков, нельзя «объять необъятное». С другой стороны, в ближайшие века скорее всего мы будем прикованы к окрестностям Солнца. К тому же сейчас уместнее думать не о «космической миссии», а о преодолении различных кризисов на нашей планете, из которых многие, как, например, экологический, и впрямь угрожают существованию человечества.

Никто не может остановить дерзания человеческого разума, его жажду связи с внеземными цивилизациями. Еще долго полеты к звездам должны быть признаны утопией. Но нельзя ли связаться с инопланетянами какими-то иными способами?

Современной науке известно три метода поиска внеземных цивилизаций (ВЦ):

1. Астрофизический метод;
2. Связной метод;
3. Метод поиска зондов Брейсуэлла.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

В поисках отходов

Развитие земной цивилизации шло, да и продолжает идти по ортоэволюционному пути. Он заключается во все большем и все убыстряющемся овладении веществом, энергией и информацией окружающего человека мира. Эта взрывообразно растущая экспансия уже сегодня привела человечество к различного рода «взрывам» (демографическому, информационному и другим). Подобный, как его называют, экспоненциальный рост — явление сугубо временное. Рано или поздно сопротивление среды приводит к затуханию роста, к некоторой стабилизации, суть которой сводится к установлению гармонического равновесия организма (в частности, и такого коллективного, как человеческое общество) с окружающей природной средой.

Предполагается, что ВЦ в процессе экспансивного «покорения Природы» рано или поздно перейдут к строительству таких грандиозных астроинженерных сооружений, что их удастся чуть ли не с первого взгляда заметить с Земли. Говоря конкретнее, астроинженерные сооружения должны быть, разумеется, не жидкими или газообразными, а твердотельными конструкциями, которые излучают в инфракрасном или радиодиапазоне. И хотя с межзвездных расстояний детали конструкций невозможно «разглядеть» ни в один телескоп, их излучение и будет признаком «космического чуда».

Два соображения демонстрируют полную бесперспективность этого «астрофизического» метода поисков ВЦ:

1. Если когда-нибудь найдут загадочные космические источники с избыточным длинноволновым излучением, то наверняка весьма изобретательные теоретики астрофизики придумают им естественные объяснения. Доказать же «разумность» такого излучения нечем, так как никаким кодом оно не обладает. Создание же исполинских конструкций, детали которых видны с межзвездных расстояний, выглядит утопичным даже для самых горячих сторонников «астрофизического метода».

2. Длинноволновое излучение астроинженерных конструкций — это, в сущности, отходы инопланетной техники, причем отходы колоссальной энергетической мощи, позволяющей обнаружить их с расстояний во много световых лет. Вряд ли такое безрассудство, бессмысленную трату энергии следует приписать инопланетным обществам разумных существ. Скорее всего, пережив на младенческой стадии развития экологический кризис,

они «вписались» в природу, то есть свели экологические отходы если не до нуля, то до минимума. А тогда найти подобную экологически весьма разумную цивилизацию вряд ли удастся.

Радиоперекличка с инопланетянами

Так как из знакомых человечеству средств связи радиосвязь наиболее быстра и удобна, естественно, что именно ее и пытаются применить для связи с инопланетянами. Однако и здесь нас встретили трудности, заметно снизившие первоначальный энтузизам.

Вообразите себе, что мы послали радиозапрос к ВЦ, отстоящей от нас на 100 световых лет. Допустим, что инопланетяне сразу нас поняли и тотчас же послали нам желанный радиоответ с интересующими нас сведениями. Так как он дойдет до Земли еще через 100 лет, то, следовательно, примут его не наши современники, а наши потомки. Принципиальная сложность такого радиоразговора очевидна. Посылая запрос, мы должны знать, что будет интересовать человечество через двести лет, а этого никто не знает. Можно, конечно, уловить некоторые общие тенденции развития науки, но главным в будущем будет именно то, что сегодня неизвестно. Сегодня удвоение информации в области точных наук происходит за 10--15 лет. В науке 2000 года наши сегодняшние знания составят примерно лишь 10 процентов. Можно ли с уверенностью предсказать, что будет через 200 лет и какие проблемы тогда будут волновать род человеческий?

Явно отрицательный ответ на этот риторический вопрос показывает, что проблема радиосвязи с инопланетянами теснейшим образом связана с прогностикой. В каком-то смысле радиоразговор с ВЦ похож на диалог двух призраков: мы запрашиваем не теперешнюю ВЦ, а ту, которая еще будет через 100 лет, а она посылает ответ не тому, кто спрашивает, а тому, кого еще нет — будущему человечеству!

С увеличением расстояния трудности быстро возрастают, а радиосвязь на расстояниях во многие сотни, а тем более тысячи световых лет теряет всякий смысл.

К перечисленным трудностям присоединяются и трудности «лингвистического» характера. На каком «языке» разговаривать с инопланетянами? Поймут ли они нас? А что, если у них «видение мира» и соответственная аксиоматика иные, чем у землян? Не исключено, что в таком случае мы будем говорить «на разных языках» и заведомо не поймем друг друга.

Когда в 1960 году начались первые поиски космических радиосигналов искусственного происхождения, многие специалисты (не говоря уже о профанах) плохо представляли себе возможность успеха. Неудача первых попыток привела к поспешному выводу об уникальности земной цивилизации. Отсутствие

сигналов было расценено как «сигнал отсутствия». Реальная же оценка ситуации в полной мере сделана совсем недавно в статье члена-корреспондента АН СССР В. С. Троицкого «Развитие внеземных цивилизаций и физические закономерности» *.

Убедительными расчетами В. С. Троицкий показал, что при существующих ныне средствах радиоприема уловить радиосигналы инопланетян вряд ли возможно. Эти средства «переносят все трудности связи на передающую сторону, и эти трудности оказываются непреодолимыми даже для крайне развитой цивилизации». Именно поэтому «мы не наблюдаем космических чудес» (с. 28). Для приема сигналов ВЦ, по мнению В. С. Троицкого, необходимо сооружение всенаправленной приемной антенны с максимально большой площадью приема. Ее можно представить себе, например, в виде сферы с укрепленными на ней 60 000 обычных параболических антенн диаметром 21 метр. При этом сама сфера должна иметь минимальный поперечник в 3 километра. С таким антенным устройством, быть может (но необязательно), какие-то разумные сигналы и удастся уловить.

Еще труднее построить «радиомаяк» для передачи с Земли сигналов инопланетянам. Его сооружение станет реальным лишь в будущем с успешным развитием космического транспорта, так как по ряду причин такой «маяк» нельзя разместить на Земле, а придется его удалить от нашей планеты за пределы лунной орбиты. Те же гипотетические радиомаяки ВЦ, которые сегодня с нашими средствами мы ищем, должны обладать совершенно нереальными параметрами. Так, сооружение сферического всенаправленного «маяка» мощностью 10^{18} ватт на сфере радиусом 5000 километров, потребует от ВЦ срока строительства не менее 3 миллионов лет. Скорее же всего в реальной обстановке этот исполинский срок времени надо «по крайней мере удесятерить» (с. 27).

Расчеты В. С. Троицкого разрушают наивные утопии о скором установлении радиосвязи с ВЦ. Они, естественно, рождают и другой принципиальный вопрос: а пользуются ли ВЦ вообще радиосвязью? Не известны ли им иные, куда более быстрые и эффективные средства общения? Ведь всего два века назад человечество и понятия не имело о радиоволнах, а самым быстрым средством связи считалась почтовая карета.

Из убедительных расчетов В. С. Троицкого вытекает и другой важный вывод: цивилизаций третьего типа (по Н. С. Кардашеву), освоивших энергетику в масштабе своей галактики, скорее всего просто не существует. Из-за «светового барьера» цивилизация не может занимать как угодно большой объем пространства. Она останется связным целым лишь в окрест-

---

* См. сб.: Проблема поиска внеземных цивилизаций. М., «Наука», 1981, с. 5—29.

ностях своей звезды (примерно в радиусе, не большем 0,1 светового года). Иначе говоря, реальны лишь цивилизации второго типа. В цивилизациях третьего типа плотность энергии должна быть столь велика, что не только белковые организмы, но и твердые тела там существовать не могут. Вероятно, поэтому И. С. Шкловский населил подобные цивилизации роботами, в которые, по его странной идее, в конце концов превратится и человечество. Вместо высказывания подобных идей, по мнению В. С. Троицкого, следует начать конкретные расчеты будущих приемно-передающих радиосистем и энергетики космического транспорта.

«Это сразу, — пишет он (с. 21), — ограничит буйство фантазии о безграничных энергетических возможностях высокоразвитой цивилизации и поможет выработке правильной стратегии поиска цивилизаций в нашей Галактике».

Таким образом, сегодняшние неудачи «связного метода» вполне закономерны. Лишь в будущем, быть может, он принесет успех.

Наивные «зонды Брейсуэлла»

Около двух десятилетий назад американский астроном Р. Брейсуэлл предложил начать поиск инопланетных зондов в солнечной системе и даже на околоземных орбитах. По его идее, поддержанной рядом других ученых, такие зонды имеют целью «привлечь наше внимание к существованию галактической системы обществ... Если так, то мы должны быть очень внимательными, чтобы не проглядеть необъяснимые радиосигналы, которые могут быть приняты. Мне кажется, что зонд, встреченный на межзвездных расстояниях от места его создания, должен быть набит информацией и обладать способностью разумно отвечать на вопросы» *.

В недавно опубликованной статье доктора физико-математических наук Л. В. Ксанфомалити «Проблема зондов внешней цивилизации» ** приводится анализ таинственных радиоэхо, которые иногда объяснялись отражением земных радиопередач инопланетным зондом («эффект Штермера»). Время задержки таких радиоэхо слишком велико, чтобы их можно было легко объяснить какими-то земными причинами. Любопытно, что радиоэхо наблюдаются на всех частотах независимо от свойств ионосферы на данной частоте. Еще более поразительно то, что загадочные радиоэхо регистрируются не всегда и их очередная «серия», похоже, связана каждый раз с введением в строй новинок радиотехники. По мнению Л. В. Ксанфомалити, «нельзя полностью исключить возможность связи задержанных радио-

---

* Межзвездная связь. М., «Мир», 1965, с. 267.

** См. сб.: Проблемы поиска внеземных цивилизаций. М., «Наука», 1981, с. 55—67.

эхо с гипотетическим зондом внешней цивилизации или его вспомогательными устройствами», хотя по ряду признаков «все это гораздо больше похоже на побочный продукт какого-то неизвестного процесса» *.

Скорее всего «зондов Брейсуэлла» вовсе не существует. Сама эта идея несет на себе печать младенческой стадии космонавтики, ее первых шагов по созданию искусственных спутников Луны и планет. Прилетев с расстояния в десятки световых лет, зонды Брейсуэлла ложатся на пассивные околосолнечные или околоземные орбиты. С помощью радиоволн они информируют человечество о своем существовании, а также передают сведения о нас своим создателям — далеким инопланетянам. Все трудности радиосвязи на межзвездных расстояниях тут налицо и не видно, чем принципиально наивные «зонды Брейсуэлла» отличаются от межпланетных зондов, запускаемых человечеством. Совершенно неясным остается и вопрос о том, как такие зонды сумели преодолеть межзвездные пространства.

Если когда-нибудь с других планетных систем нас посетят зонды или космические корабли, то, как уже говорилось, наверняка они будут выглядеть совсем иначе.

Неизбежность «магии»

Неисчерпаемость материи — краеугольный принцип диалектического материализма. Эта неисчерпаемость касается всех сторон объективного бытия. По словам известного советского философа профессора А. С. Кармина, «применение принципа неисчерпаемости материи к пространству и времени ведет к выводу о неисчерпаемом многообразии их форм. С этой точки зрения бесконечность пространства и времени понимается не как их метрическая бесконечность, а как бесконечное разнообразие пространственно-временных структур, пространств и времен. Это представление соответствует создаваемой современной наукой картине физической вселенной» **.

Неисчерпаемость материального мира (и на уровне явлений, и на уровне законов!) означает, что наука никогда не будет исчерпана и что впереди нас ждут не только «рядовые», но и фундаментальные открытия.

С этой точки зрения и следует подходить к проблеме связи с инопланетянами. Да, сегодня мы не знаем, как установить с ними хотя бы одностороннюю радиосвязь. Не видно и средств, с помощью которых удастся уверенно отличить «отходы» ВЦ от естественных космических явлений. Совсем безнадежной выглядит проблема межзвездных перелетов.

---

* Проблемы поиска внеземных цивилизаций. М. «Наука», 1981, с. 66.
** Кармин А. С. Познания бесконечного. М., «Мысль», 1981, с. 227.

Но это сегодня. А завтра? Неужели навсегда человечество обречено на полную изоляцию в космосе и идеи К. Э. Циолковского о вселенском распространении разума не больше, чем утопия? Думать так — значит не верить в силы науки, в мощь человеческой мысли.

Уже сейчас все чаще начинают поговаривать о «параллельных» мирах и об использовании для связи с инопланетянами иных пространственно-временных измерений. В книге У. Корлисса «Ракетные двигатели для космических полетов» («Иностранная литература», 1962, с. 451) смело утверждается, что «нельзя догматически отрицать возможность существования других измерений, так как мы не обладаем способностью воспринимать четвертое или пятое пространственное измерение. Точно так же нельзя утверждать, что расстояние до Марса не может оказаться значительно меньшим в каком-либо другом измерении».

Известные специалисты в области космонавтики доктора технических наук В. П. Бурдаков и Ю. И. Данилов в капитальной монографии «Внешние ресурсы и космонавтика» (Атомиздат, 1976) обстоятельно обсуждают возможные, но пока что фантастические тяговые системы будущего. Среди них и искусственные гравитационные экраны, которые позволили бы при малом расходе энергии перемещаться с очень большими скоростями, и антигравитационные двигатели. Рассматриваются и возможности преодоления «светового барьера» и даже использование для нужд космонавтики биополей и психокинеза (с. 445—450). Среди задач, которые стоят перед земной цивилизацией, член-корреспондент АН СССР Н. С. Кардышев называет и такую, как «изучение возможности перехода в другие измерения, например, через заряженную черную дыру» *.

Приведенные примеры показывают, насколько широким становится фронт современных научных исследований. Кардинальные успехи на этом направлении так преобразуют современную технологию, что с теперешней точки зрения она неизбежно должна показаться «магией». Тогда и многие из сегодняшних проблем связи с ВЦ, вероятно, найдут себе неожиданное решение. Естественно думать, что далеко обогнавшие нас в развитии космические цивилизации знают многое такое о материи и сознании, о чем мы и не подозреваем. А тогда прямой контакт с инопланетянами (в форме ли дистанционной связи или прямого визита к нам) непременно будет сопровождаться явлениями и событиями, которые наше нынешнее миропонимание склонно считать чуть ли не «сверхъестественными», «магическими» и «принципиально невозможными».

Неисчерпаемая природа преподнесет нам еще много сюрпризов!

---

* Проблемы поиска внеземных цивилизаций. М., «Наука», 1981, с. 37.

МАРИЯ МАМОНОВА

РОССЫПЬ СВЕРКАЮЩИХ ИСТИН

Ко всем истинам рано или поздно привыкают, они стираются от частого употребления, начинают казаться простыми, банальными. Кто теперь не бросает с легкостью: «Все мы произошли от обезьяны» или: «А все-таки она вертится»? Но вдумаемся, читатель. Преодолеем кажущуюся очевидность не нами добытого знания. Подумаем о том, что не только в развитии техники, промышленности, искусства заключена человеческая история, но и в становлении самого мышления, прошедшего столь же длительный путь. Как мыслили наши далекие предки? С помощью каких рассуждений и гениальных предвидений удалось им обрести то, что теперь школьной аксиомой вошло в нашу жизнь? Какими принципами подхода к миру они владели? Многие ответы погребены в темной памяти столетий.

Остановим обычного прохожего на улице многомиллионного города конца XX века. Вопрос: как вы докажете подвижность Земли? Конечно, всякий рассмеется. А без шуток? «Ну, мало ли, вычислили, увидели космонавты... Да, вот параллакс!..» Все верно. Ну а если без освоения космоса, без сверхточных оптических приборов? Солнце каждый день совершает свой путь над неподвижной Землей, подброшенный камень падает к ногам, а не отлетает куда-то, птицы и облака не уносятся в противоположную сторону от вращения планеты, здания и деревья не вырываются с корнем от громадного ускорения... Сам великий Галилей, давший блестящие геометрические и логические доказательства движения Земли, признавался: «С величайшим усилием коперниканцы смогли предпочесть то, что было продиктовано им разумом, ведь оно противоречило всему очевидному опыту людей». Галилея это противоречие не смущало, он опирался на развитую геометрию и механику, на труды Тихо Браге, Кеплера и Коперника, на свои наблюдения светил... Казалось бы, можно с уверенностью сказать — все открытия совершаются вовремя, соответствуя технике, науке и обществу.

Коснемся еще одного очень существенного взгляда на природу. Естествознание XVIII—XIX столетий вторглось в статичный мир и во всеуслышание объявило его изменчивость. Мир как процесс! Человек не результат божественного творения, его разум не абсолютная неизменная сущность, а последняя ступень эволюционной лестницы; Земля также имеет свою историю; раскопки доставляют поразительные сведения о древнем образе жизни; идет полемика Нидгэма и Спалланцани о самозарождении жизни, и Вольтер осмеивает это предположение (XVIII в.); Кант и Лаплас создают небулярную гипотезу

происхождения солнечной системы и, опираясь на наблюдательную астрономию, открыто, подробно говорят о множественности и вечности миров. Все эти построения закономерны, подготовлены эмпирическим этапом в развитии наук. Мы можем проследить их истоки.

Но давайте оставим далеко впереди это недавнее время и возвратимся в детство человеческой мысли — к первоистокам древнегреческой философии. Более двух тысяч лет отделяет нас от таинственного начала греческой мысли. Развеяны веками, сметены ураганом народов и государств книги античных мудрецов VI—V веков до н. э. Отрывки из трактатов, немногие афоризмы, отдельные мысли — вот наше достояние, вот обломки минувшей бури познания, по которым мудрено теперь восстановить весь корабль.

Трудноразрешимая встает проблема — как случается предвосхищение? Какие невидимые токи питают мысль, когда ей не на что практически опереться?..

Середина VI века до н. э. Милетец Анаксимандр создает книгу «О природе». Спустя двадцать пять веков мы получим из нее всего несколько фрагментов: «Движение вечно, изменяются лишь части, а целое остается, миры разрушаются и рождаются вновь...» Комментатор Аэций свидетельствует: «По учению Анаксимандра первые живые существа возникли во влажном месте. Они были покрыты чешуей с шипами. Затем они вышли на сушу... и вскоре они изменили свой образ жизни». Псевдо-Плутарх прибавляет: «А еще говорит Анаксимандр, что первый человек произошел от живых существ другого вида». Член пифагорейского союза Алкмеон (VI в. до н. э.) обронил фразу, спустя века ставшую разработанной научной истиной: «Первенствующая часть души находится в мозге». Его современник элеат Ксенофан утверждал: «Все мы родились из земли и воды».

Привыкли считать, что дарвинизм обратил внимание на сформированные трудом человеческие руки. Между тем Аристотель сохранил поразительный отрывок из утраченной ныне книги Анаксагора (V в. до н. э.): «Человек является самым разумным из животных вследствие того, что он имеет руки». Как возникла эта уникальная по глубине догадка, осталось неизвестным.

Греческий атомист Демокрит (около 460 г. — нач. IV в. до н. э.) предполагал следующую картину мира: «Земля, планеты и солнце были камнями. Потом во вращении солнце сделалось огненным, и от его света нагрелась земля. **Из влажных веществ под действием тепла начала рождаться жизнь...»** Вспомним в связи с этим полемику XVIII века, гипотезу Опарина 1922 года...

Предложим читателю и такой фрагмент из Демокрита: «Первые люди не знали ни огня, ни жилищ, ни приготовления

пищи. Они тяжело трудились и часто зимой умирали от холода и голода. Но потом они стали **искать пещеры,** научились пользоваться огнем, изобрели искусства... Сначала не было языка, а только знаки. Потом появились нечленораздельные звуки, а позже — речь». Ну и что, скажет наш современник, примитивно изложенные азы. Но ведь это рукопись V века до нашей эры!.. Как сумела подняться на такие высоты мысль? Мы не знаем. Из семидесяти произведений философа мы получили отрывки.

Наиболее смелые идеи об устройстве мироздания обычно связываются с именами Бруно, Коперника, Галилея. Конечно, они подкрепили свои мысли серьезными научными аргументами. Но удивительные догадки были сделаны за две тысячи лет до них. Левкипп (V в. до н. э., о нем почти никаких сведений не сохранилось) и Демокрит: «Миров бесчисленное множество, и они имеют начало и конец во времени, и ничто не возникает из небытия... Атомы носятся во вселенной и рождают все сложное... Миры бесчисленны и различны. В иных нет ни луны, ни солнца. В других — луна и солнце больше, чем у нас. Одни миры еще растут, другие — в расцвете, а третьи разрушаются...» Демокрит утверждает: «Солнце громадно. Планеты имеют над ним разную высоту». Впоследствии разность расстояния планет от Солнца будет вычислена. По свидетельству Аристотеля, пифагорейцы (VI в. до н. э.) были уверены, что не следует приписывать Земле центральное положение и что «великое множество светил кругообразно движется с великой быстротой». Так, пифагореец Филолай, по свидетельству Диогена, считал, что Земля вращается вокруг центрального огня по наклонному кругу вместе с Солнцем и Луной. Цепь рассуждений, ведущая к этому выводу, утрачена. Элеец Парменид (VI в. до н. э.) утверждал, что вселенная вечна, едина и безначальна. Эмпедокл (V в. до н. э.) учил, что в мире есть лишь соединение и разделение элементов под действием двух сил — сближающей и разделяющей.

Ряд поразительных догадок высказан Анаксагором (V в. до н. э.). Он считал, что круговое движение совершают Земля, Солнце, Луна, звезды и сам воздух. Вспомним, что один из доводов противников коперниканства сводился к следующему — если бы планета вращалась, воздух давно отлетел бы от нее. Диоген сообщает: «Анаксагор сказал, что все небо состоит из камней. Вследствие сильного круговращения оно держится, и, если это движение прекратится, оно упадет вниз». Так еще до возникновения Птолемеевой системы сфер была показана ее излишность и объяснено грядущим догматикам XVI века, отчего тела из пространства не падают им на головы. Анаксагору же принадлежит и блестящее объяснение затмений: «Луна ниже Солнца и ближе к нам. Затмение — оттого, что ее загораживает от Солнца Земля, солнечное же затмение — ког-

да во время, новолуния Луна закрывает собою Солнце». И тут как бы невзначай, словно касаясь общеизвестного факта, философ добавляет: «Луна ведь заимствует свой свет от Солнца». Эта мысль была впервые щедро брошена рукой гения на заре человеческой мысли... А какая борьба велась вокруг этого положения в XVI столетии, как упорно пришлось доказывать вторичность лунного свечения!..

Впервые лунный ландшафт увидел в телескоп Галилей, обнаружил горы и кратеры нашего спутника. Вот фрагмент: «Луна обитаема. Она — земной природы и на ней есть равнины и пропасти, холмы и долины...» Но эти слова принадлежат не Галилею, а тому же Анаксагору — греческому философу V века до нашей эры.

Как же объяснить удивительные предвосхищения истин, полученных столько столетий спустя, после ошибок и заблуждений, путем кропотливого труда, полученных самостоятельно, независимо от загадочных мыслителей маленького древнего народа, затерявшихся в песках истории?.. Думается, что ответ надо искать в самом человеческом разуме, в еще не раскрытых до конца способностях и возможностях его, в тех пока неведомых движениях его, которые преображают лежащий перед нами мир и превращают его в россыпь сверкающих истин.

ЮРИЙ ЯРОВОЙ

ЭТА СТРАННАЯ КОРА...

Как бы вы отреагировали на сообщение о том, что Москва опускается в недра Земли? Неуклонно, неторопливо, по четыре миллиметра в год, но тем не менее опускается... Так стоит ли тогда удивляться, что Уральские горы были некогда дном морским?

— Да нет же! — искренне возмущается профессор Г. А. Смирнов, заведующий лабораторией литологии и фациального анализа * Института геологии и геохимии Уральского научного центра. — Нет, нет и еще раз нет! Урал был не просто дном моря, а там, в глубинах океана, был заложен и сформировался! Заложен, понимаете? Заложен, если хотите — воздвигнут, создан тектоническими силами. В чем тонкость? Хорошо, начнем все сначала...

И мы начинаем разбираться сначала...

Итак, 1620 год, Англия. Маститый, нашумевший своим «Но-

* Литология — наука о камне. Фация — пласт или свита пластов, отличающихся одинаковым литологическим составом.

вым Органоном» философ Фрэнсис Бэкон, родоначальник английского материализма, непримиримый противник схоластики, рационалист и прагматист, устав от бесконечной изнурительной борьбы с церковью, сдался. И пора — за плечами уже шестьдесят лет, жизнь подходит к закату, сколько можно «препарировать» и Библию, и самого бога? Слишком уж велик был авторитет философа-бунтаря, чтобы можно было его без оглядки предать анафеме — церковь искала с Бэконом примирения. И вдруг, когда, казалось, философ пошел на примирение, разнесся кощунственный слух: Фрэнсис Бэкон усомнился, что бог создал Землю твердой! Континенты и острова, по мнению Бэкона, плывут! Но не в воде, не в океане, а в самой тверди Земли! Да не спятил ли великий философ-рационалист?

Трудно сказать, что натолкнуло Бэкона на мысль о подвижности континентов. Скорее всего внимательное изучение очертаний противоположных берегов Атлантического океана. Но так или иначе, а великий английский философ первым усомнился, что Земля твердая и незыблемая, как сам камень.

Опыт, а Фрэнсис Бэкон основой всех точных наук считал эксперимент, который великого английского философа привел к мысли о движении материков, несложно проделать каждому, кто имеет физическую карту мира. Для этого нужно ножницами вырезать контуры Африки или перерисовать их на кальку и совместить ее западный берег с восточным Южной Америки таким образом, чтобы южноамериканский мыс Сан-Роки вошел в Гвинейский залив. Точно так же, правда, с несколько худшим совпадением, можно совместить восточный берег Северной Америки с Европой и северо-западом Африки. Впервые карта с совмещенными берегами континентов Америки, Африки и Европы была опубликована в 1908 году, и принадлежала она Снайдеру. Однако гипотеза дрейфа континентов связывается с другим именем — с именем немецкого метеоролога Вегенера, который в 1910 году разработал довольно стройную теорию о существовании в далеком геологическом прошлом Земли субконтинента Гондваны с центром на Южном полюсе. Одновременно, как выяснилось позднее, подобную же теорию выдвинул и русский ученый Ертов — ныне совершенно забытый.

Дело не столько в самом дрейфе (континенты, как показали точные астрономические замеры и расчеты, и сейчас продолжают двигаться со скоростью порядка пяти сантиметров в год), сколько в объяснении механизма их дрейфа. Согласно представлениям Вегенера, материки представляют собой некие гигантские «льдины», плавающие на расплавленной жидкой магме. По представлениям же фиксистов, материки образовались в результате пульсаций твердой литосферы земного шара, а горные хребты — это своеобразные складки, морщины «лика»

планеты. Другими словами, если мобилисты представляют материки как некие плоты, свободно плавающие на океане жидкой магмы, то фиксисты видят их в виде наростов, бугров литосферы, уходящей своими корнями в глубь планеты. И надо сказать, что такие представления лучше объясняют очень многие вопросы геологии, в том числе и вопросы рудообразований.

— Да, все дело в этом, — профессор Г. А. Смирнов на секунду задумывается. — Все дело в том, что за революционностью новых взглядов в геологии, в том числе и на происхождение Уральского горного хребта, кроются вопросы и сугубо утилитарные: где искать новые руды? Если, скажем, медные руды на Урале образовались в результате вулканической деятельности — их искать надо в одном месте, а если они океанического происхождения? Понимаете, какие сложные путешествия приходится предпринимать сейчас геологам-практикам, особенно уральским? В глубины Земли! К ядру планеты!

Граница между корой и мантией Земли получила название слоя «Мохо» — по имени югославского ученого Мохоровичича, который впервые в 1909 году зарегистрировал отражение мощных сейсмических волн, вызванных землетрясением в Хорватии, от какого-то, казалось, зеркального слоя, лежащего на глубине около 50 километров. Таким образом, слой «Мохо» и явился естественной границей между земной корой и ее мантией.

А теперь представим, что в этом слое «Мохо» и далее в коре образовалась некая дырка, сквозь которую может изливаться наверх находящееся под чудовищным давлением вещество мантии. Именно такими «дырками» в земной коре и представляют себе сейчас ученые действующие вулканы. Но каковы будут свойства, прежде всего физические, этого излившегося вещества мантии?

Для всех ферромагнитных веществ, то есть веществ, обладающих ярко выраженной намагниченностью, существует так называемая точка Кюри, при переходе которой они теряют свои магнитные свойства и становятся парамагнетиками. Вспомним, например, как получается немагнитная аустенитная сталь. Чтобы сталь превратить в немагнитную, ее нужно нагреть выше температуры 770 градусов.

Это и есть точка Кюри. Для других ферромагнетиков — кобальта и никеля — эта точка Кюри соответственно будет равна 1120 и 358 градусам, то есть заведомо ниже температуры магмы. А из этого следует, что вещество мантии, излившееся на поверхность Земли, должно иметь ту полярность, которую в это время имела сама Земля. А Земля, как установлено магнитологами, меняла свою полярность, то есть Южный полюс с Северным, примерно 280 раз — в среднем раз в полмиллиона лет.

Как ни странно, доказательства гипотезы «дырчатости» мантии были предоставлены... Тихим океаном.

Карта, полученная при помощи точнейших магнитометров, превратила дно Тихого океана в «шкуру зебры»: полоса нормальной намагниченности через каждые 35 километров сменялась полосой отрицательной намагниченности. Если произвести несложные арифметические расчеты, то в результате мы получим потоки мантии вместе с лежащими на ней участками земной коры, которые должны дрейфовать со скоростью примерно 3,5 саниметра в год — только так можно объяснить полосчатость магнитной карты этого участка Тихого океана. А цифра 3,5 почти совпадает, как говорят ученые, хорошо согласовывается с последними астрономическими наблюдениями, которые показали, что современный дрейф континентов равен 5 сантиметрам в год. Круг доказательств и фактов замкнулся.

Но остался повисшим в воздухе вопрос о состоянии вещества мантии: если она жидкая, то прав Вегенер. Но почему тогда геологи, говоря о «дырках» в мантии, употребляют выражение «порции скальной породы»? Потому что согласно новейшим исследованиям физиков вещество мантии при таких чудовищных давлениях и температурах может находиться только в твердом, правда, очень своеобразном состоянии. В таком «скальном» виде оно и выдавливается через «дырки» в мантии. Но как же тогда объяснить «плавание» континентов?

Возникает вопрос: как могут эти чудовищные, весом в миллионы миллиардов тонн, глыбы скользить друг по другу? Ведь для этого между ними должна быть некая геотектоническая смазка?!

— Да, есть, — опять поворачивается Георгий Алексеевич к геологической карте, висящей на стене. — Вот, обратите внимание на эти небольшие участки горной породы. Это серпентинит. Или змеевик — довольно странная горная порода. Нас, геологов, она часто ставит, вернее, ставила в тупик. Серпентиниты — очень плотные зеленоватого оттенка горные породы — совершенно явно глубинного происхождения. Однако мы их очень часто, в том числе и на Урале, находим в совершенно «неположенных» местах. Эти серпентиниты путают, как говорится, все карты. Наши, геологические, конечно, карты. Путали до тех пор, пока мы не пришли к выводу, что серпентиниты под влиянием тектонических напряжений выдавливаются (в самых «неподходящих» местах) из глубины мантии на поверхность благодаря их необычайной скользкости. Может, это слово и не очень корректное, но зато хорошо отражает суть дела: когда возьмешь в руки образец серпентинита, то он даже на ощупь кажется «мыльным».

А теперь представим, что серпентиниты выдавливаются из мантии. Где? В каких местах надо ждать их появление на по-

верхности? Конечно, в местах разломов, стыков блоков — там же трещины должны идти сквозь всю кору! Вот вам и «смазка» между краями горных блоков...

Геологи (чтоб уж кончить с дрейфом континентов) насчитывают сейчас шесть гигантских плит-материков, которые медленно дрейфуют, текут вместе с веществом мантии. И там, где они расходятся, образуются трещины — гигантские ущелья, иначе — рифты *. А там, где они, эти плиты-материки, сталкиваются, образуются складки, горные цепи. Как же эти взгляды согласуются с гипотезой о первичном сверхконтиненте — Гондване?

Ученые-океанографы (еще одна наука была втянута в спор между фиксистами и мобилистами!) путем «прощупывания» океанического дна эхолотами установили, что от Антарктиды, которая согласно гипотезе праконтинента осталась на месте (она и в самом деле даже сейчас не дрейфует), во все стороны по земному шару тянутся подводные горные хребты — подобно растопыренной пятерне. А вдоль них идут глубокие расселины — рифты. Вот в этих-то рифтах ученые неизменно находили образцы глубинного серпентинита.

— Так что же — Урал, выходит, дитя океана? — повторяет Георгий Алексеевич и задумывается на мгновение. — Так далеко, в центре крупнейшего на земном шаре континента... Одно дело — Кордильеры, где все ясно: были когда-то частью океана, смяты, подняты над землей дном океана, которое «подныривает» под Южную Америку, и совсем другое дело континентальный Урал... Знаете, — воодушевляется вдруг он, — я глубоко убежден, что одно из крупнейших достижений естествознания нашего века — описание дна океана, твердо установленный факт, что дно океана, в особенности его подводные хребты и рифты на них, — это нечто принципиально отличное от того, что мы видим на суше. Раньше ведь считалось, что земная кора — на суше или под водой — одно и то же. И вот, когда было точно установлено, что дно океана устроено принципиально иначе, чем суша, когда стало ясно и было доказано, что Кордильеры образовались на дне моря, а потом уж были выдвинуты, выпячены из его глубин, как гигантские торосы, когда сталкиваются две льдины, мы невольно подумали: так ведь на нашем «сухопутном» Урале то же самое — та же, «океаническая» картина!

Но дело даже не в том, что Урал образовался на дне океана. Дно океана тоже может быть разным: одно дело — срединно-океанические хребты, другое — разломы в океанической коре. И совсем уж иное — прибрежный шельф или так называемые островные дуги!

---

* Трещина, расселина *(англ.)*.

Вопрос сейчас в том, чтобы выяснить, в какой из этапов развития древний Урал отвечал океанической стадии, в какой — переходной, или островодужной, и, наконец, когда в его недрах сформировалась континентальная кора? Над решением этого вопроса и трудятся сейчас ученые.

Принципиальная новость заключается еще и в том, что Уральские горы нам сейчас представляются в виде гигантских пластин-чешуй, местами сдвинутых относительно друг друга так, что древние комплексы пород оказались над более молодыми!

СЕРГЕЙ ЛУКОНИН

МЕЧТА — ВАШИ ПОЗЫВНЫЕ!

В исторической науке есть факты, интерес к которым, несмотря на их загадочность, со временем ослабевает. И только пытливый ум ученого, его настойчивость нет-нет да озарит эти факты новым светом, даже если события происходили на другом материке.

Перед нами две всемирные загадки, заданные нашими прапрапрадурами давным-давно, примерно полтора тысячелетия назад. Но об их существовании мы узнали в нашем веке. Хранятся они на больших расстояниях друг от друга: одна — в перуанской пустыне, или плато Наска, другая — на территории Каракалпакии в пустыне Устюрт. Казалось бы, что общего между ними? Расположены они на разных меридианах, за морями и океанами; там — индейская цивилизация с прочной оседлостью, здесь — кочевые племена, обветренные буйными суховеями. Разве что почтенный возраст, вызывающий к себе трепетное уважение. И все-таки...

Удивительное дело — наука. Она может перекидывать мосты в разные направления, от одной древнейшей культуры к другой, от вчерашнего явления в будущее. Вот совсем недавно вспыхнула новая загадка — Устюрт, и мы невольно оглядываемся по сторонам, что-то знакомое, кажется, где-то встречали: конечно — Наска!

Более сорока лет назад весь мир облетела сенсация: в Перу, в пустыне Наска, обнаружены гигантские изображения животных, птиц, зверей, множество спиралей, линий, простирающихся на десятки и сотни метров по всему плато. Количество их просто фантастическое: 63 тысячи линий, 100 спиралей, 788 фигур. Не менее любопытным оказалось и другое: рисунки начертаны словно по эскизам художника, чья талантливая и энергичная рука изобразила живой мир — реальный и полу-

фантастический. У рыбы — плавники, хвост и тело в подчеркнуто напряженных линиях, как будто плывет под водой; у неведомой птицы — распластанные в полете крылья; поза обезьяны угловата, фиксирует застывшее на секунду мгновение.

А вот «графика» Устюрта. Она лаконична, но не менее выразительна — стремительностью штрихов, уходящих за горизонт. Непрерывной цепью от мыса Дуана на Аральском море в глубь Устюрта тянутся необычные планировки. Каждая из них напоминает мешок с раздвоенными концами в виде стрел, которые, в свою очередь, имеют треугольные наконечники с кружочками по краям в диаметре десять метров. Длина же всей планировки вместе с направляющим валом достигает полутора километров и шириной 400—600 метров. Причем все без исключения стрелы развернуты строго по курсу — на север! Как в детской игре: бежишь по лесу, ищешь стрелки на деревьях, на земле, ведущие к тайнику...

Существует предположение, что эта гигантская стреловидная система простирается дальше по территории нынешнего Казахстана. Размеры Наски перед ней выглядят малым плацдармом.

Сколько дум, споров, догадок — одна увлекательней другой. Что было, казалось, бесспорно — вдруг развенчано, что было намеком — стало новым звеном в общей цепи науки. Наиболее спокойное объяснение происхождения рисунков Наски дают авторы открытия: американский ученый Пауль Косок и исследователь Мария Райх. Фигуры животных и линии плато, утверждают они, есть не что иное как схема расположения звезд, а значит, это и календарь, по которому древние обитатели Наска ориентировали свои чисто земные заботы: периоды половодья, засухи, сроки посевов, уборки урожаев и других не менее значительных событий в их жизни. Не будем пока забегать вперед в оценке, важно заметить, что доводам Косок и Райх служат вполне веские основания. В июньский день, оглядываясь на заходящее солнце, Косок обратил внимание, что одна из линий плато точно указывает на траекторию зимнего солнцестояния. Соотношение фигуры, например обезьяны, — совпадает с расположением созвездий Льва, Гончих Псов и Большой Медведицы. К ней же протянут длинный луч, упирающийся другим концом в самую яркую звезду, означавшую по приметам многих народов приход воды. Вообще надо заметить, немало древних культур в истории, где люди обладали серьезными познаниями в области топографии и астрономии. Тому свидетельства: линии и знаки Наски — точная копия озера Титикака в масштабе один к шестнадцати; календари индейцев майя — звездных карт. Мало-мальски развитая культура владела ими в совершенстве, естественно, с поправкой на время.

Между тем советские ученые пока не располагают прямыми доказательствами наличия астрономических познаний у кочев-

ников устюртского плато. Но косвенные проследить можно. Вспомните: стрелы планировки смотрят на север, как бы навязывая зрительскому восприятию свою очень важную идею, сопряженную с ориентиром планетным. Казалось бы, что роднит эти ростки научных исследований кочевников с их языческим представлением о вселенной? Раскопки открывают завораживающую картину: цепочка курганов тянется вдоль восточного чинка Устюрта по побережью Аральского моря, примыкая к системе стрел; неисчислимое количество могильников, культовых сооружений — и все это дело рук кочевников-сарматов, движимых поклонением перед таинственной силой природы... Но только ли этим? Невольно ловишь себя на одной и той же мысли: только ли чисто религиозно-мистические мотивы толкали древние народы на подобные циклопические творения? Можно успокоиться и таким объяснением: человек был озабочен поиском якобы иного измерения, скрытого от глаз чужеземца; видите ли, в обыкновенных насыпях не так-то просто заметить многометровое божество в облике змеи, рыбы или стрелы. Было бы нелепо оспаривать известное положение, что в исторические времена религия играла колоссальную роль в общественно-социальном сознании народов. Но когда перед нами факты, явно не совместимые с классической формулой, мол, все дело в язычестве, обрядовости и т. д., то на помощь вызываешь самую обыкновенную логику. Любое культовое изображение воздействует прежде всего на чувства человека — через его зрительское восприятие. Это истина. А раз так, то с какой же точки можно ему рассмотреть гигантские линии, стрелы, рисунки? Конечно, с высоты птичьего полета! Кто, где, на чем взлетал?

Известен и другой поворот этой темы. Возводя подобные сооружения, человек обращался непосредственно к всевышним силам, которые смотрят на землю. Причем заметим, сооружения, подчас не сравнимые по масштабам ни с пирамидами Хеопса, ни с монолитной скальной архитектурой древней Индии. Наска и Устюрт в этом смысле уникальные творения. И снова вопрос: неужели и тогда, казалось бы, в царстве мрака, невежества, маниакального язычества не нашлись бы люди, способные подчинять своему воображению целые племена, даже в условиях родовых, деспотических отношений; неужели никто из них не призадумался над смыслом жизни в отрыве от «производственной магии» и не подошел на цыпочках к материалистическому представлению о мире, в нашем, нынешнем, понимании?

Вспомним тех же древних эллинов, их поклонения богам, жертвоприношения на алтаре, знамения — все это для нас кажется теперь наивным. Но вместе с тем уже тогда ими была сконструирована материалистическая модель мироздания. Сегодня мы лишь подтверждаем и развиваем вширь и вглубь то, что было начертано мыслителями всех времен. Наверное, все-

таки не стоит сбрасывать со счетов естественное желание познать бытие и самого себя каждым человеком, независимо от того, где и когда он жил.

Существует группа ученых, которые связывают рассматриваемые нами феномены с инопланетянами. Воображение их уводит настолько далеко, что дух захватывает. Вот, например, одно характерное высказывание: «Линии Наски имеют инопланетные корни, они были вычерчены для пришельцев из космоса, служили ориентирами и опознавательными знаками для их летательных аппаратов. Сама пустыня — гигантский космодром, управление которым осуществлялось из-под земли с помощью электромагнитной теории». Даже в этом задорном объяснении проглядывают заметные швы. С одной стороны, линии «были вычерчены для пришельцев», а с другой — космодром, управление из-под земли. Кем — инопланетянами? Тогда им проще всего своими средствами и собственной символикой обозначить ориентиры межпланетных стартов. То, что рисунки Наска и стреловидная планировка Устюрта дело рук землян, — доказано научно и практически. Художники Наски сгребали верхний слой пампы, состоящий из камней, грунт обнажался, и получалось графическое изображение. Технология устюртских стрел иная: сначала возводился вал, а над ним насыпь из камней здешнего известняка; какой высоты она была в действительности — сейчас неизвестно, во всяком случае, о подземных коммуникациях, связанных якобы с управлением космическими аппаратами, говорить всерьез как-то неловко.

Целесообразней, видимо, представить себе, в каких природных, социальных и других условиях жили люди Наски и Устюрта. Хотя и здесь уйма «белых пятен», в особенности в природных условиях. Но в любом случае речь идет о гигантских формах деятельности человека, на которые уходило немало физических сил, десятки, а то и сотни лет — и все ради чего? Ради календаря, который мы в состоянии лишь увидеть с самолета?.. Не проще ли ограничиться умеренными параметрами: скажем: «Ацтекский календарь» — практичен и красив.

Задумываясь над скромными результатами исследований устюртского плато, ученые делают, в частности, вывод, что стреловидная планировка — это «загоны для гигантских облавных охот на мигрирующих животных — куланов, сайгаков». Было бы удобно остановиться на этой гипотезе, тем более что есть тому ряд подтверждений: кочевавшие на Устюрте сарматские племена использовали плато обычно в осенне-весенний периоды в целях перегона животных из Хорезма в Приуралье. Недаром же в районах Южного Урала находят вещи хорезмийского происхождения. Может быть, стоит сопоставить методы охот — вчерашних и нынешних? Что, если они сохранились в фольклоре, песнях, устном народном творчестве узбекских и казахских

скотоводов, и мы увидим «почерк» кочевых племен почти двухтысячелетней давности?

А пока не дает покоя один и тот же вопрос: с какой целью разрисовывали люди обширные пространства, выкапывали миллионы кубометров земли для возведения каких-то мешков со стрелами, нужных разве что мифическому исполину ростом до облаков, вышагивающему по предгорью Анд и пустыням Устюрта?.. Странным кажется вообще тяга к гигантомании (причем, подчеркиваю, речь идет о плоскостных изображениях). Вспомните графику на колумбийском плато штата Айдахо в США, где запечатлены змея и лошадь, а в центре женщина; или великан и огромная птица, чей размах крыльев достигает сорока метров (штат Джорджия).

В гипотезе межпланетного происхождения есть один заманчивый пункт, а точнее — слово: контакт. Однако не в том смысле, в каком подразумевают ее защитники. Существует извечное, генетическое влечение человека выйти за пределы собственных ощущений и представлений о сущности бытия, в той неуемной мечте, которая выражается на разных этапах исторического развития индивидуально, но с той же пылкой надеждой найти себе подобных. И если сегодня наше практическое освоение космоса — это и одновременно планомерное и далеко идущее стремление наладить контакт с внеземными цивилизациями, то почему бы нам не вообразить, что народы Наски и Устюрта делали попытку отправить сигнал, позывные в космос средствами весьма оригинальными и наивными, но для них вполне приемлемыми.

А может быть, жители Наски предчувствовали неизбежность гибели своей цивилизации?... Закономерно желание человека-творца оставить после своей смерти итог многолетнего труда, борьбы со стихией, дабы он закрепился в умах и сердцах последующих поколений. Почему бы тогда целому народу, племени не решиться на подобный шаг? Так оно и есть в действительности. Великие культуры — греческая, римская, индийская — не нуждались в поисках форм памяти, она создавалась ими веками зримо, ее можно потрогать, хотя стихии и делают свое страшное дело. Но как быть малым культурам, подобным культурам Наски и Устюрта. Выход подсказан самой природой... И вот они — рисунки, спирали, стрелы — как прощальный жест, как закрепленная память о себе перед надвигающейся мощной цивилизацией инков в Южной Америке и грозных племен гуннов — в Приуралье...

Понятие «археологическая культура» в исторической науке имеет совершенно определенное значение, связанное прежде всего с местом и временем рассматриваемого памятника. Культура Наски, культура Устюрта, как, впрочем, и другие культуры подобного рода, — достояние не только одной нации. И от того как мы, в свою очередь, будем развивать культуру наших

представлений об исчезнувших цивилизациях, которые в застывшей мольбе как бы протягивают нам руки, зависит и взгляд людей на нынешние наши деяния, взгляд поколений, которым предстоит жить через тысячелетия.

Знакомишься с историей открытия и исследования культуры Наски и с тревогой думаешь о том, что может случиться непоправимое: исчезнет и этот последний росчерк. Не так уж много на свете одержимых людей, таких, как немецкий математик Мария Райх, которая сорок лет занимается проблемой Наски. Кто же заменит эту замечательную подвижницу, продолжит ее изыскания, имеющие теперь мировое значение? Но если панта Наски будет по-прежнему в руках одиночек-археологов, то катастрофы не миновать — современная цивилизация в лице туристов, спортсменов, охотников, праздных и непраздных людей поглотит, сотрет уникальное наследие Наски.

В этом отношении к работам экспедиции Академии наук Узбекистана на территории плато Устюрт можно относиться с заведомым доверием. Археологи по крупицам собирают научный материал, из которого складывается «очертание» таинственной культуры. Трудно представить себе сегодня археологическую науку без коллективного творчества — как бы ни был зажигателен труд талантливого одиночки. Известно: чем больше собрано фактического материала, тем больше простора для творческой фантазии ученого, отраженной на очень важной для науки идее.

Нам, конечно, сейчас трудно произносить такие слова и понятия, как «космос», «мировоззрение», «общественные формации», когда пытаемся проникнуть в психологию и характер поведения жителя Наски и Устюрта — слишком грандиозны дистанции между нами, даже по отношению к тем цивилизациям, которые были их современниками. Важно, видимо, уловить: что же нас всех объединяет?

Вот почему я не представляю себе тот же Устюрт без человека-мыслителя... Вот он соскочил с взмыленной лошади, сел у костра и замер в немом восторге от сияния ночи, которое раскошелилось звездами. Он чувствует. И он же думает. Тягуча его мысль, как долгая степная песнь и как стрела — легка. Пронзает она душу кочевника, и нет покоя ему от догадки, пока не воплотится она в дело, которое увлекает его народ. И тогда создается великое состояние — культура.

Нам же остается протянуть ей руку.

ВЛАДИМИР ФАЛЕЙ

БОГИ ОЛИМПА И ХРОМОСОМЫ

Афина, Афродита, Фемида, Дионис и другие имена древнегреческих богов известны нам со школы. Сюжеты античной мифологии отражены в творчестве многих художников, поэтов, композиторов минувших эпох и нового времени. Мифы греков причудливы. Удивительно, что в порождения необузданной фантазии люди когда-то всерьез верили.

Бог Кронос, вняв предсказанию, что он будет низвергнут кем-то из своих детей, проглатывал каждого появившегося на свет прямого потомка. Но однажды жена его, Рея, спасая новорожденного, дала Кроносу проглотить завернутый в пеленки камень. Так остался жить бог Зевс. Возмужав, Зевс по совету Метиды напоил отца зельем и вывел из утробы уснувшего отца всех проглоченных когда-то сестер и братьев, затем сбросил Кроноса в Тартар и стал верховным правителем богов и людей.

В этой и во множестве других легенд о богах Олимпа, казалось бы, нет ничего, что давало бы пищу для серьезных обобщений. Неужели высокообразованные соотечественники Сократа и Платона, Архимеда, Аристофана и Эсхила всерьез принимали выдумки? Или в мифах этих был какой-то смысл, который нам сейчас непонятен?

Вера в олимпийцев укреплялась на протяжении сотен лет, во многих областях Средиземноморья у нее были свои теоретики и мифотворцы. Если бы мы попытались уяснить «теоретическую», вернее, теологическую мотивацию христианских обрядов, объяснить первосмысл вероучения только на основе библейских сказаний, скульптурных или иконных изображений Христа, его матери, апостолов, ангелов и т. п., не вникая в трактовку отцов церкви, богословов, то мы бы оказались в плену причудливой фантазии, не более того. Точно так обстоит дело и с богами Олимпа.

Первое, что бросается в глаза в древнегреческом мифотворчестве, — это антропоморфизм. Олицетворение явлений природы, персонификация мысли, одушевление научных категорий. За многовековую историю Греции создано не менее тысячи богов, героев, титанов, нимф, муз и демонов. Но давайте остановимся на главных божествах. Зевс — бог, олицетворяющий *власть*. Первая жена его Метида — богиня *мышления*. Узнав, что от нее родится сын, который будет сильнее его, боясь быть свергнутым своим сыном, как и отец Кронос, Зевс проглатывает

беременную супругу. Затем по его просьбе ему раскалывают голову топором, оттуда выходит в полном боевом снаряжении дочь Зевса — богиня *мудрости* Афина.

Невероятный, фантастический способ рождения Афины поражал воображение, запоминался!

Второй раз Зевс женился на богине *справедливости* Фемиде. Богиня *памяти* Мнемосина родила Зевсу девять муз, в которых легко угадываются *положительные эмоции.* Геба родила бога *войны и разбоя* Арея. От Дианы родилась богиня *любви* Афродита. Майя подарила Зевсу сына-бога, покровителя купцов, торговли и *прибыли* Гермеса. Сам Гермес произвел на свет бога *страха* Пана.

Что ни бог, то одна из важнейших свойств Человека! Своеобразный учебник психологии. Гефест — бог *физического труда.* Эриннии — богини *совести.* Гигия — богиня *здоровья.* Гипнос — бог *сна.* Дионис — бог *праздности и веселья.* Хариты — богини *красоты.* Танатос — бог *смерти* и т. д.

«Познай себя!» — было написано на храме Аполлона в Дельфах.

Познание фундаментальных свойств человека шло в Древней Греции и через философию, и через мифотворчество. Одно из наиболее совершенных философских учений — стоическое, стремясь выработать принципы воспитания людей неколебимой воли, «бесстрастных», теоретически делило человека на тело и душу. Выделяло, «например, такие душевные свойства, как дарование, искусство, совершенствование и тому подобное, или такие телесные свойства, как жизнь, здоровье, сила, благосостояние, безущербность, красота и многое другое...» «Душа, по словам стоиков, состоит из восьми частей: это пять чувств, речевая часть, мыслительная часть (она же мысль) и порождающая часть» *.

И древнегреческая философия, и олимпийская религия бились над проблемой личности. В жестокой борьбе научных школ, учений, которые осуждались или поддерживались правителями (бывало, что философа казнили или изгоняли!), в наиболее привилегированном положении оказались академия Платона, школа Аристотеля. Платон и Аристотель отвергли многобожие. Модель мира Аристотеля состоит из триединства: бог, материя, форма. Бог — «мыслящее себя мышление». Все состоит из материи, которая имеет формы. Все в природе последовательно переходит из «материи» в «форму» и обратно. У человека материей является тело, а формой — душа. У человека в отличие от животных душа разумная. Созерцающий разум дает высшее знание.

---

* Диоген Лаэртский (историк философии конца II — начала III в. н. э.) о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., «Мысль», 1979, с. 299, 302.

Простенькая формосодержательная диалектика Аристотеля понравилась христианским богословам, которые резко противопоставили Душу и Тело. Тело — сосуд, а душа зажжена богом. Плоть, мол, надобно держать в строгости, умерщвлять, а душу-сознание очищать, возвышать, воспитывать, поднимать до бытия.

Упростив мифологическую систему, Аристотель создал свою систему категорий, дал толчок развитию философии вплоть до Гегеля, который по существу еще продолжает усовершенствовать разумоцентрическую формосодержательную диалектику Аристотеля, переведя ее в плоскость рассмотрения саморазвития всемирной идеи (духа).

Но вот уже Кант указывает на врожденную совесть. Фрейд создает учение о человеке, где центром является половой инстинкт. Ницше ставит в центр своего учения «волю к власти». Меркантилисты — жадность. Кьеркегор — инстинкт страха. Фромм — социальный детерминизм. Рассел — эмоции. Кардинер — культурный детерминизм. Уотсон — поведение. Карнеги — врожденное честолюбие. Юнг — архетип. Маркузе — фантазию...

Здесь нет нужды останавливаться на изложении каждого названного учения. Мы видим, что новая психология и философия обратили внимание на фундаментальные свойства человека, которые были в центре внимания еще древнегреческих философов и мифотворцев.

Ныне обращают на себя внимание успехи генетики. Вся наследственная программа человека заложена в генотипе. Примерно 100—200 тысяч генов, сосредоточенные в 46 хромосомах каждой клетки, определяют развитие организма, передают все признаки. Половые клетки содержат половинное число хромосом. Чтобы возникла первоклетка нового человека — зигота — с полным набором (23 пары хромосом), необходимо слияние двух разнополых, гаплоидных (то есть с одним набором хромосом) клеток. Из двадцати трех пар хромосом лишь одна пара является половой. У всех млекопитающих, в том числе и у человека, половые хромосомы самки содержат две Х-хромосомы, самца — Х- и У-хромосомы. Пол человека и необходимое единство полов для продолжения рода — фундаментальная субстанция, которую древние философы олицетворяли и представляли в образе богини любви Афродиты.

Гены, локализованные в пределах одной хромосомы, составляют одну группу сцепления и передаются совместно; число парных групп сцепления равно числу пар хромосом. У человека таких пар 23. Признаки, зависящие от сцепленных генов, также наследуются совместно. Следовательно, каждая пара хромосом отвечает за какой-то фундаментальный признак человека, за сложные акты поведения, деятельность органов. Пока генетикой

установлена локализация ряда генов в 16 парах хромосом человека *. Это, конечно, очень мало. Однако не окажется ли завтра, что тайна всех хромосом людям уже известна?

Генетический набор сформировался в процессе миллионолетней эволюции — филогенеза. Генотический набор — *генотип* — определяет развитие организма, развертывание признаков, свойств, функций, органов в *фенотип*. Со дня рождения ребенок развивается в условиях социальной среды, приобретает умения, знания, привычки, опыт; совокупность этих признаков можно назвать *социотипом*. Индивидуальное развитие организма дает признаки фенотипические. А развитие в той или иной социальной среде — социотипические. Единство генотипа, фенотипа и социотипа и есть характер человека; характер проявляется личностью в поступках.

Очевидно, что способности ребенка к живописи, математике, языкам, трудолюбию, смелости, спорту, музыке, называемые задатками, заложены в генотипе, пробуждаются и проявляются в процессе онтогенеза и воспитываются в процессе *социогенеза*, то есть в социальной среде. Без социогенеза не возникнет социотип. Ребенок, выросший в среде обезьян, не станет человеком.

Один из фундаментальных принципов генетики — дискретность наследственных факторов, определяющих развитие задатков, а следовательно, навыков, умений, мастерства, таланта и т. д. Эта дискретность — в генах и в их локализации. Жизнь — приспособление к среде и приспособление среды. Филогенез всех живых — это приспособление к среде через самомутирование. Из поколения в поколение генная программа изменялась, гены комбинировались, реагируя на условия среды, климата, менялись, видимо, фрагменты хромосом, сами гены. Мутации — это как бы самопрограммирование, хотя случайное по своему характеру, своеобразные пробы и ошибки. А социоразум ежедневно программирует, прогнозирует поведение, моделирует. Человек мотивирует свои поступки, занимается теоретической работой и т. п. Значит, мы вправе говорить о разуме на нескольких уровнях. Условно эти уровни можно назвать так: биопрограммирование, психопрограммирование, социопрограммирование. Но разве не эту функцию олицетворяла богиня мудрости Афина? Она была покровительницей наук. Греки считали, что именно она научила их делать колесницы, строить корабли, подарила плуг и борону, веретено и ткацкий станок, даровала законы, учредила ареопаг, изобрела флейту. И миф о рождении ее от бога власти и от богини мышления глубоко символичен.

Идея дискретности генной, фенотипической и социотипической заставляет обратить внимание именно на хромосомы, на их

---

* Дубинин Н. П. Генетика вчера, сегодня и завтра. М., «Советская Россия», 1982, с. 96.

парность. Тайна хромосом заставляет задуматься о том, как они связаны с фундаментальными свойствами-субстанциями характера?

Многовековой опыт изучения фенотипических и социотипических особенностей человека, исследования рефлексов животных (оборонительных, половых, ориентировочных, регулировочных, пищевых, игровых и др.), исследования психологов и философов указывают, что можно говорить о биопамяти, психопамяти, социопамяти. То же самое об эмоциях. О темпераменте. О воображении. О воле. О совести. О страхе-агрессии. О внешнем виде. О честолюбии. О лидерстве. О здоровье. О способности к труду. О сне. О происхождении. О возрасте. О коллективизме-индивидуализме. О поступках. О голоде-жадности. О среде. О единстве и взаимозависимости субстанций. Об обмене информацией.

Велик соблазн указать сразу все двадцать три субстанции, детерминирующие развитие человека, его характер. Но подтвердится ли это открытием групп сцепления генов в каждой из 23 пар хромосом?

Хромосомное объяснение функционирования клеток, развития органов, рефлексов, психологических комплексов, социотипических свойств характера помогает провести четкую грань между современным научным и мифологическим представлениями. Категория «детерминанта» не сводима к понятию «богиня» (например, «детерминанта любви» не идентична понятию «богиня Афродита»). Древнегреческие мифологи и философы подразумевали под понятием «богиня Афродита», либо «богиня Афина» и т. д. не просто могущественные, но космические силы, определяющие поведение людей. Тогда как мы в понятие «детерминанта любви» либо «детерминанта разума» вкладываем вполне строгий научный смысл — представление о хромосомном программировании функций на всех уровнях развития организма. И у нас, скажем, категория «детерминанта любви» не сводима к психологии поведения полов для продолжения рода, но определяет и функцию слияния гамет в зиготу, и деление зиготы на клетки, и формирование организма в девочку или в мальчика, и соответствующие психологические представления, комплексы, установки. Каждая детерминанта в конечном счете определяет какой-то закон общественного развития.

«Длящиеся в течение всего текущего столетия попытки доказать, что различия нормальных людей по интеллекту зависят от разного количества у него генов «интеллектуальности», ничего не дали», — пишет академик Н. П. Дубинин, справедливо замечая: «Личность, идеи, способности формируются в процессе жизни».

Поиски «генов интеллекта», на мой взгляд, проистекают от наивных философских представлений об интеллекте как о некоемом цельном, неделимом признаке, чем-то напоминающем

аристотелевскую «разумную душу», либо христианский божественный дух (сознание), горящий в сосуде тела.

Куда более перспективным было бы определение детерминирующей роли каждой пары хромосом. Впрочем, любой задаток, в том числе и способность к теоретическому мышлению, требует развития в условиях социальной среды. Кроме того, сам по себе социоразум ничего не стоит без социопамяти, социовоображения, социоволи, социоактивности, социоздоровья... Одним словом, человек — единство и взаимозависимость всех фундаментальных свойств!

Трудно сказать, когда будет найдена прямая зависимость пар хромосом с детерминантными свойствами характера человека, но уже сейчас можно утверждать, что эти открытия не отвергнут таких качеств, как физическое трудолюбие (бог Гефест), память (Мнемосина), власть (Зевс), здоровье (Гигия), мудрость (Афина), любовь (Афродита) и т. д.; и можно предвидеть, как генетика человека в будущем станет содействовать гармоничному развитию истинно человеческого в его характере, разумеется, прежде всего через философию, психологию, педагогику.



НЕВЕДОМОЕ: БОРЬБА И ПОИСК

ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ

ГРЯДУЩЕГО ВЕЛИКОЕ КОЛЬЦО

В разные годы автору этих строк посчастливилось беседовать с крупными писателями-фантастами современности. И каждому из них в числе прочих задавался такой вопрос: «Какая из проблем будущего человеческого общежития представляется вам наиболее существенной?» Ответы, естественно, были самые разнообразные.

Комацу Сакё (Япония): «Освоение безбрежных океанских просторов. Лишь океан позволит непрерывно умножающемуся человечеству решить проблему нехватки продуктов питания, избавит от скученности населения в городах-спрутах (путем создания искусственных островов в океане)».

Фредерик Пол (США): «Добыча и переработка полезных ископаемых на других планетах солнечной системы. Без такой «подмоги» со стороны нас всех ждет оскудение материальных и энергетических запасов».

На фоне этих ответов — самих по себе злободневных и интересных — ответ Ивана Антоновича Ефремова, помнится, поразил своей краткостью: «Главная проблема — свободы и долга в любви».

Как? Неужто жизнь сердца, чувственное влечение может быть важнее глобальных вопросов, решаемых наукой, обществом? И лишь теперь, без малого десять лет спустя после смерти Ефремова, вновь и вновь перечитывая все созданное им, понимаешь глубокий диалектический смысл его ответа. Именно между свободой и долгом в любви выбирают герои «Туманности Андромеды», социально-фантастического романа о временах далекого будущего. Коммунистическое общество, в котором они живут, давно уже решило и вопросы переработки информации, и экологии, и заселения океана. Но вечный выбор в любви — будь то любовь к женщине, женщине-матери, матери-Земле, праматери-вселенной, волнует их, как и каждого из нас.

Для Ефремова — человека энциклопедических знаний, философа, историка, палеонтолога, путешественника в пространстве и времени — понятие любви было неразрывно связано с утверждением гармонии, с торжеством красоты. Как бы развивая знаменитую фразу Ф. М. Достоевского о том, что красота спасет мир, он писал: «Красота — вот светозарный мост в будущее, по которому художник-фантаст должен совершать свои странствия в грядущие времена. Его призвание — по крупице, по зернышку собирать все то прекрасное, что рассеяно ныне в нашей жизни, по лику нашей планеты; собирать, обобщать, концентрировать, памятуя о героической симфонии завтрашнего

дня. Изображение будущего — это колоссальный труд собирания красоты. Из окружающего нас космоса. Из души человеческой. Из отражений солнца на воде. Из звезд, из облаков». И потому грядущее для него — обитель красоты, торжество социальной гармонии и справедливости.

Когда же возникло в нем стремление запечатлеть красоту мира в художественных образах? Может быть, еще в детстве, когда он зачитывался романами Жюля Верна, «Копями царя Соломона» и «Дочерью Монтесумы» Генри Хаггарда или «Борьбой за огонь» Рони Старшего? Или когда после окончания петроградской мореходки он бороздил Тихий океан, вглядываясь в криптограммы звезд? Или позднее, в многотрудных странствованиях с палеонтологическими и геологическими экспедициями по Якутии, Средней Азии, Монголии, Китаю? Или когда в выжженной пустыне раскапывал калдбище динозавров? Несомненно одно: без этих плаваний и странствований не было бы ни Ефремова-ученого, ни Ефремова-литератора.

В литературу он пришел довольно поздно, лет под сорок. К этому времени он был уже доктором биологических наук, основателем новой науки тафономии, возникшей на стыке геологии и палеонтологии. Первые же рассказы (они публиковались в 1944 и 1945 годах) сделали имя Ефремова знаменитым. Воображение будоражили уже сами названия: «Голец Подлунный», «Встреча над Тускаророй», «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Бухта Радужных Струй», «Белый Рог». Герои сталкивались с необыкновенными явлениями природы, высказывали невероятные по тем временам догадки и предположения. Пройдут годы — и многое, многое из этих научных прогнозов оправдается самым непосредственным образом. Геологи найдут в Якутии месторождения алмазов именно там, где происходит действие в «Алмазной трубе». Точно так же на Алтае откроют ртутное месторождение («Озеро Горных Духов»). Фантастическое предположение о существовании у нас пещеры с рисунками африканских животных и бивнями слонов воплотится в явь после открытия Каповой пещеры в Башкирии. На дне океанов обнаружат полезные ископаемые («Атолл Факаофо»). А создатель практической голографии лауреат Ленинской премии член-корреспондент АН СССР Юрий Денисюк признается в одном из своих выступлений: «С дерзостью, свойственной молодости, я решил придумать себе интересную тематику, взявшись за какую-то большую, стоящую на грани возможности оптики задачу. И тут в памяти выплыл полузабытый научно-фантастический рассказ И. Ефремова: производя раскопки, палеонтологи находят старинную плиту, над которой парит в воздухе объемный портрет пришельца из чужого мира, погибшего миллионы лет тому назад.

...Я не только не отрицаю своеобразное участие И. Ефремова в моей работе, но подтверждаю его с удовольствием. Меня

всегда поражала какая-то сверхъестественная способность художников слова предвидеть столь образно».

Способность Ивана Ефремова проецировать в будущее проблемы науки, находившиеся еще в зачаточном состоянии, и поныне ставит многих в тупик. В чем тайна этого феномена? На этот счет не раз высказывались самые необычные предположения. А ответ — единственно правильный! — один. Интуиция ученого и воображение фантаста — вот два могучих крыла, вздымавших ефремовскую фантазию в полет над триединством времен: прошлым, настоящим, будущим. Но и фантазия и интуиция покоились на прочной основе воистину всеобъемлющих знаний, будь то космонавтика или звездная астрономия, медицина или ботаника, история или психология, живопись или музыка.

«Могучее», «мощное» — иных эпитетов не сыщешь для воображения Ефремова. Вот один из ранних рассказов «Звездные корабли».

...Подобно необозримому колесу вращается Млечный Путь — наша Галактика, где среди прочих бесчисленных звезд и черной, остывшей материи летит земное Солнце. Давным-давно, в меловом периоде наша планетная система сблизилась на краткий миг с другой такой же системой, населенной мыслящими существами, и они в поисках энергетических запасов посетили Землю. В ту пору в глубинах земной коры шел интенсивный распад сверхтяжелых элементов, и в некоторых горных местностях наружу прорывалось сильное излучение, убивая все живое. Так, в частности, погибли динозавры, а вместе с ними случайно один из пришельцев...

Таков сюжет рассказа, своей масштабностью, кстати, вполне подходящий для романа. Но сюжет для Ефремова — это лишь повод расстелить прихотливый узор размышлений о единстве форм жизни во вселенной. Подобно Карлу Линнею или Чарлзу Дарвину, он классифицирует живую природу. Но не Земли, а всей вселенной. И делает поразительный вывод: повсеместно существа мыслящие должны иметь сходный облик. Разум — это не говорящие кристаллы, одушевленная плесень или облака. Единственный носитель разума — гомо сапиенс, человек разумный. «Мы согласились, что схема животной жизни, основанная на белковой молекуле и энергии кислорода, должна быть общей для всей вселенной, — размышляет один из героев рассказа, профессор Шатров. — Мы согласились на то, что вещества, слагающие организм, использованы не случайно, а в силу своей распространенности и химических свойств. Мы согласились также, что планета, наиболее пригодная для жизни в любой планетной системе, должна быть сходна с нашей Землей... Следовательно, вопрос в основных путях эволюции, создающих мыслящее существо. Каково оно?

...Мыслящее животное должно быть позвоночным, иметь го-

лову и быть величиной примерно с нас. Все черты человека не случайны... Между враждебными жизни силами космоса есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик».

Можно сказать без преувеличения, что «Звездные корабли» положили начало советской космической фантастике в ее современном виде. Потом, спустя десятилетие, появится роман «Туманность Андромеды». Он будет переведен на многие языки во всем мире, а ясноглазый посланец России Юрий Гагарин возьмет книгу с собою в первый полет к звездам. Появится «Сердце Змеи» — до мельчайших деталей выписанная картина встречи землян с братьями по разуму. Но гипотеза истоков и форм мировой жизни, выдвинутая в «Звездных кораблях», останется неизменной: разум — един; «обитатели различных «звездных кораблей» поймут друг друга, когда будет побеждено разделяющее миры пространство, когда состоится наконец встреча мысли, разбросанной на далеких планетных островках во вселенной».

Вывод Ефремова на редкость оптимистичен: мы не одиноки среди ледяного молчания межзвездных просторов, молчания, пугавшего даже таких философов, как Паскаль. Наши братья на иных планетных островах не прозябают в одиночестве, они объединены в Великое Кольцо Миров, куда — настанет срок, каким бы отдаленным он ни был — подключатся полноправно земляне.

Если космические произведения Ефремова, подобно сгущенному до осязаемости звездному лучу, высветили безмерные дали будущих времен, дилогия «Великая Дуга» вся нацелена в прошлое. Это тоже научная фантастика, но теперь перед мысленным взором читателя встают Древняя Эллада и Египет.

Свобода и долг... Именно между свободой и долгом в любви к родине предстоит выбрать казначею фараона Баурджеду и его кормчему Уахенебу. Пустившись по приказу владыки разведывать новые земли, они вместе с многочисленными участниками экспедиции за долгие годы жестоких испытаний откроют нечто святотатственное, подрывающее основы их прежних представлений о мире. Оказывается, страна Та-Кем, «Большой дом» фараона — далеко не единственная в черте земного круга. Оказывается, она лишь малая и далеко не лучшая часть среди множества иных стран, народностей, племен. Оказывается, на земле существуют не только плоские пустыни, рассекаемые мутным Нилом, но и тысячи неведомых красивейших зверей и растений, волшебной красоты моря и заливы, увенчанные вечными снегами горы, пред которыми жалкими выглядели бы фараоновы пирамиды.

...Сменяются весны и зимы. Один за другим гибнут спутники Баурджеда. Они не знают, что в «Большом доме» сменилась власть, что сами они в представлении соотечественников давно

мертвы. Казалось бы, никто не мешает им облюбовать один из райских уголков земли обитаемой, Ойкумены, и зажить вольной жизнью пахарей, звероловов, рыболовов. Но, вновь и вновь одолевая препятствия, они, подобно спутникам Одиссея, стремятся попасть на родину. Увы, здесь ждет их позор, бесчестье, а многих и смерть. Ибо правда о мире, правда, столь глубоко выстраданная, покажется фараону кощунством, умалением его богоравного величия, пошатнет культ единовластия. А раз так — уничтожить все путевые записи, запретить всякое упоминание о дерзком путешествии.

Однако, вопреки мертвящему деспотизму, народные певцы и сказители разнесут весть о Баурджеде далеко по всему Египту. А на каменных таблицах искусные резчики запечатлеют на века его прекрасное и горестное повествование...

Свобода и долг... Не раз предстоит выбирать между двумя этими понятиями, выбирать буквально по «лезвию бритвы» и молодому эллину Пандиону, герою второй части дилогии «Великая Дуга» — «На краю Ойкумены». В этой своеобразной притче о блудном сыне Ефремов как бы продолжает путешествие Баурджеда по древнему миру. Теперь в центре повествования — судьба художника, одаренного от рождения тончайшим чувством гармонии, стремящегося воссоздать красоту. Дитя привольных дубрав, где среди буйства цветов чудятся нимфы и фавны, Пандион волею обстоятельств попадает на Крит, затем в Египет, где становится рабом фараона. Он до дна испивает чашу страданий и унижений, жесточайших пыток и отвратительных расправ с непокорными. Нельзя без сострадания читать страшную сцену ловли рабами четырехметрового носорога, живым и невредимым затребованного в столицу Та-Кем, на забаву сильным мира сего. Как таран, пробивает ослепленный яростью зверь кровавые коридоры среди живых людей. И когда, наконец, зверя все-таки усмиряют, выясняется, что свобода, дарованная уцелевшим рабам, — не более чем очередная подлость правителей: раненого Пандиона и его друзей по неволе бросают на произвол судьбы в непроходимых зарослях, где кишат дикие звери. Как одиноки они, негры, этруски, ливийцы, нубийцы, вдали от родины, перед лицом враждебной природы, чужих воинственных племен. И все же небольшой интернациональный отряд побеждает все невзгоды. Побеждает дружбой, сплоченностью, взаимным пониманием и уважением.

В конце концов Пандион возвращается к холмам родимой Эллады, хотя мог бы навсегда остаться в племени полюбившей его темнокожей девушки. Он возвращается мастером, творцом бессмертных произведений. В них запечатлено все пережитое бывшим рабом. Запечатлена красота, но она, как и свобода, обретена дорогой ценой.

«Для развития моего самосознания исключительно велико было значение Эллады и эллинской культуры, — раскрывает

Ефремов замысел дилогии. — Ни один народ в мире не выразил себя так полно и свободно в своем искусстве. Это первая в истории человечества культура, для которой в период ее расцвета характерно увлечение эмоциональной жизнью человека, — гораздо больше в сторону эроса, чем религии, что резко отличает ее от древнеегипетской религиозной культуры... Египетские зверобоги не утратили первобытной суровости. Создавали зверобогов бродячие охотники, хорошо знакомые с повадками зверей. Охотничьей религии, унаследованной от глубокой древности, был придан философский смысл. А вот в Элладе все сложилось иначе. Открытой, незамкнутой и бедной стране не требовалось такого сложного государства, подчиненного различным запретам и строжайшей регламентации. Культура эллинов эмоциональна, их отношение к любви поэтично, и недаром Эллада играла такую роль в последующем развитии общечеловеческой культуры. Эллада пленяет свежестью и полнотой чувств...»

«Великая Дуга» была закончена в 1945 году, вместе со «Звездными кораблями». Ефремов и здесь выступил новатором: в отечественной литературе это первое художественное произведение по древней истории Африки. В последующем Иван Антонович не раз возвращался к любимой исторической теме: и в «Туманности Андромеды», и в эпопее «Лезвие бритвы», и в романе «Таис Афинская».

...Личность ученика Аристотеля, в считанные годы завоевавшего полмира — от Адриатики до Индийского океана, — вот уже два с лишним тысячелетия привлекает внимание историков, живописцев, поэтов. Об Александре Македонском оставили свои произведения Птолемей и Диодор, Арриан и Плутарх, его деяния воспеты в поэмах Низами и Фирдоуси. Беллетристических же сочинений о походах Александра Великого попросту не счесть. Достаточно сказать, что одно из первых сочинений такого рода относится к 200 году нашей эры.

Что же привлекло Ефремова в деяниях грозного завоевателя? Почему та противоречивая эпоха показана через восприятие Таис Афинской, знаменитой гетеры (дословный перевод — «подруга», «товарищ»), неизменно делившей с Александром трудности походов, жизненные невзгоды, славу? В противовес множеству исторических работ, утопающих в датах, сменах царств и войнах, советский писатель разворачивает грандиозную панораму одного из переходных моментов в духовном развитии человечества. То было время первых проявлений общечеловеческой морали, которая утверждала равенство всех людей в духовной жизни, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Запад впервые пристально вгляделся в лицо Востока, дотоле известного лишь по рассказам рабов да немногочисленных купцов.

Тогда были живы ветшающие культы древнейших женских

божеств, и «живая человеческая мысль пыталась найти выход расширяющимся представлениям о вселенной и человеке, скованным требованиями официальных религий».

Гетера Таис — защитница Гармонии, Любви, Красоты — и есть воплощение живой человеческой мысли.

В свое время, отмечал Ефремов, плохую услугу гетерам оказал Лукиан Самосатский, этот «Вольтер древности». Автор «Похвалы мухе», «Лениппа», «Харона», «Диалогов богов» подверг пошлому осмеянию народные обычаи, представил Афродиту богиней разврата, а гетер — вульгарными блудницами. Впоследствии Лукиану подражали многие другие авторы. На самом же деле гетеры были женщинами выдающегося образования и способностей, достойными подругами величайших умов и деятелей искусства того времени.

Именно такова отважная и женственная Таис.

Таис — воплощение ума и интуиции, торжество женского созидательного начала, муза художников и поэтов, очаровательная и милосердная. Она «побуждает лучшие стремления сынов человеческих, отвлекая их от обжорства, вина и драк, глупого соперничества, мелкой зависти, низкого рабства». И когда она сжигает столицу персидской деспотии Персеполис — тем самым она восстает против бездуховности, жестокости, уродства любой деспотии вообще, а главное — против извечного унижения Женщины. Эпиграфом к роману вполне могли бы послужить проникновенные строки Александра Блока:

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

Уже первые публикации романа в журнале «Молодая гвардия» (1972, № 7—11) вызвали поток одобрительных читательских писем. Особенное одобрение вызывало то, что «Таис Афинская» не просто своеобразная попытка археологической реставрации, но живое, полнокровное произведение, созвучное нашей эпохе.

«Я убежден, что торговые и культурные связи древности гораздо шире, чем мы представляем по неполной исторической документации. В основном наша беда в плохом знании исторической географии Востока, которая только еще начинает открываться европейцам. Каждое новое крупное археологическое открытие приносит неожиданное «углубление» культур и усложнение связей обмена между отдельными и труднодоступными областями обитаемой суши», — писал Ефремов в предисловии к роману. Археологические находки последних лет в Индии, Сирии, Ираке, Таиланде — лишнее подтверждение провидческого дара Ефремова.

...Он никогда не отдал бы своих пристрастий только литературе, несмотря на свою всемирную писательскую славу. Он продолжал бы мерзнуть и мокнуть в экспедициях, проходить путями старых горняков, раскапывать скелеты доисторических животных. Но на шестом десятке начали сказываться и странная азиатская лихорадка, еще с довоенных времен возвращавшаяся каждые пять лет, и инфаркт, перенесенный в молодости на ногах, и долгие годы недоедания, и бессонные ночи... Пришел день — и профессор И. А. Ефремов покинул Институт палеонтологии Академии наук СССР, где заведовал лабораторией низших позвоночных. Как говорят моряки, «стал на якорь». Последующие годы были до отказа заполнены литературной работой и борьбой за жизнь, борьбой в буквальном смысле. Он сравнивал себя с броненосцем, получившим пробоину ниже ватерлинии. Броненосцем, медленно погружающимся в воду, но не сдающимся, подобно героическому участнику русско-японской войны броненосцу «Ретвизану», о котором Ефремов готовился написать повесть. И еще — научно-популярную книгу о палеонтологии «Ключ будущего». И еще — роман о трагических событиях 6 декабря 1240 года: в этот день Батый захватил «мать городов русских» — Киев. И еще — продолжение «Туманности Андромеды» — многоплановый роман «Чаша отравы». Разрабатывая каждый из этих замыслов, он неустанно, неотступно размышлял над улучшением природы человека, над уничтожением голода, бедствий, войн. И нам, и нашим потомкам всегда будет дорог один из его «звездных» заветов: «Прежде всего нужно объединить народы собственной планеты в одну братскую семью, уничтожить неравенство, угнетение и расовые предрассудки, а потом уже уверенно идти к объединению разных миров. Иначе человечество будет не в силах совершить величайший подвиг покорения грозных межзвездных пространств, не сможет справиться с убийственными силами космоса, грозящими живой материи, осмелившейся покинуть свою защищенную атмосферой планету. Во имя этой первой ступени нужно работать, отдавая все силы души и тела осуществлению этого необходимого условия для великого будущего людей Земли!»

Так он и работал — отдавая все силы души и тела, хотя не раз за последние годы смерть наклонялась над ним. Он работал, подмечая, как в разных концах нашего Отечества подрастают молодые силы в научной фантастике, выходят на стезю литературы его ученики: Сергей Павлов и Вячеслав Назаров — в Красноярске, Борис Лапин — в Иркутске, Аскольд Якубовский — в Новосибирске, Абдулхамит Мархабаев — в Казахстане, Евгений Гуляковский и Владимир Григорьев — в Москве.

...В этом году ему исполнилось бы 75 лет, но уже 10 лет, как его нет с нами.

...Когда-то в осажденном британскими интервентами Очако-

ве мальчишка попал под обстрел. Разорвавшимся восьмидюймовым снарядом его контузило, засыпало песком. С трудом он вернулся к жизни, но с тех пор стал заикаться. Может быть, поэтому он избегал публичных выступлений по радио и телевидению. И все же автору этих строк удалось записать на магнитофон одну из своих бесед с великим фантастом.

Помню его кабинет в квартире на улице Губкина, кабинет, где все было отдано книгам. Книгам буквально по всем отраслям знаний, на нескольких языках. От древних авторов до фантастов современности. Помню его самого — немногословного великана с огромными миндалевидными глазами, в которых плескалась неукротимая энергия. Я до сих пор слышу его голос — глуховатый, то рокочущий, как гром, то напоминающий говор далекого моря. Голос, напутствующий молодых землепроходцев и звездопроходцев:

«Не бесплодна любая попытка проникнуть в ожидающее вас будущее — с книгой ли в руках, на шумном диспуте, в полном ли одиночестве под звездным небом. Но будьте готовы к испытаниям: ваше будущее не представляется мне очень легким. Психологически оно, вероятно, будет труднее, чем то время, в котором жили мы, старшее поколение.

Я помню свое детство, свою юность, когда меня увлекали волшебные контуры дальних стран, когда я бредил тайнами Африки, дебрями Амазонки, когда, засыпая, сразу же оказывался на берегах экзотических рек. И исполинские крокодилы плыли, разрезая желтые воды, и трубили слоны, и величественные львы поворачивали головы на восход. Я засыпал и просыпался в мире, полном непознанного. Тогда никто еще не проник в глубины океанов, тогда я даже думать не смел о том, чтобы увидеть Землю со стороны, полететь на Луну или к другим планетам.

Я помню, как дрожащими пальцами прикладывал тонкую проволочку к кристаллу детекторного радиоприемника, удивляясь, изумляясь, как может из этих железок и винтиков вытекать музыка. Во время своих сибирских путешествий я ездил на тройках, на почтовых, на перекладных. А вы сейчас бесшабашно поете песни о полете к другим мирам. Я не прожил и века, а, как видите, и на лошадях трясся, и на паровозах ездил, и на реактивных лайнерах летал.

Все эти перемены не прошли даром для земного шара. Он съежился, как проколотый футбольный мяч, он стал привычным и обжитым. Почти не осталось тайн, удаляющихся как бы за горизонт при приближении к нему. Они, эти тайны, лежат более глубоко, чем те, которые пришлось открывать нам.

Вам придется проникать с помощью циклопически громадных машин в глубины вещества, врываться в дебри земной коры, высаживаться на дальних планетах. Не грустите, что милая

старая романтика неопознанной Земли ушла от нас. Вместо нее родилась романтика, требующая гораздо большего напряжения сил, гораздо большей подготовки, психологической и физической, — романтика проникновения в значительно более глубокие тайны познания.

Будьте готовы к испытаниям. Пусть вам удастся войти в Великое Кольцо Будущего!»

...Я и сейчас слышу его голос.

Голос сына нашего народа... Сына Земли.

Глуховатый. То рокочущий, как гром. То напоминающий говор далекого моря.

Голос Стража Будущего, твердо уверенного, что никакое другое общество, кроме коммунистического, не может объединить всю планету и сбалансировать человеческие отношения. «Поэтому для меня вопрос стоит так, — говорил он незадолго до смерти. — Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никого, а будут песок и пыль на мертвой планете». В нынешней обострившейся международной обстановке, когда маньяки из Пентагона навязывают человечеству термоядерную войну, слова Ефремова звучат предостережением.

Пока еще нигде нет ему памятника. Но памятники его жизненного подвига — повсюду на лице Земли. В Верхне-Чарской котловине и в Тынде, где он был одним из первых изыскателей Байкало-Амурской магистрали. На Севере, в Вологодской и Архангельской областях, где он еще юношей сделал первое научное открытие: обнаружил ископаемых земноводных пермского периода. В горах Тянь-Шаня. В песках пустыни. Во льдах.

А истинный памятник ему — Великое Кольцо Миров — начертан огненными письменами на звездном небе.

КИРИЛЛ АНДРЕЕВ О ФАНТАСТИКЕ

Рано ушедший от нас Кирилл Константинович Андреев (1906—1968 гг.), замечательный писатель и литературный критик, автор прекрасных книг: «Три жизни Жюля Верна», «Искатели приключений» и «На пороге новой эры» (о великих писателях-романтиках нашей эпохи — Жюле Верне, Стивенсоне, Дюма, Хемингуэе), был не только проникновенным знатоком научно-фантастической литературы, но и наставником многих современных фантастов, в первую очередь автора этих строк. Его мысли о существе этого важнейшего вида литературы и поныне представляют собой сокровищницу для тех, кто

посвятил себя фантастике, кто хочет попробовать свои силы на этом поприще.

Чтобы познакомить любителей научной фантастики с основными мыслями о ней Кирилла Андреева, мы с вдовой писателя, писательницей Екатериной Строговой, сочли возможным предложить вниманию читателей фрагмент из былых работ Кирилла Константиновича, который представляет, на наш взгляд, несомненный интерес.

Александр Казанцев

КИРИЛЛ АНДРЕЕВ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА?

На Западе научную фантастику до сих пор часто сближают с утопиями. Но утопии древности и великих предшественников научного социализма были абсолютно лишены технического или научного арсенала. Авторы их искали рецептов для создания совершенного общества на том уровне экономического и технического развития, на котором находилось тогда человечество. Там вы не найдете ни слова ни о науке, ни о технике.

Сближают научную фантастику и с приключенческой литературой. Но наличие острого сюжета, «приключений» далеко не обязательное свойство научной фантастики — вспомним хотя бы великолепный «Туннель» Келермана. Бывает, правда, приключенческая литература, которая использует приемы и средства научной фантастики, — это вполне законный прием, но в подобных произведениях научная или техническая идея (проблема, конструкция) всегда является только фоном или деталью, но никогда — материалом или темой такого произведения.

Мы должны отграничить от научной фантастики романтическую фантастику типа фантастики Гофмана, Эдгара По или нашего советского писателя Грина. Это совершенно особое направление, которое может и должно развиваться, но не оно является для нас главным путем.

Подлинная научная фантастика вырастает на ином субстрате — на субстрате современной науки, проникающей во все поры нашей жизни. Вне науки мы не мыслим развития нашей промышленности, без науки невозможно процветание сельского хозяйства. Наука настойчиво требует себе места в искусстве. Наконец, *научным коммунизмом* называется то мировоззрение, которое объединяет нас, поднимает и двигает вперед.

Существует еще одна разновидность литературы, которую сближают с научной фантастикой. Это политический памфлет, также использующий арсенал науки и приемы фантастики.

Но там не наука является темой, а политическая идея автора. Вспомним «Войну с саламандрами» Чапека, вспомним «Священного жирафа» испанского писателя Сальвадора де Мадариага или книги советского писателя Лагина. Это направление, при всей его важности, не находится в том русле, которое мы обсуждаем.

Конечно, никакой литературный жанр нельзя точно отграничить — мы знаем, как условны литературные дефиниции. Но ведь и солнечный спектр не имеет видимых границ составляющих его цветов, однако никто, если он не дальтоник, не спутает красный цвет с зеленым. Так и человек, если он не литературный дальтоник, не спутает с другими жанрами научно-фантастическое произведение.

Основным критерием для оценки научной фантастики и с художественной и с научной стороны должна быть ее научная и художественная достоверность, бесспорность жизненной правды. Если автор в центре действия поставил научное изобретение, которое не является основной темой произведения, но служит лишь для мотивировки действий героев, для перенесения их в фантастическую обстановку, то допустимо и не научное предположение. Если вы в эту ситуацию верите, то такая фантастика уже имеет право на существование, и именно к таким мы относим произведения, которые по праву называем научно-фантастическими — будь то «Машина времени» Уэллса, «Аэлита» или «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого. Ведь вся реальность и вся фантастика этих романов создана современной наукой.

Научная фантастика только тогда сильна, когда, выражая идеи своего века, видит их уже воплощенными в действительности. Но писатель не может указать пути конструктору или ученому к конечной цели. Торопясь в будущее, которое он сам увидел в воображении уже живым, писатель поневоле перескакивает через какие-то этапы работы инженера; как прием он вводит фантастические и даже совсем ненаучные подробности, чтобы сконцентрировать в смелом художественном образе мечту своего времени.

Именно поэтому не нужно думать, что фантастика это только литература о будущем. Фантастика вырастает на почве сегодняшнего дня, черпает в нем свой материал. Ей совсем неважно, сбудутся или нет предсказания писателя. Ей важно, что она звала к ним и воплотила в фантастических образах мечту своего времени.

Если мы вспомним мечты зачинателя реалистической научной фантастики, каким считается Жюль Верн, мы увидим, что не такой стала подводная лодка, как его «Наутилус», непохожи наши вертолеты на его «Альбатроса» и не таким путем завоевывается межпланетное пространство. Но важно, что он



верил, что человек будет летать, достигнет морского дна и проложит дорогу к звездам.

Разные писатели идут разными путями, но идут всегда к одной цели. И этот широкий спектр фантастики существовал всегда, и никогда не удавались попытки искусственно отграничить и в какой-то степени противопоставить разные ее направления.

Вспомните споры о том, какого пути придерживаться советской фантастике — Жюля Верна или Герберта Уэллса? Любопытно, что между этими писателями более полувека назад произошла полемика о тех путях, которыми они шли. Я позволю себе привести две цитаты из этого спора. Это полемика не прямая, она — в их высказываниях о литературе.

В беседе с одним английским журналистом Жюль Верн сказал о Герберте Уэллсе:

«На меня произвел сильное впечатление ваш новый писатель Уэллс. У него совершенно особая манера, и книги его очень любопытны. Но по сравнению со мной он идет совсем противоположным путем... Если я стараюсь отталкиваться от правдоподобного и в принципе возможного, то Уэллс придумывает для осуществления подвигов своих героев самые невозможные способы. Например, если он хочет выбросить своего героя в пространство, то придумывает металл, не имеющий веса... Уэллс больше, чем кто-нибудь другой, является представителем английского воображения».

И как бы в ответ на это Герберт Уэллс сказал о Жюле Верне:

«Между предвосхищениями научных изобретений великого француза и моими фантазиями нет никакого литературного сходства. В своих произведениях он почти всегда изображал реальные возможности технических усовершенствований и открытий и сделал ряд замечательных предсказаний. Интерес, который он возбуждал, имел практический характер; когда он писал, то верил в возможность осуществления своих предположений, тогда еще не имевших места в реальной жизни. Он помогал читателю представить себе осуществление этих возможностей, указывая, к каким забавным или печальным последствиям это может повести. Многие из его изобретений были реализованы. Мои же рассказы отнюдь не имеют в виду возможность осуществления научных гипотез; это опыты воображения совсем в ином роде...

Такие фантазии не ставят себе целью изобразить на самом деле возможное, их цель — добиться правдоподобия не большего, чем то, которое бывает в хорошем, увлекательном сне. Они захватывают читателя искусством и иллюзией, а не доказательствами и аргументами, и стоит только закрыть книгу, как пробуждается понимание невозможности всего этого...

Интерес подобных историй заключается не в выдумке, а в

их нефантастических элементах. Сам по себе вымысел — ничто... Интересны эти выдумки становятся тогда, когда их и переводят на язык обыденности и исключают все чудеса, заключающиеся в рассказе...»

Вот эти высказывания для нас, мне кажется, очень важны потому, что обоих писателей мы считаем классиками научной фантастики. Разными могут быть пути писателей, но главным остается одно: художественная ценность произведения, без скидок на чудеса, фантазию и научные гипотезы, которые вкладывает в него автор. И если произведение выдерживает это испытание, тогда мы оцениваем автора как фантаста и смотрим также, с какой целью автор поставил своих героев в необыкновенные обстоятельства, служит ли это делу нашей действительности и помогает ли по-настоящему раскрыть человека завтрашнего дня. Ведь создание такого героя — главная задача советской научной фантастики.

Но даже при таком широком пониманин жанра научной фантастики, включающем целый ряд отдельных направлений, все же существуют определенные границы, за которыми уже лежит абстрактная лжефантастика. Недопустимо, с одной стороны, выдумывание новых, несуществующих законов природы. Ведь современная наука развивается не путем отрицания всего предыдущего. Развиваясь, она обычно не отвергает старого, а включает старое как часть... Механика относительности не отрицает механики Ньютона, так же, как квантовая механика не отрицает электромагнитной теории Максвелла. Современная наука в свои новые, более широкие обобщения включает и все добытое гением и трудом всего человечества. Поэтому нельзя говорить: мы будем писать о том, что сегодняшней науке неизвестно, а дело ученых следовать за нами и открывать в природе то, что создано нашей фантазией. Это будет лишь произвольным фантазированием, которое почти всегда оказывается ниже уровня современной науки. А наш читатель уже не тот, что был раньше. Он часто выше по своей научной подготовке, чем такой писатель. Вот какой отзыв читателя мне пришлось недавно слышать на одной читательской конференции: «Автор, по-видимому, не знает, что скорость света потому и предельна, что она является той формой, в которой только и возможно существование материи. Ведь человеку, знающему хотя бы школьную физику, совершенно ясно: чтобы долететь до самых отдаленных звезд, не нужно летать с бóльшей скоростью, чем скорость света! Можно, например, за пять минут долететь до туманности Андромеды или до Магелланова облака» *. И от молодых читателей очень крепко досталось тем авторам, которые путают силу с энергией и рассуждают о гравитонах — этих

* Имеется в виду время звездолетчика при скорости, близкой или почти равной скорости света. Для земного же наблюдателя пройдут, согласно теории относительности, тысячелетия.

структурных частицах пространства — как о каких-то материальных частицах, будто их в качестве «горючего» едва ли не экскаваторами загружают в трюмы космических кораблей!

Нельзя сейчас писать, что «электронно-вычислительная машина мерно постукивала», или: «Мы закладывали в машину программу при помощи перфорированных карточек», ибо это уже вчерашний день. А в научной фантастике мы должны заглядывать в завтра. Нельзя писать о том, что ученый биохимик «занимался синтезом углеводородов», имея при этом в виду, разумеется, углеводы. Может быть, автор ошибся. Но ведь и углеводы синтезированы уже больше ста лет назад. А у молодого читателя подобные «мелочи» создают впечатление невежества автора, и он уже не верит, что этот писатель зовет его вперед, к будущему.

Главное в научной фантастике, при всем ее широком спектре и во всех ее направлениях, это показать поэзию и романтику научных исследований. Наука и техника — это великий труд человека, воплощение его гения. Поэтому в центре научно-фантастического произведения всегда должен стоять человек. Человек — это основное мерило искусства, герой всей шестидесятивековой мировой цивилизации и универсальный ключ к нашей гуманистической эпохе.

Научная фантастика, как и все другие жанры и роды художественной литературы, есть в первую очередь человековедение — раскрытие типических черт и индивидуальных особенностей характера героя повествования, исследование поведения героя в типических для нашего общества обстоятельствах. Но типические обстоятельства могут быть обстоятельствами необыкновенными, потому что обстоятельства, в которых Гагарин летел в космос, стали в наше время типичными, хотя еще вчера они были совершенно необыкновенными. Поэтому подлинно реалистическая научная фантастика может и должна быть сведена к той же известной формуле: типические характеры в типических, но и необыкновенных обстоятельствах. Для советской фантастики требование реализма должно быть неуклонным.

Человек — это главное, и это за последние годы наши авторы понимают хорошо. И вряд ли кто-нибудь станет проповедовать научную фантастику без героев, без людей. Но если кто-то спросит: а почему у многих авторов так бледны образы героев, я отвечу — это не их вина, а их беда. Это значит, что не хватило человеку таланта. Вряд ли кто-нибудь из писателей скажет: «Я этого хотел»!

Не всякий человек пригоден стать в центре научно-фантастического произведения. Его главный герой — это человек, который сейчас только вылупляется из куколки и становится бабочкой, вылетающей в мировое пространство.

Великий гуманизм — это та черта советской фантастики, которая поднимает ее над фантастикой западной. И еще очень

важная ее черта — социальный оптимизм. Социальный оптимизм не сводится к оптимизму некоторых редакторов, которые добиваются от автора, чтобы в звездной экспедиции было как можно меньше жертв. Бывает так, что у покладистого автора в рукописи сначала погибает вся экспедиция, потом, в процессе редактирования, число жертв сокращается наполовину, а в напечатанном варианте гибнет лишь один, да и тот отрицательный герой.

Подлинный социальный оптимизм в ином — в наличии цели и в показе высокой цены человеческой жизни.

АННА МИРЛИС

ГИПОТЕЗА В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ

По свидетельству автора, эта история произошла в одном из парижских кварталов вечером 9 августа 1949 года.

В столице Франции встретились сразу два путешественника во времени — из будущего и из прошлого: Амун-Ка-Зайлат, ученый Королевского научного института из древнего города Бадари, существовавшего восемь тысяч лет назад, и доктор Джинг-Джонг, прославленный ученый республики Перголия, которая в наши дни еще скрыта под Тихим океаном, но в 29153 году достигнет своего расцвета.

Что понадобилось почтенным путешественникам в нашей эпохе? Бадариец прибыл сюда с благородной целью: ознакомить людей с достижениями бадарийской цивилизации. Перголезца же привлекают обширные пустующие пространства Бадари, где можно расселить часть жителей Перголии, страдающей от нехватки земель. Заодно наш потомок намеревается усовершенствовать перголезскую породу, проявляющую признаки вырождения: скрестить ее представителей с прекрасными бадарийками. Для осуществления коварных замыслов Джинг-Джонг пытается завербовать себе в помощники представителя промежуточной эпохи, пожилого французского букиниста Оскара Венсана.

Скромный торговец книгами, от имени которого ведется повествование, втянут в головокружительный водоворот событий. На его глазах в причудливом хитросплетении непрерывно взаимодействуют прошлое, настоящее и будущее. Осмысление происходящего требует такого умственного напряжения, что это подвергает рассудок тяжелому испытанию. Глуша себя коньяком — не сдали бы нервы — Венсан слушает о поступке, который еще не совершен, и о событии, которое еще не пережито. Он беседует с людьми, одного из которых видит после его смерти, а другого — задолго до его рождения. «Разве ты,

совершая свое путешествие, не был свидетелем его (города. — *А. М.*) агонии и медленного угасания в течение веков? — изумленно спрашивает он своего предка. — Разве ты не был свидетелем собственной смерти? Разве ты не видел, как твой прах поместили в одну из тех изящно раскрашенных урн, которые теперь так восхищают нас?» В ответ бадариец ссылается на законы научного детерминизма, незнание которых якобы мешает Венсану разобраться во всем этом.

Как же воспринимать связанные с перемещением во времени сюжетные перипетии рассказа французского фантаста Пьера Буля «Бесконечная ночь»?

Фантастический элемент играет в научно-фантастической литературе существенную роль, но не случайно эту фантастику называют научной: различие между научной фантастикой и просто фантастикой наглядно проявляется в их отношении к гипотезе.

* * *

На страницах «Капитала» К. Маркс писал: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально».

Именно человек и только человек, подчеркивает это положение диалектического материализма, может предвидеть результаты своего труда.

Человеческое сознание — пример высшего развития материи. Оно обеспечило людей бесценным качеством — воображением.

«Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы, — писал К. Г. Паустовский. — Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бэмби». Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как и воображение бесплодно без действительности».

Способность фантазировать позволяет человеку произвести мысленный отрыв от реальности и получить идеально, то есть в голове, новое абстрактное обобщение. Но, хотя фантазии присущ определенный «отрыв» от реальности, она, даже улетая в заоблачные дали, никогда не теряет связи с действительностью и вновь возвращается к ней, входя составным элементом в

творческую, преобразующую деятельность человека, — в частности, являясь оружием писателя-фантаста.

Фантазия — всегда комбинация образов реальной действительности, хотя порой и очень искаженной, смещенной, когда причудливо переплетаются самые невероятные представления. Даже самые «сумасшедшие» идеи, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с видимой реальностью, с опытом познания мира и в принципе новы, — в действительности, если вникнуть в их глубинную суть, проследить истоки их возникновения, всегда имеют совершенно реальную основу.

Самая необычайная гипотеза в научной фантастике не противоречит диалектико-материалистическому пониманию законов природы, общества и мышления. Диалектический и исторический материализм, признающий объективную действительность окружающего мира и познаваемость хода изменений его закономерностей, является принципиальной философской основой реализма; поэтому научно-фантастические произведения, написанные с позиций реализма, всегда строятся на научных гипотезах, материалистичных в своей основе.

Правильное понимание категории возможности, причинно-следственных связей, разницы между возможным и действительным, путей преобразования возможного в действительное — все это связано с умением творчески, а не догматично использовать положения материалистической философии.

Важно одно из существенных положений марксизма о том, что человеку на каждой ступени познания доступно понимание лишь какой-то части мира, а поэтому, как писал Ф. Энгельс, вопрос о конкретных формах существования материального мира остается открытым за пределами доступной человеку области. Это положение, по существу, снимает долгий спор о границах допустимой фантазии при изображении других миров: невозможно «нафантазировать» что-то абсолютно нереальное, то есть не существующее в окружающем нас мире, пока мы не столкнемся с этим новым, совершенно неизвестным прежде явлением.

* * *

Между познанным и непознанным нет непроходимой пропасти. Человеческое познание уже выработало несколько фундаментальных общих, объективных законов и при помощи абстракции может в определенных пределах познавать неведомое, может сказать: то-то и то-то в принципе невозможно в любом мире. И с этой точки зрения в научно-фантастической литературе недопустимы гипотезы-предположения, противоречащие объективно познанным законам природы, научной картине мира.

Научная фантастика называется научной, потому что все ее гипотезы, какими бы сложными и необычайными они ни бы-

ли, должны соответствовать материалистическому пониманию действительности. Но нельзя упускать из виду, что оценка фантастических гипотез в научной фантастике двойственна. Фантастическую гипотезу-допущение как чисто литературный прием следует отличать от фантастической гипотезы, в основу которой непосредственно положено какое-то научное предположение.

Фантастическое допущение, не согласующееся с возможностями, открытыми наукой сегодняшнего дня, в художественном произведении очень часто лишь своеобразная дань занимательности; его используют для завязки повествования, развития сюжета, лучшего выявления характеров. Это, иначе говоря, своеобразная уступка, дающая фантасту возможность полностью «развязать себе руки», специфическая привилегия научной фантастики по отношению к научной литературе, характерная для нее как литературы художественной, предполагающей право на вымысел. Однако, например, в отличие от сказки, с ее непременной, как и в научной фантастике, установкой на вымысел, сама тема научно-фантастического произведения предполагает также определенный угол зрения автора, именно — научно-технический прогресс и вызванные им (или могущие быть вызванными) последствия.

Довольно часто необычное явление (событие, изобретение) никак не мотивируется научно. Наоборот, писатель различными способами вуалирует научные и технические подробности фантастических открытий своих героев, прибегая к таким художественным приемам, как псевдомотивация, объяснение неспециалиста, диалог ученого с непосвященным (последний, как правило, — в произведениях юмористических и сатирико-пародийных). У Т. Шерреда (рассказ «Попытка») об изобретении Майка мы узнаем из вторых рук, причем от человека, в этих вопросах отнюдь не компетентного. «Я знаю только, — говорит он, — что дело тут в высоких частотах. И что в аппарате много ртути, меди и всяких проволочек из дешевых и распространенных металлов, но что и как происходит в нем, а главное — почему, это для меня сложновато. Свет обладает массой и энергией, и эта масса непрерывно утрачивает какую-то свою часть и может быть снова обращена в электрическую энергию или что-то в том же духе. Майк Лавьяда сам говорит, что он не открыл ничего нового, что еще задолго до войны этот эффект не раз наблюдали такие ученые, как Комптон, Майкелсон и Пфейффер, но они сочли его чисто побочным, ничем не интересным явлением. А с тех пор все было заслонено исследованиями атомной энергии».

Изобретатель-самоучка Догерти из рассказа Р. Туми «Мгновение вечность бережет» и сам подчас не в силах объяснить берущему у него интервью журналисту суть своего изобретения — времясместителя:

«— А как он работает?

Догерти погладил бороду.

— Весьма уместный вопрос. Откровенно говоря, в этой частности я пока еще до конца не разобрался. Но аппарат функционирует прекрасно, как доказывает динозавр. Он способен — то есть сместитель, а не динозавр — перемещать предметы почти любого заданного заранее размера в прошлое или... — он сделал паузу, вероятно, для пущего эффекта, — или же в на-стоя-щее. Он с несомненностью доказывает, что время — это...

Тут Догерти забормотал что-то нечленораздельное, и я уже начал припоминать, какую помощь следует оказывать эпилептику в начале припадка, когда до меня дошло, что он декламирует уравнения.

Наконец он остановился, чтобы перевести дух, и я ринулся в брешь:

— О конечно! — сказал я. — Это-то всякому понятно...

— Неужели?

— Но как он работает?

Догерти ласково потрепал аппарат по блестящему боку.

— Не могу сказать. То есть я не вполне уверен. Но как бы то ни было, он работает. Случайное взаимодействие определенных факторов привело к созданию времясместителя. По правде говоря, — продолжал он, понизив голос, — я пытался опровергнуть третий закон термодинамики. Или первый? А может быть, второй? Ну, вы знаете, какой из них я имею в виду.

Я понимающе кивнул. Какой из них он имел в виду, мне было абсолютно неизвестно — я не отличил бы третий закон термодинамики от летнего расписания пригородных поездов.

— Ну, тот, согласно которому вы извлекаете из чего-либо больше энергии, чем вкладываете, — напомнил Догерти.

— А-а, этот!

— Да. Я пытался сконструировать... только не смейтесь!.. вечный двигатель.

— А! — сказал я.

— Но вместо этого у меня получился сместитель, что даже лучше.

— А когда именно вы заметили, что у вас получилось? — спросил я, все еще стараясь сделать интервью.

— Когда включил аппарат, а из него вылез динозавр».

Таким образом, в научной фантастике вполне возможно фантастическое допущение, не соответствующее диалектико-материалистическому пониманию действительности, — но лишь в том случае, если оно служит для развертывания повествования, общая идейно-художественная направленность которого не противоречит основным научным представлениям о

природе и обществе. Герберт Уэллс в «Машине времени» и французский фантаст Пьер Буль в рассказе «Бесконечная ночь» используют гипотезу обратимости времени. Но для Уэллса это лишь фантастическое допущение, формальный литературный прием, с помощью которого он строит сюжет. Глубоко сомнительная в научном отношении гипотеза не рассматривается в подробностях, а для достоверности общей картины повествование ведется на фоне научно вполне возможных событий, отвечающих основным законам природы. Пьера Буля интересует именно гипотеза обратимости времени. Хотя и здесь фантастической гипотезе отводится двойная роль (перемещение во времени — также и сюжетный ход), налицо юмористический характер вымысла.

Характерно, что порой очень сложные и «сверхфантастические» гипотезы научно вполне допустимы и реальны, а самые, казалось бы, элементарные предположения, напротив, нереальны и невозможны. В этом наглядно проявляется общность и простота основополагающих объективных законов природы. Например, мы еще не научились управлять термоядерной энергией. Если бы это было возможно (а теоретически такая вещь допустима), резонно предположить, что в будущем ее можно будет получать из любого камня; и тогда наша Земля превратится в управляемую ракету, сможет менять свою орбиту. С научной точки зрения это возможно. Но невозможно, например, чтобы вода испарилась из герметически закупоренной бутылки, — это противоречит основным законам природы (имеется в виду именно вода, а не какие-нибудь полученные из нее элементарные частицы).

Иногда авторы сознательно нарушают какую-то часть объективных законов природы, сохраняя при этом остальные природные связи. Читателя обычно предупреждают о таких допущениях. У Циолковского («Тяжесть исчезла») некий космический странник (автор называет его «Чудаком») путешествует в межпланетном пространстве: «Блуждая в небесных пространствах со скоростью света, между прочим, я попал на один из астероидов; там нашлись мудрые существа, которые окружили меня всеми заботами...» Тут фактически допущены элементы сказки. «...Следует отнестись к излагаемому с наибольшей осторожностью, — пишет во вступительной статье профессор Н. Моисеев. — Ни под каким видом не следует думать, что автор всерьез описывает каких-то жителей, до признания существования которых наука еще, так сказать, «не дошла». Вся эта часть делается значительно более естественной и понятной, если читатель будет понимать под словом «туземец», «житель астероида» и т. п. лишь описательную форму все того же реактивного межпланетного корабля...»

Понятно, что человек не может без всяких приспособлений, просто так, летать в космосе, да еще со скоростью света. Как не-

возможно уничтожить силу тяжести, сохраняя при этом все остальные связи, вызываемые гравитацией (наличие воздушного и водного бассейнов). Однако все это позволяет Циолковскому рассказать о других научно обоснованных проблемах.

Но в данном случае автор прямо говорит о допущенных им условностях.

В послесловии к роману К. Педлера и Дж. Дэвиса «Мутант-59» (журнальный вариант) член-корреспондент АН СССР Н. Платэ обращает внимание читателя на реальность самой основы фантастического предположения авторов: «Трагические события, с которыми читатель познакомился в этом романе, конечно же, вымышлены. Однако они типичны с той точки зрения, что могли произойти в обществе, где острейшая конкурентная борьба на фронте научного и технологического прогресса приводит к выпуску на рынок и широкому применению не всегда тщательно проверенных и безопасных продуктов химии. Сама ситуация, ставшая реальностью в романе, хотя до этого и имевшая совершенно ничтожную вероятность «материализации», выглядит весьма правдоподобным слепком со структуры общества частного предпринимательства».

* * *

Научная фантастика очень различна по своей сути, начиная от произведений, основанных на реальном предвидении научного прогресса, до чисто фантастических и романтических предположений. Интересно вспомнить характеристику фантазии, данную В. Далем: «Фантазия — воображение, изобретательная сила ума; творческая сила художника, самобытная сила созидания. Пустая мечта, выдумка воображения, затейливость, причуда; несбыточный бред, разгул необузданной думки».

Конечно, с 1883 года прошло много времени, да и само обозначение слова слишком широко; оно не ограничивается понятием фантастической литературы, тем более научно-фантастической. И все же очевидно, что авторы, работающие в области научно-фантастической литературы, располагают необычайно многоцветной палитрой различных фантастических допущений, гипотез и научных разработок. Фактически пределом фантазии является ограниченность нашего мышления отражением понятий окружающего нас реального мира. Поэтому реалистическое литературное изображение в научно-фантастическом жанре может допускать самую смелую фантазию, которая тем не менее в силу самого процесса мышления никогда не переступит грань возможного предположения.

Иначе говоря, знания человека всегда отражают ту действительность, которая его окружает. Фантазия может придавать этой действительности всевозможные формы, но в конечном итоге всегда будет зависеть от нее — определяться той объективной реальностью, которая запечатлена в сознании человека, живущего в данный, исторически конкретный отрезок времени.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

6
Зоя Туманова
В ТО УТРО ВЫПАЛ ИНЕЙ

14
Юрий Герасименко
МАРТОВСКИЙ ВЕТЕР

63
Николай Советов
МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

85
Павел Амнуэль
ДАЛЕКАЯ ПЕСНЯ АРКТУРА

107
Петроний Аматуни
ГОЛУБОЙ НУЛЬ

123
Владимир Малов
ФОРПОСТ

148
Виктор Положий
ЧТО-ТО НЕЛАДНО...

178
Игорь Росоховатский
МЫСЛЬ

189
Александр Тесленко
ОРЛАН СТАХ

206
Геннадий Разумов
СЛЕДЫ

212
Геннадий Максимович
ДОЛГ

217
Абдухаким Фазилов
МИРАЖ

226
Людмила Жукова
ПРОШУ ТЕБЯ, ПРИПОМНИ...

239
Владимир Щербаков
КАНИКУЛЫ У МОРЯ

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

262
Олег Корабельников
ДОМ

274
Михаил Шаламов
СЕРАЯ ХРИЗАНТЕМА

280
Сергей Смирнов
ЛЕСНИК

286
Владимир Янков
ПОСЛЕДНИЙ КОНТРАБАНДИСТ

289
Владимир Заяц
ДЕД ПАТРАТИЙ

295
Вячеслав Мешков
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА РАССВЕТЕ

302
Василий Головачев
МЕРА ВЕЩЕЙ

320
Сергей Киселев
ТАМ, НА ЗЕМЛЕ...

НАУКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

322
Феликс Зигель
РАЗУМ И ЗВЕЗДЫ

337
Мария Мамонова
РОССЫПЬ СВЕРКАЮЩИХ ИСТИН

340
Юрий Яровой
ЭТА СТРАННАЯ КОРА...

345
Сергей Луконин
МЕЧТА — ВАШИ ПОЗЫВНЫЕ!

351
Владимир Фалей
БОГИ ОЛИМПА И ХРОМОСОМЫ

НЕВЕДОМОЕ: БОРЬБА И ПОИСК

358
Юрий Медведев
ГРЯДУЩЕГО ВЕЛИКОЕ КОЛЬЦО

367
Александр Казанцев
КИРИЛЛ АНДРЕЕВ О ФАНТАСТИКЕ

368
Кирилл Андреев
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА?

374
Анна Мирлис
ГИПОТЕЗА В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ

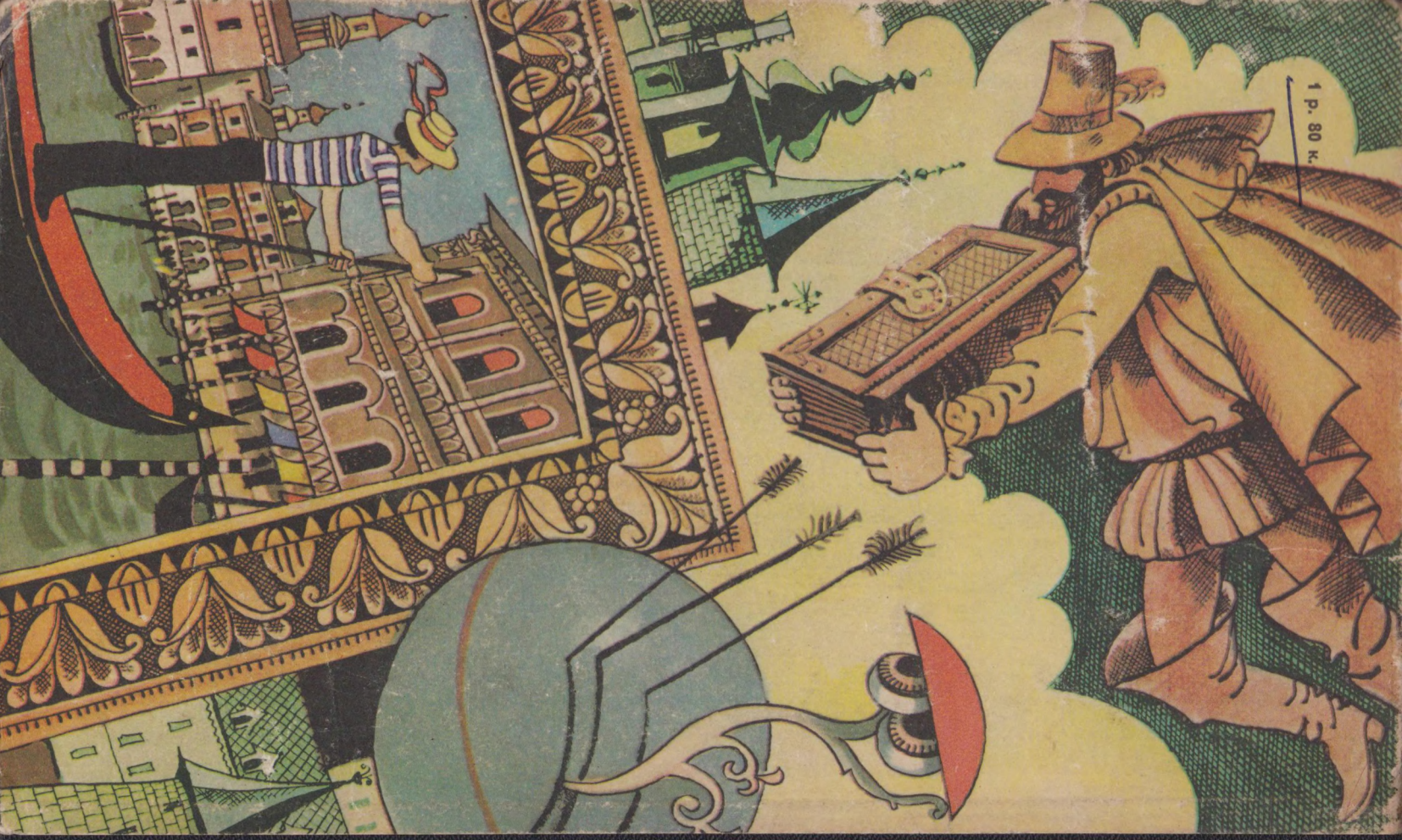
ИБ № 3153

ФАНТАСТИКА-82

Редактор **В. Фалеев**
Художник **Р. Авотин**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **В. Авдеева, В. Назарова, Г. Трибунская**

Сдано в набор 30.04.82. Подписано в печать 01.11.82. А03412. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 24,0. Учетно-изд. л. 25,7. Тираж 150 000 экз. (1-й завод — 75 000 экз.). Цена 1 р. 80 к. Заказ 569.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



ФАНТАСТИКА-82